

**О. Генри**  
**Собрание сочинений в пяти томах**  
**Том 3**

**Сборник рассказов "Дороги судьбы"**

**Дороги судьбы**

*Передо мной лежат дороги,  
Куда пойду?  
Верное сердце, любовь как звезда, —  
Они мне помогут везде и всегда  
В бою обрести и как песню сложить  
Мою судьбу.*

**Из неопубликованных стихотворений Давида Миньо**

Песня смолкла. Слова были Давида, мелодия — народная. Завсегдатаи кабачка дружно аплодировали, так как молодой поэт к тому же платил за вино. Только нотариус, господин Папино, прослушав стихи, покачал слегка головой, — он был человек образованный и пил за свой счет.

Давид вышел на улицу, и ночной деревенский воздух освежил его голову, затуманенную винными парами. Тогда он вспомнил утреннюю ссору с Ивонной и свое решение покинуть ночью родной дом и отправиться в большой мир искать признания и славы.

«Когда мои стихи будут у всех, на устах, — взволнованно говорил он себе, — она еще вспомнит жестокие слова, которые сказала мне сегодня».

Кроме гуляк в кабачке, все жители деревни уже спали. Давид прокрался в свою комнатку в пристройке к отцовскому дому и связал в узел свои скудные пожитки. Перекинув узел на палке через плечо, он вышел на дорогу, уводившую из Вернуа.

Он миновал отцовское стадо, сбившееся на ночь в загоне, стадо овец, которых он пас ежедневно, — они разбредались по сторонам, когда он писал стихи на клочках бумаги. Он увидел свет, еще горевший в окне у Ивонны, и тотчас его охватили сомнения. Этот свет, не означает ли он, что она не здесь не понимает его. Вперед по этой дороге, навстречу своему будущему, своей судьбе.

Три лье через туманную, залитую лунным светом равнину тянулась дорога, прямая, как борозда, проведенная плугом пахаря. В деревне считали, что дорога ведет, по крайней мере, в Париж; шагая по ней, молодой поэт не раз шептал про себя это слово. Никогда еще Давид не уходил так далеко от Вернуа.

**Дорога налево**

*Итак, три лье тянулась дорога и вдруг озадачила его. Поперек ее пролегла другая дорога, широкая и торная. Давид постоял немного в раздумье и повернул налево.*

В пыли этой большой дороги отпечатались следы колес недавно проехавшего экипажа. Спустя полчаса показался и сам экипаж — громадная карета, завязшая в ручье у подножия крутого холма. Кучер и фореиторы кричали на лошадей и дергали за поводья. На краю дороги стоял громадный мужчина, одетый в черное, и стройная женщина, закутанная в длинный, легкий плащ.

Давид видел, что слугам не хватает сноровки. Недолго думая, он взял на себя роль распорядителя. Он велел форейторам замолчать и налечь на колеса. Понукать животных привычным для них голосом стал один кучер; сам Давид уперся могучим плечом в задок кареты, и от дружного толчка она выкатилась на твердую почву. Форейторы забрались на свои места.

С минуту Давид стоял в нерешительности. Мужчина в черном махнул рукой. «Вы сядете в карету», — сказал он: голос был мощный, под стать всей фигуре, но смягченный светским воспитанием. В нем сказывалась привычка повелевать. Непродолжительные сомнения Давида были прерваны повторным приказанием. Давид встал на подножку. Он смутно различил в темноте фигуру женщины на заднем сиденье. Он хотел было сесть напротив, но мощный голос снова подчинил его своей воле. «Вы сядете рядом с дамой!»

Мужчина в черном тяжело опустился на переднее сиденье. Карета тронулась в гору. Дама сидела молча, забившись в угол. Давид не мог определить, стара она или молода, но тонкий, нежный аромат, исходивший от ее одежды, пленил воображение поэта, и он проникся уверенностью, что за покровом тайны скрываются прелестные черты. Подобное происшествие часто рисовалось ему в мечтах. Но ключа к этой тайне у него еще не было, — после того как он сел в карету, его спутники не проронили ни слова.

Через час Давид увидал в окно, что они едут по улице какого-то города. Вскоре экипаж остановился перед запертым и погруженным в темноту домом; форейтор спрыгнул на землю и принялся неистово колотить в дверь. Решетчатое окно наверху широко распахнулось, и высунулась голова в ночном колпаке.

— Что вы беспокоите честных людей в этакую пору? Дом закрыт. Порядочные путники не бродят по ночам. Перестаньте стучать и проваливайте.

— Открывай! — заорал форейтор. — Открой монсеньору маркизу де Бопертюю.

— Ах! — раздалось наверху. — Десять тысяч извинений, монсеньор. Кто ж мог подумать... час такой поздний... Открою сию минуту, и весь дом будет к услугам монсеньора.

Звякнула цепь, проскрипел засов, и дверь распахнулась настежь. На пороге, дрожа от холода и страха, появился хозяин «Серебряной фляги», полуодетый, со свечой в руке.

Давид вслед за маркизом вышел из кареты. «Помогите даме», — приказали ему. Поэт повиновался. Помогая незнакомке сойти на землю, он почувствовал, как дрожит ее маленькая ручка. «Идите в дом», — послышался новый приказ.

Они вошли в длинный обеденный зал таверны. Во всю длину его тянулся большой дубовый стол. Мужчина уселся на стул на ближнем конце стола. Дама словно в изнеможении опустилась на другой, у стены. Давид стоял и раздумывал, как бы ему распроститься и продолжать свой путь.

— Монсеньор, — проговорил хозяин таверны, кланяясь до земли, — е-если бы я з-знал, что б-бу-уду удостоен т-такой чести, все б-было бы готово к вашему приезду. О-осмелюсь п-предложить вина и х-холодную дичь, а если п-пожелаете...

— Свечей! — сказал маркиз, характерным жестом растопырив пальцы пухлой холеной руки.

— С-сию минуту, монсеньор. — Хозяин таверны принес с полдюжины свечей, зажег их и поставил на стол.

— Не соблаговолит ли месье отпробовать бургундского, у меня есть бочонок...

— Свечей! — сказал месье, растопыривая пальцы.

— Слушаюсь... бегу... лечу, монсеньор.

Еще дюжина зажженных свечей заблестела в зале. Туловище маркиза глыбой вздымалось над стулом. Он был с ног до головы одет в черное, если не считать белоснежных манжет и жабо. Даже эфес и ножны его шпаги были черные. Вид у него был высокомерный. Кончики вздернутых усов почти касались его глаз, смотревших с презрительной усмешкой.

Дама сидела неподвижно, и теперь Давид видел, что она молода и красива — трогательной, чарующей красотой.

Громовый голос заставил его отвести взгляд от ее прелестного и грустного лица.

— Твое имя и занятие?

— Давид Миньо. Я поэт.

Усы маркиза потянулись к глазам.

— Чем же ты живешь?

— Я еще и пастух; я пас у отца овец, — ответил Давид, высоко подняв голову, но щеки у него покрылись румянцем.

— Так слушай ты, пастух и поэт, какое счастье выпало тебе на долю. Эта дама — моя племянница, мадемуазель Люси де Варенн. Она принадлежит к знатному роду, и в ее личном распоряжении находятся десять тысяч франков годового дохода. О ее красоте суди сам. Если всех этих ее достоинств, вместе взятых, достаточно, чтобы пленить твое пастушье сердце, скажи слово, и она станет твоей женой. Не перебивай меня. Сегодня вечером я отвез ее в замок виконта де Вильмора, которому была обещана ее рука. Гости были в сборе; священник ждал, готовый обвенчать ее с человеком, равным ей по положению и состоянию. И вдруг у самого алтаря эта девица, на вид столь скромная и послушная, накинулась на меня, как пантера, обвинила меня в жестокости и злодействах и в присутствии изумленного священника нарушила слово, которое я дал за нее. Я тут же поклялся десятью тысячами дьяволов, что она выйдет замуж за первого, кто попадет на пути, — будь то принц, угольщик или вор. Ты, пастух, оказался первым. Мадемуазель должна обвенчаться сегодня же. Не с тобой, так с другим. Даю тебе десять минут на размышление. Не трать лишних слов и не досаждай мне вопросами. Десять минут, пастух, и они уже бегут.

Маркиз громко забарабанил по столу белыми пальцами. Лицо его превратилось в маску сосредоточенного ожидания. Своим видом он напоминал огромный дом, в котором наглухо закрыты все окна и двери. Давид хотел было что-то сказать, но при взгляде на вельможу слова застряли у него в горле. Он подошел к даме и отвесил ей поклон.

— Мадемуазель, — сказал он и удивился, как легко текут его слова: ведь казалось бы, такое изящество и красота должны были смутить его. — Вы слышали: я назвал себя пастухом. Но в мечтах я иногда видел себя поэтом. Если быть поэтом — значит любить красоту и поклоняться ей, то мечты мои обретают крылья. Чем я могу служить вам, мадемуазель?

Девушка подняла на него горящие, скорбные глаза. Его открытое и вдохновенное лицо, ставшее строгим в эту решающую минуту, его сильная и стройная фигура и несомненное сочувствие во взгляде голубых глаз, а возможно, и долго томившая ее тоска по ласковому, участливому слову взволновали ее до слез.

— Сударь, — тихо проговорила она, — вы кажетесь мне искренним и добрым. Это мой дядя, брат моего отца и мой единственный родственник. Он любил мою мать и ненавидит меня, потому что я на нее похожа. Он превратил мою жизнь в сплошную пытку. Я боюсь одного его взгляда и никогда раньше не решалась послушаться его. Но сегодня он хотел выдать меня за человека втрое старше меня. Не осуждайте меня, сударь, за те неприятности, которые я навлекла на вас. Вы, конечно, откажетесь совершить безумный поступок, к которому он вас склоняет. Во всяком случае, позвольте поблагодарить вас за ваши великодушные слова. Со мной давно никто так не говорил.

В глазах поэта появилось нечто большее, чем великодушие. Видно, он был истинным поэтом, потому что Ивонна оказалась забыта: нежная красота пленила его своей свежестью и изяществом. Тонкий аромат, исходивший от нее, будил в нем еще не испытанные чувства. Он нежно посмотрел на нее, и она вся расцвела под его ласковым взглядом.

— За десять минут, — сказал Давид, — я могу добиться того, чего с радостью добивался бы многие годы. Сказать, что я жалею вас, мадемуазель, значило бы сказать неправду, — нет, я люблю вас. Рассчитывать на взаимность я еще не вправе, но дайте мне вырвать вас из рук этого злодея, и, как знать, со временем любовь может прийти. Я думаю, что у меня есть будущее. Не вечно я буду пастухом. А пока я стану любить вас всем сердцем и сделаю все, чтобы ваша жизнь не была столь печальной. Решитесь вы доверить мне свою судьбу, мадемуазель?

— О, вы жертвуете собой из жалости!

— Я люблю вас. Время истекает, мадемуазель.

— Вы раскаетесь и возненавидите меня.

— Я буду жить ради вашего счастья и чтобы стать достойным вас.

Ее изящная ручка скользнула из-под плаща и очутилась в его руке.

— Вручаю вам свою судьбу, — прошептала она, — и, быть может... любовь придет скорей, чем вы думаете. Скажите ему. Когда я вырвусь из-под власти его взгляда, я, может быть, сумею забыть все это.

Давид подошел к маркизу. Черная фигура пошевелилась, и насмешливые глаза взглянули на большие стенные часы.

— Осталось две минуты. Пастуху понадобилось восемь минут, чтобы решиться на брак с красавицей и богачкой! Ну что же, пастух, согласен ты стать мужем этой девицы?

— Мадемуазель, — отвечал Давид, гордо выпрямившись, — оказала мне честь, согласившись стать моей женой.

— Отлично сказано! — гаркнул маркиз. — У вас, господин пастух, есть задатки вельможи. В конце концов, мадемуазель могла вытянуть и худший жребий. Ну а теперь покончим с этим делом поскорей, — как только позволит церковь и дьявол!

Он громко стукнул по столу эфесом шпаги. Вошел, дрожа всем телом, хозяин таверны; он притащил еще свечей, в надежде, что угадал каприз сеньера.

— Священника! — сказал маркиз. — И живо! Понял? Чтоб через десять минут священник был тут, не то...

Хозяин таверны бросил свечи и убежал.

Пришел священник, заспанный и взлохмаченный. Он сочтел Давида Миньо и Люси де Варенн узами брака, сунул в карман золотой, брошенный ему маркизом, и снова исчез во мраке ночи.

— Вина! — приказал маркиз, протянув к хозяину таверны зловеще растопыренные пальцы. — Наполни бокалы! — сказал он, когда вино было подано.

В тусклом свете мерцающих свечей маркиз черной глыбой навис над столом, полный злобы и высокомерия, и, казалось, воспоминания о старой любви сочлись ядом из его глаз, когда он смотрел на племянницу.

— Господин Миньо, — сказал он, поднимая бокал с вином, — прежде чем пить, выслушайте меня. Вы женились на особе, которая исковеркает вашу жизнь. В ее крови проклятое наследие самой черной лжи и гнусных преступлений. Она обрушит на вашу голову позор и несчастье. В ее глазах, в ее нежной коже сидит дьявол, он говорит ее устами, которые не погнушались обольстить простого крестьянина. Вот залог вашей счастливой жизни, господин поэт. Теперь пейте. Наконец-то, мадемуазель, я избавился от вас.

Маркиз выпил. Жалобный крик сорвался с губ девушки, словно ей внезапно нанесли рану. Давид, с бокалом в руке, выступил на три шага вперед и остановился перед маркизом. Сейчас едва ли кто принял бы его за пастуха.

— Только что, — спокойно проговорил он, — вы оказали мне честь, назвав меня «господином». Могу я надеяться, что моя женитьба на мадемуазель приблизила меня к вашему рангу, скажем, не прямо, но косвенно, и дает мне право вести себя с монсеньором, как равный с равным в одном небольшом деле, которое я задумал?

— Можешь надеяться, пастух, — презрительно усмехнулся маркиз.

— В таком случае, — сказал Давид, выплеснув вино из бокала прямо в глаза, насмехавшиеся над ним, — быть может, вы сообразовите драться со мной.

Вельможа пришел в ярость, и громкое, как рев горна, проклятие разнеслось по залу. Он выхватил из черных ножен шпагу и крикнул не успевшему скрыться хозяину:

— Подать шпагу этому олуху!

Он повернулся к даме, засмеялся так, что у нее сжалось сердце, и сказал:

— Вы доставляете мне слишком много хлопот, сударыня. За одну ночь я должен выдать вас замуж и сделать вдовой.

— Я не умею фехтовать, — сказал Давид и покраснел, сделав это признание.

— Не умею фехтовать, — передразнил его маркиз. — Что же, мы, как мужичье, будем лупить друг друга дубинами? Эй, Франсуа! Мои пистолеты!

Фореитор принес из экипажа два больших блестящих пистолета, украшенных серебряной чеканкой. Маркиз швырнул один из них Давиду.

— Становись у того конца стола! — крикнул он. — Спустить курок сумеет и пастух. Не всякий удостоивается чести умереть от пули де Бопертюи.

Пастух и маркиз стали друг против друга у противоположных концов длинного стола. Хозяин таверны, обомлев от страха, судорожно шевелил пальцами и бормотал:

— М-монсеньор, ради Христа! Не в моем доме!.. не проливайте крови... вы разорите меня...

Угрожающий взгляд маркиза сковал ему язык.

— Трус! — вскричал маркиз де Бопертюи. — Перестань стучать зубами и подай сигнал, если можешь.

Хозяин упал на колени. Он не мог произнести ни слова. Но жестами он, казалось, умолял сохранить мир в его доме и добрую славу его заведению.

— Я подам сигнал, — отчетливо проговорила дама. Она подошла к Давиду и нежно поцеловала его. Глаза ее сверкали, щеки покрылись румянцем. Она встала у стены, и по ее счету противники начали поднимать пистолеты.

— Un... deux... trois!

Выстрелы раздались так быстро один за другим, что пламя свечей вздрогнуло только раз. Маркиз стоял, улыбаясь, опершись растопыренными пальцами левой руки о край стола. Давид по-прежнему держался прямо; он медленно повернул голову, ища глазами жену. Потом, как платье падает с вешалки, он рухнул на пол.

Тихо вскрикнув от ужаса и отчаяния, овдовевшая девушка подбежала к Давиду и склонилась над ним. Она увидела его рану, подняла голову, и в ее глазах появилась прежняя скорбь.

— В самое сердце, — прошептала она. — Его сердце!

— В карету! — загремел мощный голос маркиза. — День не успеет забрезжить, как я отделаюсь от тебя. Сегодня же ночью ты снова обвенчаешься, и муж твой будет жить. С первым встречным, моя милая, кто б он ни был: разбойник или пахарь. А если мы никого не встретим на дороге, ты обвенчаешься с холопом, который откроет нам ворота. В карету!

Неумолимый маркиз, дама, снова закутанная в плащ, фореитор с пистолетами в руках — все направились к ожидавшей их карете. Удаляющийся стук ее тяжелых колес эхом прокатился по сонной улице. В зале «Серебряной фляги» обезумевший хозяин таверны ломал руки над мертвым телом поэта, а на длинном столе колыхались и плясали огни двадцати четырех свечей.

## Дорога направо

*Итак, три лье тянулась дорога и вдруг озадачила его. Поперек ее пролегла другая дорога, широкая и торная. Давид постоял немного в раздумье и повернул направо.*

Куда вела дорога, он не знал, но решил в эту ночь уйти от Вернуа подальше. Пройдя одно лье, он поравнялся с большим замком, где, видимо, только что кончилось какое-то празднество. Все окна были освещены; от больших каменных ворот узором расходились следы, оставленные в пыли экипажами гостей.

Еще три лье остались позади, и Давид утомился. Он вздремнул у края дороги, на ложе из сосновых веток, а потом поднялся и опять зашагал по незнакомому пути.

Так пять дней шел он по большой дороге; спал на мягких постелях, приготовленных ему Природой, или на копнах сена, ел черный хлеб радушных пахарей, пил из ручья или из щедрой пастушьей чашки.

Наконец, он перешел через большой мост и вступил в веселый город, который увенчал

терниями и лаврами больше поэтов, чем весь остальной мир. Дыхание его участилось, когда Париж запел ему вполголоса приветственную песнь — песнь перекликающихся голосов, шаркающих ног, стучащих колес.

Высоко под крышей старого дома на улице Конти поселился Давид и, примостившись на табурете, принялся писать стихи. Некогда на этой улице жили важные и знатные горожане, а теперь она давала приют тем, кто всегда плетется по стопам разорения и упадка.

Дома здесь были высокие и еще хранили печать былого величия, хотя во многих из них не осталось ничего, кроме пауков и пыли. По ночам на улице слышался стук клинков и крики гуляк, кочующих из таверны в таверну. Там, где когда-то был чинный порядок, воцарился пьяный и грубый разгул. Но именно здесь Давид нашел себе кров, доступный его тощему кошельку. Свет солнца и свет свечи заставлял его за пером и бумагой.

Однажды после полудня он возвращался из фуражирской вылазки с хлебом, творогом и бутылкой дешевого вина. Поднимаясь по мрачной лестнице, он столкнулся — точнее сказать, наткнулся на нее, так как она неподвижно стояла на ступеньке, — с молодой женщиной такой красоты, какую не рисовало даже пылкое воображение поэта. Под ее длинным, темным распахнутым плащом виднелось роскошное платье. В глазах отражались малейшие оттенки мысли. Они казались то круглыми и наивными, как у ребенка, то длинными и влекущими, как у цыганки. Приподняв одной рукой подол платья, она приоткрыла маленькую туфельку на высоком каблучке и с развязавшимися лентами. Как она была божественна! Ей не пристало гнуть спину, она была рождена, чтобы ласкать собой глаз и повелевать!

Быть может, она заметила приближение Давида и ждала его помощи.

О! Она просит месье извинить ее, она заняла собой всю лестницу! Но эта туфелька... такая противная! Ну что с ней поделаешь! Все время развязывается. О, если бы месье был так любезен!..

Пальцы поэта дрожали, когда он завязывал непослушные ленты. Он почуял опасность и хотел бежать, но глаза у нее стали длинные и влекущие, как у цыганки, и удержали его. Он прислонился к перилам, сжимая в руках бутылку кислого вина.

— Вы были так добры, — улыбаясь, сказала она. — Месье, вероятно, живет в этом доме?

— Да, сударыня. Да... в этом доме, сударыня.

— Вероятно, на третьем этаже?

— Нет, сударыня, выше.

Женщина чуть раздраженно пошевелила пальцами.

— Простите. Это был нескромный вопрос. Надеюсь, месье извинит меня? Совершенно неприлично было спрашивать, где вы живете.

— Что вы, сударыня. Я живу...

— Нет, нет, нет; не говорите. Теперь я вижу, что допустила ошибку. Но что я могу поделать: меня влечет к себе этот дом и все, что с ним связано. Когда-то он был моим домом. Я часто прихожу сюда, чтобы помечтать о тех счастливых днях. Пусть это будет мне оправданием.

— Вам нет нужды оправдываться... позвольте мне сказать вам, — запинаясь, проговорил поэт. — Я живу на самом верху, в маленькой комнате, там, где кончается лестница.

— Окном на улицу?

— Нет, сударыня, во двор.

Послышалось что-то похожее на вздох облегчения.

— Не буду вас больше задерживать, месье, — сказала она, и глаза у нее были круглые и наивные. — Присматривайте получше за моим домом. Увы! Он мой только в воспоминаниях. Прощайте, благодарю вас за вашу любезность.

Она ушла, оставив за собой память о своей улыбке и тонкий запах духов.

Давид поднялся по лестнице как во сне. Сон прошел, но улыбка и запах духов преследовали его и не давали ему покоя. Образ незнакомки вдохновил его на элегии о чарующих глазках, песни о любви с первого взгляда, оды о дивном локоне и сонеты о туфельке на маленькой ножке.

Видно, он был истинным поэтом, потому что Ивонна оказалась забыта. Нежная красота пленила его своей свежестью и изяществом. Тонкий аромат, исходивший от нее, будил в нем еще не испытанные чувства.

Однажды вечером трое людей собрались за столом в комнате на третьем этаже того же дома. Три стула, стол и свеча на нем составляли всю обстановку. Один из троих был громадный мужчина, одетый в черное. Вид у него был высокомерный. Кончики его вздернутых усов почти касались глаз, смотревших с презрительной усмешкой. Напротив него сидела дама, молодая и прелестная; ее глаза, которые могли быть то круглыми и наивными, как у ребенка, то длинными и влекущими, как у цыганки, горели теперь честолюбием, как у любого заговорщика. Третий был человек дела, смелый и нетерпеливый вояка, дышащий огнем и сталью. Дама и великан в черном называли его капитаном Деролем.

Капитан ударил кулаком по столу и сказал, сдерживая ярость:

— Сегодня ночью! Когда он поедет к полуночной мессе. Мне надоели бессмысленные заговоры. Довольно с меня условных знаков, шифров, тайных сборищ и прочей ерунды. Будем честными изменниками. Если Франция должна быть избавлена от него, убьем его открыто, не загоняя в ловушки и западни. Сегодня ночью, вот мое слово. И я подкреплю его делом. Я убью его собственной рукой. Сегодня ночью, когда он поедет к мессе.

Дама нежно посмотрела на капитана. Женщина, даже став заговорщицей, преклоняется перед безрассудной отвагой. Мужчина в черном подкрутил кончики усов и сказал зычным голосом, смягченным светским воспитанием:

— Дорогой капитан, на этот раз я согласен с вами. Ждать больше нечего. Среди дворцовой стражи достаточно преданных нам людей, можно действовать смело.

— Сегодня ночью, — повторил капитан Дероль, снова ударив кулаком по столу. — Вы слышали, что я сказал, маркиз: я убью его собственной рукой.

— В таком случае, — тихо сказал маркиз, — остается решить один вопрос. Надо известить наших сторонников во дворце и сообщить им условный знак. Самые верные нам люди должны сопровождать королевскую карету. Но кто сейчас сумеет пробраться к южным воротам? Их охраняет Рибу: стоит доставить ему наше письмо, и успех обеспечен.

— Я перешлю письмо, — сказала дама.

— Вы, графиня? — спросил маркиз, поднимая брови. — Ваша преданность велика, мы это знаем, но...

— Послушайте! — воскликнула дама, вставая и опираясь рукою о стол. — В мансарде этого дома живет юноша из деревни, бесхитростный, кроткий, как овцы, которых он пас. Несколько раз я встречала его на лестнице. Опасаясь, не живет ли он рядом с комнатой, в которой мы обычно встречаемся, я заговорила с ним. Стоит мне захотеть, и он в моих руках. Он пишет стихи у себя в мансарде и, кажется, мечтает обо мне. Он исполнит любое мое желание. Письмо во дворец доставит он.

Маркиз встал со стула и поклонился.

— Вы не дали мне закончить фразу, графиня, — проговорил он. — Я хотел сказать: ваша преданность велика, но ей не сравниться с вашим умом и очарованием.

В то время как заговорщики вели эту беседу, Давид отделявал стихи, посвященные его *amourette d'escalier*<sup>1</sup>. Он услышал робкий стук в дверь, и сердце его сильно забило. Открыв дверь, он увидел перед собой незнакомку. Она тяжело дышала, будто спасалась от преследования, а глаза у нее были круглые и наивные, как у ребенка.

— Месье, — прошептала она, — меня постигло несчастье. Вы кажетесь мне добрым и отзывчивым, и мне не к кому больше обратиться за помощью. Ах, как я бежала, на улицах много повес, они пристают, не дают проходу! Месье, моя мать умирает. Мой дядя — капитан королевской стражи. Надо, чтобы кто-нибудь немедленно известил его. Могу я надеяться...

---

<sup>1</sup> Случайная, мимолетная любовь (*фр.*) .

— Мадемуазель! — перебил Давид, и глаза его горели желанием оказать ей услугу. — Ваши надежды будут моими крыльями. Скажите, как мне найти его.

Дама вложила ему в руку запечатанное письмо.

— Ступайте к южным воротам, — помните, к южным, — и скажите страже: «Сокол вылетел из гнезда». Вас пропустят, а вы подойдете к южному входу во дворец. Повторите те же слова и отдайте письмо тому человеку, который ответит: «Пусть ударит, когда захочет». Это пароль, месье, доверенный мне моим дядей; в стране неспокойно, заговорщики посягают на жизнь короля, и потому с наступлением ночи без пароля никого не подпускают и близко ко дворцу. Если можете, месье, доставьте ему это письмо, чтобы моя мать смогла увидеть его, прежде чем навеки закроются ее глаза.

— Я отнесу письмо! — с жаром сказал Давид. — Но могу ли я допустить, чтобы вы одна возвращались домой в такой поздний час? Я...

— Нет, нет, спешите! Драгоценна каждая секунда. Когда-нибудь, — продолжала она, и глаза у нее стали длинные и влекущие, как у цыганки, — я постараюсь отблагодарить вас за вашу доброту.

Поэт спрятал письмо на груди и, перепрыгивая через ступеньки, побежал вниз по лестнице. Когда он исчез, дама вернулась в комнату на третьем этаже.

Маркиз вопросительно поднял брови.

— Побегал, — ответила она, — он такой же глупый и быстроногий, как его овцы.

Стол снова вздрогнул от удара кулака капитана Дероля.

— Сто тысяч дьяволов, — крикнул он. — Я забыл свои пистолеты! Я не могу положиться на чужие!

— Возьмите этот, — сказал маркиз, вытаскивая из-под плаща огромный блестящий пистолет, украшенный серебряной чеканкой. — Вернее быть не может. Но будьте осторожны, на нем мой герб, а я на подозрении. Ну, пора. За эту ночь мне надо далеко отъехать от Парижа. С рассветом я должен появиться у себя в замке. Милая графиня, мы готовы следовать за вами.

Маркиз задул свечу. Дама, закутанная в плащ, и оба господина осторожно сошли вниз и смешались с прохожими на узких тротуарах улицы Конти.

Давид спешил. У южных ворот королевского парка к его груди приставили острую алебарду, но он отстранил ее словами: «Сокол вылетел из гнезда».

— Проходи, друг, — сказал стражник, — да побыстрее.

У южного входа во дворец его чуть было не схватили, но его *mot de passe*<sup>2</sup> снова оказал магическое действие на стражников. Один из них вышел вперед и начал: «Пусть ударит...» Но тут что-то произошло, и стража смешалась. Какой-то человек с пронизывающим взглядом и военной выправкой внезапно протиснулся вперед и выхватил из рук Давида письмо. «Идемте со мной», — сказал он и провел его в большой зал. Здесь он вскрыл конверт и прочитал письмо. «Капитан Тетро! — позвал он проходившего мимо офицера, одетого в форму мушкетеров. — Арестуйте и заточите в тюрьму стражу южного входа и южных ворот. Замените ее надежными людьми». Давиду он опять сказал: «Идемте со мной».

Он провел его через коридор и приемную в обширный кабинет, где в большом кожаном кресле, одетый во все черное, в тяжком раздумье сидел мрачный человек. Обращаясь к этому человеку, он сказал:

— Ваше величество, я говорил вам, что дворец кишит изменниками и шпионами, как погреб крысами. Вы, ваше величество, считали, что это плод моей фантазии. Но вот человек, проникший с их помощью во дворец. Он явился с письмом, которое мне удалось перехватить. Я привел его сюда, чтобы вы, ваше величество, убедились, что мое рвение отнюдь не чрезмерно.

— Я сам допрошу его, — отозвался король, шевельнувшись в своем кресле. Он с трудом поднял отяжелевшие веки и мутным взором посмотрел на Давида.

---

<sup>2</sup> Пароль (фр.).



Поэт преклонил колени.

— Откуда явился ты? — спросил король.

— Из деревни Вернуа, департамент Ора-и-Луара.

— Что ты делаешь в Париже?

— Я... хочу стать поэтом, ваше величество.

— Что ты делал в Вернуа?

— Пас отцовских овец.

Король снова пошевелился, и глаза его посветлели.

— О! Среди полей?

— Да, ваше величество.

— Ты жил среди полей. Ты уходил на заре из дома, вдыхая утреннюю прохладу, и ложился под кустом на траву. Стадо рассыпалось по склону холма; ты пил ключевую воду, забравшись в тень, ел вкусный черный хлеб и слушал, как в роще свистят черные дрозды. Не так ли, пастух?

— Да, ваше величество, — вздыхая, сказал Давид, — и как пчелы жужжат, перелетая с цветка на цветок, а на холме поют сборщики винограда.

— Да, да, — нетерпеливо перебил король, — поют, разумеется, и сборщики винограда; но черные дрозды! Ты слышал, как они свистят? Часто они пели в роще?

— Нигде, ваше величество, они не поют так хорошо, как у нас в Вернуа. Я пытался передать их трели в стихах, которые я написал.

— Ты помнишь эти стихи? — оживился король. — Давно я не слышал черных дроздов. Передать стихами их песню — это лучше, чем владеть королевством! Вечером ты загонял овец в овчарню и в мире и покое ел свой хлеб. Ты помнишь эти стихи, пастух?

— Вот они, ваше величество, — с почтительным рвением сказал Давид:

*Глянь, пастух, твои овечки  
Резво скачут по лугам;  
Слышишь, ели клонит ветер,  
Пан прижал свирель к губам.  
Слышишь, мы свистим на ветках,  
Видишь, к стаду мы летим,  
Дай нам шерсти, наши гнезда  
Обогреть...*

— Ваше величество, — перебил резкий голос, — разрешите мне задать этому рифмоплету несколько вопросов. Время не ждет. Прошу прощения, ваше величество, если я слишком назойлив в моей заботе о вашей безопасности.

— Преданность герцога д'Омаль слишком хорошо испытана, чтобы быть назойливой. — Король погрузился в кресло, и глаза его снова помутнели.

— Прежде всего, — сказал герцог, — я прочту вам письмо, которое я у него отобрал.

«Сегодня годовщина смерти наследника престола. Если он поедет, по своему обыкновению, к полуночной мессе молиться за упокой души своего сына, сокол ударит на углу улицы Эспланад. Если таково его намерение, поставьте красный фонарь в верхней комнате, в юго-западном углу дворца, чтобы сокол был наготове».

— Пастух, — строго сказал герцог, — ты слышал, что здесь написано. Кто вручил тебе это письмо?

— Господин герцог, — просто сказал Давид. — Я вам отвечу. Мне дала его дама. Она сказала, что ее мать больна и надо вызвать ее дядю к постели умирающей. Мне непонятен смысл этого письма, но я готов поклясться, что дама прекрасна и добра.

— Опиши эту женщину, — приказал герцог, — и расскажи, как она тебя одурачила.

— Описать ее! — сказал Давид, и нежная улыбка осветила его лицо. — Где найти те слова, которые могли бы совершить это чудо! Она... Она соткана из света солнца и мрака ночи. Она стройна, как ольха, и гибка, словно ива. Поглядишь ей в глаза, и они мгновенно меняются: широко открытые, они вдруг сощурятся и смотрят, как солнце сквозь набежавшие облака. Она появляется — все сияет вокруг, она исчезает — и ничего нет, только аромат боярышника. Я увидел ее на улице Конти, дом двадцать девять.

— Это дом, за которым мы следили, — сказал герцог, обращаясь к королю. — Благодаря красноречию этого простака перед нами предстал портрет гнусной графини Кеbedo.

— Ваше величество и ваша светлость, — взволнованно начал Давид. — Надеюсь, мои жалкие слова ни на кого не навлекут несправедливого гнева. Я смотрел в глаза этой даме. Ручаюсь своей жизнью, она — ангел, что бы ни было в этом письме.

Герцог пристально посмотрел на него.

— Я подвергну тебя испытанию, — сказал он, отчеканивая каждое слово. — Переодетый королем, ты, в его карете, поедешь в полночь к мессе. Согласен ты на это испытание?

Давид улыбнулся.

— Я смотрел ей в глаза, — повторил он. — Мне других доказательств не надо. А вы действуйте по своему усмотрению.

В половине двенадцатого герцог д'Омаль собственными руками поставил красный фонарь на окно в юго-западном углу дворца. За десять минут до назначенного часа Давид, опираясь на руку герцога, с ног до головы облаченный в королевскую одежду, прикрыв лицо капюшоном, проследовал из королевских покоев к ожидавшей его карете. Герцог помог ему войти и закрыл дверцу. Карета быстро покатила к собору.

В доме на углу улицы Эспланад засел капитан Тетро с двадцатью молодцами, готовый ринуться на крамольников, как только они появятся. Но, по-видимому, какие-то соображения заставили заговорщиков изменить свой план. Когда королевская карета достигла улицы Кристоф, не доезжая одного квартала до улицы Эспланад, из-за угла выскочил капитан Дероль со своей кучкой царевийц и напал на экипаж. Стража, охранявшая карету, оправившись от замешательства, оказала яростное сопротивление. Капитан Тетро, заслышав шум схватки, поспешил со своим отрядом на выручку. Но в это время отчаянный Дероль распахнул дверцу королевской кареты, приставил пистолет к груди человека, закутанного в темный плащ, и выстрелил. С прибытием подкреплений улица огласилась криками и лязгом стали; лошади испугались и понесли. На подушках кареты лежало мертвое тело несчастного поэта и мнимого короля, сраженного пулей из пистолета монсеньора маркиза де Бопертюи.

## Главная дорога

*Итак, три лье тянулась дорога и вдруг озадачила его. Поперек ее пролегла другая дорога, широкая и торная. Давид постоял немного в раздумье и присел отдохнуть у обочины.*

Куда вели эти дороги, он не знал. Любая из них могла открыть перед ним большой мир, полный удач и опасностей. Давид сидел у обочины, и вдруг взгляд его упал на яркую звезду, которую они с Ивонной называли своей. Тогда он вспомнил Ивонну и подумал о том, не поступил ли он опрометчиво. Неужели несколько запальчивых слов заставят его покинуть свой дом и Ивонну? Неужели любовь так хрупка, что ревность — самое истинное доказательство любви — может ее разбить! Сколько раз убеждался он, что утро бесследно уносит легкую вечернюю тоску. Он еще может вернуться, и ни один обитатель сладко спящей деревушки Вернуа ничего не узнает. Сердце его принадлежит Ивонне, здесь он прожил всю жизнь, здесь может он сочинять свои стихи и найти свое счастье.

Давид поднялся, и тревожные, сумасбродные мысли, не дававшие ему покоя, развеялись. Твердым шагом пустился он в обратный путь. Когда он добрался до Вернуа, от его жажды скитаний ничего не осталось. Он миновал загон для овец; заслышав шаги позднего прохожего, они шарахнулись и сбились в кучу, и от этого знакомого домашнего звука на сердце у Давида

потеплело. Тихонько поднялся он в свою комнатку и улегся в постель, благодарный судьбе за то, что эта ночь не застигла его в горьких странствиях по неведомым дорогам.

Как хорошо понимал он сердце женщины! На следующий вечер Ивонна пришла к колодцу, где собиралась молодежь, чтобы кюре не оставался без дела. Краешком глаза девушка искала Давида, хотя сжатый рот ее выражал непреклонность. Давид перехватил ее взгляд, не испугался сурового рта, сорвал с него слово примирения, а потом, когда они вместе возвращались домой, — и поцелуй.

Через три месяца они поженились. Отец Давида был отличным хозяином, и дела его шли на славу. Он задал такую свадьбу, что молва о ней разнеслась на три лье в округности. И жениха и невесту очень любили в деревне. По улице прошла праздничная процессия, на лужайке были устроены танцы, а из города Дрё для увеселения гостей прибыли театр марионеток и фокусник.

Год спустя отец Давида умер. Давид получил в наследство дом и овечье стадо. Самая пригожая и ловкая хозяйка в деревне тоже принадлежала ему. Ух, как сверкали на солнце ведра и медные котлы Ивонны! Взглянешь, проходя мимо, и ослепнешь от блеска. Но не закрывайте глаз, идите смело, один только вид сада Ивонны, с его искусно разделанными веселыми клумбами, сразу возвратит вам зрение. А песни Ивонны — они доносились даже до старого каштана, что раскинулся над кузницей папаши Грюно.

Но наступил однажды день, когда Давид вытащил лист бумаги из давно не открывавшегося ящика и принялся грызть карандаш. Снова пришла весна и прикоснулась к его сердцу. Видно, он был истинным поэтом, потому что Ивонна оказалась почти совсем забытой. Все существо Давида заполнило колдовское очарование обновленной земли. Аромат лесов и цветущих долин странно тревожил его душу. Прежде он с утра уходил в луга со своим стадом и вечером благополучно пригонял его домой. Теперь же он ложился в тени куста и начинал нанизывать строчки на клочках бумаги. Овцы разбредались, а волки, приметив, что там, где стихи даются трудно, баранина достается легко, выходили из леса и похищали ягнят.

Стихов становилось у Давида все больше, а овец — все меньше. Цвет лица и характер у Ивонны испортились, речь огрубела. Ведра и котлы ее потускнели, зато глаза засверкали злым блеском. Она объявила поэту, что его безделье губит их стадо и разоряет все хозяйство. Давид нанял мальчика караулить стадо, заперся в маленькой чердачной комнатке и продолжал писать стихи. Мальчик тоже оказался по натуре поэтом, но, не умея выражать свои чувства в стихах, проводил время в мечтательной дремоте. Волки не замедлили обнаружить, что стихи и сон — по существу, одно и то же, и стадо неуклонно и быстро сокращалось. С той же быстротой ухудшался характер Ивонны. Иногда она останавливалась посередине двора и принималась осыпать громкой бранью Давида, сидевшего перед окном на своем чердаке. И крики ее доносились даже до старого каштана, что раскинулся над кузницей папаши Грюно.

Господин Папино — добрый, мудрый нотариус, вечно совавший свой нос в чужие дела, видел все это. Он пришел к Давиду, подкрепился основательной понюшкой табака и произнес следующее:

— Друг мой Миньо! В свое время я поставил печать на брачном свидетельстве твоего отца. Мне было бы очень тягостно заверять документ, означающий банкротство его сына. Но именно к этому идет дело. Я говорю с тобой, как старый друг. Выслушай меня. Насколько я могу судить, тебя влечет только поэзия. В Дрё у меня есть друг — господин Бриль. Жорж Бриль. Дом его весь заставлен и завален книгами, среди которых он расчистил себе маленький уголок для жилья. Он — человек ученый, каждый год бывает в Париже, сам написал несколько книг. Он может рассказать, когда были построены катакомбы, и как люди узнали названия звезд, и почему у кулика длинный клюв. Смысл и форма стиха для него так же понятны, как для тебя — бляенье овец. Я дам тебе письмо к нему, и он прочтет твои стихи. И тогда ты узнаешь, стоит ли тебе писать, или лучше посвятить свое время жене и хозяйству.

— Пишите письмо, — отвечал Давид. — Жаль, что вы раньше не заговорили со мной об этом.

На рассвете следующего дня он шел по дороге, ведущей в Дрё, с драгоценным свертком

стихов под мышкой. В полдень он отряхнул пыль со своих сапог у дверей дома господина Бриля. Этот ученый муж вскрыл печать на письме господина Папино и сквозь сверкающие очки поглотил его содержание, как солнечные лучи поглощают влагу. Он ввел Давида в свой кабинет и усадил его на островке, среди бурного моря книг.

Господин Бриль был добросовестным человеком. Он и глазом не моргнул, заметив увесистую рукопись в четыре пальца толщиной. Он разгладил пухлый свиток на колене и начал читать. Он не пропускал ничего, вгрызаясь в кипу бумаги, как червь вгрызается в орех в поисках ядра.

Между тем Давид сидел на своем островке, с трепетом озирая бушующие со всех сторон волны литературы. Книжное море ревело в его ушах. Для плавания по этому морю у него не было ни карты, ни компаса. Наверно, половина всех людей в мире пишет книги, решил Давид.

Господин Бриль добрался до последней страницы. Он снял очки и протер их носовым платком.

— Как чувствует себя мой друг Папино? — осведомился он.

— Превосходно, — ответил Давид.

— Сколько у вас овец, господин Миньо?

— Вчера я насчитал триста девять. Моему стаду не посчастливилось. Раньше в нем было восемьсот пятьдесят овец.

— У вас есть жена и дом, и вы жили в довольстве. Овцы давали вам все, что нужно. Вы уходили с ними в поля, дышали свежим, бодрящим воздухом, и сладок был хлеб, который вы ели. Вам оставалось только глядеть за своим стадом и, отдыхая на лоне природы, слушать, как в соседней роще свистят черные дрозды. Я пока что не отклонился от истины?

— Да, так было, — ответил Давид.

— Я прочел все ваши стихи, — продолжал господин Бриль, блуждая взором по своему книжному морю, словно высматривал парус на горизонте. — Поглядите в окно, господин Миньо, и скажите мне, что вы видите вон на том дереве.

— Я вижу ворону, — отвечал Давид, посмотрев, куда ему было указано.

— Вот птица, — сказал господин Бриль, — которая поможет мне исполнить мой долг. Вы знаете эту птицу, господин Миньо, она считается философом среди пернатых. Ворона счастлива, потому что покорна своей доле. Нет птицы более веселой и сытой, чем ворона с ее насмешливым взглядом и походкой вприпрыжку. Поля дают ей все, что она пожелает. Никогда она не горюет о том, что оперение у нее не так красиво, как у иволги. Вы слышали, господин Миньо, каким голосом одарила ее природа? И вы думаете, соловей счастливее?

Давид встал. Ворона хрипло каркнула за окном.

— Благодарю вас, господин Бриль, — медленно произнес он. — Значит, среди всего этого вороньего карканья не прозвучало ни единой соловьиной ноты?

— Я бы не пропустил ее, — со вздохом ответил господин Бриль. — Я прочел каждое слово. Наслаждайтесь поэзией, юноша, но не пытайтесь больше писать.

— Благодарю вас, — повторил Давид. — Пойду домой, к моим овцам.

— Если вы согласитесь пообедать со мной, — сказал книжник, — и постараетесь не огорчаться, я подробно изложу вам мою точку зрения.

— Нет, — сказал Давид, — мне надо быть в поле и каркать на моих овец.

И со свертком стихов под мышкой он побрел обратно в Вернуа. Придя в деревню, он завернул в лавку Цейглера — армянского еврея, который торговал всякой всячиной, попадавшей ему в руки.

— Друг, — сказал Давид, — волки таскают у меня овец из стада. Мне нужно какое-нибудь огнестрельное оружие. Что вы можете предложить мне?

— Несчастливый у меня сегодня день, друг Миньо, — отвечал Цейглер, разводя руками. — Придется, видно, отдать вам за бесценное великолепное оружие. Всего лишь на прошлой неделе я приобрел у бродячего торговца целую повозку разных вещей, которые он купил на распродаже имущества одного знатного вельможи, титула его не знаю. Этот вельможа сослан за участие в заговоре против короля, а замок его и все достояние проданы с

молотка по приказу короны. Я получил и кое-что из оружия — превосходнейшие вещицы. Вот пистолет — о, это оружие, достойное принца! Вам он обойдется всего лишь в сорок франков, друг Миньо, и пусть я потеряю на этом деле десять франков. Но, может быть, вам требуется аркебуза...

— Пистолет мне подойдет, — отвечал Давид, бросая деньги на прилавок. — Он заряжен?

— Я сам заряджу его, — сказал Цейглер, — а если вы добавите еще десять франков, дам вам запас пороха и пуль.

Давид сунул пистолет за пазуху и направился домой. Ивонны не было, в последнее время она часто уходила к соседкам. Но в кухонной печке еще тлел огонь. Давид приоткрыл печную дверцу и кинул сверток со стихами на красные угли. Бумага вспыхнула, пламя взвилось, и в трубе раздался какой-то странный, хриплый звук

— Карканье вороны, — сказал поэт.

Он поднялся на свой чердак и захлопнул дверь. В деревне стояла такая тишина, что множество людей услышало грохот выстрела из большого пистолета. Жители толпой бросились к дому Давида и, толкаясь, побежали на чердак, откуда тянулся дымок.

Мужчины положили тело поэта на постель, кое-как прикрыв разодранные перышки несчастной вороны. Женщины трещали без умолку, ахали и причитали. Несколько соседок побежали сообщить печальную весть Ивонне.

Господин Папино, чей любознательный нос привел его на место происшествия одним из первых, подобрал с пола пистолет и со смешанным выражением восхищения и скорби стал разглядывать серебряную чеканку.

— На этом пистолете, — заметил он вполголоса, обращаясь к кюре, — фамильный герб монсеньора маркиза де Бопертюи.

## Хранитель рыцарской чести

Дядя Бешрод был не последней спицей в банке Веймутс. Дядя Бешрод шестьдесят лет верно служил дому Веймутс в качестве предмета обихода, слуги и друга. Цветом он походил на красное дерево, так черен был он лицом; но душа его была, как нетронутые чернилами страницы банковских книг. Это сравнение чрезвычайно понравилось бы дяде Бешроду, так как он считал, что единственное учреждение в мире, достойное внимания — это банк Веймутс, где он занимал среднее положение между швейцаром и генерал-фельдмаршалом.

Местечко Веймутс, сонное и тенистое, расположилось среди холмов на склоне южной долины. В Веймутсвилле было три банка. Два из них представляли собой безнадежные, неправильно управляемые предприятия, которым недоставало участия и престижа Веймутса, чтобы придать им блеска. Третьим был банк, управляемый Веймутсами и дядей Бешродом.

В старом жилище Веймутсов — здании из красного кирпича с белым портиком, первое направо, когда вы пересекаете Эдлер, входя в город, — проживал мистер Роберт Веймутс (председатель банка), его дочь, вдова миссис Визей, которую все называли «мисс Летти», и ее двое детей: Нэн и Гью. Здесь же, в коттедже, в саду жил дядя Бешрод с теткой Мелинди, своей женой. Мистер Вильям Веймутс (казначей банка) жил в новомодном красивом доме на главной авеню.

Мистер Роберт был крупным, полным человеком шестидесяти двух лет, с гладким, пухлым лицом, длинными седыми волосами и огненными синими глазами. Он был вспыльчивый, добрый и великодушный, с молодой улыбкой и грозным строгим голосом, звук которого не всегда соответствовал намерению.

М-р Вильям был мягче характером, имел корректный вид и был всецело поглощен делами. Веймутсы считались первым семейством Веймутсвилля, на них смотрели снизу вверх; это составляло их наследственную привилегию.

Дядя Бешрод был доверенный, швейцар, посыльный, вассал и хранитель банка. У него был свой ключ от кладовой, как у мистера Роберта и мистера Вилльяма. Случалось, что на полу кладовой лежали груды мешков с десятью, пятнадцатью, двадцатью тысячами долларов серебром. Их можно было доверить дяде Бешроду. Он был настоящий Веймутс душой, честностью и гордостью.

Последнее время дядя Бешрод был не совсем спокоен. Дело касалось «массы» Роберта. Уже почти год, как мистер Роберт стал отличаться слишком большой склонностью к бутылочке... Правда, он не напивался допьяна, но привычка к выпивке уже укоренилась в нем, и все начали замечать это. Он шесть раз на дню оставлял банк и заходил в Отель Коммерсантов и Плантадоров, чтобы выпить. Обычная острота суждений и деловые способности мистера Роберта немножко пострадали. Мистер Вилльям, также Веймутс, но не обладавший таким опытом, старался затормозить неизбежный отлив клиентов, но с недостаточным успехом. Вклады банка Веймутс упали с шестизначных цифр до пятизначных. Накоплялись неоплаченные векселя, благодаря неудачным ссудам. Никому не хотелось затронуть с мистером Робертом вопрос о трезвости. Многие из его друзей утверждали, что причиной его слабости явилась потеря жены, умершей года два назад. Другие колебались из-за вспыльчивости мистера Роберта, который, безусловно, способен был принять такое вмешательство в его дела за оскорбление. Мисс Летти и дети заметили перемену и огорчились этим. Дядя Бешрод также тревожился, но он принадлежал к числу тех, которые не осмеливались протестовать, хотя он и масса Роберт выросли вместе почти на положении товарищей. Но дядю Бешрода ожидал более тяжелый удар, чем удар, нанесенный ему грогами и виски председателя банка.

У мистера Роберта была страсть к рыбной ловле, которой он предавался, когда это позволяли время года и дела. Однажды, получив какие-то известия относительно налимов и окуней, он объявил о своем намерении съездить денька на два, на три на озеро. Он сказал, что отправится на Тростниковое озеро вместе с судьей Арчинардом, старым приятелем.

Дядя Бешрод был казначеем общества «Сыновья и Дочери Неопалимой Купины». Каждое общество, к которому он принадлежал, назначало его без всяких колебаний казначеем. Его имя стояло первым в негритянских кругах. Он считался среди них мистером Бешродом из банка Веймутс.

В ночь, следующую за днем, когда мистер Роберт сообщил о своей предполагаемой поездке на рыбную ловлю, старик проснулся и встал с постели в двенадцать часов; он сказал, что он должен пойти в банк и достать расчетную книжку «Сыновей и Дочерей», которую он забыл взять домой. Бухгалтер днем составил для него баланс, вложил в книжку погашенные чеки и защелкнул вокруг нее два резиновых кружка. Для других расчетных книжек полагался только один кружок.

Тетка Мелинда возражала против этого предприятия. В такой поздний час! Это бессмыслица! Но дядю Бешрода невозможно было отговорить от исполнения долга.

— Я сказал сестре Аделине Хоскинс, — ответил он, — пусть она придет за этой книжкой завтра утром в семь часов, чтобы отнести ее на собрание учредителей, и книжка должна быть здесь, когда она придет.

Итак, дядя Бешрод облекся в свой старый коричневый костюм, взял свою толстую палку орехового дерева и побрел по почти пустынным улицам Веймутсвилля. Он вошел в банк, отперев боковую дверь, и нашел расчетную книжку там, где ее оставил, — в маленькой задней комнате, служившей для частных совещаний, где он всегда вешал свое пальто. Все вещи были в том порядке, в каком он их оставлял, и дядя Бешрод собирался уже уйти домой, когда его остановил вдруг скрип ключа у главного входа. Кто-то быстро вошел, тихо затворил дверь и проник в счетную комнату через дверцу в железной решетке.

Это отделение банка соединялось с задней комнатой узким коридором, который теперь тонул в глубоком мраке.

Дядя Бешрод крепко ухватился за свою ореховую палку и стал пробираться на цыпочках по коридору, пока не увидел полуночного гостя, проникнувшего в святую святых банка

Веймутс. Там горел лишь один газовый рожок, но он даже при этом мутном свете сразу распознал, что грабитель — председатель банка. Изумленный, оробевший, не зная, что ему предпринять, чернокожий старик стоял неподвижно в темном коридоре и выжидал. Напротив него была кладовая с большой железной дверью. Внутри находился сейф, содержащий ценные бумаги, золото и наличность банка. На полу кладовой находилось приблизительно тысяч восемнадцать серебром.

Председатель вынул ключ из кармана, открыл кладовую и вошел внутрь, почти закрыв за собой дверь. Дядя Бешрод видел сквозь узкое отверстие мерцанье свечи.

Минуты через две — наблюдателю показалось, что прошел целый час — мистер Роберт вышел, таща с собой большой чемодан; он обращался с ним с осторожной поспешностью, словно боялся, что его заметят. Он закрыл и запер дверь в кладовую одной рукой.

С неприятной идеей, сложившейся под его курчавыми волосами, дядя Бешрод ждал и следил, дрожа в скрывающей его тени.

Мистер Роберт осторожно поставил чемодан на конторку и поднял воротник пальто, чтобы закрыть себе шею и уши. Он был одет в грубый серый костюм, по-видимому дорожный. Он посмотрел, напряженно нахмутив брови, на большие конторские часы над зажженным газовым рожком, затем тоскливо оглядел банк, тоскливо и нежно, подумал дядя Бешрод, будто прощался с дорогой, привычной обстановкой.

Потом он снова поднял свою ношу и быстро и тихо вышел из банка тем же путем, по которому пришел, и запер за собой парадную дверь.

Дядя Бешрод стоял больше минуты, смотря ему вслед, превращенный в камень. Если бы полуночный грабитель оказался кем бы то ни было другим, старый слуга кинулся бы на него и ударил бы его, чтоб спасти имущество Веймутсов. Но теперь душа свидетеля терзалась мучительным опасением чего-то худшего, чем обыкновенное воровство. Его охватил ужас; ведь это доброе имя и честь Веймутсов должны погибнуть! Масса Роберт ограбил банк! Что иное могло тут быть? Ночной час, тайное посещение кладовой, наполненный чемодан, пронесенный им так быстро и неслышно, грубый костюм грабителя, тревожный взгляд, брошенный на часы, бесшумное исчезновение — что иное могло это означать?

Затем к тревожным мыслям дяди Бешрода присоединились подтверждающие воспоминания предыдущих событий: все растущая невоздержанность мистера Роберта и, как следствие ее, частые приступы деспотических капризов и вспышек гнева; случайный разговор, слышанный им в банке по поводу застоя в делах и затруднений в собирании вкладов. Что иное могло это означать, как не то, что мистер Роберт Веймутс — растратчик и решил бежать с оставшимися фондами банка, предоставив мистеру Вильяму, мисс Летти, маленьким Нэн и Гью и дяде Бешроду нести бремя позора.

Дядя Бешрод обсуждал эти вопросы в течение минуты, потом в нем пробудилась внезапная решимость и энергия.

— Боже! боже! — громко застонал он и поспешно заковылял к боковой двери. — Такой конец после стольких лет великих и прекрасных дел. Какое позорное зрелище для всего мира, если член семьи Веймутс окажется грабителем и растратчиком. Пора дяде Бешроду вычистить этот курятник и поставить дело на рельсы. О боже! Масса Роберт, вы этого не сделаете! Мисс Летти и детки такие гордые, только и повторяют: «Веймутс, Веймутс!» на все лады. Я удержу вас, если смогу. Можно ожидать, что вы прострелите голову старому негру, если он будет вам противоречить, но я удержу вас, если смогу.

Дядя Бешрод, с помощью ореховой палки и с препятствием в виде ревматизма, поспешил вдоль улицы по направлению к железнодорожной станции, где встречались обе линии, проходившие через Веймутсвилль. Как он ожидал и боялся, он увидел там мистера Роберта, стоявшего в тени здания, в ожидании поезда. Он держал в руке чемодан. Когда дядя Бешрод подошел к председателю банка, стоявшему, как огромный серый призрак, у стены вокзала, на расстояние двадцати шагов, его охватило волнение. Ему ясно представилась опрометчивость и смелость поступка, который он хотел совершить. Он был бы счастлив повернуть назад и убежать от взрыва пресловутого гнева Веймутсов. Но он снова увидел в своем воображении

бледное, укоризненное лицо мисс Летти и горестные взгляды Нэн и Гью. Что же он скажет им, если он не исполнит своего долга? Он, который обязан защищать их?

Подстрекаемый этой мыслью, он пошел по прямой линии, покашливая и постукивая палкой, чтоб его скорей узнали. Таким образом он избегнет грозившей ему опасности неожиданно испугать запальчивого мистера Роберта.

— Это вы, Бешрод? — прозвучал резкий, звонкий голос серого призрака.

— Да, сэр, масса Роберт.

— Какого черта вы шляетесь по ночам?

В первый раз в своей жизни дядя Бешрод солгал массе Роберту. Он не мог избежать этого. Ему придется выкручиваться. Его нервы не выдержат прямого нападения.

— Я пошел, сэр, навестить старую тетку Марию Паттерсон. Она заболела ночью, и я отнес ей бутылку лекарства от Мелинды. Да, сэр.

— Вот как! — сказал Роберт. — Идите лучше домой, не бродите по ночному воздуху. Теперь сыро. Вы завтра будете ни к черту не годны из-за вашего ревматизма. Думается, будет ясный день, Бешрод.

— Полагаю, что будет, сэр. Солнце было багровое при закате нынче вечером.

Мистер Роберт зажег в темноте сигару; дым казался серым призраком, исчезающим и растворяющимся в ночном воздухе. Язык у дяди Бешрода не повиновался ему, отказываясь затронуть страшную тему. Дядя Бешрод стоял на гравии, неловкий, неуклюжий, ковыряя своей палкой песок.

Но тут он услышал вдалеке, на расстоянии трех миль — у стрелки Джимтоуна — свисток приближающегося поезда, того поезда, которому суждено было унести имя Веймутсов в страну бесчестия и позора. Страх покинул его. Он снял шляпу и повернулся к вождю клана, которому он служил, к великому, царственному, добросердечному, надменному, страшному Веймутсу. Он остановил его на границе ужасного деяния, которое должно было совершиться.

— Масса Роберт, — начал он голосом, слегка дрожавшим от напора чувств. — Вы помните день, когда был конкурс верховой езды в Дубовой Долине? Тот день, сэр, когда вы взяли первый приз и увенчали мисс Люси королевой?

— Конкурс? — сказал мистер Роберт, вынимая сигару изо рта. — Да, я отлично помню, но какого черта вы здесь, в полночь, толкуете о конкурсах? Ступайте домой, Бешрод. Никак вы стали лунатиком?

— Мисс Люси коснулась вашего плеча саблей, — продолжал старик, не обращая на него внимания, — и сказала: «Я посвящаю вас в рыцари, сэр Роберт. Встаньте, непорочный, без страха и упрека». Это сказала мисс Люси. Это было очень давно, но мы с вами этого не забыли. И другую минуту мы также не забыли, — ту минуту, когда мисс Люси лежала на смертном одре. Она послала за дядей Бешродом и сказала: «Дядя Бешрод, когда я умру, обещайте хорошенько заботиться о мистере Роберте. Мне кажется», — так сказала мисс Люси, — он больше слушается вас, чем всех других. Он иногда бывает очень раздражительный и, может быть, выругает вас, если вы начнете его убеждать, но он должен иметь около себя человека, понимающего его. Он иногда точно ребенок». — Это сказала мисс Люси, и глаза ее сияли на ее жалком и исхудалом лице, «но он всегда был — это ее слова — моим рыцарем, непорочным, без страха и упрека».

Мистер Роберт попытался, по своей привычке, замаскировать поддельным гневом прилив чувствительности.

— Вы... вы старый пустомеля! — ворчал он сквозь облака клубившегося сигарного дыма. — Никак вы рехнулись? Я велел вам отправиться домой, Бешрод. Мисс Люси сказала это, вот как? Что делать, мы не сумели сохранить щит незапятнанным. Два года минуло на прошлой неделе, как она умерла, не так ли, Бешрод? Провались все! Вы всю ночь собираетесь здесь стоять и гоготать, как гусак кофейного цвета?

Поезд снова дал свисток. Он был теперь у водокачки, на расстоянии одной мили.

— Масса Роберт, — сказал дядя Бешрод, положив руку на чемодан, который держал банкир. — Бога ради, не берите это с собой. Я знаю, что там находится. Я знаю, где вы это



взяли. Не берите это с собой. В этом чемодане большое горе для мисс Люси и для деток дочери мисс Люси. Из-за этого погибнет имя Веймутсов, и тем, кто его носит, придется склонить голову под бременем позора и отчаяния. Масса Роберт, вы можете убить старого негра, если захотите, но не берите с собой чемодана. Если я когда-нибудь переплыву Иордан, что мне сказать мисс Люси, когда она спросит меня: «Дядя Бешрод, почему вы не заботились хорошенько о мистере Роберте?»

Мистер Роберт бросил свою сигару и высвободил одну руку своеобразным жестом, который у него всегда предшествовал взрыву гнева. Дядя Бешрод наклонил голову перед ожидаемой бурей, но не отступил. Если дому Веймутсов суждено погибнуть, он погибнет вместе с ним. Банкир заговорил, и дядя Бешрод замигал глазами от удивления. Буря наступила, но утихнувшая до безмятежности летнего ветерка.

— Бешрод, — сказал мистер Роберт, более тихим голосом, чем всегда, — вы перешли все границы. Вы злоупотребили снисходительностью, с которой к вам относились, чтоб непростительно вмешаться не в свое дело. Так, значит, вам известно, что в этом чемодане? Ваша продолжительная и верная служба является некоторым извинением для вас. Но ступайте домой, Бешрод, и ни слова больше!

Но Бешрод схватил чемодан более твердой рукой. Фонарь на локомотиве освещал теперь мрак вокруг вокзала. Шум увеличивался, и люди зашевелились около полотна.

— Масса Роберт, отдайте мне ваш чемодан. Я имею право, сэр, так говорить с вами. Я работал на вас и служил вам с детских лет. Я проделал войну в качестве вашего денщика, пока мы не вздули янки и не отправили их обратно на Север. Я присутствовал на вашей свадьбе и был не особенно далек, когда родилась мисс Летти. А детки мисс Летти, они теперь всегда поджидают дядю Бешрода, когда он возвращается вечером домой. Я был Веймутсом, за исключением цвета кожи и титулов. Мы оба — старики, масса Роберт. Теперь уже недолго ждать той поры, когда мы увидимся с мисс Люси и нам придется дать отчет в наших делах. От старого негра многого не ждут; достаточно, если он скажет, что сделал все, что мог, для семейства, которому принадлежал. Но Веймутсы — они должны сказать, что жили непорочно, без страха и упрека. Отдайте мне этот чемодан, масса Роберт, — я его возьму. Я снесу его обратно в банк и запру его в кладовую. Я сделаю, как приказала мисс Люси. Отпустите чемодан, масса Роберт.

Поезд стоял у станции. Несколько человек толкали тележки по платформе. Два-три сонных пассажира вышли из поезда и побрели в темноту. Кондуктор спустился на гравий, взмахнул фонарем и закричал: «Алло! Франк!» кому-то невидимому. Раздался звонок, тормоза зашипели, кондуктор завопил: «Все в вагоны!»

Мистер Роберт выпустил чемодан из рук. Дядя Бешрод прижал его к груди обеими руками, как влюбленный обнимает свою первую любовь.

— Возьмите его с собой, Бешрод! — сказал мистер Роберт, пряча руки в карманы. — И пусть с этим вопросом будет покончено — слышите! Вы достаточно наговорили. Я поеду с этим поездом. Скажите мистеру Вильяму, что я вернусь в субботу. Спокойной ночи!

Банкир взошел на ступеньки вагона и скрылся в купе. Дядя Бешрод стоял неподвижно, все еще обнимая драгоценный чемодан. Его глаза были закрыты, а губы шевелились, шепча благодарность небесному отцу за спасение чести Веймутсов. Он знал, что мистер Роберт вернется, как сказал. Веймутсы никогда не лгут. И теперь, слава богу, никто не сможет сказать, что они растрачивают деньги банка.

И старик устремился со спасенным чемоданом в банк.

В трех часах от Веймутсвилля мистер Роберт вышел в сером предрассветном тумане на одиноком полустанке. Он смутно разглядел фигуру человека, ожидавшего на платформе, и очертания рессорной коляски, пары лошадей и кучера. Полдюжины длинных бамбуковых рыболовных удочек торчали позади коляски.

— Приехал, Боб? — сказал судья Аргинард, старый приятель и школьный товарищ мистера Роберта. — Будет великолепный день для рыбной ловли. Мне кажется, ты говорил... Отчего ты не захватил с собой это самое?

Председатель банка Веймутс снял шляпу и взъерошил свои седые кудри.

— Вот что, Бен, сказать тебе правду, чертовски самонадеянный старый негр, принадлежащий моей семье, расстроил все дело. Он явился на вокзал и наложил свое «veto» на все предприятие. Он желает мне добра, и, я должен признаться, что он прав. Он каким-то образом проведаль, что я замыслил, хотя я все проделал в банке и протащил это в полночь. Полагаю, он заметил, что я позволяю себе немного больше, чем подобает джентльмену, и явился ко мне с несколькими вескими аргументами.

— Я брошу пить, — сказал мистер Роберт в заключение, — я пришел к убеждению, что человек не может предаваться этому и оставаться вполне тем, чем желает быть: непорочным, без страха и упрека.

— Что ж, приходится согласиться, — задумчиво сказал судья, когда они влезли в коляску, — против аргумента старого негра, по совести, ничего не попишешь.

— Все же, — сказал мистер Роберт со слабым отголоском вздоха, — в этом чемодане были две кварты самого лучшего, старого, бархатного виски, каким нам когда-либо приходилось промочить горло.

## Плюшевый котенок

Зрелище современных финансовых калифов, разгуливающих по Багдаду над Подземкой и старающихся облегчить нужду населения, способно заставить великого аль-Рашида перевернуться Гаруном в гробу. Если же нет, то его заставит произвести эту кувыркколлегию наша острота, ибо настоящий калиф был остроумным человеком и ученым и, следовательно, ненавидел каламбуры.

Как наилучшим образом облегчить заботы бедных — составляет одну из самых тяжелых забот богачей. Но все профессиональные филантропы сходятся в одном, а именно — что вы никогда не должны давать вашему объекту наличных денег.

Известно, что бедняки обладают колоссальным темпераментом, и, когда к ним попадают наличные деньги, они проявляют сильную тенденцию истратить их на фаршированные оливки или на увеличенные карандашные портреты с фотографий, вместо того чтобы внести их в уплату за взятую в рассрочку швейную машину.

Все же у старого Гаруна, как у благотворителя, были свои преимущества. Он брал с собой в обход своего визиря, Джаиффара (визирь представляет из себя соединение шофера, государственного секретаря и банка, открытого денно и ночью) и старого дядьку Месрура, своего палача.

С такой свитой путешествие калифа вряд ли могло потерпеть неудачу. Заметили ли вы в последнее время статьи в газетах под заглавием: «Что нам делать с нашими экс-президентами?» Теперь вообразите себе, что Карнеги пригласит «Его» и Джо Генса обходить с ним города и помогать ему в распределении бесплатных библиотек? Как вы думаете, хватило ли бы у какого-нибудь города смелости отказаться от библиотеки? При этой комбинации две библиотеки выросли бы там, где до сих пор имелся только один комплект сочинений Е. П. Рос.

Но, как я уже говорил, финансовые калифы убеждены, что на земле не существует горя, которое не могли бы исцелить деньги, и они полагаются исключительно на них. Аль-Рашид творил правосудие, награждал достойных и карал тут же на месте тех, кто ему не нравился. Он был основателем конкурса коротких рассказов. Каждый раз, когда он спасал на базаре какого-нибудь бродягу, он заставлял спасенного поведать ему грустную повесть своей жизни. Если рассказу недоставало правильного построения, стиля и остроумия, он приказывал визирю выдать автору пару тысяч ассигнаций Национального Босфорского Банка или предоставить ему теплое место императорского хранителя канареечного семени. Если рассказ оказывался враньем, калиф приказывал Месруру, палачу, отсечь рассказчику голову. Слух, что Гарун аль-Рашид еще жив и издает журнал, на который подписывалась ваша бабушка, не

находит подтверждения.

Теперь начнется рассказ о миллионере, бесполезном приращении капитала и младенцах, заблудившихся в лесу, но спасенных из оного.

Молодой Говард Пилкинс, миллионер, заработал свои деньги орнитологическим путем. Он был тонким знатоком аистов и явился на свет в нижнем этаже резиденции своих ближайших предков, богатых пивоваров Пилкинс. Его мать была участницей в деле. Старик Пилкинс скончался от печени, а миссис Пилкинс от фургонов для развозки пива, и остался один молодой Говард Пилкинс, обладатель 4 000 000 дол. и при этом славный малый. Это был приятный, умеренно заносчивый молодой человек, который непоколебимо верил, что за деньги можно купить все блага мира. И Багдад над Подземкой долгое время делал все возможное, чтоб поддержать в нем эту уверенность.

Но в конце концов он попал в мышеловку; он услышал, как защелкнулась пружина, и сердце его оказалось в проволочной клетке, где перед ним висел кусочек сыра; а звали ее Алисой фон дер Рюислинг.

Вы не получите описания Алисы ф. д. Р. Постарайтесь вызвать в памяти образ вашей собственной Мэгги, Веры или Беатрисы, выпрямите ей нос, смягчите ее голос, опустите ее тоном ниже, затем поднимите тоном выше, сделайте ее прекрасной и недосыгаемой, — и вы получите слабый оттиск Алисы. Ф. д. Рюислинги обладали крошившимся кирпичным домом, кучером и лошастью, такой старой, что она предъявляла права на принадлежность к роду периссодактилей и имела пальцы вместо копыт. В 1898 году Рюислингам пришлось приобрести новую сбрую для периссодактиля. Перед тем, как пользоваться ей, Джозефу, кучеру, велели смазать ее смесью золы и сажи.

Это семейство фон дер Рюислинг купило в 1649 году у индейского вождя участок земли между Сауэри и Восточной рекой, улицей Ривингтон и статуей Свободы, за кусок бахромы и пару красных турецких портьер. Я всегда восхищался прозорливостью этого индейца и его хорошим вкусом. Все это говорится, чтобы убедить вас, что фон дер Рюислинги всецело принадлежали к тому сорту бедных аристократов, которые воруют нос от людей, имеющих деньги. Я не то хотел сказать; я подразумевал людей, у которых «только» деньги.

Однажды вечером Пилкинс отправился в красный дом в Грамерси сквере и, как ему казалось, сделал Алисе ф. д. Р. предложение. Алиса, отвернув нос и думая о его деньгах, приняла это за предложение сделки и отказалась. Пилкинс, пустив в ход, подобно хорошему полководцу, все свои ресурсы, сделал неделикатный намек на все преимущества, которые могут дать его деньги. Это решило вопрос. Алиса окружила себя таким льдом, что даже Вальтер Вельман подождал бы до весны, чтоб сделать на нее набег в санях, запряженных собаками.

Но Пилкинс был и сам спортсменом.

— Если вы когда-нибудь почувствуете желание, — сказал он Алисе, — еще раз обдумать ваш ответ, пришлите мне вот такую розу.

Пилкинс смело коснулся рукой розы жакемино, которая была свободно воткнута в прическу Алисы.

— Отлично, — сказала она, — и, если я это сделаю, вы поймете, что один из нас научился чему-то новому в вопросе о покупательной способности денег. Вас испортили, мой друг. Нет, не думаю, чтобы я могла выйти за вас замуж. Я вам верну завтра подарки, полученные мною от вас.

— Подарки? — с удивлением сказал Пилкинс. — Я никогда в жизни не делал вам подарков. Я хотел бы видеть портрет во весь рост того мужчины, от которого вы приняли бы подарок. Помилуйте, вы ни разу не позволили мне послать вам цветы, конфеты или даже раскрашенный календарь.

— Вы забыли, — с легкой улыбкой сказала Алиса ф. д. Р. — Это было давно, когда наши семьи жили по соседству. Вам было семь лет; я нянчила свою куклу на тротуаре. Вы подарили мне маленького серого плюшевого котенка, с пуговками от ботинок вместо глаз. Голова у него открывалась, и он был наполнен внутри леденцами. Вы заплатили за него пять центов. Вы так

мне сказали. Я не могу вернуть вам леденцы: в три года у меня не развилось еще чувство порядочности, и я их съела. Но котенок у меня сохранился до сих пор. Я его аккуратно заверну сегодня вечером и завтра отошлю вам.

Под легким тоном Алисы ясно и твердо выступало упорство ее отказа. Пилкинсу ничего не оставалось делать, как только выйти из крошившегося красного дома и удалиться со своими ненавистными миллионами.

Пилкинс прошел на обратном пути через Мэдисон-сквер. Часовая стрелка на часах близилась к восьми; в воздухе был резкий холодок, но еще не замерзло. Темный маленький сквер казался холодной комнатой без крыши, с четырьмя стенами домов, озаренных тысячами слишком слабых огней. Только несколько бродяг расположились кое-где на скамейках.

Пилкинс неожиданно набрел на юношу, который храбро сидел без пиджака, словно бросая вызов летнему зною; белые рукава его рубашки резко выделялись при свете электрического фонаря. Рядом с ним сидела девушка, улыбающаяся, мечтательная, счастливая. На плечи ее был накинут пиджак — очевидно, юноши, презиравшего холод. Они представляли из себя современную редакцию младенцев, заблудившихся в лесу, просмотренную и заново переделанную; только птички еще не подросли к ним и не укрыли их листьями, как в первоначальной редакции этой сказки.

Финансовые калифы любят такие ситуации: ведь тут так легко сотворить благо.

Пилкинс сел на скамейку недалеко от юноши. Он взглянул на него украдкой и заметил (как мужчины всегда замечают, а женщины, увы! не умеют замечать), что они принадлежали к одному общественному кругу.

Спустя некоторое время Пилкинс наклонился к юноше и заговорил с ним; он ответил вежливо, с улыбкой. С отвлеченных предметов беседа перешла на подводные камни личностей. Но Пилкинс проявил здесь всю деликатность и сердечность, на которые только способен калиф. А когда они добрались до главного вопроса, юноша обратился к нему мягким голосом, с неизменной улыбкой.

— Я не хочу показаться вам неблагодарным, старина, — сказал он с юношеской, слишком быстрой, фамильярностью, — но, видите ли, я не могу принять ничего от незнакомого. Я знаю, вы порядочный человек, и я вам адски благодарен, но я не считаю возможным взять в долг у кого бы то ни было. Видите ли, я Маркус Клейтон, из Клейтонов из графства Роанока, в Виргинии, вы знаете. Эта молодая дама — мисс Ева Бедфорд, — полагаю, что вы слышали о Бедфордах. Ей семнадцать лет, и она принадлежит к Бедфордам из графства Бедфорд. Мы убежали из дому, чтоб повенчаться, и мы хотели посмотреть Нью-Йорк. Мы приехали сегодня днем. На пароме кто-то вытащил у меня бумажник, и у меня в кармане только три цента. Я завтра найду где-нибудь работу, и мы повенчаемся.

— Но послушайте, старина, — ответил Пилкинс тихим, конфиденциальным голосом, — вы не можете продержаться здесь даму в холоде всю ночь. Что касается отелей...

— Я уже сообщил вам, — сказал юноша, улыбаясь еще шире, — что у меня в кармане только три цента. Кроме того, будь у меня тысяча, нам все равно пришлось бы прождать здесь до утра. Это вы, конечно, поймете. Я очень вам обязан, но не могу принять от вас денег. Мы с мисс Бедфорд привыкли жить на свежем воздухе и не боимся холода. Я завтра найду какую-нибудь работу. У нас есть пакетик с пирожными и шоколадом; мы отлично обойдемся.

— Послушайте, — внушительно сказал миллионер. Моя фамилия Пилкинс, и у меня состояние в несколько миллионов долларов. У меня сейчас случайно в кармане долларов восемьсот-девятьсот наличными. Не думаете ли вы, что вы пересаливаете, отказываясь принять от меня сумму, которая помогла бы вам и этой молодой даме комфортабельно устроиться, хотя бы на эту ночь?

— Никак не могу согласиться с вами, — сказал Клейтон из графства Роанока. — Меня воспитали с иными взглядами. Но я все-таки страшно вам благодарен.

— Значит, вы заставляете меня пожелать вам доброй ночи? — сказал миллионер.

Уже во второй раз в этот день его деньгами пренебрегли простые души, для которых его доллары являлись словно костяными фишками. Пилкинс не поклонился ни золоту, ни

кредиткам, но он всегда верил в их почти неограниченную покупательную силу.

Пилкинс быстро удалился, затем вдруг повернул обратно и вернулся к скамейке, где сидела молодая пара. Он снял шляпу и начал говорить. Девушка смотрела на него с тем же живым, пламенным интересом, которым она удостаивала освещение, статуи и небоскребы, все, что заставляло старинный сквер казаться таким далеким от Бедфордского графства.

— Мистер... эээ... Роанока... — сказал Пилкинс, — я так восхищаюсь вашей независим... вашим идиотизмом, что я решаюсь обратиться к вашим рыцарским чувствам. Я полагаю, что вы, южане, считаете рыцарством держать даму на скамейке, в саду, холодной ночью, только для того, чтобы не уронить вашей отжившей гордости. Вот в чем дело: у меня есть приятельница — дама, которую я знал всю свою жизнь, — она живет в нескольких кварталах отсюда, конечно, с родителями, сестрами и тетками и тому подобными гарантиями. Я уверен, что эта дама будет очень довольна и счастлива перенести, то есть я хочу сказать... если мисс... эээ... Бедфорд доставит ей удовольствие быть ее гостьей на эту ночь. Вы не думаете, мистер Роанака из... эээ... Виргинии, что вы можете настолько поступиться вашими предубеждениями?

Клейтон из Роанака встал и протянул руку.

— Старина, — сказал он, — мисс Бедфорд с удовольствием воспользуется гостеприимством дамы, о которой вы говорите.

Он официально представил мистера Пилкинса мисс Бедфорд. Девушка ласково и благодушно взглянула на него.

— Прелестный вечер, мистер Пилкинс, вы не находите? — медленно сказала она.

Пилкинс привел их в крошившийся красный кирпичный дом фон дер Рюислингов. Его визитная карточка вызвала удивленную Алису вниз. Беглецов отправили в гостиную, пока Пилкинс в холле рассказывал Алисе, в чем дело.

— Конечно, я приму ее, — сказала Алиса. — Не правда ли, у этих южанок чрезвычайно благовоспитанный вид?.. Конечно, пусть остается здесь. Вы, понятно, позаботитесь о мистере Клейтоне?

— Еще бы! — сказал Пилкинс с восторгом. — О, да! Я о нем позабочусь! Как гражданин Нью-Йорка и вследствие этого пайщик его общественных садов, я предложу ему на эту ночь гостеприимство Мэдисон-сквера. Он собирается просидеть там на скамейке до утра. Его не переспоришь. Разве он не чудесный? Я рад, что вы позаботитесь о маленькой барышне, Алиса. Уверяю вас, благодаря этим младенцам в лесу, Биржа и Английский банк показались мне игрушечными домиками.

Мисс фон дер Рюислинг повела мисс Бедфорд из Бедфордского графства в верхние покои. Спустившись вниз, она сунула Пилкинсу в руку маленькую овальную картонную коробочку.

— Ваш подарок, — сказала она. — Я возвращаю его вам.

— О да, помню! — сказал Пилкинс со вздохом. — Плюшевый котенок.

Он покинул Клейтона на скамейке парка и обменялся с ним сердечным рукопожатием.

— Когда я достану работу, — сказал юноша, — я зайду к вам. Ваш адрес на вашей визитной карточке, не так ли? Благодарю вас. Итак, спокойной ночи. Я ужасно благодарен вам за вашу любезность. Нет, благодарю вас, я не курю. Доброй ночи.

Пилкинс в своей комнате открыл коробку и вынул удивленного смешного котенка, давно уже лишённого своих леденцов и потерявшего один глаз-пуговку. Пилкинс грустно взглянул на него.

— В конце концов, — сказал он, — я не верю, что только одни деньги...

Но тут у него вырвалось радостное восклицание, и он вытащил со дна коробки нечто, служившее подушкой котенку, — смятую, но алую, алую, благоухающую, великолепную многообещающую розу жакемино.

## Волшебный профиль

Калифов женского пола немного. По праву рождения, по склонности, инстинкту и устройству своих голосовых связок все женщины — Шехерезады. Каждый день сотни тысяч Шехерезад рассказывают тысячу и одну сказку своим султанам. Но тем из них, которые не остерегутся, достанется в конце концов шелковый шнурок.

Мне, однако, довелось услышать сказку об одной такой султанше. Сказка эта не вполне арабская, потому что в нее введена Золушка, которая орудовала кухонным полотенцем совсем в другую эпоху и в другой стране. Итак, если вы не против смешения времен и стран, то мы приступим к делу.

В Нью-Йорке есть одна старая-престарая гостиница. Гравюры с нее вы видели в журналах. Ее построили — позвольте-ка — еще в то время, когда к северу от Четырнадцатой улицы не было ровно ничего, кроме индейской тропы на Бостон да конторы Гаммерштейна<sup>3</sup>. Скоро старую гостиницу снесут. И в то время, когда начнут ломать массивные стены и с грохотом посыплются кирпичи по желобам, на соседних углах соберутся толпы жителей, оплакивая разрушение дорогого им памятника старины. Гражданские чувства сильны в Новом Багдаде; а пуще всех будет лить слезы и громче всех будет поносить иконоборцев тот гражданин (родом из Терри-Хот), который умиленно хранит единственное воспоминание о гостинице — как в 1873 году его там вытолкали в шею, с трудом оторвав от стойки с бесплатной закуской.

В этом отеле всегда останавливалась миссис Мэгги Браун. Миссис Браун была костлявая женщина лет шестидесяти, в порыжелом черном платье и с сумочкой из кожи того допотопного животного, которое Адам решил назвать аллигатором. Она всегда занимала в гостинице маленькую приемную и спальню на самом верху, ценою два доллара в день. И все время, пока она жила там, к ней толпами бегали просители, остроносые, с тревожным взглядом, вечно куда-то спешившие. Ибо Мэгги Браун занимала третье место среди капиталисток всего мира, а эти беспокойные господа были всего-навсего городские маклеры и дельцы, стремившиеся сделать небольшой заем миллионов этак в десять у старухи с доисторической сумочкой.

Стенографисткой и машинисткой в отеле «Акрополь» (ну вот я и проговорился!) была мисс Ида Бэйтс. Она казалась слепком с античных образцов. Ее красота была совершенна. Кто-то из галантных стариков, желая выразить свое уважение даме, сказал так: «Любовь к ней равнялась гуманитарному образованию»<sup>4</sup>. Так вот, один только взгляд на прическу и аккуратную белую блузку мисс Бэйтс равнялся полному курсу заочного обучения по любому предмету. Иногда она кое-что переписывала для меня, и поскольку она отказывалась брать деньги вперед, то привыкла считать меня чем-то вроде друга и протеже. Она была неизменно ласкова и добродушна, и даже комми по сбыту свинцовых белил или торговец мехами не посмел бы в ее присутствии выйти из границ благопристойности. Весь штат «Акрополя» мгновенно встал бы на ее защиту, начиная с хозяина, жившего в Вене, и кончая старшим портье, вот уже шестнадцать лет прикованным к постели.

Как-то днем, проходя мимо машинописного святилища мисс Бэйтс, я увидел на ее месте черноволосое существо — без сомнения, одушевленное, — стукавшее указательными пальцами по клавишам. Размышляя о превратности всего земного, я прошел мимо. На следующий день я уехал отдыхать и пробыл в отъезде две недели. По возвращении я заглянул в вестибюль «Акрополя» и не без сердечного трепета увидел, что мисс Бэйтс, по-прежнему классически безупречная и благожелательная, накрывает чехлом свою машинку. Рабочий день кончился, но она пригласила меня присесть на минутку на стул для клиентов. Мисс Бэйтс

---

<sup>3</sup> Оскар Гаммерштейн — известный антрепренер и владелец оперных театров в Нью-Йорке.

<sup>4</sup> Часто цитируемая фраза из очерка английского писателя XVIII в. Ричарда Стиля.

объяснила свое отсутствие, а также и возвращение в отель «Акрополь» следующим или приблизительно таким образом:

— Ну, дорогой мой, каково пишется?

— Ничего себе, — ответил я. — Почти так же, как печатается.

— Сочувствую вам, — сказала она. — Хорошая машинка — это для рассказа самое главное. Вы меня вспоминали ведь, верно?

— Я не знаю никого, — ответил я, — кто умел бы лучше вас поставить на место запятые и постояльцев в гостинице. Но вы ведь тоже уезжали. Я видел за вашим ремингтоном какую-то пачку жевательной резинки.

— Я и собиралась вам про это рассказать, да вы меня прервали, — сказала мисс Бэйтс. — Вы, конечно, слышали про Мэгги Браун, которая здесь останавливается. Так вот, она стоит сорок миллионов долларов. Живет она в Джерси в десятидолларовой квартирке. У нее всегда больше наличных, чем у десяти кандидатов в вице-президенты. Не знаю, где она держит деньги, может быть, в чулке, знаю только, что она очень популярна в той части города, где поклоняются золотому тельцу.

Так вот, недели две тому назад миссис Браун останавливается в дверях и глазеет на меня минут десять. Я сижу к ней боком и переписываю под копирку проспект медных разработок для одного симпатичного старичка из Тонопы. Но я всегда вижу, что делается кругом. Когда у меня срочная работа, мне все видно сквозь боковые гребенки, а не то я оставляю незастегнутой одну пуговицу на спине и тогда вижу, кто стоит сзади. Я даже не оглянулась, потому что зарабатываю долларов восемнадцать — двадцать в неделю и ничего другого мне не нужно.

В тот вечер она к концу работы присылает за мной и просит зайти к ней в номер. Я было думала, что придется перепечатывать страниц двадцать долговых расписок, залоговых квитанций и договоров и получить центов десять чаевых, но все-таки пошла. Ну, дорогой мой, и удивилась же я. Мэгги Браун вдруг заговорила по-человечески.

— Детка, — говорит она, — красивее вас я никого за всю свою жизнь не видала. Я хочу, чтобы вы бросили работу и перешли жить ко мне. У меня нет никого на свете, говорит, кроме мужа да одного-двух сыновей, и я ни с кем из них не поддерживаю отношений. Они своим транжирством только обременяют трудящуюся женщину. Я хочу взять вас в дочери. Говорят, будто бы я скупая и корыстная, а в газетах печатают враки, будто бы я сама на себя готовлю и стираю. Это вранье, — продолжает она. — Я всю стирку отдаю на сторону, кроме разве носовых платков, чулок да нижних юбок и воротничков и разной мелочи в этом роде. У меня сорок миллионов долларов наличными деньгами, в бумагах и облигациях, таких же верных, как привилегированные «Стандард-Ойл» на церковной ярмарке. Я одинокая старая женщина и нуждаюсь в близком человеке. Вы самое красивое создание, какое я в жизни видела, — говорит она. — Хотите вы перебраться ко мне? Вот увидят тогда, умею я тратить деньги или нет, — говорит она.

Ну, милый мой, что же мне было делать? Конечно, я не устояла. Да и сказать вам по правде, я тоже начала привязываться к миссис Браун. Вовсе не из-за сорока миллионов и не ради того, что она могла для меня сделать. Я ведь тоже была совсем одна на свете. Всякому хочется иметь кого-нибудь, кому можно было бы рассказать про боли в левом плече и про то, как быстро изнашиваются лакированные туфли, когда на них появятся трещинки. А ведь не станешь про это говорить с мужчинами, которых встречаешь в гостиницах, — они только того и ждут.

И вот я бросила работу в гостинице и переехала к миссис Браун. Не знаю уж, чем я ей так понравилась. Она глядела на меня по полчаса, когда я сидела и читала что-нибудь или просматривала журналы.

Как-то я и говорю ей:

— Может, я вам напоминаю покойную родственницу или подругу детства, миссис Браун? Я заметила, что иногда вы так и едите меня глазами.

— Лицо у вас, — говорит она, — точь-в-точь такое, как у моего дорогого друга, лучшего

друга, какой у меня был. Но я вас люблю и ради вас самой, деточка, — говорит она.

— И как вы думаете, мой милый, что она сделала? Расшиблась в прах, как волна на пляже Кони-Айленда. Она отвезла меня к модной портнихе и велела одеть меня с ног до головы а la carte — за деньгами дело не станет. Заказ был срочный, и мадам заперла парадную дверь и усадила весь свой штат за работу.

Потом мы переехали — куда бы вы думали? — Нет, отгадайте. Вот это верно — в отель Бонтон. Мы заняли номер в шесть комнат, и это стоило нам сто долларов в день. Я сама видела счет. Тут я и начала привязываться к старушке.

А потом, когда мне стали привозить платье за платьем — о! вам я про них рассказывать не стану, вы все равно ничего не поймете. А я начала звать ее тетей Мэгги. Вы, конечно, читали про Золушку. Так вот, радость Золушки в ту минуту, когда принц надевал ей на ногу туфельку тридцать первый номер, даже и сравниться не может с тем, что я тогда чувствовала. Передо мной она была просто неудачница.

Потом тетя Мэгги сказала, что хочет закатить для моего первого выезда банкет в отеле Бонтон — такой, чтобы съехались все старые голландские фамилии с Пятой авеню.

— Я ведь выезжала и раньше, тетя Мэгги, — говорю я. — Но можно начать снова. Только, знаете ли, говорю, ведь это самый шикарный отель в городе. И знаете ли, вы уж меня извините, но очень трудно собрать всю эту аристократию вместе, если вы раньше не пробовали.

— Не беспокойтесь, деточка, — говорит тетя Мэгги. — Я не рассылаю приглашений, а отдаю приказ. У меня будет пятьдесят человек гостей, которых не заманишь вместе ни на какой прием, разве только к королю Эдуарду или к Уильяму Треверсу Джерому<sup>5</sup>. Это, конечно, мужчины, и все они мне должны или собираются занять. Жены приедут не все, но очень многие явятся.

Да, хотелось бы мне, чтоб и вы присутствовали на этом банкете. Обеденный сервиз был весь из золота и хрусталя. Собралось человек сорок мужчин и восемь дам, кроме нас с тетей Мэгги. Вы бы не узнали третьей капиталистки во всем мире. На ней было новое черное шелковое платье с таким множеством бисера, что он стучал, словно град по крыше, — мне это пришлось слышать, когда я ночевала в грозу у одной подруги в студии на самом верхнем этаже.

А мое платье! — слушайте, мой милый, я для вас даром тратить слова не намерена. Оно было все сплошь из кружев ручной работы — там, где вообще что-нибудь было, — и обошлось в триста долларов. Я сама видела счет. Мужчины были все лысые или с седыми баками и все время перебрасывались остроумными репликами насчет трехпроцентных бумаг, Брайана и видов на урожай хлопка.

Слева от меня сидел какой-то банкир, или что-нибудь вроде, судя по разговору, а справа — молодой человек, который сказал, что он газетный художник. Он был единственный... вот про это я и хотела вам рассказать.

После обеда мы с миссис Браун пошли к себе наверх. Нам пришлось протискиваться сквозь толпу репортеров, заполонивших вестибюль и коридоры. Вот это деньги для вас могут сделать. Скажите, вы не знаете случайно одного газетного художника по фамилии Латроп — такой высокий, красивые глаза, интересный в разговоре. Нет, не помню, в какой газете он работает. Ну, ладно.

Пришли мы наверх, и миссис Браун позвонила, чтоб ей немедленно подали счет. Счет прислали — он был на шестьсот долларов. Я сама видела. Тетя Мэгги упала в обморок. Я уложила ее на софу и растянула бисерный панцирь.

— Деточка, — говорит она, возвратившись к жизни, — что это было? Повысили квартирную плату или ввели подоходный налог?

---

<sup>5</sup> У. Т. Джером — американский юрист, известный своей борьбой против политической коррупции в Нью-Йорке. Одно время был окружным прокурором США.



— Так, небольшой обед, — говорю я. — Не о чем беспокоиться, это же капля в денежном море. Сядьте и придите в себя — можно и выехать, если ничего другого не остается.

И как вы думаете, мой милый, что случилось с тетей Мэгги? Она струсила. Скорей увезла меня из этого отеля Бонтон, едва дождавшись девяти часов утра. Мы переехали в мебелишки в нижнем конце Вест-Сайда. Она сняла одну комнату, где вода была этажом ниже, а свет — этажом выше. После того как мы переехали, у нас в комнате только и было что модных платьев на полторы тысячи долларов да газовая плита с одной конфоркой.

Тетя Мэгги переживала острый приступ скупости. Я думаю, каждому случается разойтись вовсю хоть единожды в жизни. Мужчина швыряет деньги на выпивку, а женщина сходит с ума из-за тряпок. Но при сорока миллионах, знаете ли! Хотела бы я видеть такую картину — кстати, о картинах, не встречали ли вы газетного художника по фамилии Латроп, такой высокий — ах да, я уже спрашивала у вас, правда? Он был очень внимателен ко мне за обедом. У него такой голос! Мне нравится. Он, должно быть, подумал, что тетя Мэгги завещает мне сколько-нибудь из своих миллионов.

Так вот, мой милый, через три дня это облегченное домашнее хозяйство надоело мне до смерти. Тетя Мэгги была все так же ласкова. Она просто глаз с меня не сводила. Но позвольте мне сказать вам, это была такая скряга, просто скряга из скряг, всем скрягам скряга. Она твердо решила не тратить больше семидесяти пяти центов в день. Мы готовили себе обед в комнате. И вот я, имея на тысячу долларов самых модных платьев, выделявала всякие фокусы на газовой плите с одной конфоркой.

Повторяю, на третий день я сбежала. У меня в голове не вязалось, как это можно готовить на пятнадцать центов тушеных почек в стопятидесятидолларовом домашнем платье со вставкой из валансьенских кружев. И вот я иду за шкаф и переодеваюсь в самое дешевое платье из тех, что миссис Браун мне купила, — вот это самое, что на мне, — не так плохо за семьдесят пять долларов, правда? А свои платья я оставила на квартире у сестры, в Бруклине.

— Миссис Браун, бывшая тетя Мэгги, — говорю я ей, — сейчас я начну переставлять одну ногу за другой попеременно так, чтобы как можно скорей уйти подальше от этой квартиры. Я не поклонница денег, — говорю я, — но есть вещи, которых я не терплю. Еще туда-сюда сказочное чудовище, о котором мне приходилось читать, будто оно одним дыханием может напустить и холод и жару. Но я не терплю, когда дело бросают на полдороге. Говорят, будто вы скопили сорок миллионов, — ну, так у вас никогда меньше не будет. А ведь я к вам привязалась.

Тут бывшая тетя Мэгги ударяется в слезы. Обещает переехать в шикарную комнату с водой и двумя газовыми конфорками.

— Я потратила уйму денег, деточка, — говорит она. — На время нам надо будет сократиться. Вы самое красивое создание, какое я только видела, говорит, и мне не хочется, чтобы вы от меня уходили.

Ну, вы меня понимаете, не правда ли? Я пошла прямо в «Акрополь», попросилась на старую работу, и меня взяли. Так как же, вы говорили, у вас с рассказами? Я знаю, вы много потеряли оттого, что не я их переписывала. А рисунки к ним вы когда-нибудь заказываете? Да, кстати, не знакомы ли вы с одним газетным художником... ах, что это я! Ведь я вас уже спрашивала. Хотела бы я знать, в какой газете он работает. Странно, только мне все думается, что он и не думал о деньгах, которые, как я думала, может мне завещать старуха Браун. Если б я знала кого-нибудь из газетных редакторов, я бы...

За дверью послышались легкие шаги. Мисс Бэйтс увидела, кто это, сквозь заднюю гребенку в прическе. Она вдруг порозовела, эта мраморная статуя, — чудо, которое видели только я да Пигмалион.

— Ведь вы извините меня? — сказала она мне, превращаясь в очаровательную просительницу. — Это... это мистер Латроп. Может быть, он и в самом деле не из-за денег, может быть, он и правда...

Разумеется, меня пригласили на свадьбу. После церемонии я отвел Латропа в сторону.

— Вы художник, — сказал я. — Неужели вы до сих пор не поняли, почему Мэгги Браун

так сильно любила мисс Бэйтс, то есть бывшую мисс Бэйтс? Позвольте, я вам покажу.

На новобрачной было простое белое платье, падавшее красивыми складками, наподобие одежды древних греков. Я сорвал несколько листьев с гирлянды, украшавшей маленькую гостиную, сделал из них венок и, возложив его на блестящие каштановые косы урожденной Бэйтс, заставил ее повернуться в профиль к мужу.

— Клянусь честью! — воскликнул он. — Ведь Ида вылитая женская головка на серебряном долларе!

### «Среди текста»

Он завладел моим вниманием, как только сошел с парома на Дебросс-стрит. Он держался с независимостью человека, для которого не только весь земной шар, но и вся вселенная не таит в себе ничего нового, и с величием вельможи, возвращающегося после долголетнего отсутствия в свои родовые владения. Но, несмотря на этот независимо-величественный вид, я сразу же решил, что никогда прежде его нога не ступала на скользкую булыжную мостовую Города Множества Калифов.

На нем был свободный костюм какого-то неопределенного синевато-коричневатого цвета и строгая круглая панама без тех заливчатских вмятин и перекосов, которыми северные франты уродуют этот тропический головной убор. А главное, в жизни своей я не видел более некрасивого человека. Это было безобразие не столько отталкивающее, сколько поразительное; его создавала почти линкольновская грубость и неправильность черт, внушавшая изумление и страх. Так, вероятно, выглядели африты, или джинны, выпущенные рыбаком из запечатанного сосуда. Звали его Джадсон Тэйт; я это узнал потом, но для удобства рассказа буду с самого начала называть его по имени. На шее у него был зеленый шелковый галстук, пропущенный сквозь топазовое кольцо, а в руке — трость из позвонков акулы.

Джадсон Тэйт обратился ко мне с пространными расспросами об улицах и отелях Нью-Йорка, сохраняя при этом небрежный тон человека, у которого вот сейчас, только что, вылетели из памяти кое-какие незначительные подробности. У меня не было никаких поводов обойти молчанием тот уютный отель в деловой части города, в котором жил я сам, а потому начало вечера застало нас уже вкусившими сытный обед (за мой счет) и вполне готовыми вкушать приятный отдых и дым сигары в удобных креслах в тихом уголке салона.

Видно, Джадсона Тэйта беспокоила какая-то мысль, и ему хотелось поделиться этой мыслью со мной. Он уже считал меня своим другом, и, глядя на его темно-коричневую боцманскую ручищу, которой он рубил воздух у меня перед носом, подчеркивая окончания своих фраз, я думал: «А что, если он так же скор на вражду, как и на дружбу?»

Как только этот человек заговорил, я обнаружил, что он наделен своеобразным даром. Его голос был точно музыкальный инструмент, звук которого проникает в душу, и он мастерски, хотя и несколько нарочито, играл на этом инструменте. Он не старался заставить вас забыть о безобразии его лица; напротив, он точно выставлял это безобразие напоказ, делая его частью той магической силы, которою обладала его речь. Слушая с закрытыми глазами дудочку этого крысолова, вы были готовы идти за ним до самых стен Гаммельна. Идти дальше вам помешало бы отсутствие детской непосредственности. Но пусть он сам подбирает мелодию к нижеследующим словам; тогда, если слушателю станет скучно, можно будет сказать, что виновата музыка.

— Женщины, — объявил Джадсон Тэйт, — загадочные создания.

Мне стало досадно. Не для того я уселся с ним тут, чтобы выслушивать эту старую, как мир, гипотезу, этот избитый, давным-давно опровергнутый, облезлый, убогий, порочный, лишенный всякой логики откровенный софизм, эту древнюю, назойливую, грубую, бездоказательную, бессовестную ложь, которую женщины сами же изобрели и сами всячески поддерживают, раздувают, распространяют и ловко навязывают всему миру с помощью

разных тайных, искусных и коварных уловок, для того чтобы оправдать, подкрепить и усилить свои чары и свои замыслы.

— Ну, разве уж так! — сказал я.

— Вы когда-нибудь слышали об Оратаме? — спросил он меня.

— Что-то такое слышал, — ответил я. — Это, кажется, имя танцовщицы-босоножки... или нет, название дачной местности, а может быть, духи?

— Это город, — сказал Джадсон Тэйт. — Приморский город в одной стране, о которой вам ничего не известно и в которой вам все было бы непонятно. Правит этой страной диктатор, а жители занимаются главным образом революциями и неповиновением властям. И вот там-то разыгралась жизненная драма, в которой главными действующими лицами были Джадсон Тэйт, самый безобразный из всех людей, живущих в Америке, Фергюс Мак-Махэн, самый красивый из всех авантюристов, упоминающихся в истории и в литературе, и сеньорита Анабела Самора, прекрасная дочь алькальда Оратамы. И еще запомните вот что: единственное место на всем земном шаре, где встречается растение чучула, — это округ Триента-и-трес в Уругвае. Страна, о которой я говорю, богата ценными древесными породами, красителями, золотом, каучуком, слоновой костью и бобами какао.

— А я и не знал, что в Южной Америке имеется слоновая кость, — заметил я.

— Вы дважды впали в ошибку, — возразил Джадсон Тэйт, распределив эти слова на целую октаву своего изумительного голоса. — Я вовсе не говорил, что страна, о которой идет речь, находится в Южной Америке, — я там был причастен к политике, мой друг, и это вынуждает меня соблюдать осторожность. Но так или иначе, я играл с президентом республики в шахматы фигурами, выточеными из носовых хрящей тапира — местная разновидность породы *perissodactyle ingulates*, встречающейся в Кордильерах, — а это, с вашего разрешения, та же слоновая кость. Но я хотел вести рассказ о любви, о романтике и о женской природе, а не о каких-то зоологических животных.

Пятнадцать лет я был фактическим правителем республики, номинальным главою которой числился его президентское высочество тиран и деспот Санчо Бенавидес. Вам, верно, случалось видеть его снимки в газетах — такой рыхлый черномазый старикан с редкой щетиной, делающей его щеки похожими на валик фонографа, и со свитком в правой руке, совсем как на первом листе семейной Библии, где обычно записываются дни рождений. Так вот этот шоколадный диктатор был одно время самой заметной фигурой на всем пространстве от цветной границы до параллелей широты. Можно было только гадать, куда приведет его жизненный путь — в Чертог Славы или же в Управление по Топливу. Он, безусловно, был бы прозван Рузвельтом Южного Континента, если бы не то обстоятельство, что президентское кресло занимал в это время Гровер Кливленд. Обычно он сохранял свой пост два или три срока кряду, затем пропуская одну сдачу, предварительно назначив себе преемника.

Но не себе был он обязан блеском и славой имени Бенавидеса-Освободителя. О нет! Он был обязан этим исключительно Джадсону Тэйту. Бенавидес был только куклой на ниточке. Я подсказывал ему, когда объявить войну, когда повысить таможенные тарифы, когда надеть парадные брюки. Впрочем, не об этом я собирался рассказать вам. Вы хотели бы знать, как мне удалось стать Самым Главным? Извольте. Мне это удалось потому, что такого мастера говорить, как я, не было на свете с того дня, когда Адам впервые открыл глаза, оттолкнул от себя флакон с нюхательной солью и спросил: «Где я?»

Вы, конечно, видите, насколько я безобразен. Такие безобразные лица, как мое, можно встретить разве только в альбоме с фотографиями первых деятелей «Христианской науки» в Новой Англии. А потому еще в ранней юности я понял, что должен научиться возмещать недостаток красоты красноречием. И я это осуществил. Я полностью достиг намеченной цели. Когда я стоял за спиной старого Бенавидеса и говорил его голосом, все прославленные историей закулисные правители вроде Талейрана, миссис де Помпадур и банкира Лёба рядом со мной казались ничтожными, как особое мнение меньшинства в царской думе. Мое красноречие втягивало государства в долги и вытягивало их из долгов, звук моего голоса ублаживал целые армии на поле боя; несколькими словами я мог усмирить восстание, унять

воспаление, уменьшить налоги, урезать ассигнования и упразднить сверхприбыли; одним и тем же птичьим посвистом призывал я псов войны и голубя мира. Красота других мужчин, их эполеты, пышные усы и греческие профили никогда не служили мне помехой. При первом взгляде на меня человек содрогается. Но я начинаю говорить, и, если он только не находится в последней стадии *angina pectoris*, через десять минут — он мой. Женщины, мужчины — никто не в силах против меня устоять. А ведь, кажется, трудно поверить, чтобы женщине мог понравиться человек с такой внешностью, как у меня.

— Вы не правы, мистер Тэйт, — сказал я. — Победы, одержанные некрасивыми мужчинами над женским сердцем, не раз оживляли историю и убивали литературу. Мне даже кажется, что...

— Извините, пожалуйста, — перебил Джадсон Тэйт, — но вы меня не совсем поняли. Прошу вас, послушайте мой рассказ.

Фергюс Мак-Махэн был моим другом. Должен признать, что природа отпустила ему полный комплект красоты. У него были золотистые кудри, смеющиеся голубые глаза и черты, соответствующие правилам. Говорили, что он вылитый Герр Месс, бог красноречия, статуя которого в позе бегуна находится в одном римском музее. Наверно, какой-нибудь немецкий анархист. Они все любят позы и разговоры.

Но Фергюс был не мастер разговаривать. Ему с детства внушили, что раз он красив, значит, успех в жизни для него обеспечен. Беседовать с ним было все равно, что слушать, как капает вода в медный таз, стоящий у изголовья кровати, когда хочется спать. Но мы с ним были друзьями — может быть, именно потому, что противоположности сходятся, — как вы думаете? Фергюсу доставляло удовольствие смотреть, как я брею уродливую карнавальную маску, которую называю лицом; я же, со своей стороны, заслышав то жалкое, невнятное бормотанье, которое он именовал разговором, всегда радовался тому, что природа создала меня чудовищем, но наделила серебряным языком.

Как-то раз мне понадобилось съездить в этот самый приморский город Оратаму, чтобы уладить там кое-какие политические беспорядки и отрубить голову кое-кому из военных и таможенных властей. Фергюс, которому принадлежали концессии на производство искусственного льда и серных спичек в республике, решил составить мне компанию.

И вот под громкое звяканье колокольчиков наш караван из отборных мулов галопом доскакал до Оратамы, и мы сразу же почувствовали себя хозяевами этого города в той же мере, как Япония не чувствует себя хозяином Лонг-Айлендского пролива, когда Тедди Рузвельт находится в Устричной бухте. Я говорю «мы», но мне следовало бы сказать «я». Потому что на все окрестности, включавшие в себя четыре государства, два океана, одну бухту, один перешеек и пять архипелагов, не нашлось бы человека, никогда не слыхавшего о Джадсоне Тэйте. «Рыцарь карьеры» — так меня прозвали. Сенсационная пресса напечатала обо мне пять фельетонов, толстый ежемесячный журнал дал очерк на сорок тысяч слов (с подзаголовками на полях), а нью-йоркский «Таймс» поместил заметку в десять строк на двенадцатой полосе. Пусть я умру не поужинав, если кто-нибудь докажет мне, что приемом, оказанным нам в Оратаме, мы хоть сколько-нибудь были обязаны красоте Фергюса Мак-Махэна. Ради меня, и только ради меня, город разукрасили пальмовыми листьями и бумажными цветами. Я по природе не завистлив; я только устанавливаю факты. Местные жители охотно поверглись бы передо мною в прах; но так как праха на городских улицах не было, то они повергались в траву и жевали ее подобно Навуходносору. Все население поклонялось Джадсону Тэйту. Ведь все знали, что я настоящий правитель страны, а Санчо Бенавидес только марионетка. Одно мое слово значило для них больше, чем целая библиотека, состоящая исключительно из высокохудожественных изданий и занимающая десять книжных шкафов с разборными полками. А ведь есть люди, которые по целым часам ухаживают за своим лицом — втирают козьекрем в кожу, массируют мышцы (всегда по направлению к носу), промывают поры настойкой росного ладана, электричеством выжигают бородавки — а все зачем? Чтоб быть красивыми. Какое заблуждение! Голосовые связки — вот над чем должны трудиться врачи-косметологи! Звук голоса важнее, чем цвет лица, полоскания полезнее притираний, блеск

остроумия сильнее блеска глаз, бархатный тембр приятнее, чем бархатный румянец, и никакой фотограф не заменит фонографа. Но вернемся к рассказу.

Местные Асторы устроили нас с Фергюсом в клубе Стоножки, бревенчатом строении на сваях, вбитых в берег в полосе прибоя. Прилив там не достигает больше девяти дюймов. Все столпы, светочи и сливки оратамского общества приходили к нам на поклон. Только не воображайте, что их интересовал Герр Месс. О нет, они прослышали о приезде Джадсона Тэйта.

Как-то днем мы с Фергюсом Мак-Махэном сидели на террасе, обращенной к морю, пили ром со льда и беседовали.

— Джадсон, — говорит мне Фергюс, — в Оратаме живет ангел.

— Если это не архангел Гавриил, — возразил я, — зачем говорить об этом с таким видом, словно вы услышали трубный глас?

— Это сеньорита Анабела Самора, — сказал Фергюс. — Она прекрасна, как... как... как я не знаю что.

— Bravo! — воскликнул я, от души смеясь. — Вы описываете красоту вашей возлюбленной с красноречием истинного влюбленного. Это мне напоминает ухаживания Фауста за Маргаритой — если только он за ней действительно ухаживал, после того как провалился в люк на сцене.

— Джадсон, — сказал Фергюс. — Вы с вашей носорожьей внешностью, конечно, не можете интересоваться женщинами. А я по уши влюбился в мисс Анабелу. И говорю вам об этом недаром.

— О, *seguramente*, — ответил я. — Я знаю, что похож с фасада на ацтекского идола, который охраняет никогда не существовавшие сокровища в Джефферсоновском округе на Юкатане. Но зато у меня есть другие достоинства. Я, например, Самый Главный на всю эту страну от края до края и немножко дальше. А кроме того, если я берусь участвовать в состязании, которое включает голосовые, словесные и устные упражнения, я обычно не ограничиваюсь произнесением звуков, напоминающих технически несовершенную граммофонную запись бреда медузы.

— А я вот не умею вести светские разговоры, — добродушно признался Фергюс. — Да и всякие другие тоже. Потому-то я и заговорил с вами о сеньорите Анабеле. Вы должны помочь мне.

— Каким образом? — спросил я.

— Мне удалось, — сказал Фергюс, — подкупить дуэнью Анабелы Франческу. Джадсон! — продолжал Фергюс. — Вы пользуетесь славой великого человека и героя.

— Пользуюсь, — подтвердил я. — И заслуженно пользуюсь.

— А я, — сказал Фергюс, — самый красивый мужчина на всем пространстве от арктического круга до антарктических льдов.

— Готов признать это, — сказал я, — но с некоторыми оговорками по линии географии и физиогномики.

— Вот бы нам с вами объединиться, — продолжал Фергюс, — тогда б уж мы наверняка добыли сеньориту Анабелу Самора. Но беда в том, что она ведь из старинного испанского рода и недосягаема, как звезда небесная; ее и увидеть-то можно только издали, когда она выезжает в фамильном саггаје<sup>б</sup> на послеобеденную прогулку по городской площади или же вечером покажется на минуту за решеткой окна.

— А для кого же из нас двоих мы ее будем добывать? — спросил я.

— Конечно, для меня, — сказал Фергюс. — Вы ведь ее и не видали никогда. Так вот, по моей просьбе Франческа указала ей во время прогулки на меня и сказала, что это вы. Теперь всякий раз, когда она видит меня на городской площади, она думает, что перед нею дон Джадсон Тэйт, прославленный храбрец, государственный деятель и романтический герой. Как

---

<sup>б</sup> Коляска (*исп.*) .

же ей устоять перед человеком с вашей славой и моей красотой? Про все ваши увлекательные подвиги она, конечно, слышала. А меня она видела. Может ли женщина желать большего?

— А может ли она удовольствоваться меньшим? — спросил я. — Как нам теперь из общей суммы достоинств вычесть то, что принадлежит каждому в отдельности, и как мы будем делить остаток?

Тут Фергюс изложил мне свой план.

В доме алькальда Луиса Самора имелся, разумеется, *ratio* — внутренний дворик с калиткой на улицу. Окно комнаты его дочери выходило в самый темный угол этого дворика. Так знаете, что придумал Фергюс Мак-Махэн? В расчете на мой несравненный, искромётный, чарующий дар слова он захотел, чтобы я проник в *ratio* под покровом ночи, когда не видно будет моего безобразного лица, и нашептывал сеньорите Анабеле любовные речи от его имени — от имени красавца, виденного ею на городской площади, которого она принимала за дона Джадсона Гэйта. Почему же мне было и не оказать эту услугу моему другу Фергюсу Мак-Махэну? Ведь он мне льстил такой просьбой — потому что тем самым откровенно признавал свои недостатки.

— Ладно, мой хорошенький раскрашенный бессловесный восковой херувимчик, — сказал я. — Так уж и быть, помогу вам. Устраивайте все, что нужно устроить, доставьте меня с наступлением ночи под заветное окошко, так, чтобы я мог запустить фейерверк своего красноречия под аккомпанемент лунного света, — и сеньорита ваша.

— Только прячьте от нее свое лицо, Джад, — сказал Фергюс. — Ради всего святого, прячьте от нее свое лицо. Если говорить о чувствах, то я ваш друг по гроб жизни, но тут вопрос чисто деловой. Умей я сам вести разговоры, я бы к вам не обратился. Но я считаю, что, если она будет видеть меня и слышать вас, победа обеспечена.

— Кому, вам? — спросил я.

— Да, мне, — ответил Фергюс.

После этого Фергюс вместе с дуэньей Франческой занялся приготовлениями, и через несколько дней мне принесли длинный черный плащ с высоким воротником и в полночь провели меня к дому алькальда. Мне пришлось постоять некоторое время в *ratio* под окном; наконец, над моей головой послышался голос, тихий и нежный, как шелест ангельских крыльев, и за решеткой обозначились смутные очертания женской фигуры в белом. Верный своему слову, я высоко поднял воротник плаща, тем более что стоял сезон дождей и ночи были сыроватые и прохладные. И, подавив смешок при мысли о Фергюсе и его неповоротливом языке, я начал говорить.

Целый час, сэр, я обращался к сеньорите Анабеле. Я именно «обращался к ней», а не «говорил с нею». Правда, она время от времени вставляла что-нибудь вроде: «О сеньор!», или «Ах, вы шутите», или «Не может быть, чтобы вы вправду так думали», — ну, знаете, все то, что обычно говорят женщины, когда за ними ухаживают по всем правилам. Оба мы знали и английский и испанский, так что я старался завоевать сердце этой прекрасной дамы для моего друга Фергюса на двух языках. Если бы не решетка окна, мне хватило бы и одного. По прошествии часа сеньорита простилась со мною и подарила мне пышную алую розу. Вернувшись домой, я вручил ее Фергюсу.

В течение трех недель я через каждые три или четыре вечера являлся под окошко сеньориты Анабелы и разыгрывал роль своего друга Фергюса. К концу третьей недели она призналась, что ее сердце принадлежит мне, и упомянула о том, что привыкла видеть меня каждый день, проезжая по городской площади. Это она, конечно, Фергюса видела, а не меня. Но сердце ее победил именно я своими речами. Попробовал бы Фергюс хоть раз постоять у нее под окном ночью, когда никакой красоты не видно, — хорош бы он был, не умея произнести ни слова!

В последнюю ночь Анабела пообещала быть моей — то есть Фергюса. И она протянула мне сквозь прутья решетки руку для поцелуя. Я поцеловал руку и отправился сообщить Фергюсу приятную новость.

— Это вы, положим, могли предоставить мне, — сказал он.

— Вы этим будете заниматься впоследствии, — возразил я. — Советую вам как можно больше времени уделять этому занятию и как можно меньше разговаривать. Может быть, вообразив себя влюбленной, она не заметит разницы между настоящей беседой и тем докучливым жужжанием, которое вы издаете.

Надо вам сказать, что за все это время я ни разу не видел сеньориты Анабелы. На следующий день Фергюс предложил мне пройтись вместе с ним по городской площади поглядеть на послеобеденный променад высшего света Оратамы. Меня очень мало интересовало это зрелище, но я пошел. Дети и собаки при виде меня в страхе разбежались, спеша укрыться в банановых рощах и мангровых болотах.

— Смотрите, вот она, — шепнул мне Фергюс, покручивая усы. — Вон та, в белом платье, в открытой коляске, запряженной вороной лошастью.

Я взглянул — и земля закачалась у меня под ногами. Ибо мир не видывал женщины прекраснее, чем сеньорита Анабела Самора, и с этой минуты для Джадсона Тэйта существовала только она одна. Мне сразу же стало ясно, что мы должны навеки принадлежать друг другу. Я вспомнил о своем лице, пошатнулся и чуть не упал; но тут же вспомнил о своих талантах и снова твердо встал на ноги. Подумать только, что я три недели добивался благосклонности этой женщины для другого!

Когда коляска сеньориты Анабелы поравнялась с нами, она подарила Фергюса долгим ласковым взглядом своих черных как ночь глаз. От одного такого взгляда Джадсон Тэйт вознесся бы к небу в колеснице на резиновом ходу. Но она на меня не смотрела. А этот писанный красавец только взбивает свои кудри, охорашивается и самодовольно ухмыляется ей вслед с видом опытного сердцеда.

— Ну, что вы о ней скажете, Джадсон? — спросил Фергюс победоносным тоном.

— А вот что, — ответил я. — Она должна стать миссис Джадсон Тэйт. Я не привык к вероломству с друзьями, а потому честно предупреждаю вас об этом,

Я думал, что Фергюс умрет со смеху.

— Вот это здорово! — выговорил он наконец. — Так, значит, и вас разобрало, голубчик? Признаюсь, не ожидал! Но вы опоздали. Франческа рассказывает, что Анабела с утра до ночи только обо мне и говорит. Я вам, конечно, очень благодарен за то, что вы по вечерам развлекали ее своей болтовней. Впрочем, мне теперь кажется, что я и сам отлично управился бы с этим делом.

— Так запомните: миссис Джадсон Тэйт, — сказал я. — И прошу не ошибаться. Все это время ваша красота была подкреплена моим красноречием, приятель. Вы не можете ссудить мне вашу красоту; но свое красноречие я теперь оставляю для себя. Визитные карточки будут размером два дюйма на три с половиной: «Миссис Джадсон Тэйт». Все.

— Ну, ну, ладно, — сказал Фергюс, снова вволю посмеявшись. — Я уже говорил с ее отцом, алькальдом, и он согласен. Завтра он дает бал в своем новом пакгаузе. Жаль, что вы не танцуете, Джад, а то я бы воспользовался этим случаем, чтобы познакомить вас с будущей миссис Мак-Махэн.

Но на следующий вечер, когда бал алькальда Саморы был в самом разгаре и музыка играла особенно громко, двери вдруг распахнулись и в большую залу вошел Джадсон Тэйт, величественный и нарядный в новом белом полотняном костюме, как будто он — первое лицо в государстве, что, впрочем, соответствовало истинному положению вещей.

Несколько музыкантов, увидя меня, сфальшивили, а две или три слабонервные сеньориты упали в обморок. Но зато алькальд сразу же бросился мне навстречу и стал кланяться так низко, что едва не сдувал пыль с моих башмаков. Может ли какая-то жалкая красота обеспечить человеку столь эффектное появление?

— Сеньор Самора, — сказал я алькальду, — я слыхал, у вас прелестная дочь. Был бы счастлив познакомиться с нею.

Вдоль стен стояло с полсотни плетеных качалок с розовыми салфеточками на спинках. В одной из этих качалок сидела сеньорита Анабела в белом платье из швейцарского шитья и в красных туфельках; в волосах у нее был жемчуг и живые светлячки. Фергюс был на другом

конце зала и отбивался от осаждавших его двух кофейных дам и одной шоколадной девицы.

Алькальд провел меня к Анабеле и представил. Взглянув мне в лицо, она уронила веер и едва не опрокинула качалку. Но я к таким вещам привык.

Я уселся рядом и заговорил с нею. Когда она услышала мой голос, она подскочила и глаза у нее сделались большие, как груши бера. Этот знакомый голос никак не увязывался в ее представлении с лицом, которое она перед собой видела. Но я продолжал говорить — в до мажоре, это самая дамская тональность, — и постепенно она затихла в своей качалке, и в глазах у нее появилось мечтательное выражение. Она понемногу примирялась со мной. Она знала, кто такой Джадсон Тэйт; знала про его великие заслуги и великие дела, и это уже было очко в мою пользу. Но, конечно, ее несколько ошеломило открытие, что я вовсе не тот красавец, которого ей выдали за великого Джадсона. Затем я перешел на испанский язык, более подходящий в некоторых случаях, чем английский, и стал играть на нем, как на тысячеструнной арфе. Я то понижал голос до нижнего соль, то повышал его до верхнего фа диез. В его звуках была поэзия и живопись, аромат цветов и сияние луны. Я повторил некоторые из тех стихов, что нашептывал ночью под ее окном, и по искоркам, вспыхнувшим в ее глазах, понял, что она узнала во мне своего таинственного полуночного вздыхателя.

Так или иначе, шансы Мак-Махэна поколебались. Нет искусства выше, чем искусство живой речи, — эта истина неопровержима. По лицу встречают, а по разговору провожают, гласит старая пословица на новый лад.

Я пригласил сеньориту Анабелу пройтись, и мы с ней гуляли в лимонной роще, пока Фергюс, сразу подурнев от перекосившей его лицо злобной гримасы, танцевал вальс с шоколадной девицей. Еще до того, как мы вернулись в залу, мне было разрешено завтра вечером снова прийти под окно сеньориты Анабелы для нежной беседы.

О, мне это не стоило никакого труда. Через две недели мы с Анабелой обручились, и Фергюс остался ни при чем. Надо сказать, что для красавца мужчины он принял это довольно хладнокровно, но сказал мне, что не намерен отступаться.

— Сладкие речи, может быть, и очень хороши в свое время, Джадсон, — сказал он, — хотя я сам никогда не считал нужным тратить на это энергию. Но нельзя одними разговорами удержать благосклонность дамы при такой физиономии, как ваша, как нельзя плотно пообедать звоном обеденного колокола.

Однако ведь я все еще не дошел до сути своего рассказа.

Как-то в жаркий солнечный день я долго катался верхом, а потом, потный и разгоряченный, выкупался в холодной воде оратамской лагуны.

Вечером, как только стемнело, я отправился в дом алькальда. Я теперь каждый вечер навещал Анабелу в ожидании нашей свадьбы, которая должна была состояться через месяц. Моя невеста напоминала газель, бюль-бюль и чайную розу, а глаза у нее были бархатистые и нежные, словно две кварталы сливок, снятых с Млечного Пути. Она смотрела на мое безобразное лицо без всякого отвращения или страха. Порой я даже ловил устремленный на меня восторженно-ласковый взгляд, совершенно такой же, каким в тот памятный день на городской площади она подарила Фергюса.

Из всех любезностей, которыми я обычно осыпал Анабелу, ей больше всего нравилось, когда я сравнивал ее с трестом, монополизовавшим всю красоту на земле. И вот я сел и открыл рот, чтобы произнести этот полюбившийся ей комплимент, но вместо сладкозвучных излияний у меня вырвался какой-то сиплый лай, похожий на кашель ребенка, заболевшего крупом. Ни фраз, ни слов, ни сколько-нибудь членораздельных звуков. Я застудил горло во время своего неосмотрительного купанья.

Два часа я провел в тщетных стараниях занять Анабелу. Вначале она пробовала сама вести разговор, но все, что она говорила, было неинтересно и бледно. У меня же в лучшем случае получалось что-то вроде тех звуков, которые мог бы издать моллюск, пытающийся запеть «Живу я в волнах океана» в час, когда начинается отлив. И вот я стал замечать, что взгляд Анабелы все реже и реже обращается в мою сторону. Мне теперь нечем было приворожить ее слух. Мы рассматривали картинки, временами она бралась за гитару, на



которой играла прескверно. Когда я, наконец, собрался уходить, она простилась со мною довольно невнимательно, чтобы не сказать холодно.

Так прошло пять вечеров.

На шестой она убежала с Фергюсом Мак-Махэном.

Как выяснилось, они отплыли на парусной яхте, направлявшейся в Белису. Узнав это, я тотчас же сел на паровой катерок, принадлежавший таможенному управлению, и пустился за ними в погоню. Нас разделяло только восемь часов пути.

Но прежде чем покинуть Оратаму, я забежал в аптеку, содержанием которой был старый метис Мануэль Иквито. Не имея возможности словами объяснить, что мне нужно, я указал на свое горло пальцем и затем издал звук, похожий на шипение выходящего пара. В ответ на это Мануэль Иквито принялся зевать во весь рот. Зная местные порядки, я не сомневался, что пройдет не меньше часа, пока меня обслужат. Поэтому я перегнулся через стойку, одной рукой схватил аптекаря за горло, а другой снова указал на свое. Он зевнул еще раз, после чего сунул мне в руку небольшой пузырек с темной жидкостью.

— По одной чайной ложке каждые два часа, — сказал он.

Я бросил ему доллар и поспешил на катер.

Мы вошли в порт Белисы через тринадцать секунд после яхты, на которой плыли Фергюс и Анабела. Их шлюпка отвалила от борта в ту минуту, когда мою спускали на воду. Я хотел приказать своим гребцам навалиться на весла, но слова завязли у меня в горле и не вышли наружу. Тогда я вспомнил про лекарство старого метиса, выхватил из кармана пузырек и глотнул немного темной жидкости.

Обе лодки пристали к берегу одновременно. Я тотчас же направился к Фергюсу и Анабеле. Она бросила на меня короткий взгляд и поспешила перевести глаза на Фергюса, доверчиво и нежно улыбаясь ему. Я знал, что не могу произнести ни слова, но что мне оставалось? Ведь только заговорив, я еще мог спасти положение. Стоять рядом с красавцем Фергюсом и молчать было для меня губительно. И вот моя гортань и голосовые связки сделали произвольное усилие, чтобы воспроизвести те звуки, которых так страстно жаждала моя душа.

И вдруг — о радость! Речь моя полилась полновзвучным потоком, напевная, звонкая, богатая оттенками и особенно выразительная от переполнявших ее чувств, которые так долго не находили выхода.

— Сеньорита Анабела, — сказал я, — мне хотелось бы две минуты поговорить с вами с глазу на глаз.

Надеюсь, вы не будете настаивать на подробностях? Благодарю вас. Итак, прежний дар слова вернулся ко мне в полной мере. Я отвел Анабелу под сень кокосовой пальмы и вновь заставил ее поддаться чарам моего красноречия.

— Джадсон, — сказала она, — когда вы со мной говорите, я ничего больше не слышу, ничего больше не вижу, никто и ничто на свете для меня больше не существует.

Ну, вот, собственно, и все. Анабела вернулась со мной в Оратаму на том же катере. Что случилось с Фергюсом, мне неизвестно. Я его больше никогда не видел. Анабела теперь именуется миссис Джадсон Тэйт. Скажите, я не слишком наскучил вам своим рассказом?

— Нет, что вы! — сказал я. — Меня всегда очень интересовали тонкости психологии. Человеческое сердце — особенно сердце женщины — чрезвычайно любопытный объект для наблюдений.

— Чрезвычайно, — согласился Джадсон Тэйт. — Так же как трахея и бронхи, не говоря уже о гортани. Вы никогда не изучали устройство дыхательного горла?

— Признаться, нет, — сказал я. — Но ваш рассказ я выслушал с большим удовольствием. Позвольте узнать, как здоровье миссис Тэйт и где она сейчас находится?

— Благодарю за внимание, — сказал Джадсон Тэйт. — Мы теперь живем в Джерси-Сити, на авеню Берген. Климат Оратамы оказался вредным для миссис Т. Вам, наверно, ни разу не приходилось делать резекцию надгортанных хрящей?

— Нет, конечно! — сказал я. — Ведь я же не хирург.

— А вот тут вы не правы, — возразил Джадсон Тэйт. — Каждый человек должен разбираться в анатомии и терапии, если хочет сберечь свое здоровье. Случайная простуда может вызвать капиллярный бронхит или воспаление легочных пузырьков, которое потом может осложниться серьезным заболеванием голосовых органов.

— Весьма возможно, — сказал я, начиная терять терпение, — но это не имеет никакого отношения к нашему разговору. Что касается женских причуд в области чувства, то я...

— Да, да, — торопливо перебил Джадсон Тэйт, — у них бывают причуды. Но я вам еще не сказал, что по возвращении в Оратаму мне удалось узнать от Мануэля Иквито состав той микстуры, которая вернула мне пропавший голос. Как вы помните, она подействовала мгновенно. Так вот, основное в ней — это сок растения *чучула*. А теперь взгляните сюда.

Джадсон Тэйт вытащил из кармана белую картонную коробочку продолговатой формы.

— Вот, — объявил он, — лучшее в мире средство от кашля, гриппа, катара горла, а также любого заболевания бронхов. Рецепт вы можете прочитать на крышке. Каждая таблетка содержит: лакрицы — два грана; толутанского бальзама — одну десятую грана; анисового масла — одну тысячную драхмы; дегтярного настоя — три десятитысячных драхмы; камеди — три десятитысячных драхмы; жидкого экстракта *чучулы* — одну тысячную драхмы.

— Я приехал в Нью-Йорк, — продолжал Джадсон Тэйт, — для того, чтобы организовать компанию по оптовой продаже лучшего в мире средства от горловых заболеваний. А пока я занимаюсь его распространением в розницу. Коробка, которую вы видите, содержит четыре дюжины таблеток и стоит всего только пятьдесят центов. Если вы подвержены...

Я встал и, не говоря ни слова, пошел прочь, оставив Джадсона Тэйта наедине с его совестью. Медленно брел я по аллеям сквера, разбитого неподалеку от отеля, где я жил. Этот человек оскорбил мои лучшие чувства. Он развернул передо мною сюжет, который мне показался достойным использования. В нем чувствовалось дыхание жизни и в то же время была та искусственная атмосфера, которая, при умелой обработке, пользуется широким спросом. А под конец оказалось, что это просто-напросто коммерческая пилюля, обсыпанная сахарной пудрой беллетристики. И хуже всего было то, что я не видел возможности на этом заработать. В рекламных агентствах и отделах объявлений ко мне относятся с недоверием. А для литературного приложения материал явно не годился. Я сидел на садовой скамье, среди других таких же обманутых в своих надеждах людей, и размышлял, пока у меня не стали слипаться глаза.

Вернувшись к себе в номер, я, по обыкновению, стал читать рассказы, напечатанные в моих любимых журналах. Час такого чтения должен был вернуть меня в сферу искусства.

Но, дочитав до конца очередной рассказ, я всякий раз с досадой и разочарованием бросал журнал на пол. Все авторы, без единого исключения, которое могло бы пролить бальзам на мою душу, только и делали, что в живой и увлекательной форме прославляли ту или иную марку автомобиля, как видно служившую запальной свечой для их творческого вдохновения.

И, отшвырнув последний журнал, я решил.

— Если читатели способны в таком количестве поглощать модели автомобилей, — сказал я себе, — им ничего не стоит проглотить таблетку Чудодейственного Антибронхиального Чучулина Тэйта.

А потому, если вам случится встретить этот рассказ в печати, вы сразу поймете, что бизнес есть бизнес и что когда Искусство слишком сильно удаляется от Коммерции, ему потом приходится надавать ходу.

Добавлю еще для очистки своей совести, что *чучула* в аптеках не продается.

## **Искусство и ковбойский конь**

Из диких прерий пришел художник. Бог таланта, чьи милости всегда демократичны, свил

для Лонни Бриско веночек из чапарраля. Искусство, чей божественный дар, не зная пристрастия, водит кистью и ковбоя, и дилетантствующего императора, сделало своим избранником Мальчика-художника из округа Сан-Саба. В итоге — размалеванный холст в позолоченной раме семь футов на двенадцать украсил вестибюль местного Капитолия.

В те дни шла сессия Законодательного собрания сего славного западного штата. Столица наслаждалась сезоном кипучей деятельности и доходами, которые предоставляло ей сборище прибывших туда законодателей. Отели и пансионы выкачивали из карманов жизнелюбивых государственных мужей их легкие денежки. Крупнейший западный штат, истинная империя по территории и природным богатствам, поднялся во всем своем величии и полностью опроверг давнее клеветническое обвинение в варварстве, беззаконии и кровопролитиях. Ныне в его границах царил порядок. Да, сэр, жизнь и собственность здесь были в такой же безопасности, что и в любом порочном городе одряхлевшего Востока. Здесь пользовались успехом вышитые подушки, богослужения, клубничные банкеты и habeas corpus. Любой хлюпик мог безнаказанно щеголять своим цилиндром и своими теориями культуры. Об искусствах и науках здесь пеклись и заботились. И поэтому, естественно, законодательному органу столь могущественного штата надлежало принять решение о покупке бессмертного шедевра Лонни Бриско.

Округ Сан-Саба, признаться, редко способствовал развитию изящных искусств. Сыны его отличились в ратных подвигах, в метании лассо, в манипулировании заслуженным сорокапятикалиберным кольцом, в отчаянных картежных играх, а также в стимулирующих налетах на чересчур сонливые ночные города, но до сих пор никто еще не слышал, чтобы Сан-Саба славился как цитадель эстетики. Кисть Лонни Бриско устранила сей изъян. Там, в засушливой долине, среди известковых скал, сочных кактусов и сохлых трав, родился Мальчик-художник. Каким образом он стал поклонником искусства, непостижимо. Не иначе как в его естестве, несмотря на бесплодную почву Сан-Сабы, зародилась некая спора божественного вдохновения. Озорной, взбалмошный дух творчества, должно быть, подстрекнул мальчика к попытке созидания, а сам, посиживая среди раскаленных песков, забавлялся своей шуткой. Ибо картина Лонни, если рассматривать ее как произведение искусства, вызвала бы шумное веселье в среде профессиональных критиков.

Полотно это, можно сказать, почти панорама, имело целью запечатлеть обыденную сцену из жизни Дальнего Запада, причем основное внимание художник сосредоточил на фигуре животного в самой середине, а именно — огненно-рыжего быка в натуральную величину, который, дико сверкая глазами, во всю прыть удирал от стада, что паслось кучно, несколько правее и на заднем плане, под надзором типичного для тех мест ковбоя. Все детали пейзажа были точны, достоверны и в должном соотношении: заросли чапарраля, мескит, кактусы. Молочно-белые, величиной с ведро, сооружения из восковых цветов испанского меча демонстрировали красоту и разнообразие местной флоры. Перспектива являла взору волнистые контуры прерий, как бы рассеченных столь характерными для тех краев речушками, окаймленными сочной зеленью виргинского дуба и вяза. На переднем плане под бледно-зеленым ветвистым кактусом свернулась кольцом щедро испещренная крапинками гремучая змея. Хорошая треть полотна была ультрамариновой с белыми пятнами — типичное для Запада небо с его летучими облаками, пушистыми, не сулящими дождя.

Картина стояла меж двух лепных колонн, поперек широкого вестибюля, подле дверей в палату представителей. Попарно, группами, а то и целой толпой приходили посмотреть на нее простые граждане и государственные мужи. Многие, пожалуй, большинство, были выходцами из прерий и, взглянув на картину, тотчас узнавали знакомые места. Искренне растроганные престарелые скотоводы, вспоминая былое, переговаривались с прежними товарищами по ковбойским лагерям и дорогам. Профессиональных знатоков живописи в городе насчитывалось мало, а потому и не слышно было вокруг картины таких слов, как «цвет», «перспектива», «чувство» — того жаргона, которым любят пользоваться на Востоке взамен узды и хлыста, дабы осадить художника в его дерзаниях.

«Да, вот это картина!» — почти единогласно высказывались зрители, любуясь

позолоченной рамой, — такую огромную они видели впервые.

Крестным отцом и главным восхвалителем картины стал сенатор Кинни. Это его густой ковбойский бас часто рокотал вблизи нее, когда сенатор, выступив вперед, обращался к кому-то из публики, возвещая, что их великий штат надолго запятнает свою честь, сэр, если откажется воздать должное таланту, с таким блеском увековечившему на холсте самые истоки богатства и благоденствия его граждан, иначе говоря — землю и э... э... рогатый скот.

Сенатор Кинни представлял самый западный округ штата, что в четырехстах милях от Сан-Сабы, но истинный радетель искусства пренебрегает пограничными знаками. Сенатор Малленз, избранник округа Сан-Саба, тоже ревностно отстаивал мнение, что шедевр его избирателя должен быть куплен штатом. Сенатору стало известно, что округ Сан-Саба единодушно восхищается великим творением одного из своих обитателей. До отправки картины в столицу сотни знатоков искусства седлали лошадей и пускались в дальний путь, чтобы только взглянуть на нее. Сенатор Малленз жаждал переизбрания, и он понимал, как важно для этого заручиться голосами сан-сабских избирателей. Понимал он также, что с помощью сенатора Кинни, имевшего вес в Законодательном собрании, дело о покупке картины можно было бы повернуть. Ну а сенатор Кинни, жаждавший провести законопроект об ирригации своего округа, понимал, что сенатор Малленз может оказать ему ценную поддержку и дать полезные сведения по этому вопросу, ибо округ Сан-Саба уже пользовался благами ирригации. При столь счастливом совпадении сенаторских интересов не приходится удивляться и внезапному интересу к искусству живописи, вспыхнувшему в столице штата.

Мало кто из художников выставлял свою первую картину при столь благоприятном стечении обстоятельств, как Лонни Бриско.

Попивая виски с содовой в кафе гостиницы «Империя», сенаторы Кинни и Малленз пришли к взаимопониманию в вопросах ирригации и искусства.

— Гм! Право, сомневаюсь, — начал сенатор Кинни. — Я не профессиональный критик, но боюсь, что это дело не выгорит. На мой взгляд, картина самый дешевый лубок. Нет, я никоим образом не хочу ставить под сомнение художественный талант вашего избирателя, но лично я не дал бы за нее и доллара — без рамы. Как вы намереваетесь пропихнуть такую штуковину в глотку нашего сената, если они там отбрыкиваются, когда речь идет о пустячном расходе в шестьсот восемьдесят один доллар на школьные ластики? Только потеряете время. Я бы охотно помог вам, сенатор, но они же нас высмеют! Мы покинем зал заседаний под общий хохот!

— Вы не учли одного обстоятельства, — своим обычным уравновешенным тоном возразил сенатор Малленз, постукивая по стакану собеседника длинным указательным пальцем. — Я тоже не уверен, что именно изображено на этой картине — бой быков или, может быть, японская аллегория, но я хочу, чтобы наше Законодательное собрание утвердило ассигнование средств на ее покупку. Конечно, тема картины должна была бы иметь отношение к истории штата, но теперь уже поздно соскребывать краски и малевать другое. От покупки картины штат не обеднеет, а потом ее можно будет убрать в чулан, чтобы никому не мозолила глаза. Но перейдем к одному существенному обстоятельству, а искусство пусть заботится о себе само. Суть в том, что парень, который намалевал картину, внук Люсьена Бриско.

— Как вы сказали?! — сенатор Кинни откинул голову и призадумался. — Того самого Люсьена Бриско?

— Да, «Того человека, который»... Человека, который создал штат на месте пустыни! Усмирил индейцев! Очистил штат от конокрадов! Отказался от государственного поста. Человек этот — любимейший сын родного штата. Теперь вы уловили суть?

— Пакуйте! — объявил Кинни. — Можете считать, что ее уже купили. Надо было мне сразу сказать, а не ворковать насчет искусства. Да я готов в тот же день подать в отставку, готов снова таскать мерные цепи за окружным землемером, если не сумею заставить штат купить картину, намалеванную внуком Люсьена Бриско. Помните особое постановление о покупке дома для дочери Одноглазого Смозерса? Его провели в один миг, будто предложение о перерыве, а разве Одноглазый Смозерс уколошил столько индейцев, сколько Бриско? И

половины не будет. Так какую примерно сумму вы с вашим маляром договорились выжать из казны?

— Думаю, сотен пять... — ответил сенатор Малленз.

— Пять сотен?! — перебил его Кинни и постучал по стакану, подзывая кельнера: сенатору понадобился карандаш. — Всего пятьсот долларов за чистопородного рыжего быка, которого вывел внук Люсьена Бриско? Помилуйте, это же ваш округ, где ваша сенаторская гордость? Две тысячи, вот сколько! Вы внесете законопроект, а я выступлю в сенате и стану потрясать скальпами всех индейцев, которых прикончил старый Люсьен. Пойдите-ка, этот гордец ведь натворил еще каких-то там благоглупостей. Как же! Отказался от всех наград и привилегий. Не принял документа о льготах, положенных ветерану. Не пожелал стать губернатором, хотя и мог. Отказался от пенсии. Теперь пришла пора отблагодарить его. Штат должен купить картину его внука. И заслуживает наказания за то, что заставил семейство Бриско так долго ждать. Мы обстригаем это дельце в середине месяца, после утверждения законопроекта о налогах. А вы, Малленз, давайте-ка поскорее раздобудьте для меня все расчеты — во что обошлась прокладка ирригационных канав у вас в округе, а также прошу статистические данные о повышении урожайности с акра. Вы мне понадобится, когда я выступлю со своим законопроектом. Похоже, сенатор, мы неплохо сработаемся на этой сессии да и на будущих, не правда ли?

Так молодому художнику из округа Сан-Саба вздумало улыбнуться счастье. Изготавливая вселенскую смесь человеческих судеб, Фортуна уже позаботилась о нем, создав его внуком Люсьена Бриско.

«Тот самый» Бриско был пионером не только в захвате земель, но и в других деяниях, подсказанных его большим, бесхитростным сердцем. Один из первых поселенцев и крестоносцев, он сражался с дикими силами природы, с дикарями и безголовыми политиками. Имя его почиталось наравне с именами Хьюстона, Буна, Крокета, Кларка и Грина. Люсьен Бриско жил просто, независимо, не снедаемый честолюбием. Даже менее прозорливый государственный муж, чем сенатор Кинни, предсказал бы, что штат не замедлит потратиться и наградить внука великого пионера, хотя Лонни Бриско и появился из дебрей чаппараля с таким опозданием.

Поэтому перед рукомеслом внука Люсьена Бриско, у дверей в палату представителей, можно было часто и много дней рядом видеть подвижную, дюжую фигуру сенатора Кинни и слышать его трубный голос, восхваляющий былые подвиги Лоннинного деда. Сенатор Малленз действовал не столь броско и громко, но в том же направлении.

И вот уже близок день представления законопроекта, и из округа Сан-Саба пускается в путь Лонни Бриско с конным эскортом верных соратников-ковбоев, мечтающих воспеть искусство и восславить дружбу, ибо Лонни «плоть от их плоти», рыцарь стремени и чаппарас,<sup>7</sup> столь же умело владеющий лассо и сорокапятикалиберным, что и кистью художника.

Однажды мартовским днем кавалькада с гиканьем ворвалась в город. Ковбои несколько приспособили свой туалет к условиям города, отказавшись от кожаных штанов, а также сняв с себя и приторочив к лукам седел шестизарядные кольты и пояса с патронами. Лонни Бриско, двадцатитрехлетний парень, кривоногий, смуглый, молчаливый, простодушный, с лицом торжественно-серьезным, ехал в кругу товарищей на Жгучем Перце — самом смекалистом ковбойском коньке к западу от Миссисипи. Сенатор Малленз уведомил Лонни об открывшихся радужных перспективах и упомянул даже — столь велика была его вера в могущество сенатора Кинни — ту сумму, которую, по всей видимости, заплатят за картину. И Лонни казалось, что слава и деньги уже у него в руках. Несомненно, в груди смуглого кентаврика не угасала искра божественного огня, ибо он рассчитывал на эти две тысячи долларов лишь как на средство для дальнейшего развития своего дарования. Он мечтал, что

---

<sup>7</sup> Чаппарас — кожаные ковбойские штаны.

когда-нибудь нарисует картину еще побольше этой, скажем, футов двенадцать на двадцать, и в ней будет все: и простор, и пейзаж, и действие.

Трое суток, предшествовавших рассмотрению законопроекта, отряд кентавров доблестно служил своему товарищу, способствуя его успеху. Без курток, в сапогах со шпорами, обветренные, загорелые, ковбои неутомимо слонялись вокруг картины, выражая свое восхищение весьма своеобразными способами. Довольно логично они рассудили, что их оценка картины с точки зрения правдивости изображения будет восприниматься как мнение экспертов. И поэтому, для пользы дела, они громогласно превозносили мастерство художника перед каждым, кому, по их расчетам, надлежало это слышать.

Лем Перри, предводитель клакеров, будучи не слишком изобретательным по части словесности, придерживался некоторого шаблона.

— Нет, вы только гляньте на быка-двухлетку! — говаривал он, вскидывая лилово-коричневую руку к центральной фигуре картины. — Как есть живой, провалиться мне! И вроде топот слышишь. Это он от стада улепетывает, будто напугался, шельмец этакий. Ишь, глазищами ворочает, хвостом крутит! Как есть живой, доподлинный! Это он балуется, коня дразнит, чтоб тот его обошел да погнал в стадо! Провалиться мне! Видали, как хвост задрал? В точности! За всю жизнь ни разу не видал, чтоб по-другому хвост задирали. Провалиться мне!

Джаб Шелби, соглашаясь насчет отменных статей быка, все же умышленно ограничивал себя громким восхвалением пейзажа, так, чтобы все части картины получили достойную оценку.

— А пастбище все равно как близнец долины Дохлой Лошади. И трава в точности, и склон, а вон речка Уиппервиль петляет, — то нырнет в заросли, то вынырнет. И вон они, ястребы, в левой стороне, кружат над пегой кобылой Сэма Килдрейка. Она у него в жару опилась и подохла. Самое лошадь не видать за вязами у речки, но аккуратно там она лежит. Кому охота побывать в долине Дохлой Лошади, пускай только глянут на картину, а там уж слезай с коня да выбирай местечко для лагеря.

Ну а Тоший Роджер, склонный к комическому жанру, разыгрывал весьма впечатляющую сценку. Он подходил к картине почти вплотную и вдруг, в подходящий миг, пронзительно верещал: «А-а-а-ай!» — и с высоким подскоком шарахался в сторону, гулко топя по каменным плиткам вестибюля и звеня шпорами.

— Святые угодники! — таков был текст его роли. — А я думал, змеюка — живой иг-зим-пляр! Вот режьте меня, ешьте! И вроде слышал, как шипела. Режьте меня, ешьте! Вот она, богом забытая тварь, под тем кактусом. Того гляди, укусит!

Такие хитроумные уловки преданной лиги доброжелателей, красноречие сенатора Кинни, неустанно превозносившего достоинства картины, а также престиж пионера Люсьена Бриско, как бы покрывавший ее драгоценным лаком, — все это вкуче давало основание полагать, что округ Сан-Саба, который уже завоевал славу победами на состязаниях по заарканиванию быков и в азартных карточных играх, наверняка увеличит свое превосходство над другими округами еще и тем, что станет центром искусства. Так, пусть даже путем побочных обстоятельств, а не благодаря кисти художника, была создана атмосфера, сквозь которую публика взирала на полотно еще более благосклонно. Имя Люсьена Бриско обладало магической силой, которая побеждала и несовершенство техники, и аляповатый колорит. Старый охотник на индейцев и на волков печально усмехнулся бы в своих заоблачных угодах, если б узнал, что через два поколения после его будничной, далекой от творчества жизни призрак его выступил в роли мецената.

И настал день, когда в сенате должны были провести законопроект сенатора Малленза о выделении суммы в две тысячи долларов для покупки картины. Лонни и его сан-сабские радатели поспешили как можно раньше захватить места на галерее. Они сидели в первом ряду, лохматые, оробевшие, подавленные торжественностью зала, и с галереи доносилось лишь тихое поскрипывание, позвякивание, шорохи.

Законопроект был принят к обсуждению и взят на второе чтение. Сенатор Малленз

выступал сухо, скучно и томительно долго. Но тут поднялся сенатор Кинни, и зал сотрясли громовые раскаты его голоса. В те времена красноречие было неотъемлемой частью жизни. Мир в ту пору еще полностью не обучился решать свои проблемы с помощью геометрии и таблицы умножения. То была пора сладкозвучных речей, выразительного жеста, эффектной апострофы, волнующего заключения.

Сенатор Кинни говорил. Растрепанные, с падающими на глаза волосами, тяжело дыша, переключаясь с колена на колено двухфунтовые шляпы, внимали ему на галерее сансабские избиратели. А внизу восседали за своими столами достопочтенные сенаторы, то в небрежных позах многоопытных государственных мужей, то с видом чинным, подтянутым, что свидетельствовало об их пребывании на посту лишь первый срок.

Сенатор Кинни говорил целый час, и темой его речи была история, подвергнутая мягчительному воздействию патриотических чувств. Мимоходом он также обмолвился и о картине в вестибюле: право, нет нужды, сказал он, распространяться о ее достоинствах, — сенаторы имели возможность убедиться сами. Написал ее внук Люсьена Бриско. И затем сенатор перешел к словесным картинам, в коих живописал самыми яркими красками жизнь Люсьена Бриско, жизнь суровую, полную опасностей; напомнил о его бескорыстной преданности штату, который он помогал создавать, о его презрении к наградам и славе, о его стойком, независимом характере и о великих заслугах перед штатом. Речь сенатора была посвящена всецело Люсьену Бриско, картина же стояла где-то на заднем плане, как бы являя собою лишь средство, дающее штату возможность выразить запоздалую благодарность своему любимому сыну в лице его потомка. Частыми восторженными аплодисментами сенаторы выражали одобрение оратору.

Законопроект был принят в сенате единогласно. На следующий день он будет передан в палату представителей. Все уже было подготовлено для того, чтобы провести его там по укатанной дорожке, а Блэндфорд, Грейсон и Пламмер — заправила и видные ораторы, снабженные богатейшим материалом о подвигах Люсьена Бриско, согласились быть толкачами.

Сан-сабские покровители искусства и их протеже, громко топая, спустились по лестнице во двор, а потом, сбившись тесной кучей, издали оглушительный победный клич. Но вдруг один из них — это был Колченогий Соммерс — как бы угодил в самую точку, сказав раздумчиво:

— Ну, вроде картина сгодилась. Думаю, они купят твоего быка. Я в ихней парламинской кухне мало смыслю, но по всему видать — купят. А только сдается мне, Лонни, он все больше про твоего деда наяривал, а не про картину. Оно, конечно, сенатор правильно тебе потрафил, не так уж худо носить тавро старого Бриско.

Реплика Соммерса мгновенно прояснила то смутное горькое подозрение, что закралось в душу Лонни. Он и вовсе умолк и, сорвав клоч травы, стал рассеянно жевать ее. Да, картина как таковая унизительно отсутствовала в доводах сенатора Кинни. Восхваляли не художника, а лишь внука Люсьена Бриско. Быть может, в некотором смысле, это было даже приятно, но ведь тогда искусство как бы оказывалось ни при чем. Молодой художник напряженно думал.

Лонни остановился в гостинице неподалеку от Капитолия. Когда сенат одобрил законопроект о покупке картины, время близилось уже к перерыву на обед в час дня. Портье рассказал Лонни, что в их гостинице остановился знаменитый художник из Нью-Йорка. Он тут проездом, направляется дальше на запад в Нью-Мексико посмотреть, как падает солнечный свет на древние стены, возведенные индейцами племени зуни. Современные строительные материалы отражают лучи. Древняя кладка их поглощает. Художник задумал передать этот эффект в своей картине, ради чего и отправился за две тысячи миль изучать его на месте.

После обеда Лонни отыскал художника и рассказал ему о себе. Художник был человек больной, лишь талант и равнодушие к жизни не давали ему умереть. Он пошел с Лонни посмотреть на картину. Художник стоял перед ней, подергивал бородку, и вид у него был несчастный.

— Хотел бы знать ваше мнение, — сказал Лонни, — только валяйте напрямик, все начистоту!

— Так и будет, — ответил маэстро. — Перед обедом я принял три микстуры по столовой ложке — до сих пор горечь на языке. Это основательная грунтовка для правды. Стало быть, вы хотите знать, картина это или не картина?

— Вот-вот, — подхватил Лонни. — Хочу знать — шерсть это или хлопок. Продолжать мне это дело или бросить и гонять скотину?

— За десертом кто-то сказал, что штат собирается заплатить вам за нее две тысячи долларов?

— Сенат уже одобрил законопроект, завтра все будет заметано.

— Ну, скажу я вам, это везение! — промолвил человек с болезненно-бледным лицом. — Носите заячью лапку на счастье?

— Нет, — ответил Лонни. — Говорят — дед у меня был... Его тут здорово примешали к моим краскам. А картину я писал целый год. Так что же — вовсе она дрянная или нет? Кой-кто говорит, будто хвост у быка неплохо удался, и пропорции подходящие. Как по-вашему?

Художник взглянул на мускулистую фигуру парня, на его смуглую, цвета ореховой скорлупы, кожу и поддался минутному раздражению.

— Ради искусства, сын мой, — сказал он с сердцем, — больше не траться на краски. Это не картина. Это ружье. Если хочешь, бери штат на прицел, выбивай из них свои две тысячи долларов, но к холсту — ни шагу! Лучше пусти его на тент и сиди под ним. А на деньги купи сотни две лошадей, говорят, они у вас тут по дешевке, — и скачи себе, скачи! Дыши полной грудью, ешь, спи — и будь счастлив. И чтоб никаких картин. Вижу, здоровье у тебя есть. А это талант! Развивай его! — Художник посмотрел на часы. — Без двадцати три. Ровно в три — четыре капсулы и таблетку... Полагаю, это все, что ты хотел узнать?

В три часа пополудни ковбои заехали за Лонни Бриско и пригнали ему Жгучего Перца, оседланного и взнузданного. Традиции есть традиции. Одобрение законопроекта сенатом полагалось отпраздновать, иначе говоря — всей ватагой проскакать по городу галопом, подымая дикий шум и переполох, затем, после обильных возлияний, оглушить пальбой окраины и как можно громче провозгласить здравицу Сан-Сабе. Часть ритуала они уже успели выполнить в попутных салунах.

Лонни сел на своего чудесного конька, который так и рвался вскачь, подгоняемый пылким темпераментом и смекалкой. Конь радовался, что бока его вновь ощутили крепкие кривые ноги хозяина. Лонни был его другом, и конек любил ему угождать.

— Вперед, ребята! — сказал Лонни и, ткнув коленями в бока Жгучего Перца, пустил его галопом. Свита с гиканьем ринулась следом сквозь тучу пыли. Лонни повел за собой когорту верных соратников прямо на Капитолий. Громовым восторженным кличем ковбои одобрили, теперь уже ставшее явным, намерение своего предводителя въехать туда на лошадях. Да здравствует Сан-Саба!

Ковбойские лошади процокали копытами по шести каменным ступеням и проникли в гулкий вестибюль, сея панику среди пеших посетителей. Лонни, вожак кавалькады, направил своего конька прямо на картину. В это время дня из окон второго этажа поток мягкого света заливал все огромное полотно, ярко выделяя его на более темном фоне вестибюля. Так и казалось, несмотря на все погрешности мастерства, будто перед вами живой пейзаж, и невольно тянуло податься в сторону от мчащегося прямо на вас быка. Быть может, Жгучему Перцу именно это и почудилось. Ведь все это было ему знакомо. А может быть, он лишь подчинился воле всадника. Конь вздернул уши, гневно фыркнул. Лонни, устремляясь вперед, приник к седлу, вскинув локти наподобие крыльев. Так ковбой дает сигнал коню: вперед, во весь опор! Как видно, Жгучий Перец вообразил, что ему навстречу мчится отбившийся от стада бык, рыжий, шальной, и что его нужно тотчас гнать обратно, в стадо. В ответ на сигнал уздой стальные мышцы коня напряглись: топот... рывок... — и Жгучий Перец вместе со своим хозяином, пригнувшим голову, чтобы не стукнуться о раму, пробил огромное полотно навывлет, как пушечное ядро, оставив за собой рваные лохмотья холста, повисшие вокруг



гигантской зияющей дыры.

Лонни мигом завернул коня и объехал колонны. Со всех сторон сбегались люди, ошарашенные, онемевшие от изумления. Постовой сержант подошел к картине, нахмурился, грозно сверкнул оком и вдруг ухмыльнулся. Кое-кто из сенаторов вышел в вестибюль посмотреть, что случилось. Ковбои оцепенели в безмолвном ужасе, сраженные безумным поступком своего товарища.

Сенатор Кинни вышел из зала заседаний одним из первых. Прежде чем он успел раскрыть рот, Лонни, пригнувшись в седле, оттого, что Жгучий Перец выделял курбеты, указал арапником на сенатора и спокойно сказал:

— Вы очень здорово говорили, мистер. Но, право, не стоило вам этак надсаждаться насчет денег. Никаких денег я не прошу. Я-то думал, что могу продать штату картину, а она никакая не картина. Вы наговорили целую кучу разных разностей про моего дедушку Бриско, и теперь я горжусь, что я его внук. Ну так знайте: мы, Бриско, пока еще подачек от штата не принимали. А раму пускай даром берет кто хочет. Эй, ребята! Поехали!

И сан-сабская делегация поскакала прочь: из вестибюля, по каменным ступеням крыльца, вдоль пыльной улицы.

На полпути до округа Сан-Саба они сделали привал. Перед тем как лечь спать, Лонни украдкой пробрался от костра к своему коню, который мирно пощипывал траву, отойдя от колышка на длину привязи.

Лонни обнял коня за шею, и все его притязания по части искусства улетучились навеки в одном протяжном скорбном вздохе. Но и отрекаясь от своих чаяний, он все же выдохнул чуть слышно:

— Ты один кой-чего углядел в ней, конек. Бык-то получился как живой, правда, старина?

## Феба

— Вы герой многих романических приключений и всяческих авантюр, — сказал я капитану Патрицию Малонэ. — Полагаете ли вы, что счастливая или несчастная звезда, — если таковые вообще существуют, — оказывали влияние на вашу судьбу, и если полагаете, то не работали ли они, — за или против вас, — так упорно, что вы принуждены были приписать результаты, достигнутые вами в жизни, стараниям вышеупомянутых звезд?

Этот вопрос (напоминавший своей скучной наглостью судебную фразеологию) был мной предложен капитану, когда мы заседали в маленьком кафе Русселина под красной черепитчатой крышей, у Конго-сквер, в Новом Орлеане.

Авантюристы с бронзовыми лицами, белыми фуражками и кольцами на пальцах часто заходили к Русселину выпить коньяку. Они прибывали с моря и с суши и не особенно охотно рассказывали о виденных ими вещах — не потому, что эти вещи были более поразительны, чем фантазии репортеров, но от того, что они резко отличались от измышлений онанистов печати. А я был вечным свадебным гостем и приставал с расспросами ко всем этим морякам-скитальцам. Этот капитан Малонэ был гиберно-иберийским креолом, исколесившим землю во всех направлениях. Наружность у него была как у всякого другого хорошо одетого человека тридцати пяти лет, с той разницей, что у него было безнадежно обветренное лицо и он носил на цепочке от часов старинный перуанский талисман, из слоновой кости и золота, предохранявший от порчи, но не имевший никакого отношения к его рассказу.

— Моим ответом на ваш вопрос, — сказал, улыбаясь, капитан, — будет история Керни-Злосчастья, если вы согласны ее выслушать.

Моим ответом был удар кулаком по столу на предмет подачи нам коньяку.

— Однажды вечером, когда я проходил по улице в Упитула, — начал капитан Малонэ, — я заметил, не придавая ему особого значения, маленького человека, быстро идущего мне навстречу. Он наступил на деревянную крышку подвала, с треском пробил ее и провалился. Я

вытащил его из кучи угольной пыли на дне подвала. Он быстро смахнул с себя пыль, автоматически изрыгая при этом проклятия тем механическим тоном, каким плохо оплачиваемый актер произносит заклятие цыганки. Благодарность и пыль, осевшие в его горле, требовали промывки. Его желание ликвидировать их было так чистосердечно выражено, что я немедленно зашел с ним в кафе, где нам подали паршивый вермут и горькую. Тут я впервые ясно разглядел Френсиса Керни. Рост его равнялся приблизительно пяти футам и семи дюймам, но он казался крепким, как кипарис. У него были рыжие волосы самого темного оттенка, его рот представлял из себя такую узкую щель, что вы удивлялись, как мог изливаться из него поток его речей. Его глаза были самого яркого и светлого, самого жизнерадостного голубого цвета; я никогда не видел таких веселых глаз. Он производил двойное впечатление: человека, прижатого к стене, и человека, которого безопаснее не трогать.

— Я только что вернулся из экспедиции за золотом в Коста-Рику, — объяснил он. — Помощник штурмана на фруктовом пароходе рассказал мне, что туземцы там набирают из прибрежного песка столько золота, что на него можно скупить весь ром, весь красный коленкор и все музыкальные ящики в мире. В тот самый день, когда я туда приехал, какой-то синдикат получил правительственную концессию на все изыскания руд и минералов в стране. Вторым номером я схватил береговую лихорадку и в течение шести месяцев лежал в соломенной хижине и считал зеленых и синих ящериц. Мои кошмары оправдались, когда поправился, потому что рептилий там действительно было сколько угодно. Я поехал обратно, нанявшись третьим поваром на норвежский бродячий пароход; у него, не доходя две мили до карантина, взорвался котел. Мне ведь суждено было сегодня провалиться в этот погреб, — поэтому я совершил весь остальной путь вверх по реке на пароходишке, который приставал к берегу ради каждого рыбака, желавшего получить пачку табаку.

И вот я здесь, в ожидании дальнейшего. И оно придет, оно придет, — продолжал этот странный мистер Керни — оно придет в лучах моей яркой, но не особенно щепетильной звезды.

Личность Керни сразу очаровала меня. Я угадал в нем смелую душу, беспокойную натуру и способность к мужественному сопротивлению ударам судьбы, которые делают его соотечественников такими ценными товарищами в рискованных приключениях. Мне тогда как раз нужны были такие люди. У меня был пароход в пятьсот тонн, ошвартовавшийся на фруктовой пристани и готовый к отплытию на завтрашний день с грузом сахара, леса и листового железа для порта, — ну, назовем эту страну Эсперандо. Все это происходило не так давно, и имя Патриция Малонэ упоминается там еще до сих пор, когда обсуждается ее неустойчивое политическое положение. Под сахаром и железом были у меня упакованы тысяча винчестерских винтовок. В Агуас Фриас, столице, дон Рафаэль Вальдевиа, военный министр, самый благородный и талантливый патриот Эсперандо, ждал моего прибытия. Вы, без сомнения, слышали, не без улыбки, о вечных войнишках и восстаниях в этих маленьких тропических республиках. Они производят только легкий шум по сравнению с грохотом сражений между крупными государствами; но там, на месте, под всеми этими смешными мундирами, мелочной дипломатией и нелепыми минами и контрминами, можно найти настоящих государственных людей и патриотов. Таким был дон Рафаэль Вальдевиа. Его великим честолюбивым замыслом было стремление доставить Эсперандо мир и благосостояние и возвысить ее в глазах влиятельных государств. Итак, он ждал моих винтовок в Агуас Фриас. Но можно подумать, что я стараюсь залучить вас в сторонники! Нет, мне нужен был Френсис Керни. Я это и сообщил ему в длинной речи, пока мы сидели за отвратительным вермутом, вдыхая удушливый запах чеснока и брезента, который, как вам известно, является специфическим ароматом кафе в приречных кварталах нашего города. Я говорил о тиране, президенте Крузе, и о тяготах, которые налагают на народ его алчность и наглая жестокость. Керни при этом залился слезами. Я осушил эти слезы описанием тех наград, которые нам дарует судьба, когда мы низложим притеснителя и водворим на его место мудрого и великодушного Вальдевиа. Тут Керни вскочил с места и сжал мою руку с силой медведя. «Я

ваш, — сказал он, — до тех пор, пока последнюю косточку ненавистного деспота не сбросят в море с высочайшей вершины Кордильер».

Я заплатил, и мы вышли. У дверей Керни перевернул локтем стеклянную витрину и разбил ее на мелкие куски. Я заплатил хозяину, сколько он запросил.

— Переночуйте у меня в отеле, — сказал я Керни. — Мы отходим завтра в полдень.

Он согласился; но на тротуаре он снова начал сыпать проклятия своим унылым, однообразным, ровным тоном, как когда я его вытащил из угольного погребка.

— Капитан, — сказал он, — прежде чем нам идти дальше, я обязан честно предупредить вас, что я известен от Баффинова залива до Огненной Земли, как «Керни-Злосчастье». И это так и есть. Все, в чем я принимаю участие, взлетает на воздух, за исключением воздушных шаров. Я проигрывал каждое пари, которое я заключал, если только не контрировал его сам. Каждое судно, на котором я плавал, шло ко дну, за исключением подводных лодок. Все дела, в которых я когда-либо был заинтересован, разлетались вдребезги, кроме патентованной бомбы, изобретенной мной. Все, за что я принимался, стараясь сдвинуть с места, я вгонял в землю, кроме того случая, когда я пытался пахать. Почему меня и прозвали Керни-Злосчастье. Я думал, что я обязан сказать вам это.

— Злосчастье, — сказал я, — или то, что нами так называется, может иногда тормозить дела каждого из нас. Но если оно упорствует и переходит границу того, что мы называем средними числами, для этого должна быть какая-нибудь особая причина.

— Причина есть, — выразительно сказал Керни, — и когда мы пройдем еще квартал, я вам ее покажу.

Удивленный, я шел рядом с ним, пока мы не добрались до Канал-стрит и не вышли на середину этой широкой улицы.

Керни схватил меня за руку и трагически вытянул указательный палец по направлению к довольно блестящей звезде, которая сияла ровным блеском над горизонтом.

— Это Сатурн, — сказал он, — звезда, которая управляет неудачами, злом, разочарованиями, невезеньем и неприятностями. Я родился под этой звездой. При каждом моем движении Сатурн выскакивает и ставит мне преграду. Это фатальная планета на небе. Говорят, что он имеет семьдесят три тысячи миль в диаметре и по составу не тверже протертого горохового супа, у него столько же неприличных и коварных колец, как в Чикаго. Понимаете, каково это — родиться под такой звездой?

Я спросил Керни, где он получил все эти поразительные сведения.

— От Азраса, великого астролога в Кливленде, — сказал он. — Он посмотрел в стеклянный шар и сказал мне мое имя, прежде чем я успел сесть на стул. Он предсказал мне день моего рождения и смерти, прежде чем я успел выговорить слово. А затем он составил мой гороскоп, и звездная система втянула меня в солнечный круг. Злосчастье должно было преследовать Френсиса Керни от А до Интеллекта, а также и всех его друзей, замешанных в его дела. За это я дал десять долларов. Азрас был очень огорчен, но он слишком уважал свою профессию, чтобы неправильно истолковать небеса для кого бы то ни было. Это происходило ночью, и он провел меня на балкон, откуда открывался свободный вид на небо, и он показал мне, которая звезда Сатурн и как ее находят с разных балконов и в разных широтах. Но не в одном Сатурне дело. Он только заправила. Он вырабатывает столько неудач, что ему разрешается держать при себе целую команду вице-светил, помогающих их распределять. Они все время вертятся около главного склада, и каждый бросает невезенье в свой специальный район.

— Видите эту безобразную маленькую красную звезду приблизительно в восьми дюймах над Сатурном с правой стороны? — спросил меня Керни. — Ну вот, это она и есть. Это Феба. Она меня опекает.

— Согласно дню вашего рождения, — сказал Азрас, — ваша жизнь подвержена влиянию Сатурна. На основании часа и минуты, когда это произошло, вы должны находиться под управлением и непосредственным влиянием Фебы, его девятого спутника. — Так сказал Азрас.

Керни злобно потряс кулаком по направлению к небу: — «Будь она проклята, она хорошо делает свое дело, — сказал он. — С тех пор как меня астрологировали, злосчастье преследует меня, как моя тень, я вам это уже говорил. И многие годы до этого. Теперь, капитан, я сообщил вам мой гандикап, как подобало порядочному человеку. Если вы опасаетесь, что моя несчастная звезда может испортить ваш план, пошлите меня к черту.

Я успокоил Керни, как только умел. Я предложил ему изгнать на время из своих мыслей астрологию и астрономию. Меня притягивало явное мужество и энтузиазм этого человека.

— Посмотрим, что могут сделать немного мужества и энергии против несчастной звезды, — сказал я. — Мы завтра отходим в Эсперандо.

Едва мы прошли пятьдесят миль вниз по Миссисипи, как у нашего парохода сломался руль. Мы послали за буксиром, чтоб потащить нас обратно, и потеряли на это три дня. Когда мы добрались до голубых волн залива, казалось, что над нами собрались все тучи со всей Атлантики. Мы были твердо уверены, что нам придется подсластить нашим сахаром эти бурные волны и сложить наше оружие и лес на дне Мексиканского залива.

Керни не пытался уменьшить хоть на йоту ответственность за это, взваленную на его плечи фатальным гороскопом. Он выстаивал все бури на палубе, покуривая черную трубку, причем казалось, что дождь и морская вода только подливали масла в ее огонь, чтоб не давать ей потухнуть. Он потрясал кулаком по направлению к черным тучам, за которыми его зловещая звезда подмигивала ему невидимым глазом. Когда однажды вечером тучи рассеялись, он начал поносить свою коварную попечительницу с мрачным юмором.

— Ты на страже, не правда ли, красноволосяя ведьма? Устраиваешь баню для маленького Френсиса Керни и его друзей? Подмигивай, подмигивай, чертова кукла! Ах, вы дама? Ну, ну, похлопочи, хрычовка, пусти пароход ко дну, одноглазая колдунья! Феба! Гм! Имечко, как у путной. Нельзя судить о женщине по ее имени. Почему мне не дали звезды мужского рода? Я не могу даже высказать Фебе все замечания, которые я сделал бы мужчине. Эх, Феба! Чтоб ты сдохла!

В течение восьми дней штормы, шквалы и смерчи сбивали нас с пути, тогда как мы должны были уже на пятый день быть в Эсперандо. Наш Иона проглатывал свою вину с трогательным чистосердечием, но это едва ли уменьшало затруднения, которым подвергалось наше дело.

Наконец, в один прекрасный день мы вступили в тихий лиман маленькой Рио-Эскандидо. Три мили мы ползли вверх по течению, нащупывая узкий канал между мелями, заросшими до краев гигантскими деревьями и беспорядочной растительностью. Затем наш свисток издал легкий трубный звук, и через пять минут мы услышали ликующий крик: Карлос, мой храбрый Карлос Квинтана с треском пробился через заросли; он кричал и с безумной радостью размахивал своей шляпой. На расстоянии сотни ярдов находился его лагерь, где нашего прибытия ждали триста отборных патриотов Эсперандо. Карлос уже месяц, как обучал их там военной тактике и прививал им дух революции и свободы.

— Мой капитан, *compadre mio!* — кричал Карлос, пока спускали мою лодку. — Если бы вы видели их в поротном строю, когда они идут колонной или маршируют по четыре в ряд! Они великолепны! А как они владеют оружием!.. Но, увы, нам приходится довольствоваться только бамбуковыми палками. Ружья, *capitan*, скажите, что вы привезли ружья!

— Тысячу винчестеров, Карлос! — закричал я ему. — И две пушки Гатлинга.

— *Valgame dios!* — воскликнул он, подбрасывая шляпу на воздух. — Мы сметем весь мир!

В эту минуту Керни упал с борта парохода в воду. Он не умел плавать; команда кинула ему веревку и втащила его обратно на борт. Я поймал его взгляд, полный патетического, но все же бодрого и бесстрашного признания своей несчастной звезды. Я сказал себе, что его, может быть, следует избегать, но им нельзя не восхищаться.

Я отдал приказание немедленно выгрузить оружие, амуницию и провиант. Это удобно было сделать при помощи пароходных шлюпок, за исключением двух пушек. Для переправки их на берег мы везли с собой в трюме большую плоскодонную лодку. Я тем временем

отправился с Карлосом в лагерь и сказал солдатам небольшую речь на испанском языке; они выслушали ее с энтузиазмом; после этого Карлос угостил меня вином и папиросами в своей палатке. Затем мы вернулись к реке, чтобы взглянуть, как идет разгрузка.

Ружья и припасы были уже выгружены на берег, и команды людей, под наблюдением низших офицеров, перетаскивали их в лагерь. Одна из пушек была благополучно доставлена на берег. Другую, когда мы подошли, только что пытались перекинуть через борт. Я заметил Керни, который летал взад и вперед по палубе; казалось, что у него честолюбия хватит на десятерых, а работал он за пятерых. По-видимому, его усердие хлынуло через край, когда он увидел Карлоса и меня. Конец каната свободно болтался откуда-то с такелажа, Керни порывисто кинулся вперед и ухватился за него. Раздался треск, шипение, появился дым от положенной пакли, и пушка упала, как гиря, пробила дно плоскодонки и исчезла в двадцати футах воды и пяти футах тины.

Я повернулся спиной к этой сцене. Я слышал громкие крики Карлоса, как бы вызванные чрезмерным горем, слишком острым для слов. Я слышал жалобное ворчание команды и проклятия Торреса, шкипера, но я был не в силах видеть это.

К ночи в лагере был восстановлен некоторый порядок. Военная дисциплина не соблюдалась здесь слишком строго, и солдаты собрались группами вокруг обеденных костров, играя в азартные игры, распевая песни или обсуждая с болтливым оживлением возможности похода на столицу.

В мою палатку, которую раскинули для меня по соседству с моим старшим лейтенантом, вошел Керни, неукротимый, улыбающийся, с блестящими глазами; на нем не было заметно следов от ударов, нанесенных ему несчастной звездой. У него был, скорее, вид знаменитого мученика, испытания которого были столь возвышенны и так прославлены, что он заимствовал от них некоторый блеск и престиж

— Ну, капитан, — сказал он, — я думаю, вы понимаете, что Керни-Злосчастье еще не потонул. Ужасно досадно с этой пушкой. Ее нужно было отвести только на два дюйма от поручней; вот зачем я схватился за этот канат... Кто бы мог подумать, что моряк — будь это хоть сицилийский увалень на корыте для перевозки фруктов, — способен закрепить канат простым узлом? Не думайте, капитан, что я пытаюсь снять с себя ответственность. Всею виной мое счастье.

— Есть люди, — сказал я серьезно, — которые проводят жизнь, сваливая на счастье и случай все ошибки, которые происходят по их вине и неопытности. Я не говорю, что вы такой человек. Но если все ваши неудачи можно свести к этой крошечной звезде, нам надо как можно скорее ввести в наших университетах кафедру моральной астрономии.

— Величина звезды не имеет значения, — сказал Керни. — Все дело в ее качестве. Это совсем как с женщинами. Поэтому они дали большим планетам мужские имена, а маленьким звездам — женские, чтобы выйти сухими из воды, когда дойдет до дела. Допустим, они назвали бы мою звезду «Агамемноном», или «Биллом Мак-Карти», или чем-нибудь в этом роде вместо Фебы. Каждый раз, когда один из этих старых хрычей коснулся бы кнопки бедствий и послал бы мне по беспроволочному телеграфу какую-нибудь из моих невзгод, я мог бы поговорить с ним и высказать ему свое мнение в соответствующих выражениях. Но вы не можете быть хамом по отношению к даме.

— Вам нравится острить над этим, Керни, — сказал я не улыбаясь, — но мне не до шуток, когда я подумаю, что мой Гатлинг завяз в речной тине.

— Что касается этого, — сказал Керни, сразу бросая легкий тон, — я уже сделал все, что мог. У меня есть некоторый опыт в подъеме плит в каменоломнях. Мы с Торресом приготовили канаты. Мы вытащим пушку на твердую почву завтра до полудня.

Невозможно было долго оставаться в контрах с Керни-Злосчастьем.

— Мы еще раз, — сказал я ему, — обойдем этот вопрос о счастье. Есть у вас какой-нибудь опыт в муштровке новобранцев?

— Я был старшим сержантом и инструктором, — сказал Керни, — в чилийской армии в течение года. И еще год был капитаном артиллерии.

— Что случилось с вашей командой? — спросил я.

— Все до одного убиты, — сказал Керни, — во время восстания против Балмаседы.

Злоключения человека, родившегося под несчастной звездой, представлялись мне больше с комической стороны. Я откинулся на свою койку, покрытую козьей шкурой, и смеялся до того, что чаша крутом задрожала. Керни усмехнулся.

— Я ведь говорил вам, как обстоит со мной дело, — сказал он.

— Завтра, — сказал я, — я отряжу сотню человек, и вы будете обучать их стрельбе и эволюциям в ротном строю. Вы получите чин лейтенанта. Но только, ради бога, Керни, — убеждал я его, — постарайтесь побороть это суеверие, если это можно так назвать. Невезенье, как и всякий другой гость, предпочитает идти туда, где его ожидают. Выбросьте звезды из головы. Считайте Эсперандо вашей счастливой планетой.

— Благодарю вас, капитан, — спокойно сказал Керни, — рад стараться.

В полдень, на следующий день, согласно обещанию Керни, затонувший Гатлинг был извлечен. Затем Карлос Мануэль Ортис и Керни (мои лейтенанты) роздали солдатам винчестеры и начали обучать их. Мы не стреляли, даже холостыми патронами, так как берег Эсперандо самый тихий в мире и мы не хотели, чтоб до ушей правительства дошли сведения о наших приготовлениях.

Днем прибыл верховой на муле с письмом ко мне из Агуас Фриас от дона Рафаэля Вальдевиа. Когда я произношу имя этого человека, за ним неудержимо льются у меня восхищенные отзывы о его величии, благородной простоте, о его выдающемся гении. Он был путешественником, изучавшим людей и правительства, ученым, поэтом, вождем, солдатом, стратегом и кумиром населения Эсперандо. Он в течение многих лет удостаивал меня своей дружбой. Я первый внушил ему мысль, что он должен оставить после себя в виде памятника новое Эсперандо, страну, освобожденную от власти беспринципных тиранов, народ, осчастливленный и обогащенный мудрыми и беспристрастными законами. Когда он согласился, он предался этому делу с неутомимым рвением, которое он вкладывал во все свои начинания. Хранилища его больших богатств были открыты для тех из нас, кому были доверены скрытые пружины заговора. Его популярность была так велика, что заставила президента Круза предложить ему портфель военного министра.

— Время настало, — сообщал дон Рафаэль в своем письме.

Он предсказывал несомненный успех. Народ уже начинал публично протестовать против насилий Круза. Толпы граждан уже бродили в столице по ночам, бросая камни в общественные здания и выражая свое недовольство. Бронзовой статуе президента Круза в Ботаническом саду накинута на шею веревку и сбросили ее с пьедестала. Оставалось только появиться мне с моим войском и тысячью винтовок, а ему выступить вперед и объявить себя спасителем народа, чтобы низложить Круза в течение одного дня. От правительственного войска в шестьсот человек, расквартированного в столице, можно было ожидать только формального сопротивления. Страна принадлежала нам. Он предполагал, что мой пароход к этому времени прибыл в лагерь Квинтаны. Он предлагал для выступления день восемнадцатого июля. Это даст нам шесть дней срока, чтоб собрать лагерь и двинуться на Агуас Фриас. В ожидании этого дон Рафаэль оставался моим искренним другом и *compadre en la causa de libertad*.

Утром четырнадцатого мы двинулись в поход по направлению к окаймлявшему море горному хребту; тропа в шестьдесят миль длиною должна была привести нас в столицу. Винтовки и припасы мы нагрузили на вьючных мулов. Двадцать человек, приставленных к каждой из пушек Гатлингса, легко катили их по плоским низинам. Наши войска, хорошо обутое и накормленные, шли бодро и охотно. Я и мои три лейтенанта ехали верхом на сильных местных горных пони. Не доходя одной мили до лагеря, один из вьючных мулов заартачился, выбился из строя и свернул с тропинки в чащу. Проворный Керни быстро помчался ему наперерез и перехватил его. Он поднялся на стремянах, высвободил одну ногу и угостил непокорное животное здоровым пинком. Мул споткнулся и с шумом упал боком на землю. Когда мы собрались вокруг него, он поднял на Керни свои огромные глаза с почти

человеческим взглядом и околел. Это было плохо; но еще хуже, по нашим понятиям, было связанное с этим второе несчастье: часть поклажи мула состояла из ста фунтов самого лучшего кофе, которое можно получить в тропиках. Мешок лопнул, и драгоценная коричневая масса рассыпалась в густой заросли, которую было покрыто болото. Чертовское несчастье! Когда вы отнимаете у жителя Эсперандо его кофе, вы уничтожаете его патриотизм и пятьдесят процентов его ценности как солдата! Солдаты начали сгребать драгоценное вещество, но я отозвал Керни на несколько шагов, чтобы нас не могли услышать. Мера моего терпения была переполнена. Я вынул из кармана пачку денег и вытащил несколько кредиток.

— Мистер Керни, — сказал я, — это деньги дон Рафаэля Вальдевиа, которые я трачу на его дело. Я сейчас окажу ему самую большую услугу. Вот сто долларов. Счастье или несчастье, но мы с вами должны расстаться. Звезда или не звезда, но катастрофы, по-видимому, идут за вами хвостом. Возвращайтесь на пароход. Он остановится в Амстане, чтобы разгрузить лес и железо, а потом пойдет обратно в Новый Орлеан. Передайте эту записку шкиперу, чтоб он принял вас на пароход.

Я написал несколько слов на листке, вырванном из записной книжки, и сунул его вместе с деньгами Керни в руку.

— Прощайте, — сказал я, протянув ему руку. — Не думайте, что я недоволен вами, но в этой экспедиции нет места для, ну, скажем, сеньориты Фебы. — Я сказал это с улыбкой, стараясь смягчить удар. — Желаю вам, чтобы ваше невезенье прекратилось.

Керни взял деньги и записку.

— Это было только легкое прикосновение, — сказал он, — я только чуть-чуть подтолкнул его кончиком сапога. Но не все ли равно? Этот проклятый мул околел бы, если бы я смахнул пыль с его боков пуховкой от пудры. Таково мое счастье. Что делать, капитан... мне очень хотелось бы участвовать вместе с вами в этой маленькой схватке в Агуас Фриас. Полный успех вашему делу!

Он повернулся и пошел обратно не оглядываясь. Поклажу с злополучного мула переложили на пони Френсиса Керни, и мы продолжали путь.

Мы шли четыре дня по холмам и горам, переходя вброд ледяные потоки, проходя по крошившимся под нашими ногами карнизам скал, поднимаясь ползком на скалистые обрывы над чудовищными безднами, пробираясь, еле переводя дух, по шатким мостам, пересекавшим бездонные пропасти. Семнадцатого вечером мы расположились лагерем у маленькой речки на голых холмах в пяти милях от Агуас Фриас. На заре мы должны были двинуться дальше. В полночь я стоял у моей палатки, вдыхая чистый холодный воздух. Звезды ярко сияли на безоблачном небе, придавая ему его настоящий вид безграничной глубины и отдаленности, если смотреть на него из туманной тьмы запятнанной земли. Планета Сатурн находилась почти в зените; я с полуулыбкой созерцал зловещую красную искру ее коварного спутника, демонической звезды несчастного Керни. Затем мои мысли перекинулись через холмы к сцене нашего грядущего торжества, где героический и благородный дон Рафаэль ожидал нашего прибытия, чтоб зажечь новую и блестящую звезду на политическом горизонте Эсперандо. Я услышал в высокой траве справа от меня легкое шуршание. Я обернулся и увидел, что ко мне направляется Керни. Он был оборван, вымок от росы и хромал. Его шляпа и один сапог исчезли. Он обернул вокруг одной ноги какое-то изделие из холста и травы. Но он приближался с видом человека, который достаточно уверен в своих заслугах, чтоб стать выше нелюбезного приема.

— Что ж, сэр, — сказал я, холодно глядя на него, — если у нас еще кое-что сохранилось, я не вижу причины, почему бы вам не удалось теперь окончательно уничтожить и погубить нас.

— Я отстал от вас на полдня пути, — сказал Керни, вытаскивая из прикрытия своей хромой ноги камень, — чтобы моя неудача не коснулась вас. Я не мог поступить иначе, капитан; я непременно хотел участвовать в этой затее. Довольно тяжелая была прогулка, в особенности в рассуждения продовольствия. В низинах, положим, я всегда находил бананы и апельсины, но выше было тяжелее; но ваши люди оставили много козлятины на местах

стоянок. Вот ваши сто долларов, капитан. Позвольте мне участвовать в завтрашней драке?

— За сто сотен долларов я тоже не согласился бы, чтоб мои планы теперь встретили затруднение, — сказал я, — все равно, будет ли оно вызвано зловредными планетами или промахами простых смертных. Но на расстоянии пяти миль от нас находится Агуас Фриас и дорога свободна. Я сомневаюсь, чтоб Сатурн и все его спутники могли бы теперь испортить наш успех. Во всяком случае, я не выгоню ночью такого усталого путника и храброго солдата, как вы, лейтенант Керни. Там, у самого яркого костра, палатка Мануэля Ортиса. Вызовите его и скажите ему, чтоб он снабдил вас пищей, одеялами, одеждой. Мы двинемся в путь с зарей.

Керни кратко, но чувствительно поблагодарил меня и удалился. Едва он отошел на двенадцать шагов, как внезапная вспышка озарила окружающие холмы; зловещий, все растущий шипящий звук, как от выбивающегося пара, наполнил мои уши. Затем последовал гул, как бы от далекого грома, с каждой минутой усиливавшийся. Этот ужасающий шум завершился страшным взрывом, от которого пошатнулись горы, как при землетрясении; иллюминация усилилась до такого ослепительного блеска, что я закрыл глаза руками, чтобы сохранить их. Я думал, что настал конец мира. Я не мог представить себе естественное явление, объясняющее это. Мой рассудок колебался. Оглушительный взрыв растворился в глухом гуле, который предшествовал ему, и в этом гуле я слышал испуганные крики моих солдат, скатившихся со своих лежанок и безумно носившихся взад и вперед. Я также услышал резкий звук голоса Керни, кричавшего: «Они обвиняют в этом меня... Черт знает, что это было, но у Френсиса Керни объяснений не ищите».

Я открыл глаза. Горы были на своем месте, темные и прочные. Значит, это не было извержением вулкана или землетрясением. Я взглянул на небо и увидел нечто похожее на хвост кометы, пересекавшее зенит, направляясь к западу. Этот огненный след с каждой минутой становился бледнее и уже.

— Метеор! — громко закричал я. — Падение метеора! Опасности нет!

Затем все звуки потонули в громком ликовании, вырвавшемся из груди Керни. Он поднял обе руки над головой и стоял на цыпочках.

— Феба исчезла! — кричал он во все горло. — Феба лопнула и отправилась ко всем чертям. Взгляните, капитан, эта маленькая красноголовая ведьма разлетелась на кусочки. Она, видно, нашла, что не так-то легко справиться с Керни, и так раздулась от злобы и подлости, что у нее котел лопнул. Я больше не буду Керни-Злосчастьем. О! Будем веселиться!

Ванька-встанька на стенке сидел, Ванька лопнул, потом окошел!

Я с удивлением посмотрел наверх и нашел Сатурн на его месте. Но маленькая красная мигающая искра в его соседстве, на которую Керни указал мне, как на свою несчастную звезду, исчезла. Я видел ее там всего полчаса назад; она, вне всякого сомнения, была сброшена с неба одним из этих ужасных, таинственных спазмов природы.

Я хлопнул Керни по плечу.

— Мой мальчик, — сказал я, — пусть это расчистит вам дорогу. По-видимому, астрологии не удалось покорить вас. Надо снова составить ваш гороскоп, назначив вашими путеводными звездами мужество и честность. Я поручусь, что вы победите. Теперь идите в палатку и ложитесь спать. «С зарей» — наш лозунг.

Восемнадцатого июля, в девять часов утра, я въехал в Агуас Фриас рядом с Керни. В чистом полотняном костюме, со своей военной выправкой и острым взглядом, он казался идеалом борца-авантюриста. Я представлял себе его верхом, в качестве командира отряда телохранителей президента Вальдевиа, когда посыплются награды от нового правительства.

Карлос следовал за нами с войском и снаряжением. Он должен был остановиться в лесу за чертой города и сидеть там, пока не получит приказа о выступлении. Мы с Керни проехали по Калле Ануа, направляясь к резиденции дона Рафаэля в другой части города. Проезжая мимо роскошного здания университета Эсперандо, я увидел в открытом окне сверкающие очки и лысую голову герра Берговитца, профессора естествознания и человека, преданного дону Рафаэлю, мне и нашему делу. Он приветствовал меня рукой и своей широкой, ласковой улыбкой.



В Агуас Фриас не заметно было признаков возбуждения. Люди бродили по городу так же спокойно, как всегда; рынок был переполнен женщинами с непокрытыми головами, покупавшими фрукты и «сапе», со дворов трактиров доносилось бряцание гитар. Мы могли убедиться, что дон Рафаэль ведет осторожную, выжидательную игру. Его «residencia» была большим, но низким зданием, окруженным большим двором, засаженным декоративными деревьями и тропическими кустарниками. У дверей появилась старуха и сообщила нам, что дон Рафаэль еще не встал.

— Передайте ему, — сказал я, — что капитан Малонэ и его друг хотят немедленно его видеть. Он, может быть, заспался.

Она вернулась с испуганным видом.

— Я кричала ему, — сказала она, — и звонила в звонок много раз, но он не отвечает.

Я знал, где находилась его спальня. Мы с Керни оттолкнули женщину и направились туда. Я налег плечом на тонкую дверь и силой открыл ее.

Дон Рафаэль сидел с закрытыми глазами в кресле, перед большим столом, заваленным книгами и картами. Я дотронулся до его руки. Он уже несколько часов был мертвым. На его голове, над ухом, зияла рана, вызванная тяжелым ударом. Кровь давно перестала сочиться.

Я велел старухе позвать «тозо» и поспешно послал за Берговитцем. Он пришел, и мы стояли с ним около трупа, пораженные этим ужасным несчастьем. Так иногда из-за нескольких капель крови, выпущенных из вен одного человека, может иссякнуть жизнь целого народа.

Берговитц неожиданно нагнулся и поднял темноватый камень величиной с апельсин, который он нашел под столом. Он внимательно рассмотрел его сквозь большие очки взглядом ученого.

— Осколок, — сказал он, — взорвавшегося метеора. Самый замечательный из всех метеоров за двадцатилетний период, взорвался сегодня над городом вскоре после полуночи.

Профессор быстро взглянул на потолок. Мы увидели голубое небо через дыру величиной с апельсин, почти над самым стулом дон Рафаэля.

Я услышал знакомые звуки и обернулся. Керни бросился на пол и изливал свой репертуар ядовитых, замораживающих кровь, проклятий по адресу своей несчастной звезды.

Феба была, несомненно, особой женского пола. Даже в ту минуту, когда она летела на своем пути к огненному разложению и вечному мраку, последнее слово осталось за ней.

Капитан Малонэ был опытным рассказчиком. Он знал, на каком месте следует прервать рассказ. Я сидел, восхищаясь его эффектным заключением, когда он заставил меня встрепетаться, продолжая.

— Конечно, — сказал он, — нашим планам пришел конец. Некому было занять место дон Рафаэля. Наша маленькая армия растаяла, как роса под солнцем.

Как-то раз, по возвращении в Новый Орлеан, я рассказал эту историю приятелю, который занимал профессорскую кафедру в Туланском университете. Когда я кончил, он засмеялся и спросил, знаю ли я что-нибудь о дальнейшем счастье Керни. Я сказал ему, что нет, я больше не видел Керни, но, расставаясь со мной, Керни выразил уверенность, что его будущее сложится теперь удачно, так как его несчастную звезду сбросили с неба.

— Несомненно, — сказал профессор, — для него лучше не знать правды. Если он приписывал свои несчастья Фебе, девятому спутнику Сатурна, то эта коварная дама все еще занята его судьбой. Звезда по соседству с Сатурном, которую он принимал за Фебу, была около этой планеты по простой случайности своего движения; он, вероятно, в разное время, считал многие другие звезды, случайно находившиеся подле Сатурна, своей несчастной звездой. Настоящая Феба видна только через очень сильный телескоп.

— Около года спустя, — продолжал капитан Малонэ, — я шел по улице, пересекающей рынок Пойдрас. Необычайно полная, краснолицая дама в черном шелковом платье столкнулась со мной на узком тротуаре и сердито нахмурилась. За ней шествовал маленький мужчина, нагруженный выше головы свертками и мешками провизии и овощей. Это был

Керни — но изменившийся. Я остановился и пожал ему руку, все еще цеплявшуюся за мешок с чесноком и красным перцем.

— Ну, как ваше счастье, старый «сопранего»? — спросил я его. У меня не хватило духу открыть ему правду о его звезде.

— Что ж, — сказал он, — я женат, как вы могли догадаться.

— Френсис, — окликнула его низким, грубым голосом полная дама, — ты собираешься простоять весь день, болтая на улице?

— Иду, иду, Феба, дорогая, — сказал Керни и поспешил за ней.

Капитан Малонэ снова замолчал.

— В конце концов, вы верите в счастье? — спросил я.

— А вы? — возразил капитан со своей двусмысленной улыбкой, затемненной полями его мягкой соломенной шляпы.

## Гнусный обманщик

Началась беда в Ларедо. Всею виной был Малыш Льяно, — свою привычку убивать людей ему следовало бы ограничить мексиканцами. Но Малышу было за двадцать лет, а на границе по Рио-Гранде в двадцать лет неприлично числить за собой одних мексиканцев.

Произошло это в игорном доме старого Хусто Вальдо. Играли в покер, и не все играющие были между собой друзьями, как это часто случается в местах, куда люди приезжают издалека ловить на лету счастье. Спор разгорелся из-за такого пустяка, как две дамы; и когда дым рассеялся, выяснилось, что Малыш совершил неделикатный поступок, а его противник допустил промах. Мало того, что незадачливый дуэлянт не был мексиканцем; он происходил из знатной семьи, владевшей несколькими ранчо, был приблизительно одних лет с Малышом и имел друзей и защитников. Оттого, что он дал промах, — его пуля пролетела всего лишь в одной шестнадцатой дюйма от правого уха Малыша, — поступок более меткого стрелка не стал деликатнее.

Малыш, у которого, по причине его репутации, несколько сомнительной даже для границы, не было ни свиты, ни друзей, ни приспешников, решил, что вполне совместимо с его неоспоримой храбростью произвести благоразумный маневр, известный под названием «дать стрелача».

Мстители быстро собрались и пустились в погоню. Трое из них настигли его в нескольких шагах от станции железной дороги. Малыш оглянулся, зубы его обнажились в сверкающей, но невеселой улыбке, которая обычно предшествовала его наглým и жестоким поступкам, и преследователи отступили, прежде чем он успел хотя бы потянуться за револьвером.

Впрочем, в последней схватке Малыш не ощутил той мрачной жажды убийства, которая так часто побуждала его к бою. Это была чисто случайная ссора, вызванная картами и двумя-тремя не приемлемыми для джентльмена эпитетами, которыми обменялись противники. Малышу, скорее, даже нравился стройный, гордый, смуглый юноша, которого его пуля сразила в цвете лет. И теперь ему больше не хотелось крови. Ему хотелось уйти подальше и выспаться где-нибудь на солнце, лежа в траве и закрыв лицо носовым платком. Даже мексиканец мог безнаказанно попасться ему на глаза, пока он был в таком настроении.

Малыш, не скрываясь, сел в пассажирский поезд и пять минут спустя уже ехал на север. Но в Уэббе, в нескольких милях дальше, где поезд остановился, чтобы принять пассажира, он решил отказаться от подобного способа бегства. Впереди были станции с телеграфом, а Малыш недолюбливал электричество и пар. Он предпочитал седло и шпоры.

Убитый им человек был ему незнаком. Но Малыш знал, что он был из лагеря Коралитос на ранчо Хидалго; он также знал, что ковбои с этого ранчо, если обидишь одного из них, мстят более свирепо, чем кровные враги в штате Кентукки. Поэтому с мудростью, свойственной

многим великим воителям, Малыш решил отделить себя от возмездия лагеря Коралитос зарослями чапарраля и кактусов возможно большей протяженности.

Около станции была лавка, а около лавки, среди вязов и мескитовых кустов, стояли верховые лошади покупателей. Лошади большей частью лениво дремали, опустив головы. Только одна из них, длинноногая, караковая, с лебединой шеей, храпела и рыла землю копытом. Малыш вскочил на нее, сжал ее коленями и слегка тронул хозяйской плеткой.

Если убийство дерзкого партнера несколько омрачило репутацию Малыша как благонадежного гражданина, то этот последний его поступок покрыл его черным плащом бесчестия. На границе по Рио-Гранде, если вы отнимаете у человека жизнь, вы иногда отнимаете безделицу; но когда вы отнимаете у него лошадь, то это потеря, от которой он действительно становится беднее и которая вас не обогатит... если вы будете пойманы. Теперь для Малыша возврата не было.

Сидя на горячем караковом коне, он был относительно спокоен. Он проскакал галопом пять миль, потом перешел на ровную рысь — любимый аллюр равнинных жителей — и повернул на северо-восток, по направлению к реке Нуэсес. Он хорошо знал эту местность — извилистые глухие тропы в бесконечных зарослях колючего кустарника и кактусов, лагеря и одинокие ранчо, где можно найти безопасный приют. Малыш все время держал путь на восток; он никогда не видел океана, и ему пришла в голову мысль потрепать по гриве Мексиканский залив — шаловливого жеребенка великой водной шири. Таким образом, через три дня он стоял на берегу в Корпус-Кристи и смотрел на легкую зыбь спокойного моря.

Капитан Бун со шкуны «Непоседа» стоял у своей шлюпки, качавшейся у самого берега под охраной матроса. Он уже совсем собрался отчалить, как вдруг обнаружил, что забыл захватить необходимую принадлежность своего обихода — прессованный табак. Одного из матросов послали за этим забытым грузом. Капитан в ожидании его расхаживал по песку, дожевывая остатки своего карманного запаса.

К воде спустился стройный, мускулистый юноша в сапогах с высокими каблуками. Лицо его было лицом юноши, но преждевременная суровость свидетельствовала об опытности мужчины. Цвет лица, смуглый от природы, стал от загара и ветра кофейно-коричневым. Волосы у него были черные и прямые, как у индейца; его лицо еще не знало унижения бритвы; глаза были холодные, синие. Левый локоть его был неплотно прижат к телу, потому что блюстители порядка в городе хмурятся на револьверы сорок пятого калибра с перламутровыми ручками, а для того, чтобы держать их под мышкой за левой проймой жилета, они немного велики. Он смотрел сквозь капитана Буна на залив с бесстрастным, непроницаемым спокойствием китайского императора.

— Что, собираетесь купить залив, приятель? — спросил капитан. Приключение с табаком, который он чуть-чуть не забыл, настроило его на саркастический лад.

— Ну, зачем же, — мягко ответил Малыш, — вряд ли. Я его никогда раньше не видел. Я просто смотрю на него. А вы не собираетесь ли его продать?

— Только не в этот рейс, — сказал капитан. — Я вышлю его вам наложенным платежом, когда вернусь в Буэнос-Тиеррас... Вон он идет, точно на лебедке тянется, этот лентяй со жвачкой. Я уже час как должен был сняться с якоря.

— Это ваш корабль? — спросил Малыш.

— Мой, — ответил капитан, — если вам угодно именовать шхуну кораблем, а мне угодно врать. Только правильнее было бы сказать, что это шхуна Миллера и Гонсалеса, а перед вами просто-напросто старый Сэмюел Бун — шкипер.

— Куда вы направляетесь? — спросил беглец.

— В Буэнос-Тиеррас, на берегу Южной Америки. Я забыл, как называлась эта страна, когда я был там в последний раз. Груз — строевой лес, листовое железо и ножи для сахарного тростника.

— Что это за страна? — спросил Малыш. — Жаркая или холодная?

— Тепловатая, любезный, — ответил капитан, — но настоящий потерянный рай в рассуждении пейзажа и красот и вообще географии. Каждое утро вас будит нежное пение

красных птиц с семью лиловыми хвостами и шелест ветерка в цветах и розах. Жители этой страны никогда не работают: там можно не вставая с кровати протянуть руку и набрать целую корзину отборных тепличных фруктов. Там нет воскресений, нет счетов за лед, нет квартирной платы, нет беспокойства, нет смысла, вообще ничего нет. Это великая страна для человека, который хочет лечь спать и подождать, пока ему что-нибудь подвернется. Бананы, апельсины, ураганы и ананасы, которые вы едите, — все идет оттуда.

— Это мне нравится, — сказал Малыш, выказывая, наконец, какой-то интерес к разговору. — Сколько шкур вы с меня сдерете, чтобы отвезти меня туда?

— Двадцать четыре доллара, — отвечал капитан Бун, — еда и доставка. Каюта второго класса. Первого класса нет.

— Я еду с вами, — сказал Малыш, вытаскивая кошелек оленьей кожи.

Когда он выехал в Ларедо проветриться, у него было с собой триста долларов. Дуэль у Вальдо прервала его увеселительный сезон, но сберегла ему почти двести долларов для бегства, к которому она же его и вынудила.

— Ладно, любезный, — сказал капитан. — Надеюсь, что ваша маменька не осудит меня за эти ваши проделки.

Он жестом подозвал одного из своих матросов.

— Санчес перенесет вас в лодку, не то промочите ноги.

Тэкер, консул Соединенных Штатов в Буэнос-Тиеррас, еще не был пьян. Было только одиннадцать часов, а желанного блаженства — того состояния, в котором он начинал петь слезливые арии из старых опереток и швырять в своего визжащего попугая банановой кожурой, — он обычно достигал лишь часам к трем-четырем. Поэтому, когда он, услышав легкое покашливание, высунулся из гамака и увидел Малыша, стоящего в дверях консульского дома, он еще смог проявить гостеприимство и вежливость, подобающие представителю великой державы.

— Не беспокойтесь, — любезно сказал Малыш. — Я на минутку. Мне сказали, что здесь принято наведаться к вам, прежде чем пускаться гулять по городу. Я только что прибыл парохомом из Техаса.

— Рад вас видеть, мистер... — сказал консул.

Малыш засмеялся.

— Спрэг Дальтон, — сказал он. — Даже самому странно слышать. На Рио-Гранде меня звали Малыш Льяно.

— Я Тэкер, — сказал консул. — Садитесь вот на тот тростниковый стул. Если вы приехали с целью помещения капитала, то вам нужен человек, который мог бы дать вам хороший совет. Этих черномазых нужно знать, не то они выжмут из вас все, вплоть до золотых пломб. Хотите сигару?

— Благодарю вас, — сказал Малыш. — Я не могу прожить и минуты без маисовой соломы и моего кисета. — Он вынул свои курительные принадлежности и свернул себе папиросу.

— Здесь говорят по-испански, — сказал консул. — Вам необходим переводчик. Если я могу чем-нибудь быть вам полезен, я к вашим услугам. Если вы покупаете фруктовые плантации или хотите получить какую-нибудь концессию, вам понадобится человек знающий здесь все ходы и выходы.

— Я говорю по-испански, — сказал Малыш, — раз в девять лучше, чем по-английски. Там, откуда я приехал, все говорят по-испански. А покупать я ничего не собираюсь.

— Вы говорите по-испански? — задумчиво сказал Тэкер. Он внимательно осмотрел Малыша. — Вы и похожи на испанца, — продолжал он, — и вы из Техаса. И вам не больше двадцати лет, от силы двадцать один. Интересно, храбрый вы парень или нет?

— У вас есть в виду какое-нибудь дело? — с неожиданной пронизательностью спросил техасец.

— А вы примете предложение? — спросил Тэкер.

— Не стану отрицать, — отвечал Малыш, — я влип в маленькую неприятность... мы повздорили там, в Ларедо, и я прикончил белого: ни одного мексиканца под рукой не оказалось. Я приехал в вашу попугайно-обезьянью страну, только чтобы понюхать цветочки. Теперь поняли?

Тэкер встал и закрыл дверь.

— Покажите мне вашу руку, — сказал он. Он взял левую руку Малыша и тщательно осмотрел ее с тыльной стороны.

— Выйдет, — взволнованно сказал он. — Кожа у вас крепкая, как дерево, и здоровая, как у младенца. Заживет в одну неделю.

— Если вы хотите использовать меня для кулачного боя, — сказал Малыш, — не торопитесь ставить на меня. Вот пострелять — это я согласен. Но драться голыми руками, как кумушки за чаем, — это не для меня.

— Дело гораздо проще, — сказал Тэкер. — Подойдите сюда, пожалуйста.

Он указал через окно на двухэтажный белый дом с широкими галереями, выделявшийся среди темно-зеленой тропической листвы на лесистом холме, отлого поднимавшемся от берега моря.

— В этом доме, — сказал Тэкер, — знатный кастильский джентльмен и его супруга жаждут заключить вас в объятия и наполнить ваши карманы деньгами. Там живет старый Сантос Урикэ. Ему принадлежит половина золотых приисков во всей стране.

— Вы случайно не объелись белены? — спросил Малыш.

— Присядьте, — сказал Тэкер, — я вам объясню. Двенадцать лет назад они потеряли ребенка. Нет, он не умер, хотя большая часть детей здесь умирает — пьют сырую воду. Ему было всего восемь лет, но это был настоящий чертенок. Здесь все это знают. Какие-то американцы, приехавшие сюда искать золото, имели письма к сеньору Урикэ, и они очень много возились с мальчиком. Они забили ему голову рассказами о Штатах, и приблизительно через месяц после их отъезда малыш исчез. Предполагали, что он забрался в трюм на корабле, груженном бананами, и удрал в Новый Орлеан. Рассказывали, что его потом будто бы видели раз в Техасе, но больше никто о нем ничего не слышал. Старый Урикэ истратил тысячи долларов на его розыски. Больше всего убивалась мать. Мальчик был для нее всем. Она до сих пор носит траур. Но она, говорят, все еще верит, что он когда-нибудь к ней вернется. На левой руке у мальчика был вытатуирован орел, несущий в когтях копье. Это герб старого Урикэ или что-то в этом роде, что он унаследовал еще в Испании.

Малыш медленно поднял свою левую руку и с любопытством посмотрел на нее.

— Вот именно, — сказал Тэкер, вытаскивая из-за письменного стола бутылку контрабандного виски. — Вы довольно догадливы. Я могу это сделать. Недаром я был консулом в Сандакане. Через неделю этот орел с палкой так вьестся в вашу руку, как будто вы с ним и родились. Я привез с собой набор иголок и тушь; я был уверен, что вы когда-нибудь появитесь у меня, мистер Дальтон.

— Ах черт, — перебил его Малыш, — ведь я, кажется, сообщил вам, как меня зовут.

— Ну, ладно, пусть будет Малыш. Все равно ненадолго. А как вам нравится сеньорито Урикэ, а? Недурно звучит для разнообразия?

— Не помню, чтобы я когда-нибудь играл роль сына, — сказал Малыш. — Если у меня и были родители, то они отправились на тот свет примерно тогда же, когда я в первый раз запищал. В чем же состоит ваш план?

Тэкер, прислонясь к стене, поднял свой стакан и посмотрел его на свет.

— Теперь, — сказал он, — мы дошли до вопроса о том, желаете ли вы принять участие в этом дельце и как далеко вы согласны зайти.

— Я объяснил вам, как я попал сюда, — просто ответил Малыш.

— Ответ хорош, — сказал консул. — Но на этот раз вам не придется заходить так далеко. План мой заключается в следующем. После того как я вытатуирую на вашей руке эту торговую марку, я уведомяу старого Урикэ. А пока что расскажу вам все, что мне удалось узнать из их семейной хроники, чтобы вам обдумать темы для разговора. Наружность у вас подходящая,

вы говорите по-испански, вам известны все факты, вы можете рассказать о Техасе, татуировка на месте. Когда я извещу их, что законный наследник вернулся и хочет знать, будет ли он принят и прощен, что тогда произойдет? Они примчатся сюда и бросятся вам на шею. Занавес опускается, зрители идут закусить и прогуляться по фойе.

— Вы договаривайте, — сказал Малыш. — Я только недавно расседлал своего коня в вашем лагере, приятель, и раньше встречать вас мне не приходилось. Но если вы предполагаете удовольствоваться родительским благословением, я, видно, здорово в вас ошибся.

— Благодарю вас, — сказал консул. — Я давно не встречал человека, который так хорошо следил бы за ходом моей мысли. Все остальное очень просто. Если они примут вас даже ненадолго, этого будет вполне достаточно. Не давайте им только времени разыскивать родимое пятно на вашем левом плече. Старый Урикэ всегда держит у себя в доме от пятидесяти до ста тысяч долларов в маленьком сейфе, который легко можно открыть с помощью крючка для ботинок. Достаньте эти деньги. Половина пойдет мне — за татуировку. Мы поделим добычу, сядем на какой-нибудь бродячий пароход и укатим в Рио-де-Жанейро. А Соединенные Штаты пусть провалятся в тартарары, если они не могут обойтись без моих услуг. *Que dice, Senor?*<sup>8</sup>

— Это мне нравится, — сказал Малыш, кивнув головой. — Я согласен.

— Значит, по рукам, — сказал Тэкер. — Вам придется посидеть взаперти, пока я буду наводить на вас орла. Вы можете жить здесь, в задней комнате. Я сам себе готовлю, и я обеспечу вас всеми удобствами, какие разрешает мне мое скаредное правительство.

Тэкер назначил срок в одну неделю, но прошло две недели, прежде чем рисунок, который он терпеливо накалывал на руке Малыша, удовлетворил его. Тогда Тэкер позвал мальчишку и отправил своей намеченной жертве следующее письмо:

*«El Senor Don Santos Urique, La Casa Blanca.*

Дорогой сэръ!

Разрешите мне сообщить вам, что в моем доме находится, в качестве гостя, молодой человек, прибывший несколько дней тому назад в Буэнос-Тиеррас из Соединенных Штатов. Не желая возбуждать надежд, которые могут не оправдаться, я все же имею некоторые основания предполагать, что это ваш давно потерянный сын. Может быть, вам следовало бы приехать повидать его. Если это действительно ваш сын, то мне кажется, что он намерен был вернуться домой, но, когда он прибыл сюда, у него, не хватило на это смелости, поскольку он не знал, как будет принят

Ваш покорный слуга

*Томсон Тэкер».*

Через полчаса, что для Буэнос-Тиеррас очень скоро, старинное ландо сеньора Урикэ подъехало к дому консула. Босоногий кучер громко подгонял и настегивал пару жирных, неуклюжих лошадей.

Высокий мужчина с седыми усами вышел из экипажа и помог сойти даме, одетой в глубокий траур.

Оба поспешно вошли в дом, где Тэкер встретил их самым изысканным дипломатическим поклоном. У письменного стола стоял стройный молодой человек с правильными чертами загорелого лица и гладко зачесанными черными волосами.

Сеньора Урикэ порывистым движением откинула свою густую вуаль. Она была уже не молода, и ее волосы начинали серебриться, но полная, представительная фигура и свежая еще кожа с оливковым отливом сохраняли следы красоты, свойственной женщинам провинции басков. Когда же вам удавалось заглянуть ей в глаза и прочесть безнадежную грусть,

---

<sup>8</sup> Что скажете? (исп.) ]

затаившуюся в их глубоких тенях, вам становилось ясно, что эта женщина живет только воспоминаниями.

Она посмотрела на молодого человека долгим взглядом, полным мучительного вопроса. Затем она отвела свои большие темные глаза от его лица, и взор ее остановился на его левой руке. И тут с глухим рыданием, которое словно потрясло всю комнату, она воскликнула: «Сын мой!» — и прижала Малыша Льяно к сердцу.

Месяц спустя Малыш, по вызову Тэкера, пришел в консульство.

Он стал настоящим испанским *caballero*. Костюм его был явно американского производства, и ювелиры недаром потратили на Малыша свои труды. Более чем солидный бриллиант сверкал на его пальце, когда он скручивал себе папиросу.

— Как дела? — спросил Тэкер.

— Да никак, — спокойно ответил Малыш. — Сегодня я в первый раз ел жаркое из игуаны. Это такие большие ящерицы, *sabe*?<sup>9</sup> Но я нахожу, что мексиканские бобы со свиной немногим хуже. Вы любите жаркое из игуаны, Тэкер?

— Нет, и других гадов тоже не люблю, — сказал Тэкер.

Было три часа дня, и через час ему предстояло достигнуть высшей точки блаженства.

— Пора бы вам заняться делом, сынок, — продолжал он, и выражение его покрасневшего лица не сулило ничего хорошего. — Вы нечестно со мной поступаете. Вы уже четвертую неделю играете в блудного сына и могли бы, если бы только пожелали, каждый день получать жирного тельца на золотом блюде. Что же, мистер Малыш, по-вашему, благородно оставлять меня так долго на диете из рожков? В чем дело? Разве вашим сыновним глазам не попадалось в *Casa Blanca* ничего похожего на деньги? Не говорите мне, что вы их не видели. Все знают, где старый Урикэ держит свои деньги, и притом в американских долларах; никаких других он не признает. Ну, так как же? Только не вздумайте опять ответить: «Никак».

— Ну, конечно, — сказал Малыш, любуясь своим бриллиантом. — Денег там много. Хотя я и не особенно силен в арифметике, но могу смело сказать, что в этой жестяной коробке, которую мой приемный отец называет своим сейфом, не меньше пятидесяти тысяч долларов. Притом он иногда дает мне ключ от нее, чтобы доказать, что он верит, что я его настоящий маленький Франсиско, некогда отбившийся от стада.

— Так чего же вы ждете? — сердито воскликнул Тэкер. — Не забывайте, что я могу в любой день разоблачить вас — стоит только слово сказать. Если старый Урикэ узнает, что вы самозванец, что с вами будет, как вы думаете? О, вы еще не знаете этой страны, мистер Малыш из Техаса. Здешние законы — что твои горчичники. Вас распластают, как лягушку и высыплют вам по пятидесяти ударов на каждом углу площади, да так, чтобы измочалить об вас все палки. То, что от вас после этого останется, бросят аллигаторам.

— Могу, пожалуй, сообщить вам, приятель, — сказал Малыш, поудобнее располагаясь в шезлонге, — что никаких перемен не предвидится. Мне и так неплохо.

— То есть как это? — спросил Тэкер, стукнув дном стакана по письменному столу.

— Ваша затея отменяется, — сказал Малыш. — И когда бы вы ни имели удовольствие разговаривать со мной, называйте меня, пожалуйста, дон Франсиско Урикэ. Обещаю вам, что на это обращение я отвечу. Деньги полковника Урикэ мы не тронем. Его маленький жестяной сейф в такой же безопасности, как сейф с часовым механизмом в Первом Национальном банке в Ларедо.

— Так вы решили меня обойти? — сказал консул.

— Совершенно верно, — весело отвечал Малыш. — Решил обойти вас. А теперь я объясню вам почему. В первый же вечер, который я провел в доме полковника, меня отвели в спальню. Никаких одеял на полу — настоящая комната с настоящей кроватью и прочими фокусами. И не успел еще я заснуть, как входит моя мнимая мать и поправляет на мне одеяло. «Панчито, — говорит она, — мой маленький потерянный мальчик, Богу угодно было вернуть

---

<sup>9</sup> Знаете? (*исп.*)

тебя мне. Я вечно буду благословлять Его имя». Так она сказала, или еще какую-то чепуху в этом духе. И мне на нос падает капля дождя. Я этого не могу забыть, мистер Тэкер. И так оно и пошло. И так оно и должно остаться. Не думайте, что я так говорю потому, что это мне выгодно. Если у вас есть такие мысли, оставьте их при себе. Я маловато имел дела с женщинами, да и матерей у меня было не так уж много, но эту даму мы должны дурачить до конца. Один раз она это пережила, второй раз ей не вынести. Я большой негодяй, и, может быть, дьявол, а не Бог послал меня на эту дорогу, но я пойду по ней до конца. И не забудьте, пожалуйста, когда будете упоминать обо мне, что я дон Франсиско Урикэ.

— Я сегодня же открою всю правду, я всем скажу, кто ты такой, ты, гнусный предатель, — задыхаясь, сказал Тэкер.

Малыш встал, спокойно взял Тэкера за горло своей стальной рукой и медленно задвинул его в угол. Потом он вытащил из-под левой руки сорокапятикалиберный револьвер с перламутровой ручкой и приставил холодное дуло ко рту консула.

— Я рассказал вам, как попал сюда, — сказал он со своей прежней леденящей улыбкой. — Если я уеду отсюда, причиной тому будете вы. Не забывайте об этом, приятель. Ну, как меня зовут?

— Э-э-э... дон Франсиско Урикэ, — с трудом выговорил Тэкер.

За окном послышался стук колес, крики и резкий звук ударов деревянным кнутовищем по спинам жирных лошадей.

Малыш спрятал револьвер и пошел к двери; но он вернулся, снова подошел к дрожащему Тэкеру и протянул к нему свою левую руку.

— Есть еще одна причина, — медленно произнес он, — почему все должно остаться как есть. У того малого, которого я убил в Ларедо, на левой руке был такой же рисунок.

Старинное ландо дона Сантоса Урикэ с грохотом подкатило к дому. Кучер перестал орать. Сеньора Урикэ в пышном нарядном платье из белых кружев с развевающимися лентами высунулась из экипажа, и ее большие ласковые глаза сияли счастьем.

— Ты здесь, сынок? — окликнула она певучим кастильским голосом.

— Madre mía, yo vengo (иду, мама), — ответил молодой Франсиско Урикэ.

## Исчезновение черного орла

Был год, когда на тexasской границе вдоль реки Рио-Гранде несколько месяцев подряд свирепствовал страшный разбойник. Наружность его поражала взор, а нравом своим он заслужил прозвище «Черный Орел, Гроза Границы». О разбоях Черного Орла и его шайки рассказывалось множество жутких историй. Но вдруг, за какой-то краткий миг, Черный Орел исчез, будто сквозь землю провалился. И больше о нем не было ни слуху ни духу. Исчезновение Черного Орла так и осталось тайной даже для его приспешников. Обитатели пограничных ранчо и поселков опасались, что он появится вновь и будет опять лютовать в мескитовых равнинах. Нет, не будет... Чтобы пролить свет на судьбу Черного Орла, и написан этот рассказ.

Первый толчок, двинувший сюжет, был дан в Сент-Луисе ногой бармена. Его наметанный глаз миглом углядел Рэглза-Цыпленка, когда тот жадно клевал бесплатную закуску. Цыпленок был бродягой. Он отличался длинным, острым носом, похожим на птичий клюв, неодолимым пристрастием к курятине и привычкой утолять свой аппетит безвозмездно, за что собратья-бродяги и прозвали его «Цыпленок Задарма».

Врачи считают, что пить за едой вредно. Диета трактиров предписывает как раз обратное. Однако Цыпленок этим предписанием пренебрег и выпивки к бесплатной закуске не купил. Бармен вышел из-за стойки, ухватил неразумного посетителя за ухо с помощью щипчиков для лимона, довел до двери и пинком вытолкнул на улицу.

Так Цыпленок был вынужден обратить внимание на приметы близкой зимы. Подступил



холодный вечер, звезды сверкали недружелюбно, прохожие спешили по улицам двумя суетливыми эгоцентричными потоками. Мужчины уже облачились в пальто, и Цыпленок с точностью до одного процента знал, насколько возросла трудность выманивания монеток из жилетных карманов, скрытых под наглухо застегнутой верхней одеждой. Что ж, пришла пора совершать ежегодный исход на юг.

Возле кондитерской какой-то мальчуган лет пяти-шести завидующими глазами разглядывал витрину. В одной ручонке он держал пузырек, а в другой крепко стискивал нечто плоское, кругленькое, с блестящим резным ободком. Перед Цыпленком открылось поле деятельности, соответствующее его таланту и отваге. Обозрев горизонт, дабы убедиться, что никакое сторожевое судно не курсирует в ближних водах, он стал коварно заигрывать со своей жертвой. Мальчуган, с юного возраста обученный относиться к альтруистическим порывам с крайним подозрением, воспринял заигрывание Цыпленка холодно.

Цыпленок понял, что должен решиться на отчаянную, изматывающую нервы аферу, как этого частенько требует фортуна от тех, кто хочет завоевать ее благосклонность. Весь свой капитал, равный пяти центам, он должен поставить на карту ради сомнительной возможности овладеть тем, что так крепко сжимал пухлый кулачок ребенка. Да, риск был велик, Цыпленок это знал. Но добиться успеха он рассчитывал лишь с помощью искусной стратегии, ибо не без оснований опасался грабить малолетних с помощью физической силы. Однажды в парке, побуждаемый голодом, он покусился на бутылку с пептонизированным детским питанием в руках пассажира детской коляски. Разъяренный младенец проворно раскрыл рот и засигналил своим клаксоном так пронзительно, что ему тотчас подоспели на помощь, и Цыпленка на тридцать суток упекли в укромное местечко. С тех пор Цыпленок, по его же словам, «детшкам не доверял».

Хитроумно начав с расспросов о любимых конфетах, Цыпленок мало-помалу вытянул из малыша все необходимые сведения. Как выяснилось, его мама велела сказать аптекарю, чтобы тот налил в пузырек камфарной настойки на десять центов, а доллар наказала крепко-крепко держать в кулаке и на улице ни с кем не останавливаться и не разговаривать и аптекаря попросить, чтобы сдачу завернул в бумажку, а потом спрятать ее в брючный карман. Ну, конечно, у него в брюках есть карман! И не один, а целых два! А больше всего он любит шоколадки с кремом.

Цыпленок переступил порог кондитерской и разом превратился в азартного биржевого игрока. Все свое состояние он целиком вложил в акции С.Л.А.С.Т.И. лишь для того, чтобы в дальнейшем пойти на еще больший риск.

Он преподнес мальчугану леденцы и с удовлетворением отметил, что добился доверия, после чего добиться руководства экспедицией не составило труда. Он взял свое капиталовложение за руку, сказав, что знает тут, неподалеку, отличную аптеку, и отвел туда малыша. С отечески-заботливым видом Цыпленок передал аптекарю доллар, спросил лекарство, а мальчик тем временем грыз сласти, очень довольный, что освободился от ответственного поручения. Затем удачливый комбинатор порылся в карманах, нашел пуговицу от пальто (весь его зимний гардероб), аккуратно завернул ее в бумажку и сунул мнимую сдачу в карман доверчивого детства. И тогда, повернув ребенка лицом в сторону дома, а также благожелательно похлопав его по плечу, — ведь сердце у Цыпленка было такое же нежное, как и у его желторотых тезок, — биржевой игрок удалился с прибылью в 1700 процентов с вложенного капитала.

Через два часа мощный паровоз «Железная гора» вывез из депо товарный состав порожняка и повез его по направлению к Техасу. В одном из пустых вагонов, предназначенных для перевозки скота, до половины зарывшись в мягкие стружки, уютно полеживал Цыпленок. Рядом с ним в его гнездышке находилась бутылка дешевой водки и кулек с хлебом и сыром. Так мистер Рэглз в собственном салон-вагоне ехал на юг, чтобы провести там зимний сезон.

Целую неделю вагон тащился к югу, перемещался, загонялся в тупик, как это бывает в подвижных составах, но Цыпленок не изменял ему и отлучался лишь ненадолго, чтобы

утолить голод и жажду. Он знал, что вагон этот рано или поздно попадет в скотоводческий край, а там, в самом сердце его, есть город Сан-Антонио, желанная цель, к которой он стремился. Воздух там целебный, мягкий, люди снисходительны и терпеливы, буфетчики не выталкивают за порог, а если чересчур засидишься у столика или зачастишь в один и тот же трактир, тебя просто выбранят, да и то словно бы для порядка, без злобы. И так неторопливо истощают они весь свой запас ругани, кстати сказать, очень богатый, что можно успеть недурно подкрепиться, покамест на вас изливается этот словесный запрет. И всегда в тех краях тепло, как весной, и ночные площади так хороши, столько кругом музыки, веселья! Если не считать редких и несильных похолоданий, то можно прелестно ночевать на воле, когда, почему-либо, под чьим-либо кровом не встретишь должного гостеприимства.

В Тексаркане вагон перевели на другую линию, и он потащился дальше на юг, пока, наконец, не переполз по мосту через Колорадо в Остин, а потом покатился прямехонько в Сан-Антонио. Товарный поезд остановился там, когда Цыпленок сладко спал. Через десять минут поезд направился в Ларедо — конечный пункт следования. Пустые вагоны нужно было развезти по тем станциям, куда скотоводы с окрестных ранчо пригоняли скот.

Когда Цыпленок проснулся, вагон стоял неподвижно. Сквозь щель между досками он увидел яркое небо лунной ночи. А выбравшись наружу, увидел также, что его вагон вместе с тремя другими брошен на подъездном пути среди дикой пустынной местности. С одной стороны пути находился загон и покатый настил. Железная дорога пересекала безбрежное мгlistое море прерий, посреди которого Цыпленок вместе со своим неподвижным транспортом застрял так же безнадежно, как Робинзон со своей самодельной лодкой посреди суши.

Возле рельсов стоял белый столб. Цыпленок прочел на его верхушке надпись: «С-А.90». Почти столько же миль к югу и до Ларедо. Значит, он очутился почти за сотню миль от какого бы то ни было города! В таинственном море прерий послышался лай койотов. Цыпленка охватила тоска одиночества. Ему случалось жить в Бостоне — без высшего образования, в Чикаго — без нахрапа, в Филадельфии — без крова, в Нью-Йорке — без протекции, в Питтсбурге — без капли спиртного, и все же никогда он не чувствовал себя таким одиноким. И вдруг в полной тишине коротко заржала лошадь. Звук донеслись с восточной стороны от полотна дороги, и Цыпленок опасливо зашагал в том направлении. Он ступал, высоко поднимая ноги, по ковру кудрявой мескитовой травы, потому что страшился всего, что могло таиться в этой дикой пустыне: змей, крыс, бандитов, сороконожек, миражей, ковбоев, фанданго, сомбреро, тарантулов, — он начитался обо всем этом в газетных приложениях. Обходя заросли опунции, высоко вскинувшей причудливое, грозное полчище круглых плоских голов, он внезапно перепутался до дрожи, услышав фыркание и громоподобный топот копыт, — это лошадь, сама испугавшись, шархнула в сторону и теперь снова мирно паслась ярдах в пятидесяти от прежнего места. Она была единственным созданием в этой пустыне, которого Цыпленок не боялся. Он вырос на ферме, умел обращаться с лошадьми, знал в них толк и хорошо ездил верхом.

Он подбирался к лошади не спеша, ласково приговаривая, — она теперь вела себя смиренно, — и подхватил конец лассо длиной футов в двадцать, тянувшееся за ней по траве. В несколько мгновений он ловко вывязал из веревки недоуздки, на манер мексиканского «борсаля». Еще мгновение — и Цыпленок верхом на лошади уже мчался великолепным галопом, доверив ей самой выбор направления. «Куда-нибудь да привезет», — сказал он себе.

Этот вольный галоп по залитым луной прериям мог бы доставить радость даже Цыпленку, питавшему неприязнь к любым физическим упражнениям, но всадник был настроен невесело. У него болела голова, а жажда мучила все сильнее. Да и неизвестность пугала: что его ждет в этом «куда-нибудь», где он очутится благодаря своей счастливой находке?

Конь явно мчал его к определенной цели. По ровному месту он скакал прямо на восток, если же на пути встречались холмы, пересохшие русла речек или непроходимые заросли колючего кустарника, конь, обойдя их, руководимый безошибочным инстинктом, сразу же

опять находил верное направление. Наконец, добравшись до пологого склона, он перешел на спокойный, уверенный шаг. Невдалеке — рукой подать — под купой деревьев стоял мексиканский домик — однокомнатный, обмазанный глиной домик из вертикально вбитых в землю бревен под камышовой крышей. Опытный глаз сразу бы определил, что это штаб-квартира маленькой овечьей фермы. Луна освещала землю в коррале, истоптанную в порошок овечьими копытцами. Во дворе повсюду раскиданы предметы хозяйственного обихода: веревки, уздечки, седла, овечьи шкуры, мешки с шерстью, кормушки и всевозможный лагерный скарб. За пароконным фургоном у самой двери — бочка с питьевой водой. На дышле — как попало скинутая упряжь, влажная от ночной сырости.

Соскочив с коня, Цыпленок привязал его к дереву. Несколько раз он окликал хозяев, но никто не отзывался. Дверь была открыта, и он с осторожностью вошел. При ярком свете луны Цыпленок смог убедиться, что в доме никого нет. Он чиркнул спичкой и засветил настольную лампу. Это было неприхотливое жилище хозяина мелкого ранчо, холостяка, который довольствуется лишь самым необходимым. Цыпленок начал поиски умело и толково и в конце концов обнаружил то, на что не смел надеяться: коричневый кувшин, в котором еще оставалась почти целая кварта его мечты.

Через полчаса Цыпленок — ныне боевой петух самого устрашающего вида — шаткой поступью вышел за порог. Свои лохмотья он сменил на одежду отсутствовавшего хозяина: коричневые брюки из грубого холста и нечто вроде франтоватого болеро, придававшего его костюму некоторый шик. На ноги он натянул сапоги со шпорами, которые позвякивали при каждом его нетвердом шаге. Талию Цыпленка обхватывал пояс, набитый патронами, а в обеих его кобурах лежало по шестизарядному кольцу.

Порыскав во дворе, он нашел одеяла, седло, уздечку, каковыми и снарядил своего скакуна. Потом он снова сел на него и поскакал прочь, распевая песню не мелодично, но зато громко.

Бад Кинг со своей шайкой разбойников, грабителей, конокрадов и угонщиков скота разбил лагерь в укромном месте на берегу Фрио. Набеги шайки в округе вдоль Рио-Гранде, хотя и не более дерзкие, чем обычно, получили более широкую огласку, поэтому отряду конных стрелков под командованием капитана Кинни было приказано к ней присмотреться. Будучи мудрым военачальником, Бад Кинг, вместо того чтобы задать жару защитникам закона, как того желали его сообщники, предпочел какое-то время отсидеться в колючей крепости долины Фрио. И хотя это был шаг благоразумный и отнюдь не умалявший всем известной храбрости Бада Кинга, в рядах его шайки началось брожение. Более того, пока они так бесславно отсиживались в кустах, вопрос о дальнейшей пригодности Бада Кинга в качестве главаря шайки не раз обсуждался ими, так сказать, при закрытых дверях. Никогда прежде не подвергались критике опыт и умение Бада Кинга, но блеск его славы стал меркнуть (таков удел всякой славы) перед сиянием новой звезды. Короче говоря, сложилось мнение, что Черный Орел сумел бы управлять ими с большей помпой, пользой и престижем.

«Черный Орел», в подзаголовке — «Гроза Границы», состоял членом их банды уже три месяца.

Однажды ночью, когда они разбили лагерь у заводи Сан-Мигель, к ним примчался одинокий всадник на статном горячем скакуне. Вид у незнакомца был внушительный и зловещий. Под хищным клювообразным носом топорщились густые иссиня-черные усы. Взгляд глубоко запавших глаз был жуток и грозен. Гость был при сапогах, при шпорах и сомбреро, обвешан револьверами, крепко пьян и совершенно бесстрашен. Во всей округе, орошаемой водами Рио-Браво, вряд ли нашелся бы храбрец, который рискнул бы вот так, в одиночку, явиться в лагерь Бада Кинга. А эта свирепая птица сама налетела на них да еще потребовала корма.

Гостеприимство в краю прерий безгранично. Даже если к вам случайно попадет ваш враг, вы должны сперва накормить его и лишь потом застрелить. Вы должны истратить на него свой запас съестного и лишь потом — запас свинца. А посему для незнакомца, намерения которого оставались неизвестными, было устроено истинное пиршество.

Залетная птица оказалась говорливой. Это был кладезь чудеснейших историй о лихих делах и приключениях, которые рассказывались подчас непонятным, но всегда красочным языком. Для приспешников Бада Кинга, которым наскучило вариться в собственном соку, гость был явлением необычайным. Они восторгались его хвастливыми росказнями, сочными диковинными словечками, пренебрежительностью, с какой он говорил о жизни, о мире, о дальних краях, и бесшабашной откровенностью, с какой выражал свои чувства.

Ну а в глазах гостя эта шайка преступников была лишь кучкой деревенских простачков, для которых он «отливал пули» ради харча, в точности так же, как он делал это где-нибудь на черном крыльце фермы, когда надо было выклянчить еду. Такая неосведомленность была простительна, ведь он не знал, что тexasский головорез избегает крайностей. Эти разбойники и вправду смахивали на миролюбивых сельских жителей, собравшихся у костра полакомиться жареной рыбой или орехами. У них были спокойные, неторопливые жесты, неуклюжая походка, тихие голоса, невзрачная будничная одежда. Ни один из них не подтверждал своим обликом дурной славы, которую снискала их шайка.

Блистательного гостя потчевали два дня. Затем, с общего согласия, ему предложили вступить в банду. Гость предложение принял, сказав, чтобы его зачислили под именем «Капитан Монтрезор». Шайка немедленно отвергла столь несуразное имя и заменила его кличкой «Боров», тем самым отдавая должное невероятному, неутолимому аппетиту ее носителя.

Так тexasская граница приобрела самого живописного разбойника, какой когда-либо рыскал в ее колючих зарослях.

Последующие три месяца Бад Кинг продолжал вести дела обычным порядком, избегая встреч с представителями закона и довольствуясь грабежом в разумных пределах. Шайке удалось угнать с пастбища табун отличных лошадей и немало голов упитанного рогатого скота, благополучно переправить добычу через Рио-Гранде и продать по выгодной цене. Частенько банда совершала налеты на деревушки и мексиканские поселки, наводя ужас на их обитателей и забирая необходимый провиант и боевые припасы. Именно во время этих бескровных рейдов Боров, благодаря своему свирепому виду и страшному голосу, прославился так широко, как не сумели бы прославиться все эти молчаливые и грустнолицые разбойники за всю свою жизнь.

Мексиканцы — мастаки по части кличек — первые прозвали его Черным Орлом и путали ребяташек этим страшным разбойником, который утаскивает детей в своем огромном клюве. Вскоре кличка эта разрослась, и Черный Орел — Гроза Границы стал фигурировать в раздутых газетных сообщениях и в пересудах обитателей ранчо.

Дикая, но плодородная полоса земли между Нуэсес и Рио-Гранде — край овцеводов и скотоводов. Пастбища тут даровые, жителей мало, закон — всего лишь буква на бумаге, поэтому разбойники не встречали сильного сопротивления, покуда крикливое позерство Борова не создало им ненужной рекламы. Тогда-то отряд конных стрелков под командованием Кинни направился в те места, и Бад Кинг понял, что для шайки это означает либо жестокие бои, либо временное отступление. Убежденный в том, что идти на риск нет необходимости, главарь увел свою шайку в почти неприступное место на берегу Фрио. Там и началось среди бандитов вышеупомянутое брожение умов и были замыслены осуждение и отставка Бада Кинга с последующей заменой его столь любимым им Черным Орлом. Бад Кинг почувствовал настроение в лагере и призвал Кактуса Тэйлора, своего верного адъютанта, для переговоров.

— Если ребята мною недовольны, — сказал Бад, — могу отступить. Вижу, надоело им меня слушаться. А пуще всего то, что велел сидеть в кустах, покуда тут рыщет Сэм Кинни. Так ведь я ж их от пули берегу и от работенки по казенному подряду, а они еще кочевряжатся, — мол, не гоюсь я им.

— Да тут другое, — пояснил Кактус, — просто они вроде помешались на Борове. Далось им, чтоб только он со своим носом да усищами вел их на дело.

— Что-то в нем все-таки не то, — раздумчиво произнес Бад Кинг. — В бою я ведь его ни разу не видал. Горло драть — это он умеет и наездник подходящий. Но ведь пороху-то он у

нас еще не нюхал. За все время, что он с нами, ни одной перестрелки не было. Ребятью у мексикашек пугать или лавку обчистить — тут он мастер. Насчет устричных консервов или сыра — герой удалой, а вот каков у него аппетит на настоящую стычку? Попадались мне такие типы: на словах так и рвутся в бой, а чуть пуля царапнет — мигом кишки слабнут.

— Да он тут столько нам рассказывал, в каких бывал переделках! Прошел, говорит, и огонь, и воду, и медные трубы.

— Слыхал, — промолвил Бад и добавил по-ковбойски в знак крайнего скептицизма: — Да что-то уши мне заложило!

Разговор этот произошел однажды вечером в лагере, когда остальные члены шайки, в количестве восьми человек, сидели у костра за поздним ужином. Когда Бад Кинг и Кактус Тэйлор умолкли, до них донесся зычный голос Борова, который, по обыкновению, рассказывал им басни, пока утолял и все никак не мог утолить свой волчий аппетит.

— Ну какой толк, — говорил он, — гонять коров и лошадей за тысячу миль? Ровным счетом никакого. Продирайся сквозь колочки, да от жажды мучайся, так что целой пивоварней не залешь, и пожрать некогда! Слушайте, вы! Знаете, что бы я сделал, будь я за главного? Спроворил бы налетик на поезд! Обчистил бы почтовый вагон, набил бы карманы крупными денежками, не то что вы — одним ветром. Тоже, спорт называется! Осточертели мне ваши коровьи гонки!

Немного погодя к Бадю Кингу отправилась делегация. Члены ее переминались с ноги на ногу, пожевывая веточки мескита, что-то мямлили, изъяснялись обиняком, потому что им было неприятно его обижать. Но Бад все понял и облегчил им задачу: так, стало быть, ребята хотят большего риска и больших доходов?

Идея Борова о налете на поезд взбудоражила шайку, и бандиты стали еще больше восхищаться его отвагой и выдумкой. Простые, неискушенные, косные хозяева чапарралевых чащоб, они представить себе не могли, что можно придумать что-либо поинтереснее, чем угонять скот или пускать пулю в того из своих знакомцев, кто отваживался им помешать.

Бад великодушно согласился быть под началом у Черного Орла, пока тот будет проходить испытание на роль главаря шайки.

В тот год в Мексике было плохо с кормами для скота, а в некоторых американских штатах плохо со скотом, поэтому между обеими странами велась оживленная внешняя торговля. По железной дороге, соединявшей их, перевозились огромные суммы денег. После пространных переговоров, изучения расписания поездов, обсуждения топографических деталей бандиты назначили место и время для своей новой затеи. Самым подходящим пунктом для задуманной операции они посчитали Эспину полустанок в сорока милях к северу от Ларедо. Поезд стоял там одну минуту; местность вокруг была дикой и пустынной. На самом полустанке не было ничего, кроме дома начальника.

Шайка Черного Орла двинулась в путь ночью. На рассвете, в нескольких милях от Эспины, налетчики спешили и весь день скрывались в зарослях, давая отдых лошадям.

Поезд прибывал в Эспину в 10.30 вечера. К рассвету вполне можно было увезти награбленное далеко за мексиканскую границу.

Справедливости ради признаем, что Черный Орел не пытался отлынивать от возложенной на него почетной ответственности.

Он умело расставил посты, тщательно растолковал, что кому надо делать. Четверо налетчиков должны были залечь в кустах по обе стороны полотна. Роджерсу Рваное Ухо надлежало заняться начальником станции, Коняге Чарли — остаться с лошадьми и держать их наготове. В том месте, где, по их расчетам, остановится паровоз, с одной стороны дороги заляжет Бад Кинг, с другой — сам Черный Орел. Под дулами револьверов они заставят машиниста и кочегара выйти и проследовать к хвосту поезда, потом налетчики очистят почтовый вагон и скроются. Никому не двигаться с места, пока Черный Орел не подаст сигнала выстрелом из револьвера. План был превосходный.

За десять минут до прихода поезда все заняли свои посты в надежном укрытии кустарника, подступившего почти к самому полотну. Была темная ночь, по небу мчались

низкие тучи, моросил дождик. Черный Орел скорчился за кустом в пяти шагах от рельсов. На поясе у него висели два шестизарядных кольца. Он то и дело вытаскивал из кармана большую черную бутылку и подносил ко рту.

Вдалеке между рельсами зажглась звезда, которая вскоре превратилась в фонарь приближающегося поезда. Грохот нарастал. На спрятавшихся налетчиков с пронзительным воплем, извергая огонь, надвигался паровоз, словно чудище, явившееся покарать их. Черный Орел припал к земле. Паровоз, вместо того чтобы остановиться между ним и Бадом Кингом, вопреки их расчетам проехал еще добрых сорок ярдов.

Главарь разбойничьей шайки вскочил на ноги и оглядел кусты. Его люди лежали не шевелясь в ожидании сигнала. И тут, глянув на поезд, он обнаружил нечто непредвиденное. Оказалось, что это не пассажирский состав, а смешанный. Как раз напротив стоял товарный вагон, дверь которого каким-то образом осталась приоткрытой. Черный Орел подошел к ней, открыл пошире. И вдруг его обдал запах — сырой, прогорклый, кисло-прелый, такой знакомый пьянящий запах, всколыхнувший воспоминания о былых счастливых днях и поездках. Черный Орел жадно вдыхал этот колдовской запах, подобно тому, как вернувшийся на родину скиталец вдыхает аромат розы, что вьется по стене отчего дома. И Черного Орла охватила ностальгия. Он пошарил рукой внутри вагона. Стружки! Сухие, пружинистые, кудрявые, мягкие, соблазнительные стружки устлали пол. Тем временем морозящий дождик превратился в холодный ливень.

Прозвонил паровозный колокол... Предводитель налетчиков отстегнул ремень и швырнул его наземь вместе с парой револьверов. За ними последовали шпоры и огромное сомbrero. Черный Орел линял. Поезд дернулся, зашипел. Бывший Гроза Границы вскарабкался в вагон и задвинул дверь. Привольно раскинувшись на ложе из стружек, крепко прижимая к груди черную бутылку, с закрытыми глазами и блаженной глупой улыбкой, преобразившей его грозные черты, Цыпленок отбыл в обратный путь.

Поезд беспрепятственно отошел от Эспины, а отважные налетчики все лежали не шевелясь, в ожидании сигнала. Когда поезд набрал скорость и навстречу помчались густые черные заросли, проводник почтового вагона, закурив трубочку, выглянул из окна и с чувством сказал:

— Эх, и местечко для налетчиков — лучше не придумаешь!

## Превращение Джимми Валентайна

Надзиратель вошел в сапожную мастерскую, где Джимми Валентайн усердно тачал заготовки, и повел его в тюремную канцелярию. Там смотритель тюрьмы вручил Джимми помилование, подписанное губернатором в это утро. Джимми взял его с утомленным видом. Он отбыл почти десять месяцев из четырехлетнего срока, хотя рассчитывал просидеть не больше трех месяцев. Когда у арестованного столько друзей на воле, сколько у Джимми Валентайна, едва ли стоит даже брить ему голову.

— Ну, Валентайн, — сказал смотритель, — завтра утром вы выходите на свободу. Возьмите себя в руки, будьте человеком. В душе вы парень неплохой. Бросьте взламывать сейфы, живите честно.

— Это вы мне? — удивленно спросил Джимми. — Да я в жизни не взломал ни одного сейфа.

— Ну да, — улыбнулся смотритель, — разумеется. Как же это все-таки вышло, что вас посадили за кражу в Спрингфилде? Может, вы не захотели доказывать свое алиби из боязни скомпрометировать какую-нибудь даму из высшего общества? А может, присяжные подвели вас по злобе? Ведь с вами, невинными жертвами, иначе не бывает.

— Это вы мне? — снова спросил Джимми в добродетельном недоумении. — Да что вы! Я и в Спрингфилде никогда не бывал!

— Отведите его обратно, Кронин, — улыбнулся смотритель, — и оденьте как полагается. Завтра в семь утра вы его выпустите и приведете сюда. А вы лучше обдумайте мой совет, Валентайн.

На следующее утро, в четверть восьмого, Джимми стоял в тюремной канцелярии. На нем был готовый костюм отвратительного покроя и желтые скрипучие сапоги, какими государство снабжает своих подневольных гостей, расставаясь с ними.

Письмоводитель вручил ему железнодорожный билет и бумажку в пять долларов, которые, как полагал закон, должны были вернуть Джимми права гражданства и благосостояние. Смотритель пожал ему руку и угостил его сигарой. Валентайн, № 9762, был занесен в книгу под рубрикой «Помилован губернатором», и на солнечный свет вышел мистер Джеймс Валентайн.

Не обращая внимания на пение птиц, волнующуюся листву деревьев и запах цветов, Джимми направился прямо в ресторан. Здесь он вкусил первых радостей свободы в виде жареной курицы и бутылки белого вина. За ними последовала сигара, сортом выше той, которую он получил от смотрителя. Оттуда он не торопясь проследовал на станцию железной дороги. Бросив четверть доллара слепому, сидевшему у дверей вокзала, он сел на поезд. Через три часа Джимми высадился в маленьком городке, недалеко от границы штата. Войдя в кафе некоего Майка Долана, он пожал руку хозяину, в одиночестве дежурившему за стойкой.

— Извини, что мы не могли сделать этого раньше, Джимми, сынок, — сказал Долан. — Но из Спрингфилда поступил протест, и губернатор было заартачился. Как ты себя чувствуешь?

— Отлично, — сказал Джимми. — Мой ключ у тебя?

Он взял ключ и, поднявшись наверх, отпер дверь комнаты в глубине дома. Все было так, как он оставил уходя. На полу еще валялась запонка от воротничка Бена Прайса, сорванная с рубашки знаменитого сыщика в ту минуту, когда полиция набросилась на Джимми и арестовала его.

Оттащив от стены складную кровать, Джимми сдвинул в сторону одну филенку и достал запыленный чемоданчик. Он открыл его и любовно окинул взглядом лучший набор отмычек в восточных штатах. Это был полный набор, сделанный из стали особого закала: последнего образца сверла, резцы, перки, отмычки, клещи, буравчики и еще две-три новинки, изобретенные самим Джимми, которыми он очень гордился. Больше девятисот долларов стоило ему изготовить этот набор в... словом, там, где фабрикуются такие вещи для людей его профессии.

Через полчаса Джимми спустился вниз и прошел через кафе. Теперь он был одет со вкусом, в отлично сшитый костюм, и нес в руке вычищенный чемоданчик

— Что-нибудь наклеывается? — весело спросил Майк Долан.

— У меня? — удивленно переспросил Джимми. — Не понимаю. Я представитель Объединенной нью-йоркской компании рассыпчатых сухарей и дробленой пшеницы.

Это заявление привело Майка в такой восторг, что Джимми непременно должен был выпить стакан содовой с молоком. Он в рот не брал спиртных напитков.

Через неделю после того, как выпустили заключенного Валентайна, № 9762, было совершено чрезвычайно ловкое ограбление сейфа в Ричмонде, штат Индиана, причем виновник не оставил после себя никаких улик. Украли всего-навсего каких-то восемьсот долларов. Через две недели был без труда очищен патентованный, усовершенствованный, застрахованный от взлома сейф в Логанспорте на сумму в полторы тысячи долларов звонкой монетой; ценные бумаги и серебро остались нетронутыми. Тогда делом начали интересоваться ищейки. После этого произошло вулканическое извержение старого банковского сейфа в Джефферсон-Сити, причем из кратера вылетело пять тысяч долларов бумажками. Убытки теперь были настолько велики, что дело оказалось достойным Бена Прайса. Путем сравнения было установлено поразительное сходство методов во всех этих случаях. Бен Прайс, побывав на местах преступления, объявил во всеуслышание:

— Это почерк Франта — Джимми Валентайна. Опять взялся за свое. Посмотрите на этот

секретный замок — выдернут легко, как редиска в сырую погоду. Только у него есть такие клещи, которыми можно это сделать. А взгляните, как чисто пробиты задвижки! Джимми никогда не сверлит больше одного отверстия. Да, конечно, это мистер Валентайн. На этот раз он отсидит сколько полагается, без всяких досрочных освобождений и помилований. Дурака валять нечего!

Бену Прайсу были известны привычки Джимми. Он изучил их, расследуя спрингфилдское дело. Дальние переезды, быстрые исчезновения, отсутствие сообщников и вкус к хорошему обществу — все это помогало Джимми Валентайну ускользать от возмездия. Разнесся слух, что по следам неуловимого взломщика пустился Бен Прайс, и остальные владельцы сейфов, застрахованных от взлома, вздохнули свободнее.

В один прекрасный день Джимми Валентайн со своим чемоданчиком вышел из почтовой кареты в Элморе, маленьком городке в пяти милях от железной дороги, в глубине штата Арканзас, среди зарослей карликового дуба. Джимми, похожий на студента-спортсмена, приехавшего домой на каникулы, шел по дощатому тротуару, направляясь к гостинице.

Молодая девушка пересекла улицу, обогнала Джимми на углу и вошла в дверь, над которой висела вывеска: «Городской банк». Джимми Валентайн заглянул ей в глаза, забыл, кто он такой, и стал другим человеком. Девушка опустила глаза и слегка покраснела. В Элморе не часто встречались молодые люди с манерами и внешностью Джимми.

Джимми схватил за шиворот мальчишку, который слонялся у подъезда банка, словно акционер, и начал расспрашивать о городе, время от времени скармливая ему десятицентовые монетки. Вскоре молодая девушка опять появилась в дверях банка и пошла по своим делам, надменно игнорируя существование молодого человека с чемоданчиком.

— Это, кажется, мисс Полли Симпсон? — спросил Джимми, явно хитря.

— Да нет, — ответил мальчишка, — это Аннабел Адамс. Ее папа банкир. А вы зачем приехали в Элмор? Это у вас золотая цепочка? Мне скоро подарят бульдога. А еще десять центов у вас есть?

Джимми пошел в «Отель плантаторов», записался там под именем Ральфа Д. Спенсера и взял номер. Облокотившись на конторку, он сообщил регистратору о своих намерениях. Он приехал в Элмор на жительство, хочет заняться коммерцией. Как теперь у них в городе с обувью? Он подумывает насчет обувной торговли. Есть какие-нибудь шансы?

Костюм и манеры Джимми произвели впечатление на регистратора. Он сам был законодателем мод для не густо позолоченной молодежи Элмора, но теперь понял, чего ему не хватает. Стараясь сообразить, как именно Джимми завязывает свой галстук, он почтительно давал ему информацию.

Да, по обувной части шансы должны быть. В городе нет магазина обуви. Ею торгуют универсальные и мануфактурные магазины. Нужно надеяться, что мистер Спенсер решит поселиться в Элморе. Он сам увидит, что у них в городе жить приятно, народ здесь очень общительный.

Мистер Спенсер решил остановиться в городе на несколько дней и осмотреться для начала. Нет, звать мальчика не нужно. Чемодан довольно тяжелый, он донесет его сам.

Мистер Ральф Спенсер, феникс, возникший из пепла Джимми Валентайна, охваченного огнем внезапно вспыхнувшей и преобразившей его любви, остался в Элморе и преуспел. Он открыл магазин обуви и обзавелся клиентурой.

В обществе он тоже имел успех и приобрел много знакомых. И того, к чему стремилось его сердце, он сумел добиться. Он познакомился с мисс Аннабел Адамс и с каждым днем все больше пленялся ею.

К концу года положение мистера Ральфа Спенсера было таково: он приобрел уважение общества, его торговля обувью процветала, через две недели он должен был жениться на мисс Аннабел Адамс. Мистер Адамс, типичный провинциальный банкир, благоволил к Спенсеру. Аннабел гордилась им не меньше, чем любила его. В доме у мистера Адамса и у замужней сестры Аннабел он стал своим человеком, как будто уже вошел в семью.

И вот однажды Джимми заперся в своей комнате и написал следующее письмо, которое



потом было послано по надежному адресу одному из его старых друзей в Сент-Луисе:

«Дорогой друг!

Мне надо, чтобы в будущую среду к девяти часам вечера ты был у Салливана в Литл-Рок. Я хочу, чтобы ты ликвидировал для меня кое-какие дела. Кроме того, я хочу подарить тебе мой набор инструментов. Я знаю, ты ему обрадуешься — другого такого не достать и за тысячу долларов. Знаешь, Билли, я бросил старое вот уже год. Я открыл магазин. Честно зарабатываю на жизнь, через две недели женюсь: моя невеста — самая лучшая девушка на свете. Только так и можно жить, Билли, — честно. Ни одного доллара чужих денег я теперь и за миллион не возьму. После свадьбы продам магазин и уеду на Запад — там меньше опасности, что всплывут старые счета. Говорю тебе, Билли, она ангел. Она в меня верит, и я ни за что на свете не стал бы теперь мошенничать. Так смотри же, приходи к Салли, мне надо тебя видеть. Набор я захвачу с собой.

Твой старый приятель *Джимми* ».

В понедельник вечером, после того как Джимми написал это письмо, Бен Прайс, никем не замеченный, въехал в Элмор в наемном кабриолете. Он не спеша прогулялся по городу и разузнал все, что ему нужно было знать. Из окна аптеки напротив обувной лавки он как следует рассмотрел Ральфа Д. Спенсера.

— Хочешь жениться на дочке банкира, Джимми? — тихонько сказал Бен. — Не знаю, не знаю, право!

На следующее утро Джимми завтракал у Адамсов. В этот день он собирался поехать в Литл-Рок, чтобы заказать себе костюм к свадьбе и купить что-нибудь в подарок Аннабел. Это в первый раз он уезжал из города, с тех пор как поселился в нем. Прошло уже больше года после того, как он бросил свою «профессию», и ему казалось, что теперь можно уехать, ничем не рискуя.

После завтрака все вместе, по-семейному, отправились в центр города — мистер Адамс, Аннабел, Джимми и замужняя сестра Аннабел с двумя девочками пяти и девяти лет. Когда они проходили мимо гостиницы, где до сих пор жил Джимми, он поднялся к себе в номер и вынес оттуда чемоданчик. Потом пошли дальше, к банку. Там Джимми Валентайна дожидались запряженный экипаж и Долф Гибсон, который должен был отвезти его на станцию железной дороги.

Все вошли в помещение банка, за высокие перила резного дуба, и Джимми со всеми вместе, так как будущему зятю мистера Адамса были рады везде. Конторщикам льстило, что им кланяется красивый, любезный молодой человек, который собирается жениться на мисс Аннабел. Джимми поставил свой чемоданчик на пол. Аннабел, сердце которой было переполнено счастьем и буйным весельем молодости, надела шляпу Джимми и взялась рукой за чемоданчик.

— Хороший из меня выйдет вояжер? — спросила Аннабел. — Господи, Ральф, какой он тяжелый! Точно набит золотыми слитками.

— Тут никелированные рожки для обуви, — спокойно отвечал Джимми, — я их собираюсь вернуть. Чтобы не было лишних расходов, думаю отвезти их сам. Я становлюсь ужасно экономен.

В элморском банке только что оборудовали новую кладовую с сейфом. Мистер Адамс очень гордился ею и всех и каждого заставлял осматривать ее. Кладовая была маленькая, но с новой патентованной дверью. Ее замыкали три тяжелых стальных засова, которые запирались сразу одним поворотом ручки и отпирались при помощи часового механизма. Мистер Адамс, сияя улыбкой, объяснял действие механизма мистеру Спенсеру, который слушал вежливо, но, видимо, не понимал сути дела. Обе девочки, Мэй и Агата, были в восторге от сверкающего металла, забавных часов и кнопок.

Пока все были этим заняты, в банк вошел небрежной походкой Бен Прайс и стал, облокотившись на перила и как бы нечаянно заглядывая внутрь. Кассиру он сказал, что ему

ничего не нужно, он хочет только подождать одного знакомого.

Вдруг кто-то из женщин вскрикнул, и поднялась суматоха. Незаметно для взрослых девятилетняя Мэй, разыгравшись, заперла Агату в кладовой. Она задвинула засовы и повернула ручку комбинированного замка, как только что сделал у нее на глазах мистер Адамс.

Старый банкир бросился к ручке двери и начал ее дергать.

— Дверь нельзя открыть, — простонал он. — Часы не были заведены и соединительный механизм не установлен.

Мать Агаты опять истерически вскрикнула.

— Тише! — произнес мистер Адамс, поднимая дрожащую руку. — Помолчите минуту. Агата! — позвал он как можно громче. — Слушай меня!

В наступившей тишине до них едва слышно донеслись крики девочки, обезумевшей от страха в темной кладовой.

— Дочка моя дорогая! — вопила мать. — Она умрет от страха! Откройте дверь! Ах, взломайте ее! Неужели вы, мужчины, ничего не можете сделать?

— Только в Литл-Рок есть человек, который может открыть эту дверь, ближе никого не найдется, — произнес мистер Адамс нетвердым голосом. — Боже мой! Спенсер, что нам делать? Девочка... ей не выдержать долго. Там не хватит воздуха, а кроме того, с ней сделаются судороги от испуга.

Мать Агаты, теряя рассудок, колотила в дверь кулаками. Кто-то необдуманно предложил пустить в ход динамит. Аннабел повернулась к Джимми, в ее больших глазах вспыхнула тревога, но она еще не отчаивалась. Женщине всегда кажется, что для мужчины, которого она боготворит, нет ничего невозможного или непосильного.

— Не можете ли вы что-нибудь сделать, Ральф? Ну, попробуйте!

Он взглянул на нее, и странная, мягкая улыбка скользнула по его губам и засветилась в глазах.

— Аннабел, — сказал он, — подарите мне эту розу.

Едва веря своим ушам, она отколола розовый бутон на груди и протянула ему. Джимми воткнул розу в жилетный карман, сбросил пиджак и засучил рукава. После этого Ральф Д. Спенсер перестал существовать, и Джимми Валентайн занял его место.

— Отойдите подальше от дверей, все отойдите! — кратко скомандовал он.

Джимми поставил свой чемоданчик на стол и раскрыл его. С этой минуты он перестал сознавать чье бы то ни было присутствие. Он быстро и аккуратно разложил странные блестящие инструменты, тихо насвистывая про себя, как делал всегда за работой. Все остальные смотрели на него, словно заколдованные, в глубоком молчании, не двигаясь с места.

Уже через минуту любимое сверло Джимми плавно вгрызалось в сталь. Через десять минут, побив собственные рекорды, он отодвинул засовы и открыл дверь.

Агату, почти в обмороке, но живую и невредимую, подхватила на руки мать.

Джимми Валентайн надел пиджак и, выйдя из-за перил, направился к дверям. Ему показалось, что далекий, когда-то знакомый голос слабо позвал его: «Ральф!» Но он не остановился.

В дверях какой-то крупный мужчина почти загородил ему дорогу.

— Здравствуй, Бен! — сказал Джимми все с той же необыкновенной улыбкой. — Добрался-таки до меня! Ну что ж, пойдем. Теперь, пожалуй, уже все равно.

И тут Бен Прайс повел себя довольно странно.

— Вы, наверно, ошиблись, мистер Спенсер, — сказал он. — По-моему, мы с вами незнакомы. Вас там, кажется, дожидается экипаж

И Бен Прайс повернулся и зашагал по улице.

Роббинс и Дюмар, репортеры, первый — газеты «Пикайюн», а второй — «Пчелы», старой французской газеты, жужжащей уже около столетия, — были добрыми друзьями. Дружба их была испытана многими годами пережитых вместе радостей и горестей. Они сидели в маленьком, посещаемом главным образом, креолами, кафе мадам Тибо на Дюмен-стрит, где они обыкновенно встречались. Если вам знакомо это кафе, вы не можете не вспомнить о нем с чувством удовольствия. Оно небольшое и темное, с маленькими полированными столиками, сидя за которыми вы можете пить самый лучший кофе во всем Новом Орлеане, а также абсент, не хуже, чем у Сазерака. Полная и любезная мадам Тибо восседает за конторкой и принимает от вас деньги. Племянницы мадам — Николет и Мэмэ, в прелестных передничках с нагрудниками, подают вам напитки.

Дюмар пил свой абсент маленькими глотками, полузакрыв глаза, плавая в облаках дыма своей папиросы, с чисто креольским сладострастием.

Роббинс просматривал утренний выпуск «Пикайюн», разыскивая в нем, как это свойственно молодым репортерам, промахи в верстке газеты и исправления, внесенные, полным зависти к нему редактором в доставленный им материал. Его взгляд упал на следующие строки в отделе объявлений, и, с восклицанием удивления, он прочел их вслух своему другу:

— «Публичный аукцион. Сегодня в 8 часов будет продаваться с торгов все имущество сестер-самаритянок в доме, принадлежащем этому ордену, на Боком-стрит. Будет продаваться земля, дом и вся обстановка его и церкви».

Это объявление послужило для обоих друзей поводом вспомнить один случай из их репортерской практики, произошедший около двух лет назад. Они припоминали все отдельные инциденты, повторили все свои старые догадки и теперь снова обсуждали этот случай с изменившейся с течением времени точки зрения.

В кафе не было посетителей, кроме них. Тонкий слух мадам уловил их разговор, и она подошла к их столику. Разве не из-за потерянных ею денег, не из-за ее таинственно исчезнувших двадцати тысяч долларов началось все это дело?

Все трое вновь занялись давно забытой тайной, вновь перемалывая, как старую сухую мякину, все давно отброшенные, как негодные, прежние предположения. В этой самой церкви дома сестер-самаритянок Роббинс и Дюмар, во время своих тщетных поисков ключа к разгадке этой тайны, стояли, смотря на золоченую статую Святой Девы.

— Вы правы, мальчики, — промолвила, резюмируя все сказанное, мадам. — Этот *monsieur* Морэн очень нехороший человек. Все уверены, что он украл деньги, которые я дала ему на сохранение. Да. Он, очевидно, промотал их так или иначе. — Мадам с широкой улыбкой одобрения посмотрела на Дюмара. — Я хорошо поняла вас, *monsieur* Дюмар, когда вы пришли просить меня сообщить вам все, что я знаю о *monsieur* Морэне. О да! Я знаю, что в большинстве случаев, когда у таких людей пропадают деньги, вы говорите: «*Cherchez la femme*» — здесь замешана какая-нибудь женщина. Но с *monsieur* Морэн это не так. Нет, мальчики, это не так! До самой своей смерти он считался святым. Вы, *monsieur* Дюмар, с таким же успехом можете пытаться найти эти деньги в статуе Святой Девы, которую *monsieur* Морэн поставил в церкви этих *petites soeurs*, как пытаться найти в этом деле хотя одну *femme*.

При последних словах мадам Тибо Роббинс слегка вздрогнул и искоса бросил пронизательный взгляд на Дюмара. Креол спокойно сидел и задумчиво следил за кольцами дыма, поднимавшимися от его папиросы. Все это происходило в девять часов утра. Через несколько минут друзья расстались и направились каждый по своей дороге к своим дневным занятиям.

В Новом Орлеане хорошо помнят обстоятельства смерти *monsieur* Гаспара Морэна, умершего в том городе. *Monsieur* Морэн занимался художественными ювелирными работами в старом французском квартале и пользовался в городе всеобщим уважением. Он происходил из одного из старейших французских родов и был известен, как антиквар и любитель

древностей. Ему было около пятидесяти лет, и он был холостяком. Он жил спокойно и с комфортом в одной из этих старых гостиниц на Роял-стрит. Однажды утром его нашли мертвым в его номере, и причина его смерти осталась невыясненной.

Когда разобрались в его делах, выяснилось, что он фактически несостоятелен; его товаров и личного имущества с трудом хватило на покрытие его долгов, чтобы оградить память о нем от общественного осуждения. Затем выяснилось, что мадам Тибо, служившая когда-то экономкой в семье Морэн, доверила ему сумму в двадцать тысяч долларов, полученную ею в наследство от родных, проживающих во Франции.

Самые тщательные расследования друзей покойного и властей не смогли открыть, куда девались деньги. Они исчезли бесследно. За несколько недель до своей смерти *monsieur* Морэн взял всю сумму золотом из банка, в который она была временно внесена, как он объяснил мадам Тибо, пока он искал для этого капитала верное помещение. Память о *monsieur* Морэне, таким образом, оказалась опозоренной навсегда бесчестным поступком, а мадам Тибо была, конечно, безутешна.

Вот тогда-то Роббинс и Дюмар, каждый, как представитель своей газеты, приступили к одному из тех упорных частных расследований, к которым за последние годы стала прибегать пресса.

— *Cherchez la femme!* — сказал Дюмар.

— Да, это совершенно верно! — согласился Роббинс. — Все пути ведут к женщине, и мы найдем ее.

Они исчерпали все сведения персонала гостиницы, в которой жил *monsieur* Морэн, начиная с мальчика для побегушек до самого владельца. Затем они вежливо, но упорно расспросили всех родственников покойного до самых отдаленных. Они ловко подвергли допросу служащих покойного ювелира и ходили по пятам его покупателей, стараясь получить от них сведения о его привычках. Подобно собакам-ищейкам, они обнюхивали каждый шаг предполагаемого преступника, сделанный им по ограниченным и однообразным тропам его жизни.

В результате их трудов *monsieur* Морэн предстал перед ними человеком беспорочным. Против него нельзя было выставить ни одной слабости, которую можно было бы истолковать как преступную склонность, ни одного отклонения с праведного пути, ни намека даже на пристрастие к женскому полу.

Его жизнь была регулярна и лишена удовольствий, как жизнь монаха; его привычки были просты, и он их ни от кого не скрывал. По мнению всех знавших его, он мог служить примером добродетели и скромности и отличался щедростью и отзывчивостью.

— Что же теперь? — спросил Роббинс, перелистывая свою чистую записную книжку.

— *Cherchez la femme,* — сказал Дюмар, закуривая папиросу. — А как относительно «Леди Белларс?».

«Леди Белларс» в этом сезоне была лучшей представительницей женского пола на скачках. Будучи существом женского пола, она была капризна и изменчива, и несколько человек в городе, верившие в то, что она им не изменит, проиграли из-за нее большие суммы. Репортеры исследовали и это указание.

*Monsieur* Морэн? Конечно нет. Он даже никогда не бывал на скачках. Это не такой человек.

— Не бросить ли нам это? — предложил Роббинс. — И не предоставить ли заняться этим делом отделу шарад и ребусов?

— *Cherchez la femme,* — напевая, сказал Дюмар и протянул руку за спичкой. — А не попытаться ли у этих сестер, как они там называются?

Во время расследования выяснилось, что *monsieur* Морэн особенно почитал этот благочестивый орден. Он щедро поддерживал его, и церковь этого ордена была его излюбленным местом молитвы. Говорили, что он ежедневно ходил туда возносить свои молитвы у алтаря. Действительно, казалось, что к концу его жизни все его мысли были заняты исключительно религиозными вопросами, даже, может быть, в ущерб его коммерческим

делаю.

Роббинс и Дюмар отправились туда и позвонили у узкой двери в гладкой каменной стене, сурово смотревшей на Боком-стрит. Старушка подметала церковь. Она сказала им, что сестра Фелиситэ, настоятельница ордена, сейчас молится у алтаря на амвоне. Через несколько минут она выйдет оттуда. Альков отделяли от взоров тяжелые черные драпировки. Они стали ждать.

Вскоре драпировки раздвинулись, и сестра Фелиситэ вышла. Она была высокого роста, худая, костлявая и некрасивая, в черном платье и в строгом чепце ордена, что придавало ей несколько трагический вид.

Роббинс, репортер из типа ни перед чем не останавливающихся, но лишенных такта и деликатности, начал говорить.

Они являются представителями прессы. Дама, вероятно, слышала о деле Морэна. Необходимо, ради справедливости к памяти покойного, узнать истину об исчезнувших деньгах. Известно, что он часто посещал эту церковь. При создавшемся положении всякие сведения о привычках и вкусах monsieur Морэна, о его друзьях и прочем будут весьма ценны для посмертного оправдания его.

Да, сестра Фелиситэ об этом слышала. Все, что она знает, она с радостью сообщит, но знает она очень мало. Monsieur Морэн был хорошим другом ордена, жертвовал ему суммы, иногда доходившие до ста долларов. Орден вполне самостоятельный и всегда зависел в своей благотворительной деятельности от частных пожертвований. Monsieur Морэн пожертвовал в церковь серебряные подсвечники и облачение на алтарь. Он каждый день приходил молиться в церковь и иногда оставался здесь целый час. Он был пламенным католиком, посвятившим себя благочестию. Да, еще в алькове стоит статуя Святой Девы, которую он сам вылепил и отлил и пожертвовал ордену. О, как жестоко бросать тень на память такого прекрасного человека!

Роббинс сам был глубоко огорчен этими обвинениями. Но, до тех пор, пока не будет выяснено, что сделал monsieur Морэн с деньгами мадам Тибо, вряд ли удастся заткнуть рот клевете. Иногда... даже очень часто... В делах подобного рода бывает... э-э-э, как говорят... э-э-э, замешана женщина... Совершенно конфиденциально... Если... Может быть...

Сестра Фелиситэ строго взглянула на него своими большими глазами.

— Была одна женщина, — медленно проговорила она, — перед которой он преклонялся, которой он отдал всю свою душу.

Роббинс в восторге принялся искать свой карандаш.

— Вот эта женщина! — неожиданно задушевым, глубоким тоном проговорила сестра Фелиситэ. Она протянула свою длинную руку и раздернула драпировки алькова. Внутри алькова была ниша, освещенная мягким светом, вливающимся через окно из цветного стекла. В углублении голой каменной стены стояло изображение Святой Девы цвета чистого золота.

На Дюмара, чисто внешнего католика, этот момент произвел сильное впечатление своей торжественностью. Он склонил на мгновение голову и перекрестился. Роббинс, бормоча невнятные извинения, в замешательстве отступил. Сестра Фелиситэ задернула драпировки, и репортеры ушли.

На узком каменном тротуаре Боком-стрит Роббинс с неуместным сарказмом обратился к Дюмару:

— Ну, что же дальше? Cherchez la femme?

— Абсент, — сказал Дюмар.

Слова мадам Тибо задали новую работу голове Роббинса.

Разве в самом деле так невероятна мысль, что религиозный фанатик пожертвовал свое имущество, или, вернее, имущество мадам Тибо, обратив его в статую — материальный символ пожирающего его благочестия?.. Во имя служения Богу совершались гораздо более странные поступки. Разве невозможно, что пропавшие тысячи ушли на отлитие этой сияющей статуи, разве нельзя допустить, что ювелир отлил ее из чистого драгоценного металла и поставил ее там с мыслью, зародившейся в его несколько расстроенных мозгах, снискать милость святых и проложить путь к своему личному богатству?

В этот же день без пяти минут три Роббинс входил в дверь церкви ордена сестер-самаритянок. Он увидел здесь в тусклом освещении толпу человек в сто, собравшуюся на аукцион. Большинство собравшихся были членами различных религиозных орденов, священниками и людьми духовного звания, явившимся сюда с целью купить церковную утварь и принадлежности и тем спасти их от поругания неверующих. Другие же, деловые люди или комиссионеры, пришли с целью купить недвижимость. Клерикального вида господин вызвался вести торги и внес в обязанности аукциониста изысканную речь и благородное достоинство манер.

После того как были проданы несколько незначительных предметов, двое служителей вынесли статую Святой Девы.

Роббинс первый предложил десять долларов. Толстяк в одежде священника предложил пятнадцать. Голос из противоположной части поднял цену до двадцати долларов. Все трое поднимали цену, поочередно набавляя по пяти, пока предложение не достигло пятидесяти долларов. После этого толстяк сдался, а Роббинс, решившись на рискованный удар, поднял цену до ста.

— Сто пятьдесят, — сказал голос из противоположной части зала.

— Двести, — храбро перебил его Роббинс.

— Двести пятьдесят, — быстро крикнул его противник.

Репортер замялся на мгновение, соображая, сколько он сможет занять у своих товарищей по редакции и сколько ему удастся выманить у управляющего конторой в счет жалованья на будущий месяц.

— Триста, — предложил он.

— Триста пятьдесят, — произнес его противник более громким голосом.

Роббинс нырнул в толпу, в сторону, откуда раздавался голос, и свирепо схватил его обладателя за воротник.

— Ах, идиот ты некрещеный, — прошипел Роббинс над самым его ухом, — купим пополам?

— Согласен! — спокойно сказал Дюмар. — Я не сумел бы собрать триста пятьдесят долларов, даже если бы мне дали разрешение на производство обыска у всех моих друзей, но половину выставить я могу. Что тебя дернуло набавлять цену против меня?

— Я думал, что я единственный дурак в этой толпе, — объяснил Роббинс.

Никто больше не надбавил, и статуя осталась за синдикатом из двух репортеров. Дюмар остался охранять добычу, а Роббинс побежал выколачивать из ресурсов и кредитов обоих нужную сумму. Вскоре он вернулся с деньгами, и двое мушкетеров погрузили свою драгоценную поклажу и направились с нею к Дюмару, занимавшему комнату поблизости, на Шартр-стрит. Они втащили ее, завернутую в скатерть, по лестнице и поставили на стол. Она весила не меньше ста фунтов, и, если бы их смелая теория оказалась правильной, эта стоящая перед ними статуя стоила бы двадцать тысяч золотых долларов.

Роббинс сдернул скатерть со статуи и открыл свой перочинный ножик.

— Sacre! — вздрогнув, пробормотал Дюмар. — Это мать Христа. Что ты собираешься делать?

— Заткнись, Иуда! — холодно сказал Роббинс. — Теперь уж поздно думать о спасении твоей души.

Уверенной рукой он отколол кусочек от плеча статуи. На месте осколка они увидели тусклый сероватый металл; статуя была покрыта, по-видимому, только тонким слоем позолоты.

— Свинец! — объявил Роббинс и швырнул свой ножик на пол, — позолота!

— К черту ее! — крикнул Дюмар, забыв все свои угрызения совести. — Пойдем выпьем! Они направились в кафе мадам Тибо.

Вероятно, мысли мадам в этот день были заняты воспоминаниями о старых услугах, оказанных ей обоими молодыми людьми.

— Вы не должны сидеть за этим столом, — вмешалась она, когда они собрались сесть на

свои места. — Да, да, мальчики, нет, нет! Я хочу, чтобы вы перешли в эту комнату, как мои *tres bons amis*. Да, я сама приготовлю для вас *anisette* и великолепный *cafe royal*. О, я люблю угощать моих друзей. Да. Пожалуйста, пройдите сюда.

Мадам провела их в маленькую заднюю комнату, куда она иногда приглашала особенно почетных гостей. Она усадила их в удобные кресла, около открытого большого окна, выходящего на двор, и поставила между ними маленький столик. С гостеприимной суетливостью она принялась готовить обещанные напитки.

Репортеры в первый раз удостоились чести быть допущенными в это святилище. В комнате царил полумрак, среди которого блестели вещи из дорогого полированного дерева, стекла и металла, которые так любят креолы. С маленького двора доносились вкрадчивые звуки крошечного фонтана, трепещущие листья банана, растущего около окна, раскачивались в такт капающей воде. Роббинс, будучи по натуре исследователем, окинул любопытным взором всю комнату. Вероятно, от какого-нибудь предка-дикаря мадам унаследовала любовь к грубому и яркому в обстановке.

Стены были украшены дешевыми литографиями, пестрыми пасквилями на природу, отвечающими вкусам буржуазии; поздравительными открытками, красочными газетными приложениями и образцами художественных реклам, рассчитанных на доведение зрительных нервов смотрящего на них до состояния обалдения, чтобы подчинить его себе. Пятно чего-то непонятного среди всего остального, яркого и вполне ясного, озадачило Роббинса. Он встал и подошел ближе, чтобы рассмотреть это на более близком расстоянии. Затем он, как бы от слабости, прислонился к стене и воскликнул:

— Мадам Тибо! О, мадам! С каких пор... О! с каких пор у вас вошло в привычку оклеивать стены государственными четырехпроцентными обязательствами, обеспеченными золотом, достоинством в пять тысяч долларов? Скажите мне, это сказка Гримма или мне следует обратиться к окулисту?

При этих словах мадам Тибо и Дюмар подошли к нему.

— Что вы говорите? — весело спросила мадам. — Что вы говорите, *monsieur* Роббинс. Ах, эти красивые маленькие кусочки бумаги! Одно время я думала, что это, — как вы это называете? — календарь, а эти маленькие цифры внизу — дни месяца. Но нет. Эта стена треснула на этом месте, *monsieur* Роббинс, и я прикрепила сюда эти маленькие кусочки бумаги, чтобы скрыть трещину. Мне кажется, что цвет их так хорошо гармонирует с обоями. Откуда я их достала? Ах, да, я очень хорошо помню. Однажды *monsieur* Морэн пришел ко мне — это было почти за месяц до его смерти, это было в то время, когда он обещал поместить эти деньги для меня. *Monsieur* Морэн оставил эти маленькие кусочки бумаги на этом столе и говорил очень много о деньгах, чего я никак не могла понять. Но я больше никогда не видела этих денег. Этот *monsieur* Морэн плохой человек. А что, как вы называете эти кусочки бумаги, *monsieur* Роббинс?

— Это ваши двадцать тысяч долларов с неотрезанными купонами, — сказал он, обводя большим пальцем каждое из четырех обязательств. — Надо будет пригласить обойщика, чтобы он аккуратно отлепил их от стены.

Он вытащил Дюмара за рукав в другую комнату. Мадам звала Николет и Мэмэ, чтобы они пришли посмотреть на богатство, возвращенное ей *monsieur* Морэном, этим лучшим из людей, этим праведником, находящимся теперь в раю.

— Дюмарчик, — сказал Роббинс, — я загуляю. Три дня уважаемой «Пикайюн» придется обойтись без моих ценных услуг. Я рекомендую тебе присоединиться ко мне Это зеленое снадобье, которое ты пьешь, ни к чему. Оно будит мысль. Нам необходимо забыться. Я представлю тебя единственной даме, которая может в данном случае гарантировать достижение желаемого результата. Имя ее миссис Виски из Кентукки, выдержанная в течение двенадцати лет в кувшинах. Как тебе нравится эта идея?

— *Allons!* — сказал Дюмар. — *Cherchez la femme!*

## Друзья из Сан-розарио

Западный экспресс остановился в Сан-Розарио точно по расписанию, в 8.20 утра. Из одного вагона вышел мужчина с объемистым черным кожаным портфелем под мышкой и быстро зашагал по главной улице городка. Сошли с поезда и другие пассажиры, но они тут же разбрелись — кто в железнодорожный буфет, кто в салун «Серебряный доллар», а кто просто примкнул к кучке зевак, околачивающихся на станции.

Все движения человека с портфелем говорили о том, что ему чужда нерешительность. Это был невысокий коренастый блондин с коротко подстриженными волосами и гладким, энергичным лицом; нос его воинственно оседлала золотая пара очков. Он был одет в хороший костюм, покроя, принятого в восточных штатах. В нем чувствовалась если не властность, то, во всяком случае, твердое, хотя и сдержанное, сознание собственной силы.

Пройдя три квартала, приезжий очутился в центре деловой части городка. Здесь улицу, по которой он шел, пересекала другая, не менее оживленная, и этот перекресток представлял собой главный узел всей финансовой и коммерческой жизни Сан-Розарио. На одном углу стояло здание почты, другой был занят магазином готового платья Рубенского. На остальных двух углах, наискосок друг от друга, помещались оба городских банка — Первый Национальный и Национальный Скотопромышленный. В Первый Национальный банк и направился приезжий, ни на минуту не замедляя своих шагов, пока они не привели его к окошечку в загородке перед столом главного бухгалтера. Банк открывался только в девять часов, но все служащие уже были на местах и готовились к началу операций. Главный бухгалтер, занятый просмотром утренней почты, не сразу заметил посетителя, остановившегося перед его окошком.

— Мы начинаем с девяти, — сказал он коротко, но без раздражения в голосе. С тех пор как банки Сан-Розарио перешли на принятые в больших городах часы работы, ему часто приходилось давать подобные разъяснения всяким ранним пташкам.

— Мне это известно, — холодно отчеканил посетитель. — Разрешите вручить вам мою карточку.

Главный бухгалтер взял протянутый в окошечко прямоугольник снежно-белого картона и прочел:

Дж. Ф. Ч. НЕТТЛВИК  
Ревизор Национальных Банков

— Э-э... пожалуйста, пройдите сюда, мистер... э-э... Неттлвик. Вы у нас в первый раз... мы, разумеется, не знали. Вот сюда, пожалуйста.

Не мешкая, ревизор вступил в святая святых банка, и мистер Эдлинджер, главный бухгалтер, почтенный джентльмен средних лет, все делавший обстоятельно, осмотрительно и методично, не без торжественности представил ему по очереди весь персонал.

— Я, признаться, ожидал Сэма Тэрнера, как обычно, — сказал мистер Эдлинджер. — Вот уже скоро четыре года, как нас ревизует Сэм. Но надеюсь, что и вам не в чем будет нас упрекнуть, учитывая общий застой в делах. Большой наличностью похвастать не можем, но бурю выдержим, сэр, бурю выдержим.

— Мистер Тэрнер и я получили от Главного контролера предписание поменяться районами, — сказал ревизор все тем же сухим, официальным тоном. — Он теперь ревизует мои прежние объекты в Южном Иллинойсе и Индиане. Если позволите, я начну с кассы.

Перри Дорси, кассир, уже раскладывал на мраморном прилавке наличность кассы для обозрения ревизора. Он знал, что все у него в порядке, до единого цента, и опасаться ему решительно нечего, но все-таки нервничал и волновался. И все в банке нервничали и волновались. Таким холодом и бездушием веяло от нового ревизора, что-то в нем было такое целеустремленное и непреклонное, что, казалось, одно его присутствие уже служило



обвинительным актом. Он производил впечатление человека, который никогда не ошибается сам и не простит ошибки другому.

Мистер Неттлвик прежде всего ринулся на наличность кассы и с быстротой и ловкостью фокусника пересчитал все пачки кредиток. Затем он пододвинул к себе мокрую губку и проверил каждую пачку. Его тонкие белые пальцы мелькали, как пальцы пианиста-виртуоза над клавишами рояля. Он с размаху вытряхнул на прилавок все содержимое мешка с золотом, и монеты жалобно звенели, разлетаясь по мраморной доске под его проворными руками. А когда дело дошло до мелочи, никелевые монетки так и запорхали в воздухе. Он сосчитал все до последнего цента. Он распорядился принести весы и взвесил каждый мешок серебра в кладовой. Он подробно допрашивал Дорси по поводу каждого кассового документа — чеков, расписок и т. д., оставшихся со вчерашнего дня; все это безукоризненно вежливо, но в то же время с такой таинственной многозначительностью и таким ледяным тоном, что у бедного кассира горели щеки и заплетался язык.

Этот новый ревизор был совсем непохож на Сэма Тэрнера, Сэм входил в банк с веселым шумом, одевая всех сигарами и принимался рассказывать анекдоты, услышанные в дороге. С Дорси он обычно здоровался так: «А, Перри! Ты еще не сбежал со всей кассой?» Процедура проверки наличности тоже носила несколько иной характер. Тэрнер со скучающим видом перебирал пальцами пачки кредиток, потом спускался в кладовую, наудачу поддевал ногой несколько мешков с серебром, и на том дело кончалось. До мелочи Сэм Тэрнер не унижался никогда. «Что я, курица, что ли, чтобы по зернышку клевать? — говорил он, когда перед ним выкладывали кучки никелевых монеток. — Сельское хозяйство — это не по моей части». Но ведь Тэрнер сам был коренным техасцем, издавна водил дружбу с президентом банка, а кассира Дорси знал чуть не с пеленок.

В то время, когда ревизор был занят подсчетом наличности, у бокового подъезда банка остановился кабриолет, запряженный старой муругой кобылой, и оттуда вышел майор Томас Б. Кингмен, в просторечии именуемый «майор Том», — президент Первого Национального. Войдя в банк и увидя ревизора, считающего деньги, он прошел прямо в свой «загончик», как он называл отгороженный барьером угол, где стоял его письменный стол, и принялся просматривать полученные письма.

Незадолго до этого произошел маленький инцидент, ускользнувший даже от бдительного взгляда мистера Неттлвика. Как только ревизор уселся подсчитывать кассу, мистер Эдлинджер многозначительно подмигнул Рою Уилсону, пареньку, служившему в банке рассыльным, и едва заметно наклонил голову в сторону парадной двери. Рой сразу понял, надел шляпу и не торопясь пошел к двери с разносной книгой под мышкой. Выйдя из банка, он прямым сообщением отправился через улицу, в Национальный Скотопромышленный. Там тоже готовились к началу занятий. Ни один посетитель пока не показывался.

— Эй вы, публика! — закричал Рой с фамильярностью мальчишки и старого знакомого. — Пошевеливайтесь-ка побыстрей. Приехал новый ревизор, да такой, что ему пальца в рот не клади. Он сейчас сидит у нас, у Перри все пятаки пересчитывает. Наши все не знают, куда деваться со страху, а мистер Эдлинджер мигнул мне, чтобы я предупредил вас.

Мистер Бакли, президент Национального Скотопромышленного, — пожилой, тучный мужчина, похожий на приодевшегося к празднику фермера, услышал слова Роя и окликнул его из своего кабинета в глубине помещения.

— Что, майор Кингмен уже в банке? — спросил он мальчика.

— Да, сэр, он как раз подъехал, когда я вышел, чтобы идти к вам.

— Мне нужно, чтоб ты передал записку майору. Вручишь ему лично и сразу же, как только вернешься.

Мистер Бакли уселся за стол и принялся писать.

Вернувшись в Первый Национальный, Рой отдал майору Кингмену конверт с запиской. Майор прочел, сложил листок и спрятал его в карман жилета. Несколько минут он сосредоточенно раздумывал, откинувшись на спинку кресла, потом встал и пошел в

банковскую кладовую. Вернулся он оттуда, держа в руках старомодную толстую кожаную папку с надписью золотыми буквами: «Учтенные векселя». В этой папке лежали долговые обязательства клиентов банка вместе с ценными бумагами, представленными в обеспечение ссуд. Майор довольно бесцеремонно вытряхнул все бумаги на свой стол и принялся разбирать их.

Между тем Неттлвик покончил с проверкой кассы. Его карандаш ласточкой летал по листу бумаги, на котором он делал свои заметки. Он раскрыл свой черный портфель, достал оттуда записную книжку, быстро занес в нее несколько цифр, затем повернулся к Дорси и навел на него свои блестящие очки. Казалось, его взгляд говорил: «На этот раз вы благополучно отделались, но...»

— Касса в порядке, — отрывисто бросил ревизор и тут же атаковал бухгалтера, ведавшего лицевыми счетами. В течение нескольких минут только и слышно было, как шелестят страницы грессбуха и взвиваются в воздух листы балансовых ведомостей.

— Как часто вы составляете баланс по лицевым счетам? — спросил вдруг ревизор.

— Э-э... раз в месяц, — пролепетал бухгалтер, думая о том, сколько лет ему могут дать за это.

— Правильно, — сказал ревизор, устремляясь к старшему бухгалтеру, который уже поджидал его, держа наготове отчеты по операциям с заграничными банками. Здесь тоже все оказалось в полном порядке. Затем квитанционные книжки на депонированные ценности. Шуршат перелистываемые корешки — раз-раз-раз — так! В порядке. Список лиц, превысивших свой кредит, пожалуйста. Благодарю вас. Гм-гм. Неподписанные векселя банка? Хорошо.

Настала очередь главного бухгалтера, и добродушный мистер Эдлинджер от волнения то и дело снимал очки и тер вспотевшую переносицу под ураганным огнем вопросов, касавшихся количества акций, обращения, нераспределенных прибылей, недвижимой собственности, принадлежащей банку, и акционерного капитала.

Вдруг Неттлвик почувствовал, что кто-то стоит у него за спиной, и, оглянувшись, увидел старика лет шестидесяти, высокого и кряжистого, с пышной седой гривой, жесткой бородой и пронизательными голубыми глазами, которые, не мигнув, выдержали устрашающий блеск ревизорских очков.

— Э-э... мистер Кингмен, наш президент... мистер Неттлвик, — представил главный бухгалтер.

Они обменялись рукопожатиями. Трудно было представить себе двух человек, более непохожих, чем эти двое. Один был законченным продуктом мира прямых линий, стандартных взглядов и официальных отношений. В другом чувствовалось что-то более вольное, широкое, близкое к природе. Том Кингмен не был скроен по определенному образцу. Он успел побывать погонщиком мулов, ковбоем, объездчиком, солдатом, шерифом, золотоискателем и скотоводом. И теперь, когда он стал президентом банка, старые товарищи по прериям, вместе с ним проводившие дни в седле и ночи в палатке, не находили в нем особых перемен. Он составил себе состояние, когда цены на тexasский скот взлетели вверх, и тогда основал Первый Национальный банк Сан-Розарио. Несмотря на его природное великодушие и подчас неосмотрительную щедрость по отношению к старым друзьям, дела банка шли хорошо, потому что майор Том Кингмен умел разбираться не только в скотине, но и в людях. Последние годы были неблагоприятными для скотоводов, и банк майора оказался одним из немногих, которые не понесли больших потерь.

— Ну-с, так, — сказал ревизор, вытаскивая из кармана часы. — Осталось только проверить ссуды. Если не возражаете, мы сейчас этим и займемся.

Он провел ревизию Первого Национального с почти рекордной быстротой, но в то же время с дотошностью, которая была ему свойственна во всем. Правда, дела банка находились в идеальном порядке, и это облегчило задачу. Он знал, что в городе есть еще один только банк. Правительство платило ему двадцать пять долларов за каждую ревизию. Вероятно, проверка выданных ссуд и учтенных векселей займет у него здесь не больше получаса. После этого

можно будет немедленно перейти к ревизии второго банка и поспеть на поезд 11.45. Больше поездов в нужном ему направлении в этот день не было, и если он на него не поспеет, придется ночевать и провести завтрашний, воскресный, день в этом скучном западном городишке. Вот почему мистер Неттлвик так спешил.

— Прошу вас к моему столу, сэр, — сказал майор Кингмен своим густым низким голосом, в котором ритмическая напевность речи южанина сочеталась с чуть гнусавым акцентом жителя Запада. — Я вам помогу в этом. Никто у нас в банке не знает каждый вексель так, как знаю я. Есть там молодняк, который не совсем твердо стоит на ногах, а у иных не хватает, пожалуй, лишнего клейма на спине, но, когда подойдет срок, все окажется в полном порядке.

Оба уселись за стол президента банка. Для начала ревизор с быстротой молнии просмотрел все векселя, затем подытожил цифры и убедился, что общий итог сходится с суммой, значащейся в книге ежедневного баланса. После этого он перешел к более крупным ссудам, обстоятельно вникая в каждую передаточную надпись, каждый документ, представленный в обеспечение. Казалось, новый ревизор рыщет, петляет, неожиданно бросается из стороны в сторону, точно ищейка, вынюхивающая след. Наконец он отодвинул в сторону все бумаги, за исключением пяти или шести, которые аккуратной стопочкой сложил перед собою, и обратился к майору Кингмену с небольшой, сухо официальной речью:

— Я считаю, сэр, что дела вашего банка находятся в отменном состоянии, учитывая неурожайный год и неблагоприятную конъюнктуру в скотопромышленности по вашему штату. Счета и книги ведутся аккуратно и точно. Просроченных платежей немного, и убыток по ним предвидится сравнительно небольшой. Я бы рекомендовал вам потребовать возврата наиболее крупных ссуд, а в дальнейшем, впредь до нового оживления в делах, ограничиваться предоставлением лишь краткосрочных займов на два, на три месяца или же онкольных ссуд. Теперь еще только одно дело, и я буду считать ревизию законченной. Вот здесь передо мной шесть документов, всего на сумму около сорока тысяч долларов. В обеспечение этой суммы, согласно описи, представлены различные акции, облигации и другие бумаги общей стоимостью на семьдесят тысяч долларов. Однако здесь, в делах, указанные бумаги отсутствуют. По всей вероятности, они у вас хранятся в сейфе или в кладовых банка. Я хотел бы с ними ознакомиться.

Майор Том смело устремил свои голубые глаза на ревизора.

— Нет, сэр, — сказал он тихим, но твердым голосом, — ни в сейфе, ни в кладовых этих ценностей нет. Я взял их. Можете считать меня лично ответственным за их отсутствие.

Дрожь волнения прохватила Неттлвика. Этого он никак не ожидал. Под самый конец охоты вдруг напасть на след — и на какой след!

— Вот как, — сказал ревизор. Затем, выждав немного, спросил: — Может быть, вы объясните несколько подробнее?

— Ценности взял я, — повторил майор. — Взял не для себя лично, но чтобы выручить старого друга, который попал в беду. Пройдемте в кабинет, сэр, там нам будет удобнее беседовать на эту тему.

Он повел ревизора в кабинет, находившийся в глубине помещения, и, войдя, затворил за собой дверь. В комнате стояли: письменный стол, еще один стол обыкновенный и несколько кожаных кресел. На стене висела голова техасского быка с размахом рогов в добрых пять футов. Напротив красовалась старая кавалерийская сабля майора, служившая ему в сражениях при Шило и Форт-Пиллоу.

Майор пододвинул кресло Неттлвику, а сам уселся у окна, откуда ему видно было здание почты и украшенный лепкой известняковый фасад Национального Скотопромышленного банка. Он не торопился начинать разговор, и Неттлвик решил, что, пожалуй, легче всего будет проломить лед с помощью чего-то почти столь же холодного — официального предупреждения.

— Вам, разумеется, известно, — сказал он, — что ваше заявление, если только вы не найдете возможным от него отказаться, чревато крайне серьезными последствиями. Вам также

известно, что я обязан предпринять, получив такое заявление. Я должен буду обратиться к комиссару Соединенных Штатов и сделать...

— Знаю, все знаю, — перебил майор Том, останавливая его движением руки. — Неужели вы думаете, что президент банка может быть не осведомлен в вопросах финансового законодательства! Исполняйте свой долг. Я не прошу никакого снисхождения. Но раз я уже упомянул о своем друге, я хотел бы рассказать вам про Боба.

Неттлвик поудобнее устроился в кресле. Теперь уже не могло быть и речи о том, чтобы сегодня же уехать из Сан-Розарио. Придется немедленно телеграфировать Главному контролеру; придется испросить у комиссара Соединенных Штатов ордер на арест майора Кингмена; возможно, за этим последует распоряжение закрыть банк ввиду исчезновения ценных бумаг, представленных в обеспечение ссуды. Это было не первое преступление, раскрытое ревизором Неттлвиком. Раз или два в жизни ему случилось вызвать своими разоблачениями такую бурю человеческих страстей, что под ее напором едва не поколебался невозмутимый покой его чиновничьей души. Бывало, что солидные банковские дельцы валялись у него в ногах и рыдали, точно женщины, моля о пощаде — об отсрочке, о снисхождении к одной-единственной допущенной ими ошибке. Один главный бухгалтер застрелился за своим столом у него на глазах. И ни разу он не встречал человека, который в критическую минуту держал бы себя с таким хладнокровным достоинством, как этот суровый старик из западного городка. Неттлвик почувствовал, что такой человек имеет право на то, чтобы его хотя бы выслушали со вниманием. Облокотясь на ручку кресла и подперев свой квадратный подбородок пальцами правой руки, ревизор приготовился слушать исповедь президента Первого Национального банка Сан-Розарио.

— Если у вас есть друг, — начал майор Том несколько нравоучительным тоном, — испытанный друг, с которым за сорок лет вы прошли огонь, и воду, и медные трубы, и чертовы зубы, вы не можете отказать этому другу, когда он вас просит о маленькой услуге.

(«Например, присвоить для него на семьдесят тысяч долларов ценных бумаг», — мысленно заметил ревизор.)

— Мы с Бобом вместе были ковбоями в молодости, — продолжал майор. Он говорил медленно, с расстановкой, задумчиво, словно мысли его были гораздо больше заняты прошлым, чем теми серьезными осложнениями, которыми ему грозило настоящее. — И вместе искали золото и серебро в Аризоне, Нью-Мексико и во многих районах Калифорнии. Мы оба участвовали в войне шестьдесят первого года, хотя служили в разных частях. Плечом к плечу мы дрались с индейцами и конокрадами; больше месяца голодали в горах Аризоны, в хижине, погребенной под снежными сугробами в двадцать футов вышиной; носились по прерии, объезжая стада, когда ветер дул с такой силой, что молнию относил в сторону, — да, всякие мы с Бобом знавали времена, после того как впервые повстречались на ранчо «Якорь», в загоне, где клеймили скот. И не раз с тех пор нам приходилось выручать друг друга в трудную минуту. Тогда считалось в порядке вещей поддержать товарища, и никто себе этого не ставил в особую заслугу. Ведь назавтра этот товарищ мог точно так же понадобиться вам — чтобы помочь отбиться от целого отряда апачей или туго перевязать вам ногу после укуса гремучей змеи и мчаться на лошади за бутылкой виски. Так что в конце концов это выходило всегда услуга за услугу, и если вы не по совести поступали с другом, — что ж, вы рисковали, что в нужный момент не на кого будет опереться самому. Но Боб был выше таких житейских расчетов. Он никогда не останавливался на полдороге.

Двадцать лет назад я был шерифом этого округа, а Боба я взял к себе на должность главного помощника. Это было еще до бума в скотопромышленности, во время которого мы оба составили себе состояние. Я совмещал в своем лице шерифа и сборщика налогов, что для меня в ту пору являлось большой удачей. Я уже был женат, и у меня было двое детей, мальчик и девочка, четырех и шести лет. Жили мы в хорошеньком домике возле Управления округа, платить за квартиру не приходилось, так что у меня даже завелись кое-какие сбережения. Большую часть канцелярской работы делал Боб. Оба мы успели побывать во всяких передрягах, знавали и лишения и опасности, и вы даже представить себе не можете, до чего

хорошо было сидеть вечерами в тепле и уюте, под надежным кровом, слушать, как дождь или град барабанит по окнам, и знать, что утром, встав с постели, можно побриться и люди, обращаясь к тебе, будут называть тебя «мистер». Жена у меня была редкая женщина, ребятишки — просто прелесть, а кроме того, старый друг находился тут же и делил со мной первые радости зажиточной жизни и крахмальных сорочек — чего же мне было еще желать? Да, могу сказать, что я тогда был по-настоящему счастлив.

Майор вздохнул и мельком поглядел в окно. Ревизор переменял позу в кресле и подпер подбородок другой рукой.

— Как-то зимою, — продолжал свой рассказ майор, — налоги вдруг стали поступать со всех сторон сразу, и я целую неделю не мог выбрать время отнести деньги в банк. Я складывал чеки в коробку из-под сигар, а монеты ссыпал в мешок и запирали то и другое в большой сейф, стоявший в моей канцелярии.

Я сбился с ног за эту неделю, да и вообще со здоровьем у меня тогда было неладно. Нервы расшалились, сон стал беспокойный. Доктор определил у меня болезнь с каким-то мудреным медицинским названием и даже прописал мне лекарство. А тут еще ко всему я ложился спать с постоянной мыслью об этих деньгах. Правда, тревожиться у меня не было оснований — сейф был надежный, и, кроме меня и Боба, никто не знал секрета замка. В пятницу вечером, когда я запирали мешок в сейф, в нем было около шести с половиной тысяч долларов звонкой монетой. Утром в субботу я, как всегда, отправился в канцелярию. Сейф был заперт, Боб сидел за своим столом и что-то писал. Я отпер сейф и увидел, что мешок с деньгами исчез. Я позвал Боба, поднял тревогу, спеша сообщить всем о грабеже. Меня поразило, что Боб отнесся к происшествию довольно спокойно — ведь он не мог не знать, насколько это серьезно и для меня и для него.

Прошло два дня, а мы все еще не напали на след преступников. Это не могли быть обыкновенные грабители, потому что замок сейфа не был поврежден. Крутом, должно быть, уже пошли разговоры, потому что на третий день вдруг вбегает в комнату Алиса, моя жена, а с ней оба малыша; глаза у нее горят, и она как топнет ногой, как закричит: «Негодяи, как они смеют! Том, Том!» — и без чувств повалилась мне на руки, а когда нам, наконец, удалось привести ее в себя, она уронила голову на грудь и заплакала горькими слезами — в первый раз с того дня, как она согласилась принять имя Тома Кингмена и разделить его судьбу. А Джек и Зилла, ребятишки, они, бывало, если только им разрешат зайти в канцелярию, кидаются на Боба, точно тигрята, не оторвешь — а тут стоят и жмутся друг к другу, как пара перепутанных куропаток, только с ноги на ногу переминаются. Для них это было первое знакомство с теневой стороной жизни. Смотрю, Боб оставил свою работу, встал и, не говоря ни слова, вышел из комнаты. В те дни у нас как раз шла сессия совета присяжных, и вот на следующее утро Боб явился к ним и признался в краже денег из сейфа. Он сказал, что проиграл их в покер. Через четверть часа состоялось решение о передаче дела в суд, и я получил приказ арестовать человека, который мне много лет был роднее, чем тысяча братьев.

Я взял ордер на арест, предъявил его Бобу и говорю:

— Вот мой дом, а вот моя канцелярия, а вон там — Мэн, а в той стороне — Калифорния, а вот за этими горами — Флорида, и куда хочешь, туда и отправляйся вплоть до дня суда. Я за тебя отвечаю, и я ответственности не боюсь. В назначенный день будь здесь — и все.

— Спасибо, Том, — говорит он, так это даже небрежно. — Я, собственно, и надеялся, что ты меня не будешь сажать под замок. Суд состоится в будущий понедельник, так если ты не возражаешь, я пока побуду здесь, в канцелярии. Вот только одна просьба у меня к тебе есть. Если можно, пусть ребята разок-другой выйдут во двор, мне бы хотелось с ними поиграть.

— О чем же тут просить? — возразил я. — И они пусть выходят, и ты выходи. И ко мне домой приходи во всякое время, как и раньше.

Видите ли, мистер Неттлвик, вора в друзья не возьмешь, но и друга так сразу в воры не разжалуешь.

Ревизор ничего не ответил. В эту самую минуту послышался резкий свисток паровоза. Это прибывал на станцию поезд узкоколейки, подходивший к Сан-Розарио с юга. Майор

наклонил голову и с минуту прислушивался, потом взглянул на часы. Было 10.35. Поезд пришел вовремя. Майор продолжал свой рассказ.

— Итак, значит, Боб все время оставался в канцелярии, читал газеты, курил. Его работу я поручил другому помощнику, и мало-помалу волнение, вызванное всей этой историей, улеглось.

Как-то раз, когда мы с Бобом были в канцелярии одни, он вдруг подошел к столу, за которым я сидел. Вид у него был хмурый и вроде усталый — так он, бывало, выглядел после того, как целую ночь стоял на страже в ожидании индейцев или объезжал стада.

— Том, — сказал он, — это куда тяжелее, чем одному драться с целой толпой краснокожих, тяжелее, чем лежать в пустыне, где на сорок миль крутом нет ни капли воды; но ничего, я выдержу до конца. Ты же меня знаешь. Но если б ты мне подал хоть какой-нибудь знак, хоть сказал бы: «Боб, я все понимаю», — мне было бы куда легче.

Я удивился.

— О чем это ты говоришь, Боб? — спросил я. — Ты сам знаешь, что я бы с радостью горы перевернул, чтобы помочь тебе. Но убей меня, если я понимаю.

— Ну, ладно, Том, — только и сказал он в ответ, отошел от меня и снова взялся за свою газету и сигару.

И только в ночь перед судом я понял, что означали его слова. Вечером, ложась в постель, я почувствовал, что у меня опять начинается уже знакомое неприятное состояние — нервная дрожь и какой-то туман в голове. Заснул я около полуночи. А проснувшись, увидел, что стою полуодетый в одном из коридоров управления. Боб держит меня за одну руку, доктор, лечивший всю нашу семью, — за другую, а Алиса трясет меня за плечи и плачет. Оказалось, что она еще вечером, потихоньку от меня, послала за доктором, а когда он пришел, меня не нашли в постели и бросились искать повсюду.

— Лунатизм, — сказал доктор.

Мы все вернулись домой, и доктор стал рассказывать нам о том, какие удивительные вещи проделывают иногда люди, подверженные лунатизму. Меня стало познабливать после моей ночной прогулки, и так как жена в это время зачем-то вышла, я полез в большой старый шкаф за стеганым одеялом, которое я там как-то заприметил. Когда я вытащил одеяло, из него выпал мешок с деньгами — тот самый мешок, за кражу которого Боба должны были наутро судить и приговорить к наказанию.

— Тысяча гремучих змей и одна ящерица! Как он сюда попал? — заорал я, и, наверно, всем было ясно, что я в самом деле вне себя от удивления.

Тут Боба осенило.

— Ах ты, соня несчастный! — сказал он, сразу становясь прежним Бобом. — Да ведь это ты его сюда положил. Я видел, как ты отпер сейф и вынул мешок, а потом я пошел за тобою следом. И вот в это окно увидал, как ты прятал мешок в шкаф.

— Так какого же дьявола ты, баранья твоя голова, дубина стоеросовая, сказал, будто это ты украл деньги?

— Ведь я же не знал, что ты все это делал во сне, — просто ответил Боб.

Я поймал его взгляд, устремленный на дверь той комнаты, где спали Зилла и Джек, и мне стало ясно, что понимал Боб под словом «дружба».

Майор Том замолчал и снова посмотрел в окно. Напротив, на широком зеркальном окне, украшавшем фасад Национального Скотопромышленного банка, кто-то вдруг спустил желтую штору, хотя солнце еще не так высоко поднялось, чтобы нужно было принимать столь энергичные меры в защиту от его лучей.

Неттлвик выпрямился в кресле. Он слушал рассказ майора терпеливо, но без особого интереса. Рассказ этот явно не относился к делу и уж, конечно, никак не мог повлиять на дальнейший ход событий. Все эти жители Запада, думал ревизор, страдают избытком чувствительности. Настоящие деловые люди из них не получают. Их просто нужно защищать от их друзей. По-видимому, майору больше сказать нечего. А то, что он сказал, не меняет дела.

— Я хотел бы знать, — сказал ревизор, — имеете ли вы добавить еще что-нибудь, непосредственно касающееся вопроса о похищенных ценностях?

— Похищенных ценностях, сэр? — Майор Том круто повернулся в своем кресле, и его голубые глаза сверкнули прямо в лицо ревизору. — Что вы этим хотите сказать, сэр?

Он вытащил из кармана перетянутую резинкой пачку аккуратно сложенных бумаг, бросил ее Неттлвику и поднялся на ноги.

— Все ценности здесь, сэр, все до последней акции и облигации. Я вынул их из папки с векселями в то время, как вы подсчитывали наличность. Прошу вас, проверьте и убедитесь сами.

Майор распахнул дверь и вышел в операционный зал банка. Неттлвик, ошеломленный, недоумевающий, злой и сбитый с толку, поплелся следом. Он чувствовал, что над ним не то чтобы подшутили, но скорей использовали его в качестве пешки в какой-то сложной и непонятной для него игре. И при этом, пожалуй, довольно непочтительно отнеслись к его официальному положению. Но ему не за что было ухватиться. Официальный отчет о том, что произошло, выглядел бы нелепо. И какое-то внутреннее чувство подсказывало ревизору, что никогда он не узнает об этом деле больше, чем знает сейчас.

Неттлвик безучастно, машинально проверил переданные ему майором бумаги, убедился, что все в точности соответствует описи, взял свой черный портфель и стал прощаться.

— Должен все же заметить, — сказал он, негодуя сверкнув очками на майора Кингмена, — что ваш поступок, ваша попытка ввести меня в заблуждение, которую вы так и не пожелали объяснить, мне представляется не вполне уместной ни как шаг делового человека, ни как шутка. Я лично таких вещей не понимаю.

Майор Том посмотрел на него ясным и почти ласковым взглядом.

— Сынок, — сказал он, — в прериях и каньонах, среди зарослей чапарраля, есть много такого, чего вам не понять. Но, во всяком случае, позвольте поблагодарить вас за то, что вы так терпеливо слушали скучные рассказы болтливой старика. Нас, старых техасцев, хлебом не корми, дай только поговорить о старине, о друзьях и приключениях молодости. Здесь у нас это каждый знает, и потому стоит только начать: «Когда я был молодым...» — как все уже разбегаются в разные стороны. Вот мы и рады рассказывать свои сказки свежему человеку.

Майор улыбнулся, но ревизора это не тронуло, и он, холодно откланявшись, поспешил покинуть банк. Видно было, как он твердым шагом наискосок перешел улицу и скрылся в подъезде Национального Скотопромышленного банка.

Усевшись за свой стол, майор Том достал из жилетного кармана записку, которую ему принес Рой. Тогда он только наскоро проглядел ее содержание, а теперь, не торопясь, перечитал еще раз, и в глазах у него при этом прыгали лукавые искорки. Вот что он прочел:

«Дорогой Том!

Мне сейчас сообщили, что у тебя там хозяйничает одна из ищеек дяди Сэма, а это значит, что через час-другой доберутся и до нас. Так вот, хочу попросить тебя об одной услуге. У нас сейчас в кассе всего 2200 долларов наличными, а должно быть по закону 20 000. Вчера вечером я дал 18 000 Россу и Фишеру на покупку партии скота у старика Гибсона. Они на этом деле заработают через месяц не меньше 40 000, но от этого моя касса сегодня не покажется ревизору полнее. А документов я ему показать не могу, потому что выдал эти деньги не под векселя, а под простые расписки без всякого обеспечения — мы-то с тобой знаем, что Пинк Росс и Джим Фишер ребята золотые и не подведут. Помнишь Джима Фишера: это он тогда застрелил банкомета в Эль-Пасо. Я уже телеграфировал Сэму Брэдшо, чтоб он мне прислал 20 000 из своего банка, но их привезут только с поездом, который приходит по узкоколейке в 10.35. Если ревизор обнаружит в кассе только 2200 долларов, он закроет банк, а этого допускать нельзя. Том, ты должен задержать этого ревизора. Что хочешь делай, а удержи, хотя бы тебе для этого пришлось связать его веревкой и сесть ему на голову. После прихода поезда следи за нашим окном; если ты увидишь, что на нем опустили штору, значит, деньги уже в кассе. А до того ты ревизора не выпускай. Я на тебя рассчитываю, Том.

Твой старый товарищ  
*Боб Бакли*  
Президент Национального  
Скотопромышленного банка».

Дочитав до конца, майор неторопливо разорвал записку на мелкие клочки и бросил в корзину. При этом он усмехнулся с довольным видом.

— Ах ты, старый ветрогон, ковбойская твоя душа! — весело пробормотал он себе под нос. — Вот теперь я хоть немножко сквитался с тобой за ту услугу, которую ты хотел оказать мне в бытность мою шерифом, двадцать лет тому назад.

### Четвертое июля в Сальвадоре

Билли Каспарис рассказал мне эту историю одним летним днем, когда город сотрясало от грохота, рева толпы и красной вспышки патриотизма.

Билли — это в своем роде Улисс-младший. Подобно Сатане, он возвращается из блужданий по земле и путешествий вверх-вниз в ее недрах. Ранним утром, когда вы ложечкой разбиваете скорлупу яйца на завтрак, он со своей хваткой маленького аллигатора несется на всех парусах, чтобы осмотреть городскую достопримечательность посередине озера Океечобее или же торговать лошадьми с патагонцами.

Мы с ним сидели за маленьким круглым столиком, перед нами стояли стаканы, в которых позвякивали большие кубики льда, а над нами возвышалась искусственная пальма, и так как окружающая нас обстановка, видимо, навеяла ему похожие воспоминания, у Билли возникло желание начать свой рассказ.

— Все это напоминает мне, — сказал он, — о празднике Четвертого июля, который я помогал отмечать в Сальвадоре. Там у меня была фабрика по производству льда, она появилась у меня после того, как я исчерпал запасы серебра своих копей в Колорадо. Я получил то, что называется «условной концессией». Они заставили меня внести денежный залог в тысячу долларов в качестве гарантии, что я буду производить лед постоянно в течение шести месяцев. При выполнении этого условия я мог бы вернуть свой взнос. Если я нарушал его, то правительство забирало всю мою кучу денег. Поэтому инспектора постоянно навевались ко мне, чтобы установить, сколько на складе осталось продукции.

Однажды, когда на термометре было 110 градусов по Фаренгейту, на часах стрелки указывали половину второго, а на календаре стояло число — третье июля, двое из числа этих смуглых лоснящихся недомерков, сующих повсюду свой нос, в своих красных портках проникли ко мне, чтобы провести очередную инспекцию.

Моя фабрика в это время вот уже в течение трех недель не произвела ни фунта льда и не могла этого сделать по нескольким причинам. Сальвадорские домохозяйки его не покупали: они говорили, что от него у них стынет все, куда они его бросают. И еще я не мог больше производить свою продукцию, так как обанкротился. Теперь самым главным для меня стало одно — как можно скорее вернуть свою тыщонку и поскорее убраться из этой треклятой страны. Шестимесячный срок приходился как раз на шестое июля.

Ну, я показал им весь свой запас льда. Поднял крышку темного чана, где покоилась элегантная глыба льда весом сто фунтов, такая красивая, что просто не могла не ласкать глаз. Я хотел было уже захлопнуть крышку, когда один из этих брюнетов, этих негодяев хлопнулся на свои обтянутые красной материей колени и положил свою крепкую предательскую руку на мою глыбу, этот гарант моей честности. Всего за пару минут они вытащили из чана и опустили на пол эту мою прекрасную глыбу, отлитую по форме ледяной стеклянную массу, за одну доставку которой сюда из Фриско мне пришлось выложить пятьдесят долларов.

«Это что, льод, — спросил тот, который сыграл со мной этот нечестный трюк. — Что-то



очень теплый лед». — «Да такой сегодня жаркий день, сеньор». — «Может, его следует спрятать в каком-нибудь прохладном местечке, чтобы он остыл? Да?» — «Да, — повторял я, — да», — но понял, что они меня достали.

«Выходит чтобы проверить, нужно пощупать, не так ли, ребята? Да. Но ведь можно утверждать, что ваши портки на заднице небесно-голубого цвета, хотя я выражаю свое твердое мнение, что они — красные. Нужно провести тестирование наложением рук и ног».

С этими словами я пинками выгнал обоих инспекторов за дверь, а сам приступил к охлаждению своей глыбы — блестящего своего стекла.

Мне, конечно, особенно радоваться было нечему, я сидел у себя, испытывая не столько тоску по родине, сколько по деньгам, без цента за душой, ждал, когда воспрянут мои амбиции, и вдруг до меня донесся какой-то странный бриз — самый чудный запах, которого не ощущал мой нос уже целый год. Бог ведает, откуда он прилетел на эти задворки страны, этот чудный «букет», состоявший из настоянных лимонных корочек, окурков от сигар и выдохнувшегося пива — именно таким запахом обладало заведение «Голдбрик Чарли» на Четырнадцатой улице, где я по вечерам играл в безик с третьеразрядными актерами.

От этого знакомого, родного запаха я вновь остро ощутил все свалившиеся на мою голову беды, но я старался задвинуть эти воспоминания куда-нибудь подальше. Я вдруг начал скучать по своей стране и стал ужасно сентиментальным, я произносил такие слова о Сальвадоре, которые никогда, как вы понимаете, не должны были бы на законном основании вылетать за пределы фабрики по производству льда.

И вот, когда я там сидел, то увидел, как на самом солнцепеке вышагивает в своем чистом, белом костюме Максимилиан Джонс, американец, который проявлял интерес к каучуку и розовому дереву.

— Каррамба! Черт подери! — вскричал я, ибо в эту минуту пребывал в дурном расположении духа, разве мне мало своих бед? — Я знаю, чего тебе надо. Ты хочешь снова рассказать мне историю о Джоне Эммигере и этой вдове в поезде. Ты только в этом месяце рассказывал мне ее девять раз.

— Вероятно, все из-за жары, — сказал Джонс, в изумлении останавливаясь в дверном проеме. — Бедняга Билли! Явно чокнулся. Сидит на льду и оскорбляет погаными словами своих лучших друзей. Эй, что с тобой, мучачо? — Джонс тут же позвал мою рабочую силу, которая сидела на солнце, играя со своими пальцами на ногах, и приказал ей немедленно натянуть штаны и бежать за доктором.

— Ну-ка, вернись! — приказал я. — Садись, Макси, забудь обо всем. Это совсем не лед и на нем сидит не лунатик. Это всего лишь изгнанник, испытывающий острую тоску по родине, сидящий на блоке стекла, который стоил ему тысячу долларов. Так что там сказал Джонни этой вдове? Я с удовольствием послушаю твой рассказ еще раз, не обращай внимания на мои слова, не сердись!

Мы с Максимилианом Джонсом сели и стали беседовать. Он испытывал точно такую же тоску по родине, что и я, ибо разного рода мошенники лишили его половины прибылей, которые он получал от розового дерева и каучука. На дне цистерны у меня хранилась дюжина бутылок плохого сан-францисского пива. Когда я их выудил, мы начали предаваться воспоминаниям о родном доме, о национальном флаге, о гимне «Славься, Колумбия!» и о жаренной по-домашнему картошке.

От той околесицы, которую мы с ним несли, могло бы стошнить любого, кто имел возможность сейчас пользоваться всеми этими благами. Но нам они были недоступны. По достоинству оцениваешь родной дом, только когда его покидаешь; деньги, когда они кончаются; жену только после того, как она вступит в женский клуб; а государственный флаг Соединенных Штатов, когда он вывешен на метловище какой-то развалюхи, представляющей собой наше консульство в чужом городе.

И вот, когда мы так сидели с Максимилианом Джонсом, почесываясь от покалывающей жары и пиная спящих по полу ящериц, то вдруг ощутили громадный прилив патриотизма и любви к своей стране. Вот я, Билли Каспарис, бывший капиталист, превратившийся в люмпена

из-за своего сильного пристрастия к стеклу (в глыбах), жалею на нынешние свои несчастья, я, некоронованный сюзерен величайшей на земле страны. А рядом со мной — Максимилиан Джонс выплескивает целые потоки своего гнева на олигархов и всех этих властелинов в красных портках и тряпичных туфлях. И вот мы оглашаем декларацию о вмешательстве, в которой берем на себя обязательство, что национальный праздник — День Четвертого июля будет достойным образом отмечен здесь, в Сальвадоре, со всеми полагающимися по такому случаю салютами, взрывами, воинскими почестями, образцами ораторского искусства и теми крепкими жидкостями, которые предусмотрены вековой традицией.

Нет, ни у меня, ни у Джонса еще не одряхла душа, много будет шума в Сальвадоре — утверждаем мы, и пусть лучше все обезьяны поскорее забираются на самые высокие кокосовые пальмы, а пожарная охрана вытаскивает свои красные пояса и пару цинковых ведер.

Приблизительно в это время на фабрике появился местный житель, генерал Марч Эсперанса Диас, которого здесь подвергали дискриминации. Он был несколько красноват в лице и в политике, но был другом моим и Джонса. Он отличался вежливостью и интеллигентностью, причем первому он научился, а второе сумел сохранить во время двухлетнего пребывания в Филадельфии, где он учился медицине. Для сальвадорца он не был уж таким зловредным маленьким человеком, хотя никогда не отказывался сыграть на валета, даму, короля или туза, или на двойку в «стрите».

Генерал Марч сел с нами, получил бутылку пива. Во время пребывания в Штатах он овладел синопсисом английского языка и искусством восхваления всех наших институтов.

Вдруг генерал встал, на цыпочках подошел к двери, потом к окну, к другим выходам и везде тихо произносил: «Тсс!»

Все в Сальвадоре выполняют такую процедуру, когда просят бутылку воды или осведомляются о времени, все они — врожденные конспираторы с колыбели и самозванные идола утренников.

— Тсс! — снова прошипел генерал Динго и прижался грудью к столу, как Гаспарскряга. — Мои дорогие друзья, сеньоры, завтра наступает великий день, день Свободы и Независимости. Сердца американцев и сальвадорцев будут стучать в унисон. Я знаю вашу историю, вашего великого Вашингтона. Разве не так?

«Как все же мило, — подумали мы с Джонсом, — что генерал помнит о Четвертом июля». Нам от этого стало приятно. Когда он был в Филадельфии, то, очевидно, что-то слышал о тех неприятностях, которые были у нас с Англией.

— Да, — одновременно сказали мы с Макси, — мы как раз говорили об этом, когда вы вошли. И вы можете даже держать пари на свою шахтную концессию, что в этот день будет много шума и гама и перья полетят в воздух. Нас мало, но это не значит, что мы не начнем, не дернем за веревку — набат должен загудеть...

— И я помогу вам, — сказал генерал, хлопнув себя по ключице. — Я тоже — на стороне Свободы. Благородные мои американцы, завтра мы устроим такой день, который никогда не забудется.

— Для нас американское виски, — сказал Джонс, — это вам не шотландская бурда, или анисовая, или трехзвездный Хенесси. Мы одолжим у консульства национальный флаг, старик Биллфингер произнесет торжественную речь, и мы прямо на площади устроим барбекю.

— Фейерверк не будет таким большим, — сказал я, — но для наших пистолетов есть патроны в магазинах. У меня два морских шестого калибра. Я привез их из Денвера.

— Есть одна пушка, — сказал генерал, — одна большая пушка, которая будет стрелять: бум! бум! И триста человек поднимут ружейную стрельбу.

— Вот это да! — воскликнул Джонс. — Генералиссимус, вы настоящий военный, вас не сломить. Мы устроим совместный международный праздник. Прошу вас, генерал, найдите белого коня, а с голубым поясом вы будете выглядеть великим маршалом.

— С саблей наголо, — сказал генерал, выкатывая глаза, — я поскачу во главе смельчаков, которые объединятся во имя Свободы.

— Не могли бы вы, — предложили мы ему, — посетить коменданта и сообщить ему, что мы тут организуем небольшую заварушку. Мы, американцы, и вы отлично это знаете, обычно с уважением относимся к муниципальным правилам в отношении заряжения револьверов, когда все выстраиваются на параде, чтобы усилить свободолобивый клекот нашего Орла. Пусть отменит все эти правила на один день. Нам не хочется попадать в каталажку, но мы вздуем его солдат, если они посмеют вмешиваться и перечить нам, понятно?

— Тсс! — вновь зашипел генерал. — Командующий с нами душой и телом. Он нам поможет. Он один из нас!

Мы обо всем договорились сегодня в полдень. Есть тут в Сальвадоре один южноамериканский индеец, он из штата Джорджия, его туда занесло из организованной наскоро колонии цветных где-то в Мексике, там, где не водятся опоссумы. Как только он услышал вождественное слово «барбекю», то заплакал от радости и стал валяться по земле. Он выкопал канавку на плазе и заготовил бутылку пива, чтобы поливать им угли во время жарки туши, и эта церемония продлится всю ночь.

Мы с Макси обошли всех американцев в городе, они зашипели, словно кусок мяса на вертеле, выражая свою радость по поводу идеи торжественно отметить старинный праздник 4 июля.

Нас здесь — всего шестеро: Мартин Диллар, кофейный плантатор, Генри Барнс, железнодорожник, старина Биллфингер, грамотный человек, принимающий пари; ну, я, Джонси, Джерри, хозяин ресторана «Барбекю». Есть, правда, в городе еще один англичанин по имени Стеррет, он хотел написать здесь книгу об архитектуре домоустройства в мире насекомых.

Мы не хотели вначале приглашать британца — начнет еще разевать клюв, восхвалять свою страну, — но потом все же решили рискнуть, только из нашего личного к нему уважения.

Когда мы пришли к нему, он в пижаме работал над своим манускриптом, используя в качестве груза для исписанных листков бутылку бренди.

— Послушайте, англичанин, — сказал Джонс, — не угодно ли вам на время прервать ваше исследование о домиках для клопов? Завтра, если вы помните, Четвертое июля. Мы, конечно, не хотим оскорблять ваши патриотические чувства, но собираемся отмечать тот день, когда мы поколотили вас, после чего устроили превосходную, безумную пьянку, которую было слышно миль за пять. Если вы человек достаточно широких взглядов, чтобы по собственному побуждению пить виски, приглашаем вас к нам присоединиться, мы будем очень рады.

— Знаете, — сказал Стеррет, надевая на нос очки, — вы еще имеете наглость спрашивать меня, присоединяюсь ли я к вам. Да разрази меня гром, если я этого не сделаю! Могли бы даже не спрашивать меня об этом. Я желаю это не для того, чтобы прослыть предателем родины, а только ради замечательно громкого скандала!

Утром четвертого июля я проснулся в своей старой развалюхе, служившей мне фабрикой по производству льда, чувствуя себя из рук вон плохо. Я оглядывал все эти обломки своей собственности, и сердце мое наполнялось горечью. Со своего тощего матраца в окно я видел потрепанный звездно-полосатый флаг, свисавший с этой лачуги.

«Все же ты — большой дурак, Билли Каспарис, — сказал я себе. — Из всех твоих преступлений, совершенных против здравого смысла, это — наихудшее, твоя идея празднования Четвертого июля не может даже претендовать на малейшую заслугу. Бизнес твой пошел прахом, твоя тысяча долларов отправилась в банк этой насквозь коррумпированной страны из-за допущенной тобой непростительной оплошности, у тебя в кармане последние пятнадцать чилийских долларов, обменный курс которого вчера перед сном составлял сорок шесть центов и продолжает стабильно снижаться. Сегодня ты профукаешь свой последний цент, провозглашая здравицы в честь американского флага, а завтра будешь жить сорванными с дерева бананами, а на выпивку будешь клянчить у своих друзей. Ну, что лично для тебя сделал этот флаг? Когда он развевался у тебя над головой, тебе приходилось вкалывать, чтобы получить то, что у тебя было. Ты, не жалея ногтей, сдирал

шкуру с олухов и болванов, прибегал к нечестным махинациям на рудниках, прогонял медведей и аллигаторов с пустырей своего города. Много ли значит твой патриотизм для твоего счета, когда какой-то сморчок в картузе с зеленым козырьком закрывает в банке твой счет? Предположим, тебя прищучили здесь, в этой безбожной стране, за какое-то мелкое преступление или что-то в этом роде, и тебе придется обратиться к твоей стране за помощью — что она для тебя в таком случае сделает? Направит твое прошение в какой-то комитет, состоящий из железнодорожника, армейского офицера, члена профсоюза и какого-нибудь цветного, чтобы те расследовали, имел ли кто-нибудь из твоих предков отношение к кузену Марка Ханны, после чего он отправит все бумаги в Смитсоновский институт, где они пролежат, покуда не пройдут очередные выборы. Вот по какой колее поведет тебя звездно-полосатый твой флаг».

Видите, я чувствовал себя как выжатый лимон, но мне стало значительно лучше, после того как сполоснул физиономию холодной водой, вытащил свои морские револьверы с патронами и направился к назначенному месту встречи — к салону Всех Непорочных Святых. И когда я увидел других американских парней, которые, пошатываясь, входили в это заведение для намеченного свидания, такие спокойные, уравновешенные, такие отважные, готовые пойти на любой риск: передернуть вовремя карту, отправиться стрелять медведей гризли, бороться с огнем или даже согласиться с экстрადицией, то с большой радостью ощутил себя одним из них. Я снова сказал себе: «Билли, у тебя в кармане пятнадцать чилийских долларов и страна, в которой сегодня утром тебя нет, — растранжишь эти деньги и тряхни как следует этот городишко, так, как это полагается сделать американскому истинному джентльмену в День Независимости его страны».

Помню, тот день начался как обычно. Шестеро из нас, ибо Стеррет держался особняком, методично проходили через все продовольственные магазины, в которых продавали выпивку, и опустошали тамошние бары, угощаясь всеми крепкими напитками из бутылок с американскими наклейками. Мы сотрясали воздух, громко разглагольствуя о славе и величии Соединенных Штатов и их способности подчинять, опережать и искоренять все другие народы на земле. По мере того как американских наклеек становилось все больше, и мы заражались все большим патриотизмом. Максимилиан Джонс выражал надежду, что мистер Стеррет не обиделся на проявления нашего возвышенного энтузиазма. Он поставил свою бутылку на его столик и пожал Стеррету руку.

— Скажу вам, как белый человек белому, — начал он, — весь этот поднимаемый нами гвалт не имеет лично к вам никакого отношения. Прошу простить нас за таких людей, как Банкер Хилл, Патрик Генри и Уолдорф Астор, забудем о взаимных обидах, которые разделяют наши нации.

— Друзья-громилы, — ответил Стеррет, — от имени английской королевы прошу вас замять все это для ясности. Для меня большая честь оказаться среди тех, кто нарушает порядок, прикрываясь американским флагом. Может, споем такие страстные куплеты «Янки Дудл», а тот сеньор за стойкой тем временем, чтобы смягчить атмосферу, нальет всем кошенеля и огненной воды.

Старина Биллфингер, которому была поручена вся риторика, произносил пламенную речь повсюду, куда мы заходили. По дороге мы объясняли всем горожанам, что отмечаем в данный момент собственный образчик свободы, и просили всех отнести все бесчеловечные безумства, которые мы могли сотворить, к числу неизбежных потерь.

Около одиннадцати часов в наших боевых сводках значилось: «Значительное повышение температуры, сопровождаемое усиливающейся жаждой и другими тревожными симптомами». Мы взвели курки нашего оружия и, построившись в цепь, пошли по узким улицам, у каждого в руках был винчестер или морской револьвер, которые предназначались лишь для поднятия шума и не свидетельствовали ни о каком злом умысле. Мы остановились на углу одной из улиц и, дав несколько очередей, приступили к исполнению серийного набора радостных воплей, криков и завываний, что, вероятно, местные жители слышали впервые в жизни.

После того как мы подняли весь этот невыразимый шум, общая картина стала оживать. Мы услышали на боковой улице цокот копыт, из нее выехал на белом коне генерал Мари Эсперанса Динго, за ним следовало сотни две смуглых парней в рубашках красного цвета, босых, волочащих за собой ружья длиной футов в десять. Мы с Джонсом совсем забыли о генерале Мари, о его обещании принять участие в нашем торжестве. Мы пальнули еще раз и вновь истошно разом заорали в знак приветствия, а генерал любезно пожимал нам руки, воинственно помахивая саблей.

— Ах, генерал, — заорал Джонс, — какая величественная картина! Вы доставите истинное удовольствие нашему Орлу. Ну-ка, слезайте, выпейте с нами.

— Выпить? — переспросил генерал. — Нет, что вы, у нас на выпивку нет времени.

— Все мы едины! Viva! Не забудьте! — сказал Генри Барнс.

— Viva все хорошее, все сильное! — крикнул я. — Viva Джордж Вашингтон! Боже, храни Содружество и не забывай о королеве! — добавил я, поклонившись в сторону Стеррета.

— Благодарю вас, — ответил он. — Теперь моя очередь. Все к стойке! Вся армия — тоже!

Но все мы были лишены угощения Стеррета, так как неподалеку раздалась револьверная стрельба и генерал Динго решил, что ему нужно с этим разобраться. Он пришпорил свою белую клячу, бросился вперед, а его воинство быстро побежало за ним.

— Этот Мари — поистине диковинная тропическая птичка, — сказал Джонс. — Он привел с собой всю пехоту, чтобы вместе с нами чествовать праздник Четвертого июля. Скоро в наших руках будет та пушка, которую он нам обещал, и мы из нее пальнем так, чтобы из нескольких окон повывлетали стекла. Ну а теперь неплохо бы перекусить, попробовать это барбекю. Пошли на плазу.

Там уже было готово превосходное жареное мясо, а Джерри явно нервничал, ожидая нас. Мы сели прямо на траву, нам положили на оловянные тарелки по большому куску говядины. Максимилиан Джонс, которого всегда выпивка настраивала на нежный лад, что-то стал говорить по поводу того, что, мол, как жалко, что с нами сейчас нет Джорджа Вашингтона, чтобы и он отметил этот торжественный день.

— Был только один человек, которого я искренне любил, Билл, — говорил он, проливая слезы на моем плече. — Бедняга Джордж! Только подумать, что его больше с нами нет! И он не увидит наш фейерверк. Ну-ка дай еще немного соли, Джерри!

Мы, сидя на траве и уминая мясо, слышали, что генерал Динго, суда по всему, вносил свой вклад в поднятую нами шумиху в честь праздника. По всему городу слышалась револьверная и ружейная стрельба, и вдруг мы услышали громкий пушечный выстрел: бум! — что мы и предсказывали. Вскочив, мы побежали по краю площади, лавируя между апельсиновыми деревьями и домами. Да, на самом деле, мы тут, в Сальвадоре, наделали шороху. Но испытывали гордость по такому случаю и были ужасно благодарны генералу Динго.

Стеррет хотел было на ходу отправить сочное мясо на ребрышке в рот, как шальная пуля выбила его буквально у него изо рта.

— Кто-то ведет стрельбу боевыми патронами, — заметил он, взяв рукой с тарелки другой кусок. — По-моему, слишком стараются эти не наши патриоты, что скажете?

— Не обращайтесь внимания, — успокоил я его. — Считайте, несчастный случай. Они, насколько вам известно, происходят в день Четвертого июля. Когда кто-то зачитал Декларацию Независимости в Нью-Йорке, то афишки о возможных несчастных случаях были вывешены на всех больницах и полицейских участках.

Вдруг Джерри, завопив от боли, схватился рукой за ногу, за то место, куда была послана пуля каким-то свержусердным стрелком. До нас донеслись чьи-то вопли, и вот из-за угла на площадь галопом выскочил генерал Мари Эсперанса Динго, обнимая обеими руками свою клячу за шею, а за ним бежало все его воинство, освобождаясь от своих длинных ружей, как от ненужного балласта. А всех их преследовала рота возбужденных низкорослых воинов в голубых брюках и фуражках

— На помощь, amigos, — орал генерал, пытаясь остановить свою лошадь. — На помощь, во имя Свободы!

— Это «Cooperia azul»<sup>10</sup> — личная охрана президента страны, — сказал Джонс. — Какой позор! Они набросились на нашего несчастного старого генерала Мари только за то, что он решил отпраздновать этот день вместе с нами. Вперед, ребята, ведь это наш день, день Четвертого июля. Неужели мы позволим этому крохотному взводу нас рассеять?

— Я голосую — «Нет!», — воскликнул Мартин Диллард, хватая свой винчестер. — Любой американский гражданин обладает привилегией напиваться, заниматься строевой подготовкой, наряжаться и наводить на всех ужас в день Четвертого июля, независимо от того, в какой стране он в это время находится.

— Друзья, сограждане! — сказал старина Биллфингер. — Даже в самые мрачные и опасные часы рождения Свободы, когда наши праотцы провозглашали ее бессмертные принципы, они никогда бы не позволили горстке деревенских мужланов в голубых портках испортить такую славную годовщину. Так защитим же нашу Конституцию, сохраним ее!

Решение было принято единогласно, все мы взяли за оружие и пошли в атаку на это голубое воинство. Мы стали стрелять по верх их голов, после чего бросились на них со страшными воплями, и они, испугавшись, разомкнули свои цепи и устремились прочь. Мы, конечно, были сильно расстроены тем, что нам не дали до конца насладиться барбекю, и преследовали их с четверть мили. Некоторых мы изловили и порядком поколотили. Генерал собрал свои войска и присоединился к нам в погоне за противником. Наконец все они рассыпались в густой банановой роще, а нам так и не удалось захватить больше ни одного из них. Нечего делать. Мы сели, чтобы отдохнуть.

Даже если бы меня подвергли допросу с пристрастием третьей степени, я не смог бы ничего рассказать о том, как прошел остаток дня. Думаю, мы активно прочесали весь город, призывая народ формировать новые армии для нас, которые мы все тут же уничтожим. Я помню, что видел где-то на улице толпу, а какой-то высокий человек, но не Биллфингер, произносил с балкона торжественную речь, посвященную 4 июля. Вот и все, что я помню.

Кто-то, вероятно, доставил меня на мою фабрику по производству льда, потому что когда я проснулся, то увидел, что нахожусь именно там. Как только я вспомнил собственное имя и свой адрес, то встал и немедленно произвел расследование. В кармане не было ни цента. Ну все, мне крышка.

Вдруг к двери подкатил красивый экипаж из него вышли генерал Динго и охотник на двух зверей в шелковой шляпе и желтовато-коричневых ботинках.

«Да, — сказал я себе, — все понятно: вот шеф полиции, его высочество лорд-камердинер Кутузки, и он хочет арестовать меня, Билла Касариса, за излишнее проявление патриотизма и за умышленное нападение. Ладно. Можно с таким же успехом посидеть и в тюрьме».

Но мне показалось, что генерал Макси улыбается, а этот его спутник, человек Правосудия, стал вдруг трясти мне руку и говорить на американском диалекте.

— Генерал Динго проинформировал меня, сеньор Касарис, о вашей отважной помощи, оказанной нашему делу. Я хочу вас поблагодарить лично от своего имени. Отчаянная смелость ваша и других сеньорес американос качнула чашу весов в борьбе за Свободу в нашу пользу. Наша партия одержала триумфальную победу. Эта ужасная битва войдет навсегда в историю.

— Битва? — ничего не понял я. — Какая битва?

Я стал мучительно вспоминать историю: о какой же битве идет речь?

— Сеньор Касарис отличается редкой скромностью, — сказал генерал Динго. — Но это он повел своих храбрых товарищей в самую гущу этого страшного сражения. Да. Без их помощи наша революция не осуществилась бы.

— Что вы, что вы, — возразил я, — не говорите мне, что вчера произошла революция. Насколько я помню, было лишь Четвертое июля...

---

<sup>10</sup> Голубая рота (*исп.*)

Тут я осекся. Так, мне показалось, будет лучше.

— После тяжелой, изнурительной борьбы, — продолжал человек Правосудия, — президент Блоано был вынужден срочно на самолете покинуть страну. Сейчас президентом страны провозглашен Кабальо. Да, да! А в новой администрации я занимаю пост главы департамента торговых концессий. У себя в досье я обнаружил донесение о том, что вы, сеньор Касарис, не производили льда, как оговорено в контракте. — И тут он мне мило улыбнулся.

— Ну, что тут скажешь, — не стал возражать я. — Думаю, что донесение соответствует действительности. Да, они застали меня на месте преступления. Поймали меня. И что тут скажешь?

— Зря вы спешите, — сказал большой чиновник. Он, стащив перчатку с руки, подошел к глыбе стекла и положил на нее ладонь.

— Лед, — сказал он, торжественно кивая головой.

К нему подошел генерал Динго, тоже пощупал стекло.

— На самом деле лед, готов поклясться, — подтвердил он.

— Если сеньору Касарису будет угодно, — продолжал высокий чиновник, — зайти в казначейство шестого числа сего месяца, то ему будет возвращена его сумма в тысячу долларов, которую он предоставил в качестве залога. Adios, сеньор!

Генерал с высоким чиновником, постоянно кланяясь, вышли из комнаты, а я стал почему-то кланяться не меньше их.

Когда их экипаж отъезжал от фабрики по песку, я еще раз сделал такой низкий поклон, что коснулся, наверное, полями своей шляпы земли. Но этот низкий поклон предназначался не им. Ибо поверх их голов я увидел потрепанный звездно-полосатый флаг, который трепыхался на свежем ветру над крышей консульства, и вот ему и предназначалось мое уважительное приветствие.

## Эмансипация Билли

В старом-престаром особняке с квадратным портиком, с кривыми ставнями и стенами с облупившейся краской и белыми прогалинами штукатурки жил-был один из последних губернаторов времен Гражданской войны.

Юг уже забыл о враждебности, вызвавшей этот серьезный военный конфликт, но все равно не желал отказываться от своих старых традиций и идолов. В лице «губернатора» Пембертона, как его до сих пор любовно называли жители Элмвилла, видели реликвию древнего величия и славы их штата. В свое время это была очень важная персона в глазах всей страны. Штат удостоил его всех имевшихся у администрации почестей. А теперь, когда он постарел и наслаждался заслуженным отдыхом по всем статьям вдалеке от быстрого течения общественных дел, горожане продолжали всячески его чтить во имя прошлого.

Прогнивший «особняк» губернатора стоял на главной улице Элмвилла, окруженный шатким дощатым забором. Каждое утро губернатор спускался по ступенькам крыльца с громадной осторожностью — он страдал ревматизмом — и постукивание его трости с золотым набалдашником сообщало, что он медленно продвигался по уложенной битым кирпичом боковой дорожке. Ему было почти семьдесят восемь, но он умел стареть красиво и грациозно. У него были длинные гладкие волосы, густые, торчащие в разные стороны белоснежные усы. Его сюртук, плотно облегающий его высокую худошавую фигуру, всегда был аккуратно застегнут на все пуговицы. На голове у него всегда был черный шелковый цилиндр, а на руках почти всегда — перчатки. У него были весьма педантичные манеры, и, казалось, куртуазности в нем было в избытке.

Губернатор медленно шел по главной улице — Ли авеню, которая со временем превратилась в своеобразный мемориал славного прошлого. Все шедшие ему навстречу приветствовали его с подчеркнутой вежливостью, многие даже обнажали головы. Те, кто мог

похвастаться личной дружбой с губернатором, останавливались и почтительно пожимали ему руку, и тогда вы могли стать свидетелем истинно прекрасного идеала типично южной куртуазности.

Дойдя до угла второй от дома площади, губернатор останавливался. Другая улица пересекала в этом месте авеню, и на перекрестке происходил затор, обычно вызываемый несколькими фермерскими фургонами и парой тележек разносчиков мелких товаров. Когда зоркий соколиный глаз генерала Деффенбау замечал возникшую ситуацию, то он тут же с задумчивым, озабоченным видом спешно выходил из своего офиса Первого Национального банка и спешил на выручку к старому другу.

Когда оба они обменивались приветствиями, то сразу было ясно, до какого непростительного упадка могли прийти современные манеры. Грузная, по-военному подтянутая фигура генерала сгибалась с такой гибкостью до такого предела, который был просто немыслимым. Только лелеемый губернатором ревматизм, видимо, не давал ему в эту минуту возможности преклонить перед генералом колена, как это когда-то делали воспитанные кавалеры.

Дойдя в сопровождении своего друга до почты, уважаемый всеми государственный деятель начинал свой неформальный утренний прием граждан, которые пришли, чтобы забрать утреннюю корреспонденцию. Отсюда пышная процессия, состоявшая из двух-трех знаменитых адвокатов, политиков или членов семьи, величественно продвигалась дальше по Ли авеню и останавливалась у отеля «Палас», где, вероятно, в книге регистрации приезжих могло появиться имя какого-то постояльца, достойного представления выдающемуся почтенному сыну штата. Если такого кандидата не обнаруживалось, то вся компания часа два посвящала воспоминаниям о потускневшей славе давно исчезнувшей администрации губернатора.

На обратном пути генерал неизменно замечал, что его превосходительство, должно быть, устали и посему было бы весьма полезно немного отдохнуть в центральной аптеке мистера Эплбай Р. Фентриса, элегантного джентльмена, сэра, представителя графства Чэхэм Фентрис, откуда наши самые родовитые семьи голубых кровей уходили в торговлю после войны.

Мистер Эплбай Р. Фентрис был большим специалистом по части усталости. А если бы он им не был, то ему пришлось бы подолгу извлекать из памяти нужный рецепт, ибо такое величественное посещение его заведения было непредвиденным событием, заставлявшим его удивляться чуть ли не ежедневно на протяжении многих лет. Мистер Фентрис знал формулу одной микстуры, которая была яростным врагом любого утомления, и вполне овладел искусством ее приготовления. Ее самый значительный компонент, пользуясь фармацевтическими терминами, он определял как «обычный старый, обработанный вручную клеверный лист 59, из особого запаса».

И процесс приема микстуры не отличался особым разнообразием. Мистер Фентрис обычно прежде приготавливал две знаменитые микстуры: одну — для губернатора, а вторую — для генерала, в качестве образца для пробы.

После этого губернатор произносил небольшой спич своим высоким, задыхающимся, дрожащим голосом:

— Нет, сэр, ни капли, покуда вы не приготовите для себя точно такую и не присоединитесь к нам, мистер Фентрис. Сэр, ваш отец был одним из самых ценных сторонников моей администрации, и любое проявление уважения с моей стороны к его сыну для меня, сэр, не только удовольствие, но еще и долг.

Рдея от восторга при поистине королевском снисхождении к нему, аптекарь спешил повиноваться, и все выпивали настойки после того, как генерал произносил тост: «За процветание нашего великого старинного штата, джентльмены, за сохранение памяти о нашем славном прошлом, за здоровье его самого любимого Сына».

Кто-нибудь из числа старой гвардии всегда оказывался под рукой, чтобы проводить губернатора домой. Иногда неотложные дела генерала лишали его такой привилегии, и тогда



либо судья Блумфилд, либо полковник Титус, или кто-нибудь из скотобоев «Эшфорд каунти», оказавшийся на месте, исполнял сей священный ритуал.

Таковы наблюдения, связанные с утренней прогулкой губернатора на почту. Куда же более значительной, более впечатляющей и более зрелищной была сцена исполнения общественных функций, когда генерал вел эту седовласую реликвию прежнего величия, словно редкую и хрупкую восковую фигуру, вперед и громогласно, словно труба, воспевал это бывшее превосходительство перед своими согражданами!

Генерал Деффенбау был Гласом Элмвилла. Некоторые даже говорили, что он воплощение Элмвилла, в крайнем случае, его Рупор. У него было достаточно акций в «Дейли бэннер» («Ежедневное знамя»), которой он диктовал свои воззрения, достаточно было у него акций и в Первом Национальном банке, чтобы судить о его состоянии. К тому же, он обладал внушительным боевым списком, чтобы без всякого оспаривания со стороны соперников занимать первое место на барбекю, на праздниках, посвященных началу учебного года в школах, и в день Памяти погибших в войнах. Кроме всех этих достижений, он еще обладал и многими дарованиями.

В общем, это была вдохновенная, обреченная на постоянный триумф личность. Из-за неоспоримой власти генерала его уподобляли разжиревшему римскому императору. Голос его все называли не иначе, как трубой. Говорить, что дух генерала подымала публика, означало бы не отдавать ему должной справедливости.

У него было столько высокого духа, что он сам мог бы воспламенить не одну публику, а дюжину. Ну а в довершение всего, у генерала было большое любвеобильное сердце. Да, в самом деле, генерал был воплощением Элмвилла.

Во время утренней прогулки губернатора обычно происходил один неприметный инцидент, который заслоняли, бывало, более важные события. Процессия имела обыкновение останавливаться перед небольшим каменным офисом на главной авеню, к двери которого вела крутая лесенка деревянного крыльца. На скромной жестяной вывеске над дверями значилось: «У. Б. Пембертон, адвокат».

Заглядывая за дверь, генерал кричал громовым голосом: «Хэлло, Билли, мой мальчик». Менее знаменитые члены эскорта негромко кричали: «Доброе утро, Билли!» А губернатор пронзительным голосом произносил: «Доброе утро, Вильям!»

После этого спокойный на вид человек невысокого роста с седыми волосами на висках спускался со ступенек крыльца и пожимал по очереди всем руку. Вообще-то в Элмвилле все жители, когда встречались, обязательно пожимали друг дружке руку.

После того как все формальности завершались, маленький человечек возвращался к своему столу, на котором возвышались горы законоуложений и различных бумаг, а процессия шествовала дальше.

Билли Пембертон был, как о том свидетельствует вывеска на его офисе, адвокатом, профессиональным адвокатом. По роду своих занятий и по всеобщему согласию он был Сыном своего Отца. От Его тени Билли не мог освободиться, из Его ямы он не мог выкарабкаться на протяжении многих лет и теперь считал ее своей могилой, в которой будут похоронены все его высокие амбиции. В отличие от многих других сыновей, он сполна оказывал отцу свое сыновнее уважение и строго соблюдал свои сыновние обязанности, но ему так хотелось стать известным, по достоинству оцененным, благодаря собственным делам и собственным дарованиям.

После многолетнего напряженного труда он стал известен в некоторых кругах, довольно далеко от Элмвилла, как мастер по отстаиванию твердых принципов законодательства. Дважды он совершал поездки в Вашингтон и там отстаивал перед Верховным судом свою правоту по тому или иному делу с такой логичностью, такими познаниями, таким порывом, от которого топорщились шелковые мантии судей на скамье. Его доходы от адвокатской практики постоянно росли, и, наконец, он смог поддерживать отца, обеспечивать ему в их старом семейном особняке (который ни тот ни другой не собирались покидать, несмотря на всю его ветхость) удобства и даже роскошь, достойную его прежних экстравагантных дней.

Тем не менее он для Элмвилла был только Биллом Пембертоном, сыном знаменитого и всячески почитаемого согражданами «бывшего губернатора Пембертона». Так его представляли на публичных сборищах, где он иногда выступал со сбивчивыми скучными речами, ибо обладал слишком явными, слишком выдающимися талантами, чтобы довольствоваться экспромтной показухой. Таким его представляли чужакам, таким его представляли судьям и адвокатам на выездных сессиях суда, таким рисовала его портрет на своих страницах «Дейли бэннер». Но все, чего он добивался, он был вынужден приносить на алтарь великолепного, но фатального для него предшественника — своего родителя.

Особенность амбиций Билли, самое печальное в них заключалось в том, что он страстно хотел завоевать только один мир — мир Элмвилла. У него был совершенно другой характер, он был человеком скромным и непритязательным. Почести масштаба штата или всей страны могли иметь на него угнетающее воздействие. Больше всего на свете он желал одного — добиться достойной оценки у своих друзей, среди которых он рос и воспитывался. Он не посмел бы сорвать ни одного листочка с тех лавровых венков, которыми столь щедро увенчивали чело его отца, он восставал против мысли, что его венки будут сплетены из тех же высушенных листочков и ломких отцовских веточек. Но Элмвилл по-прежнему называл его Билли и сынком, что вызывало в душе тщательно скрываемую непреодолимую горечь, в результате чего он становился все более сдержанным, педантичным и прилежным.

И вот наступило утро, когда Билли в своей почте обнаружил письмо из высокой инстанции, в котором ему предлагалось лестное назначение на высокую юридическую должность в одном из островных колониальных владений страны. Ему оказывали большую честь, так как вся страна живо обсуждала всех возможных кандидатов на этот пост, и все в результате пришли к выводу, что на нее может быть назначен человек безупречного характера, высокой учености и холодного ума.

Билли, конечно, не мог не испытывать определенного волнения из-за этого признания его долгих и упорных трудов, но в то же время у него на губах блуждала лукавая улыбка, он заранее предвидел, под каким соусом будет подаваться оказанная ему честь в Элмвилле: «Мы поздравляем губернатора Пембертона с высокой оценкой деятельности его сына»; «Элмвилл радуется вместе со своим почетным гражданином, губернатором Пембертоном, по поводу успеха его сына»; «Так держать, Билли!»; «Сэр, судья Билли Пембертон, сын героя войны нашего штата, человека, которым мы все гордимся!»

Такие громкие фразы, произносимые вслух и напечатанные на бумаге, проносились в пророческом воображении Билли. Внук штата и пасынок Элмвилла — вот как Судьба определяла его родство по отношению к этому политическому деятелю.

Билли жил с отцом в их старом особняке. Они двое, да еще одна престарелая дама, дальняя родственница, — вот и вся их семья. Может, в это число можно было бы включить и старого Джеффа, цветного слугу губернатора и его телохранителя. Несомненно, он вполне заслуживал такой чести. В доме были и другие слуги, но только Томас Джефферсон Пембертон был членом «семьи».

Джефф был единственным жителем Элмвилла, который отдавал дань уважения губернатору «чистым золотом», без всякой примеси патернализма.

Для него масса Вильям был самым большим человеком в графстве Тэбот. Его, конечно, слепил яркий свет, исходивший от губернатора времен Гражданской войны, и он, несомненно, оставался верен старому режиму, но восхищался только одним Биллом и безгранично верил ему. Как у слуги героя и члена семьи, у него были куда более прочные основания об этом судить.

Билл, конечно, Джеффу первому сообщил о своей новости. Когда он вернулся к ужину домой, Джефф взял в руки его цилиндр и аккуратно вытер рукавом, после чего повесил его на крючок на полке в холле.

— Черт подери! — воскликнул старик. — Я знал, что такое непременно случится. Значит, будете судьей, масса Вильям? Эти янки сделают вас судьей? Давно пора, давно пора покончить со всем этим послевоенным мошенничеством. Думаю, они посоветались и сказали:

«Давайте сделаем массу Вильяма Пембертона судьей», — и все было решено. Вы что, сразу отправитесь на Филиппины, или будете наводить там порядок отсюда?

— Придется, разумеется, жить там почти все время, — сказал Билли.

— Интересно, а что скажет губернатор по этому поводу? — спросил Джефф.

Билли самому хотелось бы это знать. После ужина, когда отец с сыном сидели, по обыкновению, в библиотеке, губернатор посасывал свою глиняную трубочку, а Билли курил сигару, сын, как ему и полагается, вежливо сообщил губернатору о сделанном ему предложении.

Губернатор долго сидел молча, раскуривая трубочку, словно и не собирался ничего комментировать. Билли, откинувшись на спинку своего любимого кресла-качалки, терпеливо ждал, весь густо покраснев от испытываемого удовлетворения. Еще бы — ведь официальное предложение было прислано ему, хотя он и не просил об этом, ему, в его маленький обшарпанный офис, через головы этих шумных интриганов, которые лишь отбывали рабочий день.

Наконец, губернатор заговорил, и хотя его фразы, казалось, не имели никакого отношения к делу, но его они касались.

Голос у отца был как голос мученика и дрожал от старости:

— Последние месяцы мой ревматизм все время прогрессирует, Вильям.

— Мне очень жаль, отец, — мягко ответил Билли.

— И мне скоро семьдесят восемь. Я буду очень старым человеком. Сейчас я могу удержать в памяти имена своих двух-трех сотрудников в моей администрации. Так что ты говорил по поводу должности, которую тебе предлагают, Вильям?

— Федерального судьи, папа. Я считаю такое предложение довольно лестным для себя. Должность — вне политики, вне закулисных интриг с целью нажима. Ты же знаешь...

— Несомненно, несомненно. Мало кто из Пембертонов может похвастаться общественной деятельностью на протяжении почти столетия. И никто из них не занимал федерального поста. Они были крупными землевладельцами, рабовладельцами, богатыми плантаторами. Один из двух Дервентов, твоих родственников по материнской линии, занимался юриспруденцией. Ну, Вильям, что ты решил? Принимаешь ли предложение?

— Я как раз думаю над этим, — медленно произнес Билли, стряхивая пепел с сигары.

— Ты всегда был хорошим сыном, — продолжал губернатор, размягчая табак в трубке ручкой пера.

— Всю свою жизнь — я твой сын, — мрачно заметил Билли.

— Мне часто доставляет большое удовольствие, — вымолвил губернатор, попыхивая трубочкой с выражением довольства на лице, — когда окружающие поздравляют меня с таким сыном, таким здравомыслящим человеком с отменными качествами. Особенно здесь, в нашем родном городе. Твое имя всегда связано с моим во всех разговорах наших сограждан.

— Что-то я не знаю ни одного человека, который запомнил бы такую связь, — довольно неразборчиво, тихо проворчал Билли.

— Весь свой престиж, до капли, — продолжал родитель, — который я заработал своим именем и услугами, оказанными штату, всегда принадлежал и тебе, ты мог им свободно пользоваться. Я всегда, без тени колебаний, прибегал к нему ради тебя, когда представлялась такая возможность. Ты это по праву заслужил, Вильям. Ты был образцовым сыном. И вот теперь из-за этого предложения мы должны будем расстаться. Мне осталось не так много жить. Может, всего несколько лет. Теперь мне не обойтись без посторонней помощи, когда я одеваюсь или выхожу на прогулку. Что же я буду делать без тебя, сынок?

Вдруг трубка выпала из его рук на пол. Слезы скатывались по морщинистым старческим щекам. Голос губернатора стал более пронзительным, сорвался на фальцет и умолк. Да, он был старым, очень старым человеком и не мог перенести расставание с любящим его сыном.

Билли встал с кресла и, положив руку на плечо отцу, сказал:

— Не волнуйся, отец, — весело сказал он. — Я не собираюсь принимать это предложение. Чем плох для меня Элмвилл? Сегодня же вечером напишу письмо, откажусь.

При следующей встрече губернатора с генералом Деффенбау на Ли авеню его превосходительство с самодовольным видом сообщил тому об официальном предложении, сделанном Билли.

Генерал аж присвистнул от удивления.

— Да, жирный кусок для Билли! — закричал он. — Кто мог подумать, что Билли, впрочем, черт подери, он всегда этого был достоин. А какие перспективы для Элмвилла! Цены на недвижимость поползут вверх. А какая честь всему штату! Это поистине реверанс в сторону Юга! Мы все были ослеплены Билли. Когда он уезжает? Нужно организовать приемчик. Боже мой! Ничего себе работенка — восемь тысяч жалованья в год! На таких должностях изводят до огрызков целую тележку грифельных карандашей, подписывая важные документы. Только подумать! Наш маленький, занудливый, сладкоречивый Билли — как часто говорят о нем у нас. Ангел, хоть и поздно, все же заговорил! Пусть теперь весь Элмвилл спешно выстраивается в очередь, чтобы просить у него прощения и одобрить его новое назначение!

Почтенный Молох глупо улыбался. У него в руках был огонь, способный пожрать весь хворост расточаемых в адрес Билли похвал и превратить взмывающий вверх дым в фишиам для себя.

— Вильям отказался от должности, — сказал губернатор со скромной гордостью за сына. — Он отказывается покидать меня в моем преклонном возрасте. Он — очень хороший сын.

Генерал резко повернулся к нему, упер свой длинный указательный палец в грудь друга. Большая часть одержанных генералом успехов объяснялась той стремительностью, с которой он устанавливал связь между причиной и следствием.

— Губернатор, — сказал он, пристально вглядываясь в его большие, совиные глаза, — вы, конечно, жаловались Билли на свой ревматизм, не так ли?

— Дорогой мой генерал, — отвечал ему губернатор, — моему сыну уже сорок два. Он вполне сам может решать такие вопросы. И, как его родитель, я считаю своим долгом заявить, что ваше замечание о моем ревматизме, э-э, очень неудачный выстрел из малокалиберки, сэр, и он произведен только ради того, чтобы причинить мне личную обиду и огорчить меня.

— Если вы позволите мне возразить, — резко ответил генерал, — то вы этим уже довольно долго донимаете публику и ведете стрельбу далеко не из малокалиберки, да будет вам известно.

Эта первая размолвка между двумя товарищами могла перерасти в нечто куда более серьезное, но, к счастью, перепалка оборвалась из-за приближения к ним полковника Титуса с еще одним членом придворной свиты из того же графства, их заботам генерал передал закипавшего от гнева государственного деятеля, а сам пошел прочь.

После того как Билли столь решительно похоронил все свои амбиции и нашел монашеское утешение в раздумьях, он, к своему великому удивлению, обнаружил, какой камень у него свалился с души и каким счастливец он теперь себя чувствовал. Билли вдруг осознал, какую долгую, утомительную борьбу он вел и сколько потерял, отказываясь срывать цветы простых, но приятных жизненных удовольствий. Сердце его теперь теплело к Элмвиллу и к друзьям, которые отказывались ставить его на пьедестал. Теперь он начинал считать, что все же лучше быть просто «Биллом», сыном своего отца, как его фамильярно окликают веселые соседи и выросшие товарищи по детским играм, чем постоянно слышать обращенное к себе — «Ваша честь!», сидеть среди чужаков и слышать при этом сквозь важные аргументы Совета доносящийся до него слабый голос старика: «Что же я буду делать без тебя, сынок?»

Билли вдруг стал удивлять своих друзей тем, что свистел, когда выходил гулять на улицу; другие были просто поражены его панибратским похлопыванием по спинам, его вдруг вспыхнувшей страстью к старым анекдотам, о которых он не вспоминал столько лет. Хотя Билли с прежним усердием рассматривал свои судебные дела, теперь он выделял больше времени для отдыха, для расслабления в компании своих друзей. Те, которые помладше, даже хотели его привлечь к работе гольф-клуба. Поразительным доказательством его выхода из тени стало возвращение к потрепанной, некогда щеголеватой, отнюдь не мягкой шляпе, а свой

цилиндр он теперь приберегал только для воскресений и важных событий на уровне штата. Билли вдруг стал нравиться Элмвилл, хотя этот неприметный бург не пожелал увенчать его лавровым или миртовым венком.

Тем временем в Элмвилле царила обычная мирная обстановка без особо примечательных событий. Губернатор продолжал свои триумфальные, похожие на парад выходы в аптеку вместе с генералом, его фельдмаршалом, а та мелкая ссора, которая нарушила их крепкую дружбу, судя по всему, была давно забыта.

Но однажды, когда Элмвилл проснулся, его охватило необычное возбуждение. Только что поступило известие о том, что президентская команда, совершающая тур по стране, удостоит высокой чести Элмвилл двадцатиминутной в нем остановкой. Глава исполнительной власти пообещал произнести пятиминутную речь с балкона отеля «Палас».

Весь Элмвилл был на ногах, но только одного — и этим одним, несомненно, был генерал Деффенбау — отрядили, чтобы оказать достойную встречу вождю всех племен.

Поезд с развевающимся маленьким звездно-полосатым флагом над кабиной машиниста наконец прибыл. Элмвилл всю расстарался. На перроне было все: оркестры, цветы, экипажи, военные в форме, знамена, представители бесчисленных комитетов. Девочки из средней школы в белых платьицах мешали плавному прохождению команды, нервно бросая ей под ноги букеты цветов. Но вождь все это уже видел, причем неоднократно. Он мог запросто все это представить себе заранее — от скучных пуританских речей до самого маленького букетика из роз. Но все равно он так мило улыбался и с таким интересом наблюдал за тем, что приготовил для его встречи Элмвилл, словно никогда прежде ничего подобного не видел и в этом отношении Элмвилл — просто первооткрыватель.

На верхней террасе отеля «Палас» собрались самые уважаемые горожане, которые ожидали чести быть представленными дорогим знаменитым гостям до того, как ко всем с адресом обратится их вождь. А за стенами отеля на улицах Элмвилла собирались, может, и безвестные, но ужасно патриотически настроенные толпы жителей.

Здесь, в отеле, генерал Деффенбау и приготовил свою главную козырную карту. Все в Элмвилле знали, что это за козырь, потому что он был постоянным и был освещен архаичной традицией.

В нужный момент губернатор Пембертон, неотразимо почтенный, великолепно античный, высокий, величественный, выступил вперед, держа под руку генерала.

Весь Элмвилл, затаив дыхание, не спускал с них глаз. Только теперь, и никогда прежде, когда президент Соединенных Штатов с Севера обменяется рукопожатием с бывшим губернатором Пембертоном, участником Гражданской войны, разрыв будет окончательно ликвидирован и страна станет единой и неделимой.

В ней не будет Севера, не будет Юга, не говоря уже о Востоке или Западе! И весь Элмвилл возбужденно стирал своими взорами известку на стенах отеля «Палас» в его лучшем воскресном наряде и терпеливо ждал, когда же раздастся Глас.

Ну а Билли! Боже, мы чуть о нем не забыли! Ему была поручена роль Сына, и он терпеливо ждал первой подсказки суфлера. Держа в руке свой цилиндр, он чувствовал себя безмятежно-спокойным. Он восхищался величественным видом отца, его торжественной позой. В конце концов, как здорово быть сыном человека, который умел с такой галантностью сохранять свою позицию Путеводной звезды для трех поколений.

Генерал Деффенбау откашлялся. Все в Элмвилле поразевали рты и еще сильнее заволновались. Вождь со своим добрым, отмеченным Судьбой лицом, улыбаясь, протягивал вперед руку. Бывший губернатор протягивал ему навстречу свою. Через пролегшую между ними прежде пропасть. Ну а что говорит генерал?

— Мистер президент, позвольте представить вам того, кто имеет честь быть отцом нашего самого передового, самого выдающегося, самого ученого и самого почитаемого юриста, образцового южанина и истинного джентльмена — достопочтенного Вильяма Б. Пембертона...

## Волшебный поцелуй

Сэмюель Танзи был всего лишь простым клерком в аптеке по сниженным ценам, но его стройная фигура была средоточием пылких страстей Ромео, неизбывной печали Лары, романтики д'Артаньяна и отчаянного вдохновения Мельмота. Жаль, конечно, что не умел он всего себя выразить, что Судьбою был обречен на гнетущую робость и застенчивость, на косноязычие и заливающую ему лицо краску стыда при виде ангелочков в муслиновых платьицах, которых он просто обожал и давно, правда тщетно, стремился спасти, обнять, утешить и приручить.

Стрелки часов уже приближались к десяти, когда Танзи играл на бильярде со своими приятелями. Иногда по вечерам его отпускали из аптеки после семи. Даже среди своих друзей Танзи был всегда боязливым и сдержанным. В своем воображении он совершал бесстрашные подвиги, демонстрировал примеры непревзойденной галантности, но в жизни был бледным юношей двадцати трех лет, слишком скромным, с ограниченным словарным запасом.

Когда пробило десять, Танзи торопливо отложил в сторону кий, постучал по стеклу витрины монеткой, чтобы привлечь к себе внимание служащего и получить от него деньги за выигрыш.

— Что за спешка, Танзи? — поинтересовался один из друзей. — У тебя снова свидание?

— Танзи и свидание? Такого в жизни быть не может! — откликнулся другой. — Он должен вернуться поскорее домой по приказу той, на которую он заглядывается.

— Нет, такого быть не может, — возразил бледный юноша, вынимая толстую сигару изо рта. — Танзи боится опоздать, потому что мисс Кэти может спуститься по лестнице и запереть дверь, оставив его без поцелуя!

От такого добродушного подшучивания кровь в жилах Танзи воспламенилась, ибо приговор шутника был верен — запрет на поцелуй. Он был его мечтой, его дикой надеждой, но Танзи не мог даже думать об этом, так это было далеко от него, так для него свято.

Бросив холодный, полный презрения взгляд на шутника, — такая месть вполне увязывалась с его робким характером, — Танзи вышел из игрового зала и, спустившись по лестнице, вышел на улицу.

Вот уже два года он тайно обожал мисс Пек, боготворя ее на почтительной дистанции, с которой ее прелести обретали просто звездную яркость и были окутаны какой-то тайной. У мисс Пек было несколько выбранных ею пансионеров, и Танзи в их числе. Другие молодые люди запросто возились с Кэти, гонялись за ней с крикетными клюшками и развлекали ее, позволяя себе такие вольности, от которых у Танзи холодело сердце в груди. Признаков, говоривших о его обожании этой девушки, было у него совсем немного: запинаящиеся пожелания доброго утра, взгляды, бросаемые им на нее исподтишка за едой и время от времени (о, сладость!) восхитительная игра с ней в крибедж, заставлявшая его постоянно краснеть, в гостиной в редкий вечерок, когда по чудесному стечению обстоятельств у Кэти не было свидания и она оставалась дома.

«Поцеловать его в холле! Скажет же!» Ах, как он этого боялся, и это был не простой страх, а трансцендентный. Наверное, такой испытывал Илья-громовец, когда колесница уносила его в неизвестное.

Но сегодня остроты его сверстников очень сильно язвили его, вызывая ничем не оправданные бунтарские чувства. Это был отважный, безумный, просто атавистический вызов. Им все больше овладевал дух корсара, авантюриста, любовника, поэта. Звезды у него над головой теперь не казались ему столь недостижимыми и далекими; они не столь далеки, не дальше, чем мисс Пек с внушающей ему страх сладостью своих сулящих наслаждение губ. Какая у него все же странная, драматичная судьба! Теперь он все острее ощущал, как ему необходимо утешение. Салун находился совсем рядом, и он понесся туда, где заказал себе абсент, этот напиток, наиболее полно отвечавший его нынешнему настроению — настроению

повесы, понапрасну покинутого, вздыхающего возлюбленного.

Он выпил стаканчик, потом второй, после и третий, покуда им не овладело странное, возбужденное ощущение его полной отстраненности от всех земных дел. Танзи, конечно, не был выпивохой, и три абсента с анисовой водкой, опрокинутые за несколько минут, вскоре доказали его полный непрофессионализм в этом искусстве. Танзи просто топил в алкоголе свои печали, которые, как о том свидетельствуют история и традиция, в нем легко тонут.

Выйдя на тротуар, он с вызовом, презрительно щелкнул пальцами в направлении дома мисс Пек, сделав разворот, отправился в путешествие, как Колумб, в дикую стихию волшебной улицы. Такое сравнение несколько нельзя считать преувеличенным, ибо, кроме маршрута аптека — пансион, ноги его долгие годы ничего другого не знали. Аптека — пансион: между этими двумя портами он уверенно передвигался, и побочные течения редко уводили в сторону нос его корабля.

Танзи беспечно шел вперед, и, может, из-за незнания этого района или из-за его недавнего стремления к отважным блужданиям, а возможно, и из-за замысловатых нашептываний какой-нибудь зеленоглазой волшебной феи, он наконец оказался в гулком, темном, незастроенном, безлюдном проезде. Он шел себе, шел, покуда дорога не кончилась, как она кончается на многих улицах испанской застройки в старинном городке Сан-Антонио, и покуда он не ударился головой о прочную высокую кирпичную стену. Нет, улица не умерла, она еще жила! Казалось, она еще дышала через узкие ноздри выходов — узкие сонные лощины, выложенные камнем и неосвещенные. На пригорке улицы, справа, просматривался призрак пяти освещенных ступеней из известняка, а с двух сторон возвышалась такая же высокая стена из того же строительного материала.

Усевшись на одной из этих ступенек, Танзи предался мечтам о своей любви: она ведь так никогда и не сможет узнать, что она — его настоящая любовь. Размышлял он и о матушке Пек, этой толстой, доброй, бдительной, не лишенной приятности женщине. Думал Танзи и о том, что они обязательно снова должны сыграть с Кэти в крибедж в гостиной. Хотя он работал в аптеке по сниженным ценам, жалование ему не снизили, и в заведении Пеков он, можно сказать, был среди пансионеров «звездой». Думал он и о капитане Пеке, отце Кэти, о человеке, которого он боялся и ненавидел: обычный невоспитанный бездельник и мот, паразитирующий на труде женщин, в общем, странный тип, да и, судя по его репутации, не совсем чист.

Ночь становилась холоднее, улицу заволакивал туман. До центра города, с его шумом, отсюда было явно не близко. Далекое огни дрожали, отражаясь в высоких клубах тумана, превращались в конусообразные вымпелы, странные свечения необъяснимых красок, призрачные, растекающиеся волны электрических вспышек. Теперь, когда он присмотрелся к ставшей ему ближе темноте, он разглядел на стене, которая преградила путь улице, кладку из камня, утыканную острыми шипами. Там, за ней, как ему показалось, маячили остроугольные горные пики с нанизанными на них то там то здесь маленькими светящимися параллелограммами.

Пытаясь разобраться в представшей его туманному взору картине, Танзи понемногу убедил себя, что эти кажущиеся ему горы на самом деле — монастырь Святой Мерседес. С его древним массивным мрачным строением он был лучше знаком под другим углом зрения. До него донеслось чье-то мелодичное пение, и это подтвердило его предположение. Священные церковные гимны распевали чьи-то высокие, приятные, исполненные гармонии голоса — такими голосами отвечают одухотворенные монахини на задаваемые им вопросы.

Но когда же сестры поют? В какое время? Который же нынче час? — пытался догадаться он. Шесть, восемь или двенадцать? Вдруг начались какие-то странные вещи. Все воздушное пространство над его головой вдруг заполнили белые, бьющие крыльями голуби, сделав несколько кругов, они уселись на монастырскую стену. Стена расцвела множеством сияющих зеленых глаз: они, моргая, уставились на него с каменной кладки. Вдруг из ямы на этой изрытой впадинами улице возникла классическая розовая нимфа и стала танцевать — такая легкая, воздушная, босоногая, танцующая на неровных плитах. А по небосводу двинулось стадо кошек с кокетливыми ленточками на шее — это было удивительное,

воздушное шествие. Пение становилось все громче. Ошибшиеся сезоном сияющие жучки-светлячки, танцую, улетели прочь, а из темноты донеслись какие-то странные шорохи, которые ничего ему не говорили в свое оправдание.

Не особенно всему дивясь, Танзи мысленно отмечал все эти феномены. Он находился на каком-то более высоком уровне сознания, хотя, как ему казалось, рассудок у него не помутился и он, к счастью, был спокоен.

Вдруг им овладело сильное желание двигаться и все обследовать. Он встал и вошел в черную дыру справа от него. Какое-то время высокая стена была единственной ее границей, но дальше перед ним возникли два ряда домов с черными окнами.

Это был тот квартал города, который когда-то был передан Испанцу. До сих пор там стояли эти отталкивающие пристанища из бетона и самана, эти холодные, неукротимые для нынешнего века сооружения. Через серые разрывы на фоне неба глаз различал замысловатую филигранную вязь маврских балкончиков. Эта каменная архитектура доносила до нас мертвое дыхание из-под холодных сводов, ноги его натывались на позвякивающие железные кольца, похожие на скобы, погребенные в камне вот уже полвека. По этим захламленным авеню шел пошатываясь надменный Дон, гарцевал на лошади, исполнял серенады, шумел и угрожал, не зная, что томагавк уже поднят, а ружье поднесено к плечу первопроходца, чтобы изгнать его с континента.

Танзи, спотыкаясь и поднимая эту вековую пыль, поглядел вверх и, несмотря на темноту, различил на балконах андалузских красавиц. Одни из них смеялись, слушая преследовавшую их музыку гоблинов, другие с опаской всматривались в ночь, пытаясь услышать стук копыт лошадей кабальерос. Последние такие звуки эти камни проглотили столетие назад.

Женщины молчали, но Танзи отчетливо слышал позвякивание уздечек на несуществующих лошадях, звон шпор несуществующих всадников и глухие проклятия на чужом, незнакомом языке. Но он не испугался. Разве могли запугать его тени, отголоски звуков? Боялся ли он? Конечно нет. Кого ему бояться? Матушки Пек? Лица девушки, завоевавшей его сердце? Подвыпившего капитана Пека? Ничего подобного! Ни этих привидений, ни этого пения призраков, постоянно его преследовавшего. Пение?! Да он им покажет. И он сам запел, запел громко и фальшиво: «Когда слышишь, как колокольчики дзинь-дзинь-дзинь».

Это было его предостережение всем таинственным силам, с которыми может произойти встреча лицом к лицу, и тогда:

*«И тогда ночью, в этом городе,  
Будет жарко!»*

Танзи не знал, как долго он шагал по этому переулку, битком набитому привидениями, но наконец вышел на какую-то более приличную и удобную улицу. Отойдя несколько ярдов от угла, он за стеклом витрины увидел небольшую, довольно скромную кондитерскую лавку. Его глаза оценили скудный ассортимент заведения: фонтанчик с дешевой содовой, пачки табака и россыпи конфет на полках. Вдруг в окне он увидел капитана Пека, который прикуривал сигару от газового рожка. Когда Танзи обогнул угол, капитан вышел из лавки, и они столкнулись нос к носу. Неопишуемая радость охватила Танзи, когда он ощутил, что не оробел, не дрогнул, проявив свое мужество. Действительно перед ним стоял Пек! Танзи, подняв руку, громко щелкнул пальцами.

Перед этим отважным жестом клерка из аптеки спасовал, словно чувствуя свою вину, сам Пек. Изумление и страх отразились на физиономии капитана. И, честно говоря, его лицо, с застывшим на нем этим выражением, заставило вспомнить и другие подобные рожи. Это было лицо похотливого языческого идола: маленькие глазки, тяжелые челюсти, изборожденные глубокими складками, и всепожирающая языческая распушенность во взгляде.

Чуть дальше от лавки, в уличной канаве, Танзи увидел заднюю стенку крытого экипажа



и возницу, который молча возвышался на своих козлах.

— Боже, да это же Танзи! — воскликнул капитан Пек. — Как поживаете, Танзи! Не хотите ли сигару, Танзи?

— Боже, да это же Пек! — вскричал Танзи, радуясь, что ему удалось преодолеть свою обычную робость — Ну, какую дьявольскую проделку вы теперь задумали, Пек? Торчите где-то на задворках. Черный экипаж. Тьфу! Стыдитесь, Пек!

— В карете никого нет, — спокойно ответил капитан.

— Те, кому удалось улизнуть из него, могут себя только поздравить, — напористо продолжал Танзи. — Прежде я должен заявить вам, Пек, что не намерен здесь долго с вами распонтякивать. Вы — негодяй с вечно красным носом!

— Ого, да этот маленький негодяй, кажется, подвыпил! — весело воскликнул капитан. — Только подвыпил, а я-то думал, что он в стельку пьян! Ступайте домой, Танзи, и не приставайте к порядочным взрослым людям на улице!

Но в это мгновение кто-то в белом выпрыгнул из кареты, и Танзи услышал пронзительный голос — это был голос Кэти, он, словно ножом, прорезал воздух:

— Сэм! Сэм! На помощь, Сэм!

Танзи бросился к ней, но на пути возникла коренастая фигура капитана Пека. И вот чудо из чудес! Некогда робкий молодой человек нанес сильнейший удар правой, и грузный капитан, отчаянно ругаясь, оказался на земле. Танзи подбежал к Кэти, схватил ее в свои объятия, словно победитель-рыцарь свою даму. Она подняла к нему свое лицо, и он поцеловал ее — электрический шок, запах фиалок, карамель, вкус шампанского!

Вот оно, осуществление его мечты, которое не грозило ему разочарованием.

— Ах, Сэм, — воскликнула Кэти, как только немного пришла в себя. — Я знала, знала, что вы спасете меня. Как вы думаете, что эти бесовские силы собирались сотворить со мной?

— Ну, наверное, сфотографировать, — ответил Танзи, подивившись глупости своего предположения.

— Нет, они хотели меня съесть. Я слышала, как они совещались об этом.

— Съесть вас?! — чуть подумав, с удивлением воскликнул Танзи. — Нет, такого быть не может. У них нет тарелок!

Внезапно послышавшийся звук заставил его обернуться. К нему направлялся капитан с каким-то чудовищным длиннорылым карликом в коротких красных штанишках и в усеянном блестками плаще. Карлик, совершив прыжок футов на двадцать, вцепился в него. Капитан схватил Кэти и поволок, несмотря на ее завывания, к карете, усадил в нее, сел сам, и экипаж рванул с места. Карлик, удерживая Танзи на вытянутых руках над головой, вбежал со своей ношей в лавку.

Удерживая его на одной руке, он второй открыл крышку громадного сундука, наполненного кубиками льда, и, швырнув Танзи в него, захлопнул крышку.

Вероятно, удар от падения на лед был настолько сильным, что Танзи потерял сознание. Когда он пришел в себя, то прежде всего почувствовал ужасный холод во всех членах своего тела, особенно в спине. Открыв глаза, он увидел, что все еще сидит на ступеньках из известняка перед стеной ограды монастыря Святой Мерседес. Прежде всего он подумал об этом божественном поцелуе Кэти. Поразительная грубость капитана Пека, неестественная таинственность возникшей ситуации, абсурдная схватка с этим невероятным карликом — все это злило Танзи, раздражало его, но не вызывало у него ощущения чего-то ирреального.

— Завтра же я вернусь сюда, — громко проворчал он, — и сорву башку у этого толстячка из комической оперы. Какое он имеет право вдруг выбегать, хватать нормальных, незнакомых ему людей и заталкивать их в холодильник!

Но сейчас только один поцелуй занимал его. «Можно было бы этого добиться и раньше, — размышлял он. — Ей это тоже понравилось. Она четыре раза назвала меня по имени — Сэм! Нет, по этой улице назад я не пойду. Слишком много на ней препятствий. Лучше, думаю, пойти по другой дороге. Интересно, что она имела в виду, когда утверждала, что ее хотят съесть?»

Танзи одолевал сон, но он все же, подумав, решил идти дальше. Теперь он наобум повернул на улицу слева. Вначале она была ровной, а потом вдруг пошла под уклон и в конце концов вывела на обширное, темное, безлюдное пространство — это была Военная площадь. Примерно на расстоянии ста ярдов на краю плазы,<sup>11</sup> Танзи увидел гирлянду огней. Он сразу же узнал это место.

Здесь, зажатые между узких границ, сохранились остатки того места, куда поставщики провизии когда-то свозили все необходимое для приготовления знаменитых блюд национальной мексиканской кухни. Еще несколько лет назад их ночные стоянки на исторической Аламо-плаза, в самом сердце города, становились местом проведения карнавалов, сатурналий, слава о которых разносилась по всей стране. Если поставщиков были сотни, то потребителей — тысячи. Всю ночь напролет на Аламо-плаза прибывали толпы людей, привлекаемые кокетливыми синьоритами, музыкой испанских таинственных менестрелей и странным острым вкусом мексиканских блюд, подаваемых на сотни соперничавших друг с дружкой столов.

Путешественники, хозяева ранчо, участники семейных вечеринок, веселые бахвалы-пропойцы, любители достопримечательностей, поклонники многоязычного, похожего на сову Святого Антония — все смешивались в центре города, все резвились, все проказничали. Выстрелы вылетающих из бутылок пробок, из пистолетов, взрывы смеха, град вопросов, блеск тысяч глаз, бриллиантов, лезвий кинжалов, звенящий смех и звяканье монет — вот чем отличалась такая ночь.

Но теперь ничего этого не было. Некоторые сочли, что полдюжины палаток, костры и столы портят живописный праздник, и их перенесли на древнюю заброшенную площадь.

Танзи часто по ночам приходил к этим стойкам, чтобы попробовать восхитительного «Chili-con-carne», блюдо, изобретенное гением мексиканцев, оно состояло из кусочков нежного мяса с ароматическими травами, обильно политых острым красным соусом «Chili s|lorado». Его особый привкус, огненное жжение нравились нёбу истинного южанина.

Легкий бриз пригнал возбуждающий запах этой гремучей смеси, и, вдохнув его, Танзи вдруг ощутил, как в нем просыпается голод. Когда он пошел в этом направлении, то видел, как из темноты плазы вынырнула карета и подъехала к разбитым мексиканским палаткам. При зыбком свете фонарей там двигались взад-вперед какие-то фигуры, но вскоре карета быстро уехала.

Танзи подошел к палаткам и сел за один из столов, накрытых грязной клеенкой. Сейчас здесь не было никакого оживления. Несколько подростков за соседним столом громко говорили за едой, флегматичные мексиканцы застыли перед своим товаром. Было очень тихо вокруг. Ночной гул города натыкался на стену из темных домов, окружавших плазу, и тут же спадал, превращался в легкое жужжание, в которое резко подключались потрескивание поленьев в ленивых кострах и постукивание ложек и вилок. С юго-востока задувал умиротворяющий ветерок. Беззвездный небосвод давил на землю, словно свинцовая крышка.

В этой благодатной тишине Танзи, вдруг повернув голову, увидел, правда без особого беспокойства, отряд всадников-призраков, который рассредоточивался по плазе для проведения атаки на блестящую линию пехоты, продвигающуюся вперед, чтобы отразить удар. Он видел, как свирепое пламя вырывалось из жерл пушек и стволов ружей, но он не слышал звуков. Беспечные поставщики провизии спокойно прохлаждались, даже не интересуясь военным конфликтом. Танзи лишь спокойно гадал, какой нации могли быть эти бойцы, но в конце концов он, повернувшись к ним спиной, заказал подошедшей к нему официантке-мексиканке «Chili» и кофе. Мексиканка была старой, изможденной заботами, лицо у нее было морщинистое, как кожа у мускусной дыни. Она сняла куски мяса с вертела над дымящимся огнем и вошла в темную, стоявшую рядом палатку.

Вдруг Танзи услышал громкие препирательства в палатке — плачущие, надрывающие

---

<sup>11</sup> Площадь (*исп.*)

сердце мольбы на мелодичном испанском языке, и вот две фигуры спотыкаясь вышли из темноты на свет фонарей. Это была старая официантка, рядом с ней стоял мужчина в дорогом, бросающемся в глаза великолепном национальном костюме. Женщина, цепляясь за него, умоляла о чем-то, что ему совсем не нравилось, так как, вероятно, шло против его воли. Мужчина грубо оттолкнул ее от себя, сильно ударил и заставил вернуться в палатку. Там, вероятно, она лежала и хныкала, но ее не было видно. Уставившись на Танзи, мексиканец быстро подошел к столу. Танзи узнал его. Это был Рамон Торрес, владелец этой стойки, ее патрон.

Торрес был красивым мужчиной, почти чистым испанцем, ему можно было дать лет тридцать, вел он себя несколько надменно, но был ужасно вежлив. Сегодня он вырядился с особым великолепием. На нем был костюм победившего матадора: из красного бархата, почти сплошь покрытого вышивкой и усеянного драгоценными камнями. Громадные бриллианты сияли на его наряде и на его пальцах. Он, пододвинув стул, сел за стол напротив Танзи и стал разминать дорогу сигарету.

— А, ме-естер Танзи, — начал он, и в его шелковистых черных глазах вспыхнули огоньки пылающей в нем страсти. — Как приятно видеть вас у меня сегодня вечером. Ме-естер Танзи, вы не раз приходили, чтобы поесть за моим столом. Мне кажется, вы — человек надежный, очень хороший друг. Как долго вы собираетесь не покидать нас?

— То есть вы хотите, чтобы я сюда больше не приходил? — осведомился Танзи.

— Нет, не покидать в другом смысле, не умирать...

— По-моему, это — дурная шутка, — сказал Танзи.

Торрес, облокотившись на стол, проглотив клубок сигаретного дыма, снова заговорил, теперь за каждым его произнесенным словом вылетало маленькое белое облачко.

— Как вы думаете, ме-естер Танзи, сколько мне лет?

— Ну, двадцать восемь — тридцать.

— Сегодня у меня день рождения, — сказал мексиканец. — Сегодня мне исполнилось четыреста три года.

— Ну, что же, еще одно доказательство нашего здорового климата, — равнодушно ответил Танзи.

— Дело не в климате. Я хочу вам доверить один очень важный секрет. Послушайте меня, ме-естер Танзи. Когда мне было двадцать три, я прибыл в Мексику из Испании. Когда это произошло? В тысяча пятьсот девятнадцатом году вместе с солдатами Эрнандо Кортеса. Я приехал в вашу страну в тысяча семьсот пятидесятом. Кажется, это происходило только вчера. Триста девяносто лет назад мне стал известен секрет вечной жизни. Вот, посмотрите на мой костюм, на эти бриллианты. Неужели вы думаете, что я все это купил на деньги, которые я зарабатываю, торгуя «Chili-con-carne», этим мясом?

— Думаю, что нет, — быстро ответил Танзи.

Торрес громко засмеялся.

— Именно так, да поможет мне Юг! Но это не то мясо, которое вы сейчас едите. Я готовлю другое, и если вы его съедите, то вечная жизнь вам обеспечена. Ну, что скажете? Я поставляю его тысяче человек, и ежемесячно каждый мне выплачивает по десять песо! Какого дьявола? Почему же мне в таком случае не носить дорогую одежду? Вы видели эту старую женщину, которая только что цеплялась за меня? Это моя жена. Когда я на ней женился, она была молоденькой, всего семнадцать — такая хорошенькая. Ну, как и все люди, она постарела. А поглядите на меня!? Не слабо? Я все такой же молодой и постоянно сохраняю свою молодость. Сегодня я решил вырядиться, чтобы найти себе другую жену, более подходящую моему юному возрасту. Эта баба попыталась поцарапать мне лицо. Ха! Ха! Ме-естер Танзи, точно такое происходит и «euhe los americanos».

— Ну и что это за такая здоровая пища, о которой вы говорили? — спросил Танзи.

— Послушайте меня, — ответил Торрес, подвигаясь к нему всем телом, и чуть не улегшись на крышку стола. — Ну, это тоже «Chili-con-carne», но только приготовленное не из мяса цыпленка, а из плоти сеньориты, молодой и нежной. Вот в чем заключается секрет. Вы

должны есть такое мясо каждый месяц, но делать это до полной луны, и вам никогда не будет грозить смерть. Видите, как я вам доверяю, мой друг Танзи. Сегодня я привез одну молодую леди, очень хорошенькую,  *fina, gorda, blandita*<sup>12</sup>. Ну, завтра «chili» из нее будет готово. *Aboga si!* Да-да! За нее я заплатил тысячу долларов. Купил ее у одного американца, большого человека — капитана Пека. *Que es, senior?*<sup>13</sup>

Танзи вскочил на ноги, уронив на пол стул. В его ушах зазвенели слова Кэти: «Они собираются меня съесть!»

Так вот какую страшную судьбу уготовил ей ее дикарь-папаша. Значит, та карета, которая быстро отъехала от плазы, была каретой капитана Пека? Где же Кэти? Может, ее уже...

Танзи еще не решил, что ему предпринять, как из палатки до него донесся вопль женщины. Старая мексиканка выбежала оттуда, в ее руке поблескивал нож.

— Я ее освободила, — закричала она. — Больше ты никого убивать не будешь! Тебя повесят, *ingrato-cucantador*<sup>14</sup>.

Торрес, что-то прошипев, кинулся к ней.

— Рамонсито! — взвизгнула она. — Вспомни, когда-то ты меня любил!

Мексиканец резко опустил поднятую над ее головой руку.

— Ты слишком стара, — крикнул он.

Она упала на землю и лежала без движения.

Раздался еще один вопль, — брезентовые створки входа в палатку раздвинулись, и на пороге он увидел Кэти, побелевшую от страха Кэти, руки ее были крепко связаны веревкой.

— Сэм! — крикнула она. — Спасайте же меня снова!

Танзи, обежав стол и собравшись с силами, яростно набросился на мексиканца. Как только между ними началась схватка, часы на городской башне пробили полночь. Танзи вцепился в Торреса, он чувствовал под руками хрустящий бархат и холодок сверкавших драгоценных камней. Через мгновение разодетый кабальеро в его руках превратился в высохшую, белобородую, старую-старую визжащую мумию с морщинистой кожей на лице, в лохмотьях и в сандалиях. Ему сейчас точно можно было дать четыреста три года. Мексиканка, радостно смеясь, пыталась встать на ноги. Потрясая своим смуглым кулаком перед лицом воющего «*viejo*» — старика, она кричала:

— Ну, иди теперь, иди, поищи свою сеньориту! Благодаря мне, Рамонсито, ты стал таким. Каждый месяц ты ел «chili», дающее вечную жизнь. Это я нарочно перепутала для тебя время. Ты должен был получить свою порцию этой еды не завтра, а сегодня! А теперь уже слишком поздно. С тобой покончено, парень! Ты слишком для меня стар!

«Ну, судя по всему, — подумал Танзи, выпуская из своей руки белую бороду противника, — это семейные распри по поводу возраста, и мне нечего в это совать свой нос». Схватив со стола, где лежали ножи, один поострее, он поспешил перерезать путы красивой пленницы. И вот теперь, во второй раз за вечер, он поцеловал Кэти и вновь ощутил всю сладость, чудо, восторг. Вновь осуществились его дерзкие, бесконечные мечты.

В следующее мгновение он почувствовал, как кто-то вогнал холодное лезвие кинжала ему между лопатками; он видел, как медленно свертывается проливаемая им кровь, слышал старческое пофыркивание вечно живущего Испанца; он видел, как плаза вздымается и опускается, покуда зенит не разбился о горизонт, а больше он уже ничего не помнил.

Когда Танзи открыл глаза, то увидел, что все еще сидит на тех же известковых ступенях, глядя на темную массу погруженного в сон монастыря. Он чувствовал острую, холодающую

---

<sup>12</sup> Тонкая, упитанная, мягонькая (*исп.*) .

<sup>13</sup> Что с вами, сеньор? (*исп.*) .

<sup>14</sup> Бессердечный, колдун (*исп.*) .

боль в спине. Как же он здесь снова очутился? Он встал на затекшие ноги, потянулся, чтобы размять все члены, держась за каменную стену, он вновь мысленно переживал те странные, необычные приключения, которые происходили с ним в этот вечер всякий раз, когда он отходил от этих ступеней. Когда он все воскрешал в памяти, некоторые особенности казались ему просто невероятными. Неужели он на самом деле столкнулся с капитаном Пеком и Кэти или с этим уникальным мексиканцем, на самом ли деле он встретил их всех при самых невероятных обстоятельствах, или же все эти невероятности — плод воображения его слишком перевозбужденного мозга? Тем не менее такое могло произойти. Эта внезапная мысль доставила ему большую радость. Почти все мы в тот или иной период своей жизни должны либо прощать себе собственную глупость, или умиротворять свое сознание, проповедуя определенную теорию фатализма. Мы сами создали разумную Судьбу, которая действует с помощью определенных кодов и сигналов. Танзи так и поступил, и теперь, вспоминая свои ночные похождения, он сам расшифровывал отпечатки пальцев Судьбы. Каждое его приключение вело к наивысшему финалу, к встрече с Кэти и ее поцелую, который удерживался в его памяти. Ощущение этого поцелуя становилось все сильнее и сильнее, пьянило его. Совершенно ясно, Судьба в этот вечер держала перед ним зеркало, призывала посмотреть, увидеть, что ожидает его дальше и по какой дороге в конце ему пойти. Он тут же повернулся и пошел домой.

\* \* \*

В бледно-голубом элегантном халатике, подогнанном под ее фигурку, мисс Кэти Пек сидела в кресле в своей комнате перед гаснущим каминным огнем. Ее маленькие голые ступни покоились в домашних шлепанцах, отороченных лебяжьим пухом. При свете небольшой лампы Кэти выискивала светские новости в свежей воскресной газете. Своими маленькими белыми зубками она настойчиво пыталась разгрызть какую-то вкусную субстанцию, которая, однако, не поддавалась.

Мисс Кэти читала о различных светских мероприятиях, о модных отделках для платья, но при этом внимательно прислушивалась ко всем звукам за окном, то и дело поглядывая на часы, стоявшие на каминной полке. Заслышав шаги на асфальте тротуара, ее округлый подбородок замирал, прекращая свои монотонные движения вверх и вниз, а от напряженного вслушивания у нее поднимались вверх красивые тонкие бровки.

Наконец, Кэти услышала, как звякнула задвижка на железных воротах. Она тут же вскочила, быстро подбежала к зеркалу и, глядя в него, проворно и умело, по-женски провела руками по волосам и груди, прихорашиваясь, чтобы эффективнее гипнотизировать приближающегося гостя.

Зазвенел дверной звонок. Мисс Кэти впопыхах убавила свет лампы, подвернув фитиль, вместо того чтобы сделать его ярче, и, поднимая невообразимый шум, быстро сбежала по лестнице в холл. Повернула ключ в двери, та распахнулась, в нее бочком вошел мистер Танзи.

— Боже, кого я вижу! — воскликнула Кэти. — Неужели это на самом деле вы, мистер Танзи? Уже за полночь. Как вам не стыдно — поднимать меня в такой поздний час! Вы просто ужасный человек!

— Я на самом деле опоздал, — сказал Танзи, весь просияв.

— Еще бы! Моя матушка ужасно волновалась из-за вас. Вас не было и в десять, а этот противный Том Мак-Гилл сказал, что у вас другое свидание, то есть он сказал, что у вас свидание с какой-то молодой девушкой. Ах, как я ненавижу этого мистера Мак-Гилла. Ну, да ладно, не буду больше вас бранить, мистер Танзи. Ну, скажем, вы чуть опоздали. Ах, боже, я не в ту сторону повернула фитиль!

Мисс Кэти вскрикнула. Но, по рассеянности, она вообще до конца убавила фитиль, вместо того чтобы его прибавить, и в комнате стало совсем темно.

Танзи услышал, как она хихикнула — это был такой мелодичный звук, и он вдруг почувствовал нежный запах гелиотропа. Он почувствовал, как ее легкая, воздушная ручка

прикоснулась к его руке.

— Ах, какая все же я неловкая! Вы что-нибудь видите, Сэм?

— Ну, у меня... у меня есть спички, мисс... Кэти...

Чиркающий звук, вспыхнувшее маленькое пламя в вытянутой руке малодушного молодого человека, следующего указаниям Судьбы, тускло освещающее картину, которая станет завершающей в этой бесславной хронике: нецелованные, презрительно сложенные губки, рука, медленно подворачивающая вверх вспыхнувший фитиль, отреченный, презрительный жест в сторону лестницы, по которой несчастный Танзи, бывший чемпион в пророческих списках Судьбы, бесславно поднимается к своему заслуженному отчетливому року, а в это время (почему бы не вообразить себе?) за кулисами возвышается зловещая фигура Судьбы, с размаху бьющая не по тем струнам и путающая все на свете в своей обычной преуспевающей манере.

### Случай из департаментской практики

В Техасе по прямой дороге можно проехать тысячу миль. Но если вы предпочтете окольные пути, то, по всей вероятности, и расстояние, и скорость передвижения значительно увеличатся. Облака там преспокойно плывут против ветра. Козодой кричит так же печально, как его северный брат, только ноты берет в обратном порядке. Там после засухи стоит только пролиться обильному дождю и... о чудо! — за одну ночь из выжженной, каменистой почвы поднимаются лилии, расцветшие, сказочно прекрасные... Край ковбоев и пастбищ некогда служил стандартной мерой площади. Я уже не припомню, сколько Нью-Джерси и Род-Айлендов можно было бы уложить и затерять в его колючих зарослях. Но секира законодательства рассекла его на мелкие округа, каждый из которых вряд ли на много больше какого-нибудь европейского королевства. Законодательный орган Техаса находится в Остине, почти в самом центре штата, и, когда представитель округа Рио-Гранде, собираясь ехать в столицу, берет пальмовый веер и полотняный пыльник, государственный муж из Пэн-Хэндла, перед отъездом туда же, закутывает шею шарфом, наглухо застегивает пальто и отряхивает снег с тщательно начищенных сапог. Все это я упоминаю для того лишь, чтобы дать понять, какой внушительной звездой взошла на американском флаге бывшая юго-западная республика, а также подготовить вас к заключительному сообщению о том, что порою там случаются разные дела, о которых нельзя судить по готовому образцу или мерить их готовой меркой.

Глава Департамента Страхования, Статистики и Истории штата Техас был должностным лицом не слишком крупного, но и не слишком мелкого масштаба. Прошедшее время употреблено потому, что ныне он возглавляет только Департамент Страхования... Статистика и история перестали существовать как имена собственные в официальных правительственных документах.

В 18.. году губернатор назначил главой этого департамента Люка Кунрода Стэндифера. Стэндиферу было тогда пятьдесят пять лет. Истинный техасец, он был сыном одного из первых поселенцев-пионеров. Люк Стэндифер и сам послужил отечеству как борец с индейцами, солдат, блюститель порядка и член палаты представителей. Особой ученостью он не отличался, но зато вдоволь напился из источника жизненного опыта.

Не прославясь Техас во множестве других отношений, он все равно прославился бы как государство, умеющее отблагодарить своих граждан за их заслуги. Ибо и в бытность свою республикой, и как штат Техас не скупился на почести и одаривал весьма солидными наградами сынов своих, которые отвоевали его у дикой пустыни.

А посему Люк Кунрод Стэндифер, сын Эзры Стэндифера, бывший конный стрелок, блюститель порядка на Территории, демократ чистой воды и счастливый обитатель края, даже не представленного на политико-географической карте, был назначен главой

Департамента Страхования, Статистики и Истории.

Стэндифер принял почетное предложение, хотя и не вполне представлял себе, какого рода занятие его ждет и способен ли он им заниматься, но все же выразил свое согласие и притом по телеграфу. Он тут же уехал из крохотного городишки, где довольствовался (хотя довольствие от нее было скудным) унылой и малопродуктивной работой землемера и топографа. Перед отъездом он заглянул в Британскую энциклопедию на буквы С и И, дабы почерпнуть все имеющиеся в этих увесистых томах сведения касательно своих будущих служебных обязанностей.

Однако после нескольких недель пребывания на посту у нового директора департамента поубавилось того благоговейного трепета, с которым он приступал к своей ответственной работе. Все больше входя в курс дел, Стэндифер вскоре вернулся к привычному благодушно-уравновешенному образу жизни. В его департаменте служил очкастый старый клерк — преданная, безотказная, всезнающая машина, — который не расставался со своей конторкой, сколько бы ни сменилось начальников. Старый Кауфман постепенно и неприметно обучал своего шефа, и колесики департаментского механизма продолжали вертеться, не поломав ни единого зубца.

Нельзя сказать, чтобы Департамент Страхования, Статистики и Истории изнемогал под бременем государственных дел. Основная его работа сводилась к регулированию в их штате деятельности страховых компаний из других штатов, и тут достаточно было руководствоваться буквой закона. Что касается отдела Статистики, то надо было лишь рассылать запросы окружным чиновникам, делать вырезки из их докладных и раз в год самому составлять из них отчет об урожае кукурузы, хлопка, ореха пекана, о свиньях, о черном и белом населении, иллюстрируя все это многочисленными колонками цифр под рубриками: «в бушелях», «в акрах», «в квадратных милях» и т. п. — вот вам и вся недолга. История? Здесь вы только принимаете, что дают. Престарелые тетушки, поклонницы этой науки, слегка докучают вам длинными докладами о деятельности исторических обществ в штате. Два-три десятка человек ежегодно сообщают, что отыскали перочинный ножик Сэма Хьюстона или фляжку для виски, принадлежавшую Санта Анне, или ружье Дэви Крокета<sup>15</sup> — все вещи самые что ни на есть доподлинные, — и требуют, чтобы штат ассигновал средства на их покупку. Таким образом, работа в этом отделе сводилась главным образом к складыванию материала в долгий ящик.

Однажды, палящим августовским днем, директор прохладился в своем служебном кресле, закинув ноги на длинный письменный стол, покрытый зеленым бильярдным сукном. Он курил сигару, а перед его мечтательным взором дремотно колыхался пейзаж в раме окна, что выходило на открытую, голую площадь перед зданием законодательного собрания. Быть может, он размышлял о прошлом, о своей суровой беспокойной жизни, о захватывающих приключениях непоседливой молодости, о товарищах, которые ныне идут другими дорогами, и о тех, кто свою дорогу уже прошел до конца; о переменах, которые принесла цивилизация и мир, и, возможно, не без приятности, о той уютной и удобной стоянке, которую устроили для него под куполом местного капитолия, в награду за его былые заслуги.

Работой департамент не был перегружен. Отдел страхования не представлял никаких сложностей, на статистику не было спроса, история опочила. Старый Кауфман, клерк безупречный и вечный, обратился к директору с необычной просьбой отпустить его на полдня: на подобную эскападу его вдохновила радость по поводу того, что Страховой компании Коннектикута, которая пыталась вершить дела вопреки эдиктам Великого штата Одиноким Звезды, удалось как следует прищемить хвост.

В кабинете было очень тихо. Через открытую дверь проникали приглушенные звуки из

---

<sup>15</sup> Сэмюел Хьюстон (1793–1863) — президент республики Техас до ее присоединения к США в 1845 г.; Санта Анна Антонио (1795–1876) — мексиканский генерал и президент, воевавший с техасскими колонистами; Дэвид Крокет (1786–1836) — пионер и политический деятель в Техасе, стал героем многих легенд, в частности как редкостный охотник.

соседних учреждений: из казначейства — глухое звяканье мешка с серебром, когда служащий скинул его в кладовую; слабая, прерывистая дробь старой пишущей машинки; глухое постукивание из кабинета главного геолога штата, словно бы туда залетел дятел и в прохладе массивного здания усердно долбит клювом в поисках добычи; потом послышался слабый шорох в коридоре, пошаркивание сильно разношенных туфель... Звуки эти затихли у двери в кабинет, к которой сонный директор сидел спиной. Нежный голос произнес какие-то слова, их смысл не дошел до несколько затуманенного дремой сознания директора, но тон, которым они были произнесены, явственно выдавал смущение и неуверенность.

Голос был женский. Директор относился к той породе мужчин, которые галантно кланяются любой юбке, независимо от стоимости ее ткани.

В дверях стояла поблекшая женщина, одна из многочисленных сестер ордена горемык. Она была вся в черном — вечный траур нищеты по утраченным радостям. Ей можно было дать лет двадцать — по овалу лица, а по морщинам — сорок. Не исключено, что промежуточные два десятка лет она прожила за один год. И все же сквозь вуаль преждевременного увядания еще проблескивало сияние юности, протестующей, негодующей, неугомной.

— Прошу прощения, сударыня, — сказал директор, сняв со стола ноги и подымаясь под аккомпанемент громко скрипевшего кресла.

— Вы губернатор, сэръ? — спросило видение печали.

Приложив руку к груди двубортного сюртука и отвешивая учтивейший поклон, директор на миг заколебался. Но правда восторжествовала:

— Нет, что вы, сударыня... Я не губернатор. Я имею честь занимать пост директора Департамента Страхования, Статистики и Истории. Не могу ли быть чем-нибудь полезен? Присядьте, прошу вас.

Дама покорно опустилась на предложенный ей стул, возможно, просто от слабости, и раскрыла дешевенький веер — признак былой элегантности, с которым расстанутся в последнюю очередь. Одежда ее свидетельствовала о крайней нищете. Посетительница взглянула на человека, который не был губернатором, и увидела доброту, простодушие, безыскусное сердечное участие, написанные на его смуглом, обветренном лице, огрубевшем за сорок лет жизни под открытым небом. Она увидела его глаза, ясные, мужественные, голубые. Такие же, какими он некогда оглядывал горизонт перед походом на индейцев племени киова и сиу. И губы его были сжаты так же твердо и решительно, как в тот день, когда он смело выступил против самого Сэма Хьюстона во времена споров об отделении южных штатов.

Ныне Льюк Кунрод Стэндифер всем своим обликом и костюмом стремился подчеркнуть значение столь важных искусств и наук, как Страхование, Статистика и История. Он больше не носил той простой одежды, к какой привык в своем захолустье. Мягкая черная широкополая шляпа и длинный сюртук придавали ему вид ничуть не менее импозантный, чем у других членов многочисленного семейства чиновных лиц, пусть даже его департамент значился где-то в конце списка правительственных учреждений.

— Вы желали видеть губернатора, сударыня? — спросил даму директор с той учтивостью, какую всегда проявлял к прекрасному полу.

— Право, сама не знаю, — ответила она неуверенно, — пожалуй... — И, побуждаемая сочувственным взглядом Стэндифера, вдруг поведала ему свою горестную историю.

Эта история была до того обыденной, что в обществе прежде всего увидели бы ее заурядность, а не ее трагизм. Старая повесть о несчастном браке — несчастном по вине жестокого бессовестного мужа, бандита, мота, постыдного труса, грубияна; мужа, который даже не в состоянии прокормить семью. О да, он дошел до такой степени падения, что поднял руку на свою жену. Это случилось только вчера, — вот ссадина у виска. Его милость, видите ли, изволил оскорбиться оттого, что жена попросила у него немного денег на хлеб. И все же, по женской слабости, она попыталась оправдать своего тирана, — ударил он ее под пьяную руку. В трезвом виде он себе это позволял редко.



— Я подумала, — скорбно вымолвила бледная сестра печали, — может быть, штат найдет возможность мне помочь. Ведь бывали случаи, когда семьям первых поселенцев оказывали помощь. Говорят даже, будто штат давал землю тем, кто воевал против Мексики, и основывал республику, и сражался с индейцами. Мой отец во всем этом участвовал, но никогда ничего от штата не получал. Да он бы ничего и не принял. И мне подумалось: ведь губернатор может во всем этом разобраться, вот я и приехала. Если отцу что-либо полагается, так пусть это дадут теперь мне.

— Что ж, сударыня, все это вполне возможно, — сказал Стэндифер. — Но только почти все ветераны и старые поселенцы получили свои льготы и бумаги давным-давно. Но все ж, для верности, справимся-ка в земельном управлении. Вашего отца звали...

— Эмос Колвин, сэр.

— Бог ты мой! — вскричал Стэндифер, вставая и расстегивая плотно облегающий фигуру сюртук. — Вы дочь Эмоса Колвина?! Так ведь мы с вашим отцом десять лет были неразлучны, вроде как напарники-конокрады. Вместе воевали с киевами, вместе гуртовали скот, в отряде конной охраны бок о бок объездили почти весь Техас. Да я же вас как-то раз видел! Малышкой вы были тогда, лет семи, помню, катались на желтеньком пони. Мы по дороге заехали к вам домой малость провизии прихватить, мы тогда гнались по следу через Кернес и Би за мексиканцами-конокрадами. Ну и дела! Так вы, стало быть, та самая дочурка Эмоса Келвина? А что, ваш отец никогда не поминал при вас Льюка Стэндифера, так, ненароком, как, бывает, вспомнишь случайного знакомого?

На бледном лице посетительницы мелькнула слабая улыбка.

— По-моему, он мало о чем другом говорил, — сказала она. — Что ни день, рассказывал какую-нибудь историю про вас обоих. А один из его последних рассказов был о том, как его ранили индейцы и как вы подползли к нему по траве с фляжкой воды, а они...

— Так, так... да ну что там, пустяки!.. — И Стэндифер громко прокашлялся, будто поперхнувшись, и поспешно застегнул сюртук. — Ну а теперь, сударыня, скажите, кто же этот гнусный негодяй... прошу прощения, кто этот джентльмен, за которого вы вышли замуж?

— Бентон Шарп.

Директор со стоном рухнул в свое кресло. Эта нежная, скорбная маленькая женщина в потрепанном черном платье, дочь его близкого друга — жена Бентона Шарпа! Бентона Шарпа, который известен как один из самых отпетых людей округа, который угонял скот, грабил, разбойничал, а ныне стал картежником, вымогателем, скандалистом и преуспевал в своих занятиях, разъезжая по наиболее крупным городам близ границы, в расчете на то, что громкое имя и ловкость обращения с кольцом всегда помогут ему добиться своего. Редко кто отваживался перечить Бентону Шарпу. Даже представители закона охотно заключали с ним перемирие на тех условиях, какие предлагал он сам. Шарп стрелял быстро и метко, во всех его темных делах ему сопутствовала удача, и он всегда выходил сухим из воды. Стэндифер только диву давался, каким образом эта маленькая голубка Эмоса Колвина согласилась свить гнездо с таким стервятником, и он выразил свое удивление вслух.

Миссис Шарп вздохнула:

— Видите ли, мистер Стэндифер, мы же ничего о нем не знали, при желании он умеет прикинуться очень милым и добрым. Мы жили тогда в городке Голиад. Он как-то проездом задержался там. Я, конечно, выглядела иначе, чем теперь. После свадьбы он целый год хорошо со мной обращался. Даже застраховал свою жизнь на пять тысяч долларов в мою пользу. Но последние полгода были сплошной мукой, он разве что не убил меня. Я часто думаю, лучше б он сделал и это. Когда он промотал все деньги, он стал осыпая меня оскорблениями за то, что мне нечего ему дать. Потом отец умер, домик свой он завещал мне, но муж заставил меня продать его, и я осталась без крова. Жить мне было не на что, для работы я слишком слаба здоровьем. До меня дошли слухи, что муж мой в Сан-Антонио и при деньгах, вот я и поехала туда, нашла его и попросила дать мне хоть немного на жизнь. Вот! — Она дотронулась до свежей ссадины на виске. — Вот что он мне дал. Тогда я отправилась в Остин, к губернатору. Помню, отец однажды сказал, что от штата ему положена какая-то земля или пенсия, но что

он никогда не станет об этом просить.

Льюк Стэндифер поднялся, резко оттолкнув кресло. Несколько растерянно он оглядел свой солидно и красиво обставленный кабинет.

— Немало дорог исколесишь, пока добьешься от правительства того, что вовремя не получено: волокита, адвокаты, инстанции, свидетельские показания, суды... Я сомневаюсь, — директор насупился в глубоком раздумье, — сомневаюсь, что дело такого рода входит в юрисдикцию моего департамента. У меня только Страхование, Статистика и История, и вроде бы ваше дело тут никак не притянешь. Но ничего, случилось одну попону и на двух лошадак растягивать. Посидите тут минутку-другую, я только зайду по соседству, справлюсь.

Казначей штата сидел за громоздкой надежной перегородкой и почитывал газету. Дела на сегодня уже почти закончились. Клерки томились за своими конторками в ожидании конца рабочего дня. Директор Департамента Страхования, Статистики и Истории вошел в казначейство и пригнулся к окошечку.

Казначей штата, маленький резвый старичок с белыми как снег усами и бородой, юношески легко соскочил со стула и подошел поздороваться со Стэндифером. Они знали друг друга с давних времен.

— Дядя Фрэнк, — сказал Стэндифер, назвав эту важную историческую личность так, как его называли все техасцы, — сколько у тебя на сегодня денег?

Казначей тотчас назвал сумму последнего баланса вплоть до цента, что-то вроде миллиона долларов с лишним.

Стэндифер тихонько присвистнул, глаза его засветились надеждой.

— Дядя Фрэнк, ты знавал когда-нибудь Эмоса Колвина или хотя бы слышал о нем?

— Я его хорошо знал, — живо откликнулся казначей. — Стоящий был человек. Достойный гражданин, один из первых поселенцев на Юго-Западе.

— Его дочь сидит у меня в кабинете. У нее нет ни гроша. Она замужем за Бентоном Шарпом, за этим койотом и убийцей. Он довел ее до нищеты, разбил ей сердце. Ее отец был одним из тех, кто помог создать наш штат, так пускай же теперь штат поможет его дочери. Пару тысяч долларов — и она откупит свой домик и заживет спокойно. Штат Техас не имеет права ей отказать. Выдай мне деньги, дядя Фрэнк, и я их тут же передам ей, а формальной писаниной займемся потом.

Вид у казначея стал несколько растерянный.

— Ты же знаешь, Стэндифер, — сказал он, — я не могу выплатить из казны ни единого цента без ордера инспектора! Ни единого доллара казенных денег без оправдательного документа!

Стэндифер выказал легкое раздражение.

— Расписку дам тебе я, — объявил он. — Для чего меня сюда взяли в конце концов? Что я, болячка на мескистовом пеньке? Неужто мой департамент недостаточная гарантия? Запиши эту ссуду на Страхование и на те две пристяжных. Неужто Статистика не доказывает, что Эмос Колвин прибыл сюда, когда в штате командовали мексиканцы и гремучие змеи и команчи, а он сражался денно и ночью, чтобы сделать Техас страной белого человека? И разве та же Статистика не может доказать, что дочь Эмоса Колвина довел до разорения мерзавец, который старается разрушить то, ради чего и ты, и я, и другие старые техасцы проливали кровь? А История? Разве она не может засвидетельствовать, что Техас никогда не отказывал в помощи страдающим и обездоленным детям тех, кто сделал его величайшим из американских штатов? Если Статистика и История не способны подтвердить законные права дочери Эмоса Колвина, я буду требовать на очередной сессии Законодательного собрания ликвидации моего департамента. Ну, ладно, дядя Фрэнк, выдай для нее деньги, а я по всей форме подпишу бумаги, раз ты говоришь, что так надо. А если губернатор, или инспектор, или подметала, или еще кто вздумает брыкаться, то я с этим делом обращусь к народу и тогда увидишь — все техасцы до одного подпишут ваши бумажки.

Казначей слушал сочувственно, однако он был явно смущен. Голос Стэндифера звучал все громче по мере того, как извергался поток его речи, и сколь бы ни были похвальны

выраженные в ней чувства, все же слова ее в некотором роде бросали тень на компетентность главы одного из более или менее важных правительственных учреждений. Клерки стали прислушиваться.

— Полно, Стэндифер, — мягко сказал казначей, — ты же знаешь, что я бы хотел помочь в этом деле, но не горячись, подумай с минутку, прошу тебя. Каждый цент из казны тратится только согласно постановлению Законодательного собрания и выписывается по ордеру инспектора. Не имею я права распоряжаться ни центом по своему усмотрению, и ты тоже. И департамент твой не распоряжается казенными средствами и административных полномочий у него нет, это всего лишь канцелярия. Единственный способ получить деньги для этой леди — это ей самой написать прошение в Законодательное собрание и...

— К чертям! — рявкнул Стэндифер и пошел прочь.

Казначей его окликнул:

— Стэндифер, я был бы рад внести сто долларов от себя лично на насущные расходы для дочери Эмоса Колвина, — и он потянулся за бумажником.

— Не надо, дядя Фрэнк, — ответил Стэндифер более миролюбиво. — В этом нет нужды. Да и она ни о чем таком еще не просила. И кроме всего прочего — ее дело в моих руках. Теперь я вижу, какой никудышной, захудалой, замухрышной конторой меня призвали руководить. Влиятельности в ней все равно что в календаре или регистрационной книге в гостинице. Но покуда я ее возглавляю, дочерей Эмосов Колвинов мы прогонять не будем, а постараемся, поелику возможно, расширить наши полномочия. Погодите, Департамент Страхования, Статистики и Истории еще себя покажет!

Директор возвратился в свой кабинет. Лицо его было сосредоточенно и задумчиво. Прежде чем заговорить, он несколько раз с излишним старанием открыл и закрыл крышку чернильницы у себя на столе.

— Почему вы с ним не разводитесь? — обратился он вдруг к миссис Шарп.

— У меня на это нет денег, — ответила она.

— В настоящее время возможности нашего учреждения по части финансов значительно урезаны, — весьма официально уведомил посетительницу глава департамента. — По Статистике в банке перерасход, из Истории не вытянешь и ломаного гроша. Но вы обратились по верному адресу, сударыня, и мы с вашим делом справимся. Так где, вы сказали, сейчас находится ваш муж?

— Вчера он был в Сан-Антонио. Он теперь там живет.

Внезапно Стэндифер изменил свой официальный тон. Он взял руки измученной маленькой женщины в свои и заговорил так же просто и сердечно, как, бывало, с товарищами на ковбойских тропах или в лагере у костра.

— Вас зовут Аманда, ведь так?

— Да, сэр.

— Еще бы, я не мог ошибиться. Ваш отец так часто упоминал ваше имя. Так вот, Аманда, перед вами лучший друг вашего отца, глава влиятельного правительственного учреждения, которое поможет вам избавиться от всех ваших несчастий. А теперь старый солдат, старый ковбой, которого отец ваш не раз выручал из беды, хочет задать вам один вопрос: Аманда, у вас хватит денег продержаться еще дня два-три?

Бледное лицо миссис Шарп чуть порозовело.

— Вполне, сэр, — ответила она, — даже несколько дней.

— Что ж, хорошо. В таком случае, ступайте туда, где вы остановились, а послезавтра в четыре часа приходите к нам. Скорее всего, к этому времени уже можно будет вам сказать нечто определенное. — Директор немного помедлил, а потом спросил смущенно: — Вы сказали, что ваш муж застраховал свою жизнь на пять тысяч долларов. А он вносил страховые взносы?

— Он внес деньги за год вперед, месяцев пять тому назад. У меня в чемодане страхового полиса и квитанции.

— Вот и отлично. Такого рода бумаги всегда должны быть в порядке. При случае могут

понадобиться.

Миссис Шарп удалилась, а вскоре после этого Льюк Стэндифер отправился в маленькую гостиницу, где он жил, и посмотрел в газете расписание поездов. Спустя полчаса он снял сюртук и жилет и приладил к плечам особой конструкции ремень с кобурой, которая приходилась почти под левой подмышкой. В кобуру он вложил короткоствольный револьвер сорок четвертого калибра, затем снова оделся и неторопливо дошел до вокзала прямо к поезду, который в пять двадцать пополудни отправлялся в Сан-Антонио.

На следующее утро газета «Курьер Сан-Антонио» преподнесла публике следующую сенсацию:

### **Бентон Шарп встречает достойного противника**

Опаснейший головорез юго-западного Техаса убит выстрелом из револьвера в ресторане «Золотой фронтон». Видный чиновник успешно защищается от нападения известного бандита. Блестящая демонстрация владения оружием.

Вчера, около одиннадцати часов вечера, Бентон Шарп с двумя спутниками вошел в ресторан «Золотой фронтон» и сел за столик. Он был пьян и, как всегда в таких случаях, вел себя шумно и нагло. Через пять минут после прихода Шарпа в зале появился высокий, элегантный, пожилой джентльмен. Кое-кто узнал в нем всеми уважаемого Льюка Стэндифера, недавно назначенного директором Департамента Страхования, Статистики и Истории.

Мистер Стэндифер прошел на ту сторону, где расположился Шарп со своими собутыльниками, и хотел сесть за соседний столик. Вешая шляпу на один из вбитых в стену крючков, мистер Стэндифер нечаянно обронил ее на голову Шарпа. Тот обернулся и, будучи особенно агрессивен настроен, осыпал его ругательствами. Мистер Стэндифер спокойно извинился за свою неловкость, но Шарп не унимался. Тогда, по словам свидетелей, мистер Стэндифер подошел к Шарпу вплотную и что-то сказал ему, но так тихо, что слов никто не расслышал. В дикой ярости Шарп вскочил на ноги. Тем временем мистер Стэндифер успел отойти на несколько шагов и стоял спокойно, в расстегнутом сюртуке, скрестив руки на груди. С молниеносной быстротой и внезапностью, делавшей его таким опасным, Шарп выхватил оружие — это его движение предшествовало кончине уже, по крайней мере, десяти человек. И хотя Шарп выхватил револьвер невероятно быстро, присутствовавшие утверждают, что его противник продемонстрировал самую невероятную быстроту выхватывания оружия, какую им когда-либо доводилось видеть на Юго-Западе. Пока Шарп подымал свой револьвер, а он сделал это быстрее, чем мог уследить глаз, — в правой руке мистера Стэндифера, будто у фокусника, очутился сверкающий револьвер сорок четвертого калибра, и он, не поднимая локтя, выстрелил Шарпу в самое сердце. Оказывается, новый директор Департамента Страхования, Статистики и Истории — в прошлом бывалый солдат, борец с индейцами и ковбой, чем и объясняется навык обращения с кольцом сорок четвертого калибра. Надо полагать, что происшедший инцидент не вызовет иных неприятных последствий для мистера Стэндифера, кроме обычной дачи показаний, ибо все свидетели единогласно утверждают, что он стрелял в целях самозащиты».

Когда миссис Шарп, как ей было назначено, появилась в кабинете Стэндифера, этот джентльмен преспокойно грыз золотисто-румяное яблоко. Без малейшего смущения он поздоровался с ней и напрямик заговорил о том, что было у всех на устах.

— Мне пришлось это сделать, сударыня, а то бы я сам получил пулю, — сказал он просто. — Мистер Кауфман, — он повернулся к старому клерку, — пожалуйста, проверьте документы Компании страхования жизни, всё ли там в порядке.

— Нет нужды проверять, — буркнул Кауфман, знавший их все на память. — В порядке. Страховку выплачивают в десятидневный срок.

Вскоре миссис Шарп собралась уходить. Она решила остаться в городе до получения денег. Стэндифер ее не задерживал. Ведь она была женщиной, и он не знал, что еще ей сказать.

Отдых и время дадут ей то, в чем она сейчас больше всего нуждается.

Но перед уходом посетительницы Льюк Стэндифер позволил себе деловое замечание по существу:

— Департамент Страхования, Статистики и Истории, сударыня, сделал все возможное касательно вашего дела. Из-за бюрократизма и волокиты протолкнуть его было нелегко. Статистика оплошала. История дала осечку, но зато, позволю себе заметить, Страхование нас не подвело!

## Возрождение Шарльруа

Грандмон Шарль был джентльменом креольского происхождения, тридцати четырех лет от роду, небольшого роста, с маленькой лысиной и манерами принца. Днем он был клерком в конторе комиссионера по хлопку, помещавшейся в одной из этих холодных и прокисших гор, выстроенных из грязного кирпича внизу набережной в Новом Орлеане. Но к ночи в своей *chambre garnie*<sup>16</sup>, в третьем этаже дома в старом французском квартале, он снова превращался в последнего отпрыска рода Шарль, этого знатного рода, игравшего такую видную роль во Франции и блестящие и изящные представители которого, улыбаясь, рапирами проложили себе путь в Луизиану во времена ее первого и блестящего расцвета. За последние годы представители рода Шарль перешли на более республиканское, но не менее блестящее великолепие и роскошь жизни плантаторов на Миссисипи. Может быть, Грандмон был даже маркизом де Брассе. Этот титул был у них в семье. Но маркиз с 75 долларами в месяц! *Vraiment*<sup>17</sup>! Грандмон скопил из своего жалованья сумму в 600 долларов. Вы скажете, что этого вполне достаточно для всякого человека, чтобы жениться. Поэтому, после двухлетнего молчания на эту тему, он снова задал этот щекотливый вопрос мадемуазель Адель Фокэ, приехав с этой целью в Мин д'ор, плантацию ее отца. Ответ ее был тот же, что в течение последних десяти лет:

— Сначала найдите моего брата, мистер Шарль.

На этот раз он устоял перед нею; может быть, он пришел в отчаянье от сознания, что награда за такую продолжительную и верную любовь зависит от такой маловероятной возможности; он потребовал, чтобы она ему сказала коротко и ясно, любит она его или нет.

Адель спокойно посмотрела на него своими серыми, загадочными глазами и ответила более ласковым тоном:

— Грандмон, вы не имеете права задавать мне такой вопрос, если не можете сделать то, о чем я вас прошу. Или верните нам моего брата Виктора, или дайте доказательства того, что он умер.

Почему-то на этот раз, несмотря на то, что ему отказывали таким образом уже в пятый раз, у него не было так тяжело на сердце, когда он уходил. Она ведь не отрицала, что она его любит. В каких мелких водах может маневрировать ладья страсти! Впрочем, и то сказать: в тридцать четыре года приливы и отливы жизни не так бурны и ладьям в этом возрасте знакомы многие источники, а не только один, как в двадцать четыре года.

Виктор Фокэ никогда не найдется. Первое время после его исчезновения у Шарлей в банке были еще деньги, и Грандмон тратил доллары без счета, стараясь найти пропавшего юношу. Но даже и тогда у него было мало надежды на успех; Миссисипи возвращает жертвы со своего дна, покрытого жирным илом, только по своему собственному злему капризу.

Грандмон тысячи раз вспоминал и детально разбирал в своей памяти сцену исчезновения

---

<sup>16</sup> Комната под чердаком (*фр.*)

<sup>17</sup> На самом деле (*фр.*)

Виктора, и всякий раз, как Адель выставляла в ответ на его предложение свою неизменную и грустную альтернативу, эта сцена все яснее вставала в его воображении.

Мальчик был любимцем всей семьи; он был смел, привлекателен, но неуравновешен. Его легкомысленное воображение пленилось девушкой, дочерью надсмотрщика на плантации. В семье Виктора не знали об этой интриге, если это можно назвать интригой. Чтоб избавить семью от горя, которое неминуемо вызвало бы ее дальнейшее развитие, Грандмон пытался ее прекратить. Всемогущие деньги устранили всякие затруднения. Однажды между заходом и восходом солнца надсмотрщик с дочерью уехали в неизвестном направлении. Грандмон надеялся, что этот удар образумит мальчика. Он поехал в Мин д'ор, чтобы поговорить с ним. Они вышли из дома и из сада, перешли через дорогу и, поднявшись на берег, ходили по широкой тропе, разговаривая между собой. Над ними висела темная грозная туча, но дождя еще не было. Когда Грандмон обнаружил свое вмешательство в тайны его романа, Виктор, охваченный внезапным диким припадком ярости, бросился на него. Грандмон, хоть и маленький, обладал железными мускулами. Ему удалось среди града сыпавшихся на него ударов схватить юношу за руки и, перегнув его назад, растянуть его на тропе. Порыв ярости прошел, и Грандмон позволил ему встать. Виктор поднялся на ноги. Сумасброд, готовый всегда на неожиданные выходы, превратился теперь в готовую ежеминутно взорваться пороховую мельницу. Впрочем, в данную минуту Виктор был спокоен. Он протянул руку по направлению к дому.

— Они и вы сговорились разрушить мое счастье, — воскликнул он. — Никто из вас больше в глаза меня не увидит.

Повернувшись, он быстро побежал вниз по тропе и скрылся в темноте. Грандмон побежал за ним, звал его, но безуспешно. Более часа он искал его. Спустившись по откосу и все время крича, он попал в густую чащу тростника и ивовых кустов, которыми зарос край воды. Ответа не было; ему показалось, что он слышал крик, сопровождаемый всплеском воды. Затем поднялась гроза, и он вернулся в дом, промокший и удрученный.

Он рассказал домашним о бегстве мальчика, не упоминая об обстоятельствах, предшествовавших этому исчезновению. Он был уверен, что мальчик вернется, когда охладит первый порыв его злобы. Позднее, когда угроза Виктора осуществилась и домашние поняли, что они его никогда больше не увидят, Грандмону было трудно уже изменить свои показания, данные им в тот вечер. И причины, побудившие мальчика исчезнуть, так же как и само исчезновение, остались окутанными тайной.

В этот же вечер Грандмон впервые уловил новое и странное выражение в глазах Адели, появлявшееся в них каждый раз, когда она взглядывала на него. В течение всех последующих лет это выражение не покидало ее глаз. Он не мог разгадать, чем оно вызвано.

Может быть, если бы он знал, что Адель в тот злополучный вечер стояла у калитки, куда она медленно последовала в ожидании возвращения брата и любимого ею человека, удивляясь, зачем они избрали для беседы неподходящую погоду и такое мрачное место, — может быть, если бы он знал, что неожиданный блеск молнии осветил Адели на мгновение их ожесточенную борьбу, он понял бы, что именно выражал взгляд Адели.

Кто знает, чего она хотела. Десять лет прошло с тех пор, а то, что она видела тогда при блеске молнии, стоя у калитки, ярко и постоянно вставало перед ее глазами. Она любила своего брата, но хотела ли она дознаться раскрытия этой тайны или только узнать «правду»? Женщины иногда преклоняются перед правдой, даже как перед отвлеченным принципом. Говорят, что бывали и такие женщины, которые в вопросах своих привязанностей считали человеческую жизнь не имеющей значения в сравнении с ложью. Этого я не знаю, но я хотел бы знать, что бы она сделала, если бы Грандмон бросился к ее ногам и признался, что это его рука послала Виктора на дно полной тайны реки и что он больше не в силах лгать и осквернять ложью свою любовь. Я хотел бы знать, что она сделала бы!

Но Грандмон Шарль, наивный аркадский дворянин, не мог угадать значения этого взгляда Адели, и теперь, после последнего безрезультатного излияния своих чувств, он возвращался богатым, как всегда, честью и любовью, но бедным надеждой.

Это было в сентябре. В течение первого зимнего месяца у Грандмона зародилась мысль о возрождении. Раз Адель никогда не будет его женою, а богатство без нее было лишь ненужной мишурой, зачем ему стараться увеличивать этот с таким трудом скопленный запас долларов? Зачем ему беречь и этот запас?

Он выкуривал сотни папирос, сидя за маленькими полированными столиками кафе на Роял-стрит, попивая красное вино и обдумывая свой план. С течением времени он разработал его до совершенства. Несомненно, это будет стоить ему всех его денег, но игра стоит свеч: в течение нескольких часов он снова будет Шарлем из Шарльруа. Еще один раз 19 января, этот самый славный в судьбах рода Шарль день, будет подобающим образом отпразднован. В этот день король Франции посадил одного из Шарлей рядом с собой за стол; в этот день Арман Шарль маркиз де Брассе высадился, как блестящий метеор, в Новом Орлеане; этот день был днем свадьбы его матери и днем рождения Грандмона. С тех пор как Грандмон себя помнил, до самого распада его семьи, этот день всегда посвящался празднествам, пиршествам, гостеприимству и полным гордости воспоминаниям.

Шарльруа был старинной плантацией их рода расположенной на двадцать миль вниз по течению реки. Много лет назад эта плантация была продана для погашения долгов своих слишком щедрых владельцев. Затем она еще раз перешла в другие руки и теперь была покрыта мерзостью запустения. В суде шла тяжба о наследстве, и барский дом Шарльруа стоял необитаемый, если только не были правдой рассказы об одетых в кружева и напудренные парики призраках, прогуливающих по его пыльным комнатам.

Грандмон разыскал поверенного, которому на время процесса были вручены ключи от дома. Он оказался старым другом их семьи. Грандмон объяснил ему, что он хотел бы нанять дом на два-три дня. Ему хотелось бы дать обед нескольким друзьям в стенах своего старого дома. И это все.

— Пользуйтесь им неделю, даже месяц, если хотите, — сказал поверенный, — но не говорите мне ничего о плате за него. — Он вздохнул. — Да! Какие обеды бывали в этом доме, mon fils<sup>18</sup>!

Во многие старые, всем известные магазины, ведущие торговлю мебелью, фарфором, серебром, коврами и принадлежностями домашнего обихода, приходил спокойного вида молодой человек с маленькой лысиной на макушке, с изысканными манерами и взглядом знатока. Он излагал торговцу свое желание: он хочет взять напрокат полную и элегантную обстановку столовой, холла, гостиной и передней. Все вещи должны быть уложены и доставлены по реке до пристани Шарльруа; все это будет возвращено через три или четыре дня. Все повреждения или потери будут немедленно возмещены.

Многие из этих старых торговцев знали Грандмона по виду, а с Шарлями имели в свое время дела. Некоторые из них были сами креольского происхождения и в глубине души симпатизировали безрассудной, но широкой затее этого бедного клерка, решившего хоть на минуту восстановить пламя родового блеска, раздув его своими сбережениями.

— Выбирайте все, что вам нужно, — говорили они ему. — Обращайтесь с вещами бережно. Старайтесь, чтобы счет за повреждения был как можно меньше, а плата за прокат вещей вас не обременит.

Затем он отправился к виноторговцам, и здесь-то его 600 долларов потерпели немалый урон. Для Грандмона было большой радостью снова выбирать драгоценные вина. Погреба с шампанским манили его, как жилища сирен, но он был вынужден обойти их. С суммой в 600 долларов он стоял перед ними, как ребенок с никелевой монетой стоит перед французской куклой. Но зато он с большим вкусом и умением выбрал и купил другие вина — шабли, мозель, шато-д'ор, рейнское и портвейн подходящего возраста и разлива. Вопрос о кухне стоил ему многих мучительных часов, пока он вдруг не вспомнил об Андре, их старом главном поваре, самом искусном художнике французской креольской кухни во всей долине

---

<sup>18</sup> Сын мой! (фр.)

Миссисипи. Быть может, его еще можно найти где-нибудь поблизости от плантации. Поверенный сказал ему, что она все еще обрабатывается, согласно договору между тяжущимися.

В воскресенье Грандмон поехал верхом в Шарльруа. Большой четырехугольный дом с закрытыми ставнями и дверями выглядел пустынным и мрачным.

Деревья во дворе были запущены и не подстрижены. Все аллеи парка были засыпаны упавшими листьями. Грандмон проехал в поселок, где жили негры с плантации. Он увидел их возвращающимися из церкви — беспечными, счастливыми, одетыми в яркие, веселые цвета — желтые, красные и голубые.

Да, Андре все еще был здесь; его волосы немного поседели; у него был все тот же широкий рот, и он так же, как всегда, готов был смеяться. Грандмон рассказал ему свой план, и старый негр преисполнился гордости и восторга. Со вздохом облегчения, — зная, что теперь ему больше ни о чем не надо беспокоиться до той минуты, пока ему не доложат, что обед подан, — Грандмон передал Андре деньги на закупку провизии и предоставил ему полный карт-бланш в его творчестве. Среди негров нашлось также много служивших у них в доме в качестве домашней прислуги. Абсалом, бывший мажордом, с полдюжиной более молодых мужчин, когда-то лакеев и служителей кухни и буфета, толпой собрались приветствовать «массу Гранди». Абсалом ручался, что из них можно будет набрать подручных, которые под его предводительством достойным образом смогут подать обед.

Щедро оделив оставшихся верными ему старых слуг, Грандмон, очень довольный, вернулся в город. Было еще много мелких деталей, которые надо было обдумать и привести в исполнение, но наконец весь план был закончен, и оставалось только разослать приглашения гостям.

Вдоль по реке, на протяжении каких-нибудь двадцати миль, жило с полдюжины семей, княжеское гостеприимство которых было современно гостеприимству Шарлей. Это были самые гордые и самые знатные из представителей старого режима. Их ограниченный круг был блестящим кругом; их светские отношения между собою отличались теплотой и близостью; их дома были известны редким гостеприимством, радушием и щедростью. Эти друзья, говорил себе Грандмон, должны еще раз, может быть в последний, собраться в Шарльруа 19 января, чтобы торжественно отпраздновать славный день его рода.

Грандмон отдал напечатать приглашения. Хотя это обошлось ему и дорого, но приглашения были сделаны прекрасно. В одной маленькой детали хороший вкус их мог бы подвергнуться сомнению, но креол мог позволить себе эту роскошь в своем кратковременном великолепии. Неужели он не мог позволить себе — на один-то день, на день «возрождения» — стать «Грандмоном дю-Пюи-Шарль, из Шарльруа»? Он разослал приглашения в начале января, с расчетом, чтобы гости получили их заблаговременно.

В 8 часов утра 19 января курсирующий в низовьях реки пароход «Ривербелль» тихо подошел к давно забытой пристани Шарльруа. Сходни были спущены, и целая туча негров с плантации устремилась на пароход по подгнившим мосткам, чтобы нести на берег странный груз. Огромные бесформенные тюки, узлы и пакеты, завернутые в войлок и связанные веревками; кадки и вазы с пальмами, с вечнозелеными растениями и тропическими цветами, столы, зеркала, стулья, диваны, ковры и картины, все тщательно завернутое и упакованное во избежание несчастных случайностей во время перевозки.

Грандмон был самым деятельным из работавших. Он сам наблюдал за переноской громадных корзин с красноречивыми надписями, требующими осторожного обращения с ними; в них были хрупкий фарфор и стекло. Падение одной из этих корзин стоило бы ему суммы, которую он вряд ли сумел бы скопить в течение целого года.

Когда был выгружен последний пакет, «Ривербелль» дал задний ход и продолжал свой путь по реке.

Меньше чем через час все было доставлено в дом. Дальнейшее было предоставлено Абсалому. Помощников у него было более чем достаточно, так как этот день был всегда праздником в Шарльруа, а негры не допускали никаких изменений в старых традициях. Почти



все население поселка предложило свои услуги. Около двадцати мальчиков и девочек подметали листья во дворе. В большой кухне, в задней части дома, Андре с былым великолепием господствовал над многочисленным штатом поваров и поварят. Ставни были широко раскрыты; пыль стояла столбом, дом наполнился шумом голосов и торопливых шагов. Принц вернулся — и Шарльруа пробудился от своего долгого сна.

Когда полная луна взошла за рекой и заглянула через высокий берег, ее взорам представилось зрелище, давно не наблюдавшееся в ее орбите. Из каждого окна старого плантаторского дома лился мягкий, манящий свет. Из сорока комнат дома только четыре были обставлены: большая приемная и столовая и две маленьких гостиных, но зажженные восковые свечи были поставлены во всех окнах.

Столовая была шедевром. Длинный, накрытый на двадцать пять приборов стол с белоснежными скатертью и салфетками, с фарфором и ледяным блеском хрусталя, сверкал, как зимний пейзаж. Строгая красота этой комнаты не нуждалась в большом количестве украшений. Хорошо натертый пол горел, как яркий рубин, отражая свет свечей. Великолепные панели покрывали до половины стены. Вдоль этих панелей и над ними, с целью оживить общий колорит, было развешено несколько акварелей, изображающих фрукты и цветы.

Приемная была обставлена просто, но элегантно. В ее убранстве ничто не указывало на то, что на другой день она снова будет опустошена и предоставлена пыли и паукам. Холл с его пальмами и тропическими растениями, освещенный огромными канделябрами, имел величественный вид.

В семь часов откуда-то появился Грандмон во фраке, с жемчужными запонками (семейная страсть) на белоснежном белье. В приглашениях был указан час обеда — восемь часов. Он вынес к главному въезду кресло и опустился в него в полудремоте.

С восхода луны прошел час. В пятидесяти шагах от ворот стоял дом на фоне великолепного парка. Перед ним расстилась дорога, а за ней поросшая травой возвышенность, за которой текла ненасытная река. Как раз над вершиной возвышенности полз вниз по течению реки крошечный красный свет и крошечный зеленый полз вверх по течению. Встретившиеся пароходы салютовали друг другу, и хриплый пронзительный звук нарушил сонное молчание полных меланхолического покоя равнин.

Затем вновь водворилась тишина, нарушаемая лишь обычными голосами ночи: речитативом совы, каприччио кузнечиков и хоровым номером лягушек в траве. Ребятишки и зеваки из поселка были отправлены по домам, и суета дня сменилась покоем и глубоким молчанием. Шесть цветных лакеев в белых куртках ходили, ступая неслышно, как кошки, вокруг стола, и делали вид, что приводят что-то в порядок там, где все уже было в совершенстве. Абсалом в черном фраке и в лакированных туфлях принимал торжественные и картинные позы то тут, то там, где свет свечей более ярко освещал его великолепие. Грандмон отдыхал в своем кресле и курил, ожидая гостей.

Он унесся в грезы — в несбыточные грезы, так как он представлялся себе в них владельцем Шарльруа, а Адель была его женой. Она подходила к нему сейчас; он слышал ее шаги; он чувствовал ее руку на своем плече...

— Pardon moi<sup>19</sup>, масса Гранди, — к нему прикоснулась рука Абсалома, и это был голос Абсалома, говорившего на жаргоне негров, — но уже восемь часов.

— Восемь часов! — Грандмон вскочил. При свете луны он мог видеть ряд коновязей за воротами. Уже давно должны были там стоять лошади его гостей, но коновязи были пусты.

Из кухни раздавался, наполняя дом ритмическими звуками протеста, протяжный вопль возмущения, рев справедливой и все растущей обиды, плач оскорбленного гения — Андре. Этот прекрасный обед, этот перл обедов, этот невиданный и неслыханный чудо-обед! Тысяча громов! Еще одна минута ожидания, и даже негры с плантации отвернутся от него!

— Они немного опаздывают, — спокойно сказал Грандмон. — Они скоро должны

---

<sup>19</sup> Извините меня (*фр.*)

приехать. Передайте Андре, чтобы он задержал обед, и спросите у него, не ворвался ли в дом бык с пастбища... Кто это там так ревет?

Он закурил новую папиросу. Несмотря на выраженное им убеждение, он мало верил теперь, что в Шарльруа будут в этот вечер гости. Впервые с сотворения мира приглашение из Шарльруа игнорировалось. Грандмон так просто понимал вежливость и чувство долга и настолько непоколебимо уверен был в престиже своего имени, что самые вероятные причины отсутствия гостей за его столом не пришли ему в голову.

Шарльруа был расположен на дороге, по которой ежедневно проезжали люди со всех соседних плантаций. Несомненно, даже накануне внезапного оживления старого дома они проезжали мимо и видели, что он заброшен и пуст. Они видели своими глазами труп Шарльруа; чем бы ни было приглашение Грандмона — загадкой или мистификацией дурного вкуса, они решили не искать разгадки и сидеть спокойно дома.

Теперь луна была уже над парком, и весь двор тонул в густых тенях, кроме тех мест, которые освещались нежным сиянием струившегося из окна света. Резкий ветер, подувший с реки, свидетельствовал о возможности мороза позднюю ночью. Трава с одной стороны ступенек вся была покрыта белыми окурками от папирос, которые выкурил Грандмон. Клерк из конторы комиссионера по хлопку сидел в своем кресле, и дым вился над ним спиральями. Я сомневаюсь, чтобы он хоть раз вспомнил о маленьком состоянии, так безрассудно истраченном им. Быть может, для него было достаточной компенсацией сидеть так, в Шарльруа, в течение этих нескольких часов и воображать, что наступило возрождение. Мысль его лениво бродила по фантастическим тропам его воспоминаний. Он улыбнулся сам себе, когда перефразированные строки Священного Писания пришли ему на ум: «Некий бедный человек приготовил большую трапезу».

Он услышал покашливание Абсалома, пытавшегося привлечь его внимание. Грандмон шевельнулся. На этот раз он не спал; он только дремал.

— Девять часов, масса Гранди, — сказал Абсалом ровным голосом хорошего слуги, который только констатирует факт, но не выражает своего личного мнения.

Грандмон встал. В свое время все представители рода Шарль проходили через испытания и умели гордо и стойко переносить их.

— Подавайте обед, — спокойно сказал он. Затем он жестом остановил Абсалома, направившегося исполнять приказание. Дело в том, что кто-то щелкнул засовом калитки и шел теперь по аллее по направлению к дому, шурша листьями и бормоча что-то на ходу. Человек остановился в струе света, внизу у ступеней, и заговорил протяжным голосом нищего или бродяги:

— Добрый сэръ, не можете ли вы дать поесть бедному голодному человеку? Разрешите поспать в углу сарая. Ведь... — продолжал без всякой последовательности пришедший, — теперь я могу спать. Здесь нет гор, которые будут плясать по ночам; и медные котлы все вычищены и блестят. Железный обруч с кольцом все еще вокруг моей ноги, если вы пожелаете меня приковать.

Он поставил ногу на ступеньку и поднял тряпки, висевшие на ней. Над потерявшим всякую форму башмаком, покрытым пылью сотни миль, Грандмон увидел кольцо и железный обруч. Одежда бродяги превратилась от дождя, солнца и продолжительной носки в пестрые лохмотья. Спутанные волосы и борода покрывали его голову и лицо, как циновкой, и из нее выглядывали его безумные глаза. Грандмон заметил, что у бродяги в руках белая четырехугольная карточка.

— Что это такое? — спросил он.

— Это я поднял, сэръ, на краю дороги.

Бродяга передал карточку Грандмону.

— Только немного поесть, сэръ. Маисовую лепешку или горсть бобов. Козье мясо я не могу есть. Когда я им режу горло, они кричат, как дети.

Грандмон посмотрел на карточку. Это было одно из его приглашений на обед. Вероятно, кто-нибудь выбросил его, проезжая в экипаже, после того как сопоставил его с видом

необитаемого дома в Шарльруа.

«Пойди по дорогам и убеди их прийти, чтобы наполнился дом мой», — сказал он себе, мягко улыбаясь, а затем, обратившись к Абсалому, добавил:

— Пришлите ко мне Луи.

Луи, бывший когда-то его личным камердинером, явился в своей белой куртке.

— Этот джентльмен, — сказал Грандмон, — будет обедать со мной. Приготовьте ему ванну и костюм. Пусть он будет готов через двадцать минут, и тогда подавайте обед.

Луи подошел к подозрительному субъекту с почтительностью, обязательной по отношению к гостю Шарльруа, и, подбадривая его, увел его внутрь дома.

Ровно через двадцать минут Абсалом доложил, что обед подан, и минуту спустя гость был введен в столовую, где Грандмон ожидал его, стоя у председательского места. Старания Луи превратили незнакомца во что-то похожее несколько на человека. Чистое белье и старый фрак, присланные из города для лакея, произвели с его наружностью чудеса. Щетка и гребенка частично исправили беспорядок на его голове и подбородке. Теперь он мог бы сойти за что-нибудь не более нелепое, чем эти позыры от живописи или музыки, которые любят подобную оригинальность в прическе.

В выражении его лица и его манерах, когда он подходил к столу, не было видно ни неловкости, ни смущения, которых можно было бы ожидать от него после такого, достойного сказки из «Тысяча и одной ночи», превращения. Он предоставил Абсалому посадить себя по правую руку Грандмона, как человек, привыкший к подобному обращению.

— Я очень сожалею, — сказал Грандмон, — что я и мой гость должны друг другу взаимно представиться. Моя фамилия Шарль.

— В горах, — сказал странник, — меня звали Гринго. На дорогах меня называют Джеком.

— Я предпочитаю последнее, — сказал Грандмон. — Ваше здоровье, мистер Джек.

Блюдо за блюдом подавалось слишком многочисленными лакеями. Грандмон, вдохновленный результатом восхитительного поварского искусства Андре и своим собственным умением в выборе вин, превратился в примерного хозяина, разговорчивого, остроумного и любезного. Речи гостя были беспорядочны. Казалось, что его мышление было подвержено каким-то припадкам безумия, чередующимся с периодами относительной ясности. В его глазах стоял стеклянный блеск от недавно перенесенной им лихорадки. Вероятно, продолжительность ее и была причиной истощения, слабости, помрачения рассудка и болезненной бледности, которая была заметна на его лице, несмотря на покрывавший его загар.

— Вы никогда не видели, как пляшут горы? — обратился он к Грандмону.

— Нет, мистер Джек, — серьезно ответил Грандмон, — мне не случалось видеть этого. Но я понимаю вас; это, должно быть, забавное зрелище. Высокие горы, вершины которых покрыты снегом, вальсируют как бы в платье декольте.

— Сначала вы чистите котлы, — с волнением сказал бродяга, нагибаясь к нему, — чтобы утром варить в них, а затем вы ложитесь на одеяло и не двигаетесь. Тогда они сходят со своих мест и пляшут перед вами. Вы бы сами охотно вышли поплясать с ними, но вас на ночь всегда приковывают к среднему столбу хижины. Ведь вы верите, что горы пляшут, не правда ли?

— Я никогда не оспариваю рассказов путешественника, — с улыбкой сказал Грандмон.

Бродяга громко рассмеялся. Он понизил свой голос до конфиденциального шепота.

— Вы дурак, если верите этому, — продолжал он. — В действительности они не пляшут. Это только так вам кажется, от жара в голове. Это происходит от тяжелой работы и плохой воды. Вы хвораете целые недели и нет лекарства. Жар подымается каждый вечер, и тогда у вас появляется сила, как у двоих. Однажды вечером вся банда лежала пьяная, напившись мескаля. Они вернулись с набега, нагруженные целыми мешками серебра, и они пили, чтобы отпраздновать удачу. Ночью вы перепиливаете цепь и спускаетесь вниз. Вы идете целые мили, целые сотни миль. Наконец, горы кончаются, и вы попадаете в прерии. Они не пляшут по ночам, они милосердны к вам, и вы можете спать. Затем вы достигаете реки, и она говорит с

вами. Вы идете по берегу все вниз и вниз, но вы не можете найти то, что вы ищете.

Бродяга откинулся на спинку стула, и его глаза медленно закрылись. Еда и вино погрузили его в глубокий покой. Напряженное выражение исчезло с его лица. Истома сытости охватила его. Он снова лениво заговорил.

— Это невежливо... Я знаю... заснуть... за столом... Но... это был... такой прекрасный обед... Гранди, старина.

Гранди! Носитель этого имени вздрогнул и поставил свой стакан. Как мог этот жалкий оборванец, которого он, как калиф, посадил за свой стол, знать его имя? Не сразу, но очень скоро, постепенно усиливаясь, в его мыслях стало расти подозрение — безумное, невероятное. Руками, которые от сильной нервной дрожи почти не слушались его, он вытащил свои часы и открыл заднюю крышку, к внутренней стенке которой была прикреплена фотография.

Встав со своего места, Грандмон взял бродягу за плечи.

Усталый гость открыл глаза. Грандмон держал перед ним часы.

— Посмотрите на эту фотографию, мистер Джек. Вы когда-нибудь...

— Моя сестра Адель!

Голос бродяги громко прозвучал в большой комнате. Он вскочил с места, но Грандмон обнял его и посадил:

— Виктор! Виктор Фокэ. Merci, merci, mon Dieu<sup>20</sup>! — восклицал он.

Человек слишком хотел спать и был слишком измучен, чтобы говорить в этот вечер. Много дней спустя, когда в его жилах остыл жар тропической лихорадки, сказанные им бессвязные слова были пополнены и разъяснены. Он рассказал о своем бегстве, совершенном им в припадке злобы, о перенесенных им на море и на суше невзгодах, о своих удачах и неудачах в дальних краях, на Юге, и о последней самой ужасной невзгоде, которой он подвергся, когда, будучи в плену у шайки бандитов в горах Мексики, в их укрепленном лагере, он исполнял для них черную работу. Он рассказал о лихорадке, которую он там схватил, о своем побеге в бреду, и как он добрался, руководимый каким-то чудесным инстинктом, до реки, на берегу которой он родился. Он рассказал также о той упорной гордости в его натуре, которая заставляла его все эти годы молчать.

Виктор лежал на диване в гостиной, и в глазах его было заметно пробудившееся сознание, а на его смягченном лице было выражение покоя. Абсалом приготавливал ложе для кратковременного хозяина Шарльруа, который завтра снова превратится в клерка в конторе комиссионера по продаже хлопка, но вместе с тем...

— Завтра... — говорил Грандмон, стоя у постели своего гостя и произнося слова с таким сиянием на лице, какое, вероятно, было на лице возницы пророка Ильи, когда он доложил ему, что небесная колесница подана.

### От имени менеджмента

Это рассказ об одном менеджере, настоящем мужике, который умел отстаивать свою позицию до последнего. Я слышал ее от Салли Магона лично, то есть вживую. И слова все его, а если это мое повествование в чем-то грешит против правды, то в этом нужно винить только мою память.

Знаете, я не зря с самого начала подчеркиваю мужские качества этого менеджера. По убеждению Салли, такими качествами женская половина человечества не обладает, совсем наоборот. Женщина-менеджер, по его словам, постоянно на всем экономит, откладывает на «черный день», в общем, своими сделками и ухищрениями угнетающе действует на домочадцев и косо смотрит на цент, брошенный в шляпу уличному скрипачу, чтобы под его

---

<sup>20</sup> Благодарю, благодарю, Бог мой! (фр.)

музыку выбросить хоть одно коленце джиги на скучном, бесплодном жизненном пути. Поэтому ее мужчины ее боготворят, восхваляют ее до небес, а потом незаметно выходят через «черный ход», чтобы посмотреть, как сестры Гилхулли исполняют свой залихватский танец.

В общем, мужчина-менеджер — я все еще цитирую Салли — это Цезарь без Брута. Он — диктатор, не несущий ни за что ответственности, игрок, который никогда не рискнет собственной ставкой. Его обязанность — предписывать, воздействовать, шуметь, развертываться, блистать, если, конечно, он способен на это. Оплачивать счета, сидеть из-за полученных результатов — это дело начальства. А его дело — видеть, где можно рискнуть быть Апофеозом спектакля, главным Горючим для Суматохи.

Мы сидели за ланчем, а Салли Магон рассказывал. Я требовал подробностей.

— Мой старый друг Денвер Гэлловей был прирожденным менеджером, — говорил Салли. — Он впервые увидел неоновый свет в Нью-Йорке, когда ему было три годика. Он родился в Питтсбурге, но его родители перебрались на Восток в третье лето после его появления на свет.

Когда Денвер подросток, он связал свою судьбу с бизнесом менеджмента. В восемь лет он управлял газетным киоском, который принадлежал даго. После этого в разное время он был менеджером катка, в платной конюшне, в павильоне азартной игры «полиси», в ресторане, в академии танца, матча по ходьбе, дутой компании, магазине одежды, в дюжине отелей и летних курортов, в страховой компании и возглавлял избирательную кампанию одного лидера местного значения. И эта кампания после того, как в Ист-Сайде был избран Куглин, стала для него ускорителем. Он получил работу менеджера в одном отеле на Бродвее, даже одно время возглавлял избирательную кампанию в девятнадцатом веке сенатора О'Грэди.

Денвер был законченный ньюйоркец. Думаю, что он выезжал из города всего пару раз до того времени, о котором я хочу рассказать. Один раз — на кроличью охоту в Йонкерсе. Во второй я встретил его в тот момент, когда он сходил с паром на Норт-ривер.

— Вот, побывал на Западе, совершил большое путешествие, Салли, старина, — сказал он мне. — Боже правый! Салли, я и понятия не имел, что у нас такая большая страна. Она не большая, просто огромная. Никогда не думал, какой у нас великолепный Запад! Блистательный, славный, безграничный. По сравнению с ним Восток — такой маленький, такой тесный. Великое дело — попутешествовать по стране, чтобы получить представление о том, какая она большая и сколько у нее природных ресурсов.

Я и сам немного попутешествовал, выезжал в Калифорнию, добрался до Мексики и проехал через всю Аляску, поэтому с удовольствием сел с Денвером, чтобы послушать его рассказ о том, что он видел.

— Ты, конечно, побывал в Йозмайте, не так ли?

— Ну, не думаю, — ответил Денвер. — Во всяком случае, не помню. Видишь ли, у меня всего было три дня, и я не добрался на Западе дальше Янгстауна, штат Огайо.

Два года назад я приехал в Нью-Йорк, прочитав на липучке для мух предложение о слюдяной шахте в Теннесси, как превратить тусклую слюду в красивое, залитое солнцем окно и на этом неплохо заработать. Я выходил из типографии однажды после полудня с пачкой красивых липких проспектов, когда столкнулся на улице с Денвером, выходящим из-за угла. Никогда я еще не видел его таким — ну, просто благоухающий цветочек. Он был красив, как новая подставка для вьющегося сладкого горошка, и такой же разухабистый, как соло, исполняемое на кларнете. Мы обменялись рукопожатиями, он спросил, чем я занимаюсь, я в общих чертах рассказал ему о том, какой переворот намерен совершить в области добычи слюды.

— К черту, к черту твою слюду! — презрительно сказал Денвер. — Неужели ты, Салли, собираешься взламывать сейф нашего старого маленького Нью-Йорка с таким прозрачным материалом, как слюда? Ты ничего получше придумать не мог? Ладно, пошли со мной в отель «Брунсвик». Такой человек, как ты, мне как раз нужен. Там у меня есть кое-что: курчавенькие, с краской на волосах, — я хочу, чтобы ты взглянул.

— Ты что, вкладываешь деньги в «Брунсвик»?

— Ни цента, — весело ответил Денвер. — Деньги вкладывает синдикат, который им владеет. Я — только менеджер.

«Брунсвик» отнюдь не был типичным бродвейским кабаком с расставленными повсюду пальмами в бочках, растениями и цветами вместе с образцами одежды, в общем, смесью зеленых лужаек с прачечной. Он находился на одной из авеню Ист-Сайда и был солидным, старинным караван-сараем, то есть большой гостиницей, в которой могли позволить себе останавливаться такие люди, как мэр Скэннителса или даже губернатор штата Миссури. Восемь этажей ввысь, с полосатыми навесами и столькими электролампочками, что ночью становилось светло как днем.

— Я уже год как менеджер здесь, — продолжал Денвер, когда мы подходили к отелю. — Когда я начинал здесь работать, ничто и никто не желали там останавливаться, в этом «Брунсвике». Неделями никто не заводил часы на конторке администратора. Однажды прямо перед ним упал человек из-за сердечного приступа, и пока они, наконец, подошли к нему, то тот, очухавшись, уже был от них на расстоянии двух кварталов. Я придумал план, каким образом привлечь торговлю Южной Америки и Вест-Индии. Я убедил владельцев вложить еще несколько тысяч долларов и потратил весь этот капитал до последнего цента на приобретение электрических лампочек, перца из Кайенны, золотой фольги и чеснока. Я нанял испаноговорящих служащих и струнный оркестр; пустил слухок о том, что скоро каждое воскресенье в подвале отеля будут проходить петушиные бои. А то я не знаю, чем привлечь всю эту коричневую, как орех, банду! Теперь все доны сеньоры от Гаваны до Патагонии знают о существовании «Брунсвика»!

Когда мы подошли к отелю, Денвер остановил меня у входа.

— Там внутри, — сказал он, — в небольшом кожаном кресле справа сидит красновато-коричневый цветной. Ты тоже там где-нибудь сядь и понаблюдай за ним несколько минут, после скажешь, что ты о нем думаешь.

Я сел на свободный стул, а Денвер в это время циркулировал по большой ротонде. В холле в самом деле было полно курчавых кубинцев и других латиноамериканцев всех мастей, а атмосфера была поистине интернациональной: пропитана сигаретным дымом, запахом чеснока и освещаемая вспышками бриллиантовых колец.

Да, на этого Денвера Гэллоуэя было любо-дорого посмотреть. Высокий — шесть футов два дюйма, рыжеголовой, розовощекий и загорелый. А какой у него был важный вид! Придворный Сент-Джеймского двора, Чонси Олкотт, полковник из штата Кентукки, граф Монте-Кристо, солисты гранд-опера — все они напоминали его, когда он кого-нибудь приветствовал или отдавал распоряжения. Стоило ему лишь поднять палец, как все посыльные разбежались от страха по сторонам, как тараканы, и даже клерк, сидевший за конторкой, казался таким робким и смущенным, как Энди Карнеги.

Денвер обходил по кругу всех гостей, пожимая каждому руку, и произносил при этом с таким величием два-три известных ему испанских слова, словно он находился на генеральной репетиции Брайанского праздника барбекю в Техасе.

Я внимательно следил за этим маленьким человечком, о котором он мне говорил.

Это был маленький иностранец в двубортном сюртуке, который не мог даже дотянуться носками до пола. Этот малый был цветной, а его усы были похожи на мягкую стружку красного дерева. Он дышал с трудом и не отрывал взгляда от Денвера. На лице у него было написано такое восхищение, такое уважение, как у мальчика, который воочию видит перед собой чемпиона по бейсболу, или как у кайзера Вильгельма, когда тот любуется собой, глядя в зеркало.

После того как Денвер завершил свой обычный обход, он повел меня в свой кабинет.

— Ну, что скажешь по поводу этого заморыша, понаблюдать за которым я тебя попросил?

— Ну, — начал я, — он принимает тебя за великого человека, у которого девять комнат вместе с ванной в Чертоге Славы, освобождение от уплаты ренты до первого октября. Вот, примерно, каков твой масштаб в его глазах.

— Да, ты верно ухватил мою идею, — сказал Денвер. — Он увидел во мне кудесника, проникся моим мистическим взглядом. Очарование, которое излучает ваш покорный слуга, обволакивает его, словно туман с Норт-ривер. Кажется, он понял, что сеньор Гэллоуей — это тот человек, который ему нужен. А теперь, Салли, — продолжал Денвер, — если я спрошу тебя, как ты думаешь, кто этот маленький человечек, что ты мне скажешь?

— Ну, предположим, парикмахер, а если он королевских кровей, то — король сапожной ваксы.

— Никогда не суди по внешнему виду, — сказал Денвер. — Он — «темная лошадка» на президентских выборах в одной из южноамериканских республик.

— Тогда, — сказал я, — он не так плохо выглядит в моих глазах.

Денвер, пододвинув ко мне поближе свой стул, поделился своим замыслом.

— Салли, — серьезно начал он с присущим ему легкомыслием, — я был менеджером и того, и другого, и третьего более двадцати лет. Я всегда стремился заставить кого-нибудь вложить свои деньги в бизнес, а я буду следить за ремонтом, за налогами, приглядывать за полицией. Я в жизни никогда не вложил ни одного своего доллара. Я не знаю, что такое зуд дилера, когда держу в руке собственную монету. Но я могу заниматься делами других, управлять чужими предприятиями. У меня всегда была тщеславная мечта: заполучить в руки нечто большее, чем отель, или лесной склад, или местная политика. Я всегда хотел стать менеджером чего-то гораздо более высокого — скажем, железной дороги, треста драгоценных камней или автомобильной фабрики. И вот теперь появляется этот сморчок из тропиков и предлагает мне такую работу, предлагает то, что я хотел...

— Какую же работу? — спросил я. — Может, он собирается возродить менестрелей в штате Джорджия или открыть сигарную лавку?

— Не такой дурак, — сурово оборвал меня Денвер. — Это генерал Ромпиро, генерал Йосия Альфонсо Саполио Юда-Анна Ромпиро — полностью его имя, которое набирает на визитках опытный мастер. Этот человек, Салли, то, что нужно. Он хочет, чтобы я управлял его компанией, он хочет, чтобы Денвер К. Гэллоуей стал президент-мейкером! Ты только подумай об этом, Салли! Старина Денвер отправляется в тропики, где одной рукой будет срывать цветы лотоса и собирать ананасы, а другой — лепить президентов!

Дядя Марк Ханна сошел бы от такого с ума! И знаешь, Салли, я хочу, чтобы со мной туда поехал и ты. Ты мне там поможешь куда больше, чем любой другой. Я пас этого коричневого, как орех малого, в отеле целый месяц, чтобы он, не дай боже, не заблудился на Четырнадцатой улице и чтобы его не связала толпа беженцев, этих любителей толченой кукурузы с мясом и жгучим красным перцем. И вот он у меня в руках, а Денвер К. Гэллоуей становится менеджером генерала Й. А. С. Ю. А. Ромпиро, менеджером президентской кампании в великой республике, как, черт подери, она называется?

Денвер взял с полки атлас, и мы вместе стали искать эту несчастную страну.

— Вот она, помечена темно-синей краской на Западном побережье, размером с почтовую марку для особых отправлений.

— Из того, что говорил мне генерал, — продолжал Денвер, — и судя по тому, что мне удалось раскопать в энциклопедиях и выявить в беседе с швейцаром Асторской библиотеки, то будет нетрудно осуществить голосование в этой стране...

— А почему генерал Ромпиро сам не остался дома, — поинтересовался я, — почему он сам не стал менеджером своего предприятия?

— Ты, Салли, к сожалению, не знаешь, что такое латиноамериканская политика, — сказал Денвер, доставая для нас по сигаре. — Генерал Ромпиро имел несчастье стать популярным идиолом. Он отличился тем, что со своей армией удачно преследовал двух матросов, которые украли аллазу — ах, каррамба! — или что-то такое, что принадлежало правительству. Народ назвал его своим героем, но это вызвало ревность со стороны правительства. Президент послал за главой департамента общественных зданий: «Ну-ка найди мне хорошую, чистую, приятную стену, — приказал он ему, — и поставь к ней сеньора Ромпиро! Потом вызовем расстрельный взвод!» Мы таким же образом поступили с Гобсоном

и Кэрри Нейшн в своей стране, — уточнил Денвер. — Поэтому генералу пришлось бежать. Но он был настолько предусмотрительным, что захватил с собой свои золотые кругляшки. У него теперь столько этих мускулов войны, что он может запросто купить линкор и отправить его в боевое крещение.

— Ну и каковы его шансы стать президентом?

— Разве я еще не назвал тебе его рейтинг? — спросил Денвер. — Его страна — одна из немногих в Южной Америке, где президенты избираются всеобщим голосованием. Генерал в данное время не может туда отправиться. Все же больно, когда тебя расстреливают у стены. Ему нужен менеджер кампании, который туда поедет и все приготовит для него на месте: ну, выстроит всех в линейку, станет раздавать направо-налево двухдолларовые купюры, целовать, как полагается, младенцев и детишек постарше, в общем, приводить всю избирательную машину в должный порядок.

Салли, я не хочу хвастаться, но разве ты не помнишь, как я в последнюю минуту сделал лидером Гуглина в девятнадцатом округе? Ведущий район стал в результате нашим. Неужели ты думаешь, что я не сумею справиться с этой маленькой, похожей на обезьянью клетку страной? С деньгами генерала, с которыми он так легко расстается, я мог бы дважды намазать его всего дорогостоящим японским лаком, выдать за белого и сделать губернатором штата Джорджия. У Нью-Йорка — самый лучший менеджер избирательных кампаний в мире, Салли, и, как мне кажется, ты принижаешь мой престиж, когда подвергаешь сомнению мою способность взять в руки политическую ситуацию в такой маленькой стране, что все ее названия городов приходится печатать либо в сносках, либо в приложении к картам.

Я немного поспорил с Денвером. Пытался убедить его в том, что политика в этом тропическом полушарии совсем не такая, как в девятнадцатом округе, и я с таким же правом мог бы назвать себя конгрессменом от Северной Дакоты, пытающимся завладеть маяком и инспекцией океанского побережья. Но у Денвера Гэлловея были свои высокие амбиции в области менеджмента, и то, что я говорил ему, его несколько не убеждало, все мои слова были для него фиговым листочком на Национальном Конгрессе Портных.

— Даю тебе три дня на размышления по поводу твоей поездки, — сказал напоследок Денвер. — Завтра я представлю тебя генералу Ромпиро, так что ты сможешь получить все объяснения из первоисточника.

На следующий день я надел свой лучший костюм для приемов на манер вашингтонских бухгалтеров и отправился к этому каучуконосу, чтобы сразу же сразить его.

Генерал Ромпиро оказался не столь мрачным изнутри, каким казался снаружи. Он был со мной довольно вежлив, но извлекал из себя звуки, требовавшие немалых усилий для их расшифровки и приведения в подобие человеческого языка. Он, вероятно, нацеливался на английский, и когда его своеобразная синтаксическая система наконец достигала вашего сознания, то разобрать в этом кое-что все же было можно. Если взять эссе, написанное профессором колледжа для журнала, и те выражения, которые использует китаец, стирающий в прачечной белье, для объяснения, куда пропала ваша рубашка, и все это соединить вместе, то вы получите приблизительно то, что генерал приберег для беседы. Он долго рассказывал мне о кровотокающей своей родине, о том, сколько они пытались для нее сделать до прихода доктора. Но больше всего он говорил о Денвере К. Гэлловее.

— Ах, сеньор, — говорил он, — это — самый расчудесный человек. Никогда я еще не видел такого великолепного человека, такого ве-ли-ко-го, такого ловкого, умеющего заставить других быстро исполнить все, что он требует. Он заставит других действовать, а сам будет отдавать приказы и все регулировать. И будет это делать до тех пор, покуда мы не добьемся заметных положительных результатов. Да, да, сеньор. В моей стране, уверяю вас, нет таких великих людей, умеющих так убедительно говорить, раздаривающих такие комплименты, обладающих таким благоразумием и все такое прочее. Ах, этот сеньор Гэлловей!

— Да, — поддержал его я, — старина Денвер парень что надо! Именно такой вам и нужен. Он управлял здесь любым бизнесом, кроме флибустьерства, и способен дополнить этот список.



Я не стал ждать окончания трехдневного срока и решил принять участие в кампании Денвера. От своих хозяев Денвер получил трехмесячный отпуск. Целую неделю он жил в одном номере с генералом и узнавал все чрезвычайно важное о его стране, о чем можно было догадываться по шуму за дверью. Когда мы были уже готовы приступить к практическому исполнению нашего плана, у Денвера карман был набит разными меморандумами, письмами генерала к его друзьям, списками имен и адресов лояльных генералу политиков, которые наверняка помогут усилить популярность этого народного идола. Кроме всех этих обязательств мы увозили с собой активы в виде двадцати тысяч долларов в американской валюте. Генерал Ромпиро был похож на обуглившееся изваяние, но он становился Хитрым Лисом, когда дело доходило до реальной научной политики.

— Вот деньги, — сказал генерал, — правда, немного. У меня есть больше, значительно больше. Вы получите очень много денег, сеньор Гэлловей. Я пришлю их вам, когда они потребуются. Я готов выложить пятьдесят, даже сто тысяч песо, если потребуется, чтобы только быть избранным. Почему бы нет? Черт подери! Если я, став президентом, не смогу сделать себе миллиона долларов, то можете сейчас же пнуть меня в бок! Видит Бог!

Денвер с помощью кубинской машинки для изготовления сигар составил кодовый шифр из английских и испанских слов и отдал генералу копию: таким образом, мы сможем посылать ему секретные донесения о предстоящих выборах, а он нам высылать больше денег. Ну, теперь все было готово, можно было приступить. Генерал Ромпиро лично проводил нас до парохода. На пристани он крепко обнял за талию Денвера и прослезился.

— Благородные вы люди, — говорил он, — генерал Ромпиро доверяет вам, а вы доверяете ему. Поезжайте, своими святыми руками выполните эту работу для вашего друга. Viva la libertad<sup>21</sup>!

— Несомненно, — сказал Денвер. — Viva либеральность, мыло про запас, viva земля лотоса, голосующая за нас! Не беспокойтесь, генерал. Мы вас изберем — это так же ясно, как и банан растет книзу.

— Нарисуйте на меня, нарисуйте, — вдруг попросил генерал.

— Чего это он хочет? — удивился Денвер, заморгав глазами. — Татуировку что ли, ему сделать?

— Глупец! Он хочет, чтобы ты нарисовал ему цифру той суммы, которая понадобится там для выборов. А это будет для него побольше татуировки, будет, скорее, смахивать на вскрытие...

Мы с Денвером на пароходе добрались до Панамы, потом через канал проехали по перешейку, после чего повернули вниз, к городу Эспириту, расположенному на побережье родной страны генерала.

Этот город вызвал бы брюзгливое ворчание и у Д. Говарда Пейна. Я расскажу вам, как сделать нечто подобное. Нужно взять как можно больше филиппинских хибар, две сотни печей для обжига кирпича и все это разместить в виде квадратов на кладбище. Вывезите на тележках все сохранившиеся растения в теплицах Астора и Вандербильта и утыкайте ими землю повсюду, где есть свободное место. Выведите всех пациентов нью-йоркской больницы «Бельвию», всех участников съезда брадобреев и учащихся школы Таскджи на улицы, догоните температуру на градуснике до ста двадцати по Фаренгейту. Поместите гряду Скалистых гор позади, все это обильно полейте дождями, сымитируйте весь бизнес на Рокэвей-бич в середине января, и вы получите точный портрет города Эспириту.

На акклиматизацию у нас с Денвером ушла неделя. Денвер рассылал по адресам письма генерала и сообщал остальной банде о том, что происходило в офисе капитана. Свою штаб-квартиру мы разместили в одном ветхом домишке на боковой улочке, там, где трава вымахала по пояс. До выборов оставалось четыре недели. Но никакого ажиотажа вокруг не наблюдалось. Местным кандидатом в президенты был человек по имени Родрикиз. Эспириту был такой же

---

<sup>21</sup> Viva la libertad! — Да здравствует свобода! (исп.)

столицей страны, как и Кливленд, штат Огайо, столицей Соединенных Штатов, но это был важный политический центр, где готовились революции и обдeldывались все дела.

В конце недели Денвер сказал, что избирательная машина заработала.

— Салли, — выдал он, — мы здесь одержим легкую победу. Но так как генерал Ромпиро совсем не местный дон Жуан, то толпа на него не реагирует. Здесь царит полная апатия, такую проявляет провинциальный делегат при проповеди капеллана. Так что нам нужно добавить огня в вяло текущую избирательную кампанию, и мы всех удивим, когда избиратели придут к урнам.

— Ну и как это ты собираешься делать? — спросил его я.

— Как-как? Как обычно! — заверил меня удивленный Денвер. — Мы перетаскиваем всех ораторов на свою сторону, и они каждый вечер произносят пламенные речи на родном наречии, а мы под тенью пальм устраиваем шумные парады, раздаем бесплатную выпивку, скупаем, само собой, все духовые оркестры, ну а поцелуями детишек придется заняться тебе, Салли, их тут, должен сказать, хоть пруд пруди.

— Ну а еще что? — поинтересовался я.

— Как что! — переспросил Денвер. — Мы привлечем всех местных целителей, пообещав им пару глотков виски, будем раздавать наряды на уголь, бесплатные заказы в бакалейных лавках, организуем пару пикников под банановыми деревьями, танцы в пожарной команде, ну и все такое прочее... Но, прежде всего, Салли, я намерен устроить грандиозный пикник на морском берегу, такой, которого еще никогда не было к югу от тропика Козерога. Я все обмозговал с самого начала. Мы набьем животы всех жителей города и туземцев из джунглей моллюсками с нескольких километров пляжа. Это — первое в моей программе. Может, пойдешь и сейчас же приступишь к организации этого великого события, а? А я тем временем взгляну на подсчеты генерала в отношении голосов, которые он намерен получить в прибрежных районах.

В Мексике я немного выучил испанский и отправился, как сказал мне Денвер, но минут через пятнадцать я вернулся в штаб-квартиру.

— Может, в этой стране и есть съедобный морской моллюск, но его здесь никто не видел, — сказал я.

— Это что еще за новость! — воскликнул Денвер, широко открыв от удивления рот и вытаращив на меня глаза. — Как это так — нет моллюсков? Где вы видели в мире страну, в которой нет съедобных моллюсков? Что это за выборы, да и как их проводить, если не устроить пикника на морском берегу с печеными моллюсками? Хотелось бы мне знать, Салли, ты уверен, что их нет?

— Их нет даже в банках, — ответил я.

— Тогда, ради бога, скорее отправляйся туда и выясни, что же здесь ест народ? Надо же набить их желудки какой-то жратвой.

Я снова вышел. Через час я вернулся.

— Вот что они едят, — сказал я и начал перечислять: — Черепах, маниоку, козлятину, курицу с рисом, авокадо, юкку печеные яйца. Если они жрут все это, то не так просто будет заполнить их голоса.

Через несколько дней в Эспириту стали прибывать менеджеры по проведению избирательной кампании из других городов. Наша штаб-квартира превратилась в гудящий улей. У нас был свой переводчик, вода со льдом, выпивка, сигары, а Денвер так часто обращался к золотым кругляшкам генерала, что их запас истощился до такой степени, что на него теперь можно было бы купить всего один голос в штате Огайо. Тогда Денвер отбил телеграмму генералу Ромпиро с требованием немедленно выслать десять тысяч и вскоре их получил.

В Эспириту было несколько американцев, но все они занимались бизнесом или принимали участие в каких-то проектах и поэтому в политику не вмешивались, что было весьма благоразумно с их стороны. Но они устраивали для нас с Денвером приятное времяпрепровождение и всегда заботились о том, чтобы у нас была приличная еда и отличная

выпивка. Среди них был один по имени Хикс, который обычно приходил к нам и слонялся без дела в штаб-квартире. Росту в нем было шесть футов и четыре дюйма, а весил он сто тридцать пять фунтов. Он любил какао, но местная лихорадка и плохой климат выжали из него все соки. Говорят, он не улыбался вот уже восемь лет. Лицо у него было вытянутое, не менее трех футов в длину, но всегда было абсолютно неподвижным, за исключением того момента, когда он открывал рот, чтобы проглотить таблетку хинина. Хикс любил сидеть в нашей штаб-квартире, бить блох и выражать свой сарказм.

— Меня политика не очень интересует, — однажды сказал он, — но мне очень хочется, чтобы вы сказали мне, что вы тут пытаетесь сделать, Гэлловей?

— Мы поддерживаем кандидатуру генерала Ромпиро, — ответил Денвер. — Мы намерены посадить его в президентское кресло.

— Ну, — продолжал Хикс, — я на вашем месте не очень бы с этим торопился. У вас еще уйма времени, знаете ли.

— Не меньше, чем требуется, — отрезал Денвер.

Денвер продолжал в том же духе и делал все, чтобы дело шло гладко. Он исподтишка раздавал деньги своим помощникам, и те гурьбой постоянно ходили за ним. Каждому жителю города предлагалась дармовая выпивка, духовые оркестры играли каждый вечер, организовывались фейерверки, а куча целителей бродила по улицам города, скупая голоса день и ночь во имя провозглашения новой политики в Эспириту, и всем это очень нравилось.

Наконец, приблизился день выборов — 4 ноября. Накануне вечером, когда мы с Денвером раскуривали свои трубочки, сидя в нашей штаб-квартире, туда явился Хикс и, расслабившись, сел с печальным видом на стул. Денвер был весел, в радостном, приподнятом настроении.

— Ромпиро выиграет без особого труда, — сказал он. — Мы победим с перевесом в десять тысяч. Все предусмотрено, остается лишь кричать здравицы. Завтра все и состоится.

— А что состоится завтра? — спросил Хикс.

— Как что, президентские выборы, разумеется, — ответил Денвер.

— Послушайте, — сказал Хикс с лукавым видом, — разве никто из этих парней вам не сказал, что выборы прошли за неделю до вашего приезда? Конгресс своим решением перенес дату на двадцать седьмое июля. Родакриз был избран большинством в семнадцать тысяч голосов. А я-то думал, что вы ведете пропаганду за избрание Ромпиро на следующий срок, то есть через два года. Просто страшно удивлялся, для чего поднимать всю возню так рано, можно сказать, заблаговременно!

Трубка выпала у меня из рук. Денвер откусил черенок своей. Оба мы молчали.

И вдруг я услышал звук, словно кто-то отодрал драпку с крыши сарая. Это засмеялся Хикс, засмеялся впервые за последние восемь лет.

Салли Магон молчал, когда официант наливал ему в чашку черный кофе.

— Да, ваш друг на самом деле был удивительным менеджером.

— Не торопитесь, — сказал Салли, — я еще не сказал вам, что из этого всего вышло. Все еще впереди. Когда мы вернулись в Нью-Йорк, генерал Ромпиро ожидал нас на пристани. Он не стоял на месте, а постоянно пританцовывал, словно медведь светло-коричневой масти, и с нетерпением ожидал желанной вести, потому что Денвер только сообщил ему о нашем приезде и ничего больше.

— Ну, меня избрали? — завопил он. — Меня избрали, друг мой? Потребовала ли моя страна избрать меня президентом? На днях я отправил вам свой последний доллар. Теперь просто необходимо, чтобы меня избрали, чтобы я стал президентом. У меня больше нет денег. Так меня избрали, сеньор Гэлловей?

Денвер повернулся ко мне:

— Ну-ка, Салли, оставь нас с генералом Ромпиро наедине. Нужно будет как-то помягче сообщить ему об этом. Неприлично, если кто-то еще станет очевидцем этой тягостной сцены. Сейчас наступает такой момент, — продолжал Денвер, — когда Денверу нужно стать таким милым, сладкоречивым колдуном, в противном случае придется отказаться от всех своих

заслуженных медалей...

Через пару дней я пришел в отель. Денвер находился на своем обычном месте, и он выглядел героем из двух исторических романов. Всем с удовольствием рассказывал, как он прекрасно провел время на своей апельсиновой плантации во Флориде.

— Ну, все обошлось с генералом, не так ли? — спросил я его.

— Ты еще спрашиваешь? — хладнокровно ответил он. — Пойдем, сам увидишь.

Взяв меня под руку, он повел меня к двери ресторана. Там мы увидели небольшого, толстенького человечка шоколадного цвета в парадной форме, лицо у него сияло от радости, когда он, раздуваясь от гордости, ловко скользил по ресторанному паркету с подносом в руках. Провалиться мне на этом месте, но Денвер на самом деле сделал генерала Ромпиро главным официантом отеля «Брунsvик»!

— Ну а мистер Гэлловей все еще в этом бизнесе? По-прежнему занимается менеджментом? — спросил я, когда Магон закончил свой рассказ.

Салли покачал головой.

— Денвер женился на богатой вдовушке с золотисто-каштановыми волосами и теперь является владельцем отеля в Гарлеме. Иногда он там помогает своим служащим.

### Рождественский чулок Дика-Свистуна

Дик-Свистун с величайшей осторожностью приоткрыл дверь товарного вагона, ибо статья 5716 городского устава предусматривала (возможно, вопреки конституции) арест всякого подозрительного лица, а Дик чуть не наизусть знал этот устав. Поэтому, прежде чем выбраться из вагона, он окинул взглядом окрестность, как генерал поле боя.

Город не изменился со времени его последнего визита: все тот же многострадальный, странноприимный южный город, рай для продрогших бродяг. На насыпи, там, где стоял вагон, громоздились темные груды товаров. Ветер пропах знакомой вонью от старого брезента, укрывавшего тюки и бочки. Мутная река, вкрадчиво урча, скользила мимо судов. Ниже по течению у Шалмета<sup>22</sup> была большая излучина — Дик видел ее по огонькам фонарей. На другом берегу длинной кляксой лежал Алжир<sup>23</sup> особенно темный на фоне светлеющего неба. Трудлюбивые баржи, спешащие к утренним рейсам, истошно гудели, будто возвещая рассвет. Итальянские люггеры, груженные ранней зеленью и моллюсками, ползли к своему причалу. Смутным подземным гулом уже доносился сюда шум трамваев и телег; и паромы, золушки судоходства, нехотя приступили к своей черной работе.

Рыжая голова Свистуна вдруг скрылась в вагоне. Взор его не вынес ослепительного зрелища: огромная, несусветная фигура полисмена показалась из-за мешков с рисом и остановилась шагах в двадцати от вагона. Ежедневная мистерия рассвета, разыгрываемая над Алжиром, удостоилась внимания великолепного представителя муниципальной власти. С неколебимым достоинством он разглядывал занимающееся зарево, покуда наконец не поворотил ему спину, решив, по-видимому, что солнце обойдется без вмешательства закона и пусть его встает. Затем он оглядел мешки с рисом, извлек из кармана плоскую флягу и, запрокинув голову, стал обозревать небесный свод.

Дик-Свистун, по профессии бродяга, был почти на дружеской ноге с этим должностным лицом. Они уже не раз встречались на набережной, так как полицейского, тоже любителя музыки, привлекал изощренный свист жалкого оборванца. Однако же сейчас Дику не очень-то хотелось возобновлять знакомство. Одно дело встретиться с полицейским на заброшенной

---

<sup>22</sup> Национальный исторический парк в Новом Орлеане.

<sup>23</sup> Район Нового Орлеана.

верфи и просвистеть с ним вместе арию-другую, а совсем иное дело попасть к нему в лапы возле товарного вагона. Поэтому Дик стал ждать, пока тот сдвинется наконец с места — ибо неумолимому закону движения подвластны даже новоорлеанские полисмены — и скоро Каланча Фриц величественно исчез за составами.

Дик-Свистун выждал еще ровно столько времени, сколько подсказывало ему благоразумие, а потом проворно спрыгнул на землю. Приняв — по мере возможности — вид честного труженика в поисках насущного заработка, он зашагал через рельсы, собираясь направить свои стопы по тихой Жиро-стрит к условной скамейке в сквере Лафайетта, где, согласно договоренности, он рассчитывал встретиться с дружкой по кличке Ловкач, отважным пилигримом, на сутки опередившим его в вагоне для скота, куда завлекла его отставшая филенка.

Пробираясь между больших, вонючих, затхлых пакгаузов, где еще залегла ночь, Дик уступил привычке, которой был обязан своим прозвищем. Тихий, но четкий в каждой ноте, как соловьиная трель, свист зазвенел прозрачно и нежно, будто среди скучных кирпичных громад запрятан водоем и туда стекают певучие дождевые капли. Сперва Дик завел было один мотив, но он тотчас утонул в вихре импровизаций. Тут слышалось и журчание горного ручья, и дрожь камышей над зябкой заводью, и голос сонной птахи.

Завернув за угол, Свистун наткнулся на синюю гору, утыканную медными пуговицами.

— Так, — спокойно заметила гора, — ты уже вернулся. А до мороза еще две недели осталось. И свистеть ты разушился. Свальшивил в последней такте.

— Да чего ты понимаешь, — отвечал Дик-Свистун, отважившись на фамильярный тон. — Чего ты понимаешь в музыке? Вот давай еще послушай. Я во как свистел — слышь?

Он уже вытянул губы для свиста, но не тут-то было.

— Штой, — сказал верзила-полицейский. — Сначала научись. И сначала понимай, что в рваной кармане только ветер свищет и бродяга всегда будет свистеть в кулак.

Рот Фрица, пышно обрамленный усами, сложился в дудочку, и из недр его вылился звук, густой и сочный, как пение фагота. Он воспроизвел несколько тактов того мотива, который насвистывал Дик. Исполнение было холодноватое, но верное, и он особенно выделил покорбившую его ноту.

— Зи тут простое, а не зи бемоль. Кстати, скаши спасипо, што меня встретиль. Еще час, и я бы засадила тебя за решетку; посмотрим, как бы ты в клетке свистель. Есть приказ после восход хватать каждый бестельник.

— Чего-о?

— Хватать каждый бестельник, кто не зарабатывай на хлеб. Тридцать дней или пятнадцать доллар штраф.

— Да ты правду говоришь-то или шутики шутишь?

— Послушай самый допрый совет. Я ведь знаю, ты не такой плохой, как другие. И «Der Freischutz»<sup>24</sup> свистишь лучше, чем я сам. Но польше не натыкайся на полицай и поскорей удери из город. До свидания.

Значит, мадам Орлеан наскучил беспокойный чужой выводок, который ежегодно мостился к ней под теплое крылышко.

Когда огромный полицейский ушел, Дик-Свистун сперва помедлил, оскорбленный в лучших чувствах, точно выгоняемый из квартиры безденежный жилец. Он-то размечтался, как славно будет ему уже после встречи с дружкой, без трудов и хлопот; с утра послоняться по пристани, подбирая рассыпанные при разгрузке бананы и кокосы; потом подкрепиться у стоек с бесплатной закуской, от которых беспечным хозяевам станет жалко или лень его отгонять; потом попыхтеть трубкой где-нибудь в парке под цветущим кустом и, наконец, прикорнуть в темном уголке на верфи. Но — ничего не поделаешь — его изгоняли строгим приказом. А потому, всюю избегая встречи с синими мундирами, он начал отступление к сельскому

---

<sup>24</sup> «Волшебный стрелок» (нем.), опера Вебера.

прибежищу. И в деревне можно продержаться, только бы морозом не прихватило, а все прочее не беда.

Однако же Дик-Свистун шел по старому Французскому рынку в глубоком унынии. Безопасности ради он старался не выходить из роли честного мастерового, направляющегося на работу. Кто-то, не поддавшись на удочку, окликнул его из рядов: «Эй, бездельник!», — и когда удивленный бездельник оглянулся, торговец, растаяв от этого доказательства собственной пронизательности, пожаловал ему лопать хлеба, две сосиски, и проблема завтрака тем самым была решена.

Когда улицы, волею топографии, стали уклоняться от берега, изгнанник взобрался на насыпь и пошел дальше исхоженной тропкой. Пригородное око недоверчиво его сверлило, в каждом встречном жил суровый дух беспощадного нового указа. И нельзя было спрятаться от этих назойливых глаз, затеряться в толпе.

Так прошел он наобум шесть миль, и возле Шалмета его ошарашила грозная картина: тут строили новый порт, заканчивали пирс. Ходили лебедки. Тачки, кирки, лопаты со всех сторон нацелились на него, как удавы. Важный десятник оценивающе смерил его взглядом, как вербовщик новобранца. Чернокожие, темнокожие — все трудились в поте лица. Он в ужасе бежал.

К полудню он добрался до плантаций, — большой, печальной, молчаливой равнины, раскинувшейся подле могучей реки. Он оглядел поля сахарного тростника, огромные, без конца и края. Был самый сезон производства сахара, работали сборщики; телеги уныло скрипели им вслед; негры-погонщики ободряли ленивых мулов отборной и мелодичной бранью. По темным рощам, дальним и оттого подернутым синевой, можно было угадать, где жилье. Высокие трубы сахарных заводов вонзались в небо далеко одна от другой, как маяки на море.

Вдруг безошибочный нюх подсказал Свистуну, что неподалеку жарится рыба. Как пойнтер на куропатку, устремился он вниз по насыпи, прямо к костру легковерного и почтенного рыбака, которого он пленил своими рассказами и потому отобедал по-царски, а затем по-философски свел на нет три худших дневных часа, вздремнув под деревом.

Когда он проснулся и продолжил свой исход, сонное тепло дня сменилось острым холодком, и такое предвестие промозглой ночи заставило скитальца ускорить шаги и призадуматься о ночлеге. Он шел по дороге внизу насыпи, послушно повторявшей все ее повороты и ведущей неведомо куда. По бокам, до самой колеи, она заросла кустами и буйной травой, и из этой засады взлетала и кружила над Диком несносная мошкара, жужжа гнусными, тоненькими голосками. И по мере того, как подступали тьма и холод, комариный плач превращался в жадный, надсадный вой, вытеснявший остальные звуки. Справа от Дика, на фоне неба, как на экране, всплыл зеленый огонек, потом мачты и трубы идущего в порт парохода. А слева были таинственные топи, откуда несло странное гуканье и придушенные стоны. Чтоб разогнать злых духов, Свистун пустил веселую трель, — наверное, с тех давних пор, когда сам Пан наяривал на своей свирели, глухое уныние этих мест не нарушалось подобными звуками.

Сзади донесся неясный рокот, который почти тотчас обернулся быстрой дробью копыт, и Дик шагнул на росистую обочину, пропуская лошадей. Оглянувшись, он увидел ладную упряжку вороних и щегольскую коляску. Впереди сидел седоусый здоровяк и не спускал глаз с натянутых вожжей. Сзади помещались немолодая дама с добрым лицом и очень хорошенькая девушка, почти ребенок. Полость сползла с колен седоусого господина, и Дик заметил у его ног два здоровенных мешка — слоняясь по городам, Дик навидался таких мешков. Обычно их бережно вынимали из закрытых фургонов и вносили в двери банка. Кроме того, экипаж был до отказа набит свертками всевозможных видов и размеров.

Когда коляска поравнялась с бродягой, шалунья с блестящими глазами, уступив лукавому порыву, вытянула шейку, нежно, ослепительно улыбнулась и пропела дискантом: «С Рождеством вас!» Такое нечасто случалось с Диком-Свистуном, поэтому сначала он опешил и не знал, как тут надо ответить. Но долго размышлять было некогда, и он сделал

первое, что пришло ему на ум: сорвал с головы продавленный котелок, широко взмахнул им и выкрикнул вслед улетающей коляске громко, но уважительно: «Ишь как!»

Наклоняясь, девушка сдвинула один сверток, он развернулся, и на дорогу упало что-то длинное и черное; Дик подошел поближе и поднял новый тонкий шелковый чулок, роскошно и нежно зашуршавший у него в руке.

— Вот девка-то, а! — сказал Дик-Свистун, и вся его веснушчатая физиономия расплылась в улыбке. — Нет, ты подумай, а? С Рождеством, стало быть, вас! Как кукушечка из часиков прокуковала. А воронье-то — до чего ж хороши, а старый-то мешки с деньгами пинает, будто с яблоками они сушеными. Накупили, выходит, всего к Рождеству, а она чулочек-то и оброни, какой Санта-Клаусу припасла. Вот девка-то! С Рождеством! Ты подумай! И так просто, как «здрате вам» сказала, а все одно заметно, что тонкая штучка.

Дик-Свистун бережно сложил чулок и сунул в карман.

Только часа через два набрел он на жилье. За поворотом дороги показались строения огромной плантации. Он легко распознал обиталище хозяев в большом широком доме с высокими, яркими окнами, раскинутом на два крыла, сплошь опоясанные верандой. Дом стоял на ровной лужайке; из комнат лился неясный свет. Усадьба была обсажена прекрасной рощей. Вдоль стен и заборов рос густой, запущенный кустарник. Бараки для рабочих и склад располагались сзади, в некотором отдалении.

Вдоль дороги теперь с обеих сторон шла ограда, и, подойдя поближе к домам, Дик вдруг стал и принялся.

— Или где-то тут готовят харч для нашего брата, — сказал он сам себе, — или мой нос уже ни к черту не годен.

Не долго думая, он перемахнул через ограду туда, откуда несся запах. Он попал на заброшенное место, где валялись кучи старого кирпича и всякого хлама. В уголке он заметил отблеск почти выгоревшего костра, а вокруг него различил смутные очертания лежащих и сидящих людей. Он подошел поближе и при свете вдруг вспыхнувшей головешки ясно разглядел оборванного толстяка в темной кофте и шапке.

— А малый-то, — пробормотал про себя Дик-Свистун, — ну чисто Гарри Бостонец. Попытаю, не он ли самый.

И не успел он просвистеть несколько тактов фокстрота, как мелодия была подхвачена и тотчас окончилась особой руладой. Первый солист уверенно приблизился к костру. Толстяк поднял глаза и молвил хриплым, задыхающимся голосом:

— Господа, какой приятный сюрприз. К нашему обществу присоединился мистер Дик-Свистун, мой старинный друг, за которого я полностью ручаюсь. Пусть слуга принесет еще один прибор. Мистер Свистун разделит нашу трапезу и тем временем объяснит, какому счастливому стечению обстоятельств мы обязаны его присутствием.

— И не надоест тебе язык-то чесать, Бостонец? Ну как по писаному! — сказал Дик-Свистун. — Ладно, на приглашении спасибо. Попал я сюда, видать, тем же путем, что и вы. Меня нынче фараон шугнул. Работаете тут, или как?

— Гостю, — сурово отвечал Бостонец, — не следовало бы оскорблять хозяев, покуда не набил себе брюха. Чтоб не уйти не солоно хлебавши. Работаете! Ладно уж, я сдержусь. Мы пятеро — я, Глухой Пит, Моргунок, Пучеглазый и Том-Индианец вчера узнали, что мадам Орлеан задумала недоброе против заезжих джентльменов, топчущих ее грязные улицы. И как только их укрыли нежные крылья сумерек, окутывая их и всякое такое, мы пустились в путь. Моргунок, будь любезен, передай пустую банку от устриц господину с пустым желудком.

На следующие десять минут внимание туристов всецело поглотил ужин. В огромном пятигаллонном керосинном баке они изготовили жаркое, которое отведывали из менее крупных банок, подобранных на пустыре.

Дик-Свистун давно знал Бостонца, и знал, что ловчей и удачливей его не найти во всей братии. По виду его можно было принять за деревенского лавочника со средствами или зажиточного гуртовщика. Крепкий, здоровый, круглолицый, он всегда гладко брился, аккуратно одевался и особенно исправно чистил башмаки. За последние десять лет он

заслужил репутацию несравненного мастера по части мошеннических проделок и не уронил себя ни единым днем работы. Среди его соратников шел слух, будто он скопил кругленькую сумму. Остальные четверо были типичнейшими представителями того обшарпанного, зачумленного племени, которое открыто красуется под этикеткой «подозрительные лица».

Вот они выскребли последние остатки жаркого, прикурили от головешек, а затем двое из них отвели Бостонца в сторону и стали ему что-то таинственно нашептывать. Он уверенно кивал, а потом обратился к Дику:

— Послушай, друг, разговор к тебе есть. Мы тут на дело выходим. Предлагаю вступить в долю. Получишь на равных с ребятами, только помоги. Двести работников завтра утром должны получить недельное жалованье. Завтра Рождество, и они хотят отдохнуть. Им хозяин сказал: «Поработаете с пяти до девяти утра, соберете сахару на целый поезд, и я с каждым расплачусь за неделю и еще за день в придачу». Они говорят: «Ура!» Он едет в Новый Орлеан и привозит наличные. Две тысячи семьдесят четыре доллара и пятьдесят центов. Это я узнал от одного малого, который не умеет держать язык за зубами, а ему сказал бухгалтер из банка. Хозяин думает, что он эти денежки выплатит работникам. Да только ошибается он. Он их нам выплатит. Они останутся, как и положено, в руках у праздного класса. Половину возьму я, а другую половину вы разделите между собой. Ты спросишь почему? Я — автор. Я придумал план. Значит, так. У хозяев сейчас гости, но они к девяти уедут. Они на часок-другой заглянули. Если вовремя не уберутся, все равно будем исполнять мой план. Нам нужна целая ночь, чтобы смыться с долларами. Они тяжелые. К девяти Глухой Пит и Моргунок пройдут по дороге за домом четверть мили и подожгут поле, где тростник еще не убран. Ветер сейчас хороший, и оно разгорится за десять минут. Поднимется тревога, и все тут же сбегутся тушить пожар. А в доме останутся одни женщины, и денежки — к нашим услугам. Слыхал ты, как горит тростник? Так трещит, что ни одной женщине не перекричать. Дело верное. Только вот нас могут догнать уже с деньгами. Ну а если ты...

— Бостонец, — перебил его Дик-Свистун и поднялся на ноги. — На угощении спасибо, а теперь я, это, пойду.

— Почему же? — спросил Бостонец и тоже поднялся.

— На меня не рассчитывай. Так и знай. Оно, конечно, я бродяга, а чего другого за мной не водится. Не мое это дело — грабить. Спокойной вам, значит, ночи и спасибо на...

Дик уже отступил на несколько шагов, но вдруг остановился как вкопанный. Бостонец наставил на него крупнокалиберный револьвер.

— Прошу садиться, — сказал вожак, — хорош бы я был, если б из-за тебя испортил всю игру. Ты останешься тут, пока мы обстригаем дело. Смотри, не двинься дальше той кучи кирпича. Шаг за кучу — и я вынужден буду стрелять. Лучше держись, брат, поспокойнее.

— А я всегда спокойный, — сказал Дик-Свистун. — Мое дело такое. Опустит-ка свой револьвер, и будет тебе. Я, это, как в газете пишется, остаюсь в ваших рядах.

— Ладно, — сказал Бостонец и опустил оружие, когда Дик снова сел на доску, торчавшую из штабеля дров. — Только не вздумай удрать. Я от своего счастья не откажусь, даже если придется ради него ухлопать старого приятеля. Сам я зла никому не желаю, но уж очень мне эта тысяча долларов кстати! Брошу бродяжить и открою бар в одном хорошем городке. Надоело мыкаться.

Гарри Бостонец вынул из кармана дешевые серебряные часы и стал разглядывать их у огня.

— Без четверти девять, — сказал он. — Ну, Пит, Моргунок, приступайте. Пойдете задами по дороге и подожжете тростник со всех сторон. Потом взберетесь на насыпь, вернетесь по ней, а не по дороге, и никому не попадетесь на глаза. Когда вернетесь, все уже уберут гасить пожар, а мы сразу в дом, и — денежки наши. Давайте выкладывайте спички.

Пит и Моргунок отобрали спички у всей компании, причем Дик с большой готовностью внес свою лепту, и двое мрачных оборванцев при тусклом свете звезд двинулись в сторону дороги.

Двое из оставшихся, Пучеглазый и Том-Индианец, уютно развалились на кучах мусора,



разглядывали Дика с нескрываемым осуждением. Бостонец, решив, что неверный никуда не денется, несколько ослабил свою бдительность. Свистун поднялся и стал бродить взад-вперед, строго соблюдая предписанные ему границы.

— А почему ты знаешь, — спросил он, останавливаясь перед Бостоном, — что хозяин деньги-то домой привез?

— Я располагаю фактами, — ответил Бостонец. — Он ездил в Новый Орлеан и получил их сегодня, это точно. Что, передумал? С нами пойдешь?

— Нет, просто так спросил. У него какая упряжка-то?

— Пара вороных.

— Коляска?

— Угу.

— И женщины с ним ездили?

— Жена и дочка. Ты для какой газеты интервью берешь?

— Просто для разговору спросил. Вроде они меня, это, на дороге обогнали.

Продолжая свою скромную прогулку подле костра, Дик нащупал в кармане чулок, поднятый на дороге.

— Вот девка-то, — пробормотал он, усмехаясь.

Между деревьями ярдах в семидесяти от костра он различил хозяйский дом. Сквозь большие окна лился мягкий свет, озаря просторную веранду и часть лужайки.

— Что ты сказал? — встрепенулся Бостонец.

— Да так я, ничего, — отвечал Дик-Свистун и беспечно пнул носком башмака камешек.

— Простая такая, — тихонько рассуждал странствующий музыкант сам с собою, — и веселая, и самостоятельная, и шику-то, шику! С Рождеством вас. Нет, ты подумай, а?

В столовой Бельмидской плантации между тем подавали обед.

Столовая со всем ее убранством говорила о том, что прежние времена живут здесь не в памяти, а в обиходе. Посуда так поражала роскошью, что не будь она к тому же старинной и изысканной, она могла бы показаться безвкусной; подписи тонких мастеров украшали портреты на стенах; кушанья тут готовили такие, что у любого гурмана потекли бы слюнки; гостей обносили бесшумно, проворно и обильно, как в те дни, когда слуги были собственностью, как сервизы. Имена, какими хозяин и гости адресовались друг к другу, значились в анналах двух наций. Манеры и разговор носили тот особенный характер простоты, что дается всего трудней, — простоты с соблюдением этикета. Хозяин служил, казалось, тем генератором, который вырабатывал главную долю остроумия и веселья. Молодежи нелегко было отражать огонь его добродушных насмешек. Правда, не один юноша отваживался штурмовать его укрепления в надежде завоевать улыбку дам; но даже если кто и посылал меткое копьё, хозяин обрушивал на удачливого острослова такие громы хохота, что тот чувствовал себя побежденным. Во главе стола, невозмутимая, почтенная, благожелательная, царила хозяйка дома, к месту улыбалась, бросала нужное слово, ободряющий взгляд.

Беседа легка перекидывалась с одного на другое, и ее здесь трудно передать, но вот речь зашла о бедствии, занимавшем с недавних пор всех плантаторов в округе, — о бродягах. Хозяин не преминул осыпать жену градом шуточных упреков, обвиняя ее в том, что она способствует распространению заразы.

— Каждую зиму берег ими так и кишит, — сказал он. — Забивают весь Новый Орлеан, и нам достаются излишки, то есть самое худшее. Но несколько дней назад мадам Орлеан вдруг обнаружила, что в лавку не может выйти, не перепачкав юбок об оборванцев, загорающих на ее тротуарах, и заявила полиции: «Хватай их всех». Ну полиция схватила десятка два, а остальные три-четыре тысячи разбрелись по дорогам, и здешняя госпожа, — он трагически указал на нее серебряным ножом, — их кормит. Работать они не хотят, они даже не вступают в разговор с моими людьми и вступают в дружбу с моими псами; а вы, сударыня, кормите их у меня на глазах и не позволяете мне вмешиваться. Скажи, дорогая, вот сегодня скольких ты уже толкнула на путь безделья и порока?

— Шестерых, кажется. Но ведь двое, — возразила хозяйка, тоже улыбаясь, — хотели

работать, ты сам слышал.

Хозяин только расхохотался в ответ.

— Хотели. Но по специальности. Первый — мастер по производству бумажных цветов, а второй — стеклодув. Извольте видеть, ищут работу! Но по специальности, иначе они и пальцем не двинут.

— А еще один, — продолжала сердобольная госпожа, — так прекрасно говорит. Просто редкость среди его класса. И часы носит. И жил в Бостоне. Нет, не верю я, что все они плохие. Просто, по-моему, они недостаточно развиты. Мне они всегда представляются детьми, у которых ум перестал расти, хотя и растет борода. Сегодня, когда ехали домой, мы обогнали одного такого: совершенная наивность и доброта написаны на лице. Он свистел интермеццо из «Cavalleria»<sup>25</sup> так, что ощущался дух самого Масканьи.

Девушка с блестящими глазами, сидевшая слева от хозяйки, наклонилась к ней и проговорила, таинственно понизив голос:

— Интересно, мама, нашел тот бродяга мой чулок или нет? А вывесит он его сегодня? Я-то могу только один вывесить. Знаешь, почему мне вдруг понадобилась еще пара шелковых чулок? Тетушка Джуди говорит, если повесить два ненадеванных чулка, Санта-Клаус набьет один всякой всячиной, а месье Памб положит в другой чулок плату за все те слова, — добрые и злые, — что ты говорила накануне. Вот почему я сегодня со всеми вдруг такая милая и вежливая. Знаешь, месье Памб волшебник, он...

Слова ее были прерваны самым неожиданным образом.

Как некий призрак падающей звезды, черная лента, пробив стекло, взвилась над подоконником, со стуком упала на стол, смела со скатерти много хрусталя и фарфора, а потом через головы собравшихся метнулась к стене и напечатлела на ней зазубрину, так что и ныне всякий гость Бельмида дивится, глядя на нее и слушая эту историю.

Женщины взвизгнули на разные голоса, а мужчины повскакали из-за стола и непременно схватились бы за шпаги, если б их не сдерживали рамки хронологии.

Хозяин первым пришел в себя.

— Боже! — воскликнул он. — Метеорологический галантерейный ливень! Уж не установлено ли наконец сообщение с Марсом?

— Скорей... гм... с Венерой, — отважился юный гость и в надежде на успех оглядел девиц, но те остались безучастны.

Хозяин вытянул руку, и в ней закачался нарушитель спокойствия — длинный черный чулок.

— В нем что-то есть, — объявил хозяин. Он взял его за носок, потряс, и оттуда вывалился камень, завернутый в пожелтевший листок бумаги.

— Итак, впервые в нашем веке — известие с другой планеты! — крикнул хозяин, кивнул обступившим его гостям, с нарочитой тщательностью поправил очки и стал читать. Не успел он кончить, как разом превратился из любезного хлебосола в решительного делового человека. Он тотчас затряс колокольчик и приказал бесшумно явившемуся на звонок мулату:

— Поди скажи мистеру Уэсли, пусть возьмет Рива, Мориса, десять рослых надежных работников и идет с ними к крыльцу. Скажи ему, пусть люди захватят оружие, побольше веревок и ремней. И пусть поторопятся.

И только затем он вслух прочитал то, что было написано на листке.

«Господа хорошие,

Кроме меня на дороги у пустыря пять бродяг. Мне грозят пистолетам и я избрал такой способ. 2 парня пашли паджеч тростник за домом вы пойдете тушить а они ограбят деньги какие работникам привезли и убигут. Чулочик девочка на дорогу абронила скажите ей с рожеством как она мне сказала. Сперва их поймай на дороги а потом меня вызволяй.

---

<sup>25</sup> «Cavalleria Rusticana» («Сельская честь») — опера итальянского композитора Масканьи.

*Истинно ваш Дик-Свистун».*

В последующие полчаса в Бельмиде были без шума проведены быстрые маневры, в результате которых пятерых негодующих бродяг схватили и засадили во флигель ждать утра и возмездия. Второй результат — неслыханный восторг девиц, вызванный отвагой и решимостью молодых людей. И еще одно: поглядите на героя Дика-Свистуна! Он сидит на пиру у плантатора, и его потчуют яствами, о каких он прежде и не слыхивал, за ним ухаживают представительницы прекрасной половины человечества, исполненные такой прелести и «шику», что, несмотря на набитый рот, он едва удерживается от свиста. Его заставили подробно рассказать о столкновении со страшной шайкой Бостонца, о том, как ему удалось написать записку, обернуть ею камешек, сунуть в чулок и метко запустить, подобно комете, в одно из ярких окон столовой.

Хозяин поклялся, что страннику уж не придется более странствовать; что доброта его и честность достойны всяческих наград; что он перед Диком в неоплатном долгу, ибо разве не спас он его от огромных убытков, а быть может, и еще горших бедствий? Плантатор заявил, что отныне Дик предоставлен его заботам, что ему тотчас подыщут должность, соответствующую его способностям, и усыпят розами его путь к процветанию и почестям, какие только доступны в пределах плантации.

Но теперь, решили все, Дик утомлен и прежде всего ему надо отдохнуть и выспаться. Хозяйка отдала распоряжение слуге, и Дика препроводили в ту часть дома, где располагались людские. В комнату к нему тотчас внесли цинковую ванну с водой и опустили на клеенку. И скитальца оставили одного.

Он осмотрел комнату при свете свечи. На кровати под аккуратно отогнутым уголком покрывала сверкали белоснежные простыни и подушки. Старый, но чистый красный ковер устилал пол. На комодe стояло зеркало, на умывальнике — расписной таз и кувшин; по углам — стулья, обитые чем-то мягким. На столике были книги, бумага, свежие розы в стакане. На полочке висели полотенца, лежало мыло в белой мыльнице.

Дик-Свистун поставил свечу на стул и аккуратно спрятал шапку под стол. Удовлетворив свою любознательность (что же еще?) тщательным осмотром, он снял пиджак, скатал и положил на полу к стенке, как можно дальше от непрошеной ванны. Используя пиджак в качестве подушки, он роскошно раскинулся на ковре.

В день Рождества, когда первые лучи рассвета засияли над топями, Дик-Свистун проснулся и стал привычно нащупывать шапку. Тут он вспомнил, как его подхватило накануне развевающимся подолом Фортуны, встал, подошел к окну, отворил его и подставил пылающий лоб дыханию утра, чтобы освежиться и удостовериться, что все это ему не приснилось.

Но вот робкого слуха его достиг зловещий шум.

Все рабочие плантации дружно взялись за нынешний труд, чтоб пораньше освободиться. Могучая поступь страшного Владыки — Труда сотрясала землю, и наш бедный Сказочный Принц, навеки скрытый под жалкими лохмотьями, схватился за подоконник — даром что стоял в волшебном замке — и задрожал всем телом.

Уже грохоча перекатывались бочки с сахаром и (в точности как в тюрьме!) гремели цепи — это с бранью сгоняли мулов на их места у сторожков телег. Злобный крошечный паровозик с плоскими вагонетками на буксире пытел и пускал пар по узкоколейке, толпы рабочих, едва различимых в сером утреннем свете, ухая и крича, грузили поезд недельной выработкой сахара. Тут поэма, сказанье — какое! целая трагедия, и труд, проклятие человечества, — главная ее тема.

Несмотря на декабрьский холодок, Дика прошиб пот. Он высунулся из окна и посмотрел вниз. По цветочному бордюру он сообразил, что там, в пятнадцати футах от него, — мягкая земля.

Осторожно, как взломщик, он влез на подоконник, повис на руках и благополучно спрыгнул на землю. Кажется, вокруг никого не было. Он согнулся в три погибели и помчался

через двор к низкой ограде. Ужас придавал ему крылья, и через ограду он перемахнул с той же легкостью, с какой газель, преследуемая львом, перелетает через терновый куст. Бросок сквозь росистые придорожные травы, дальше, отступаясь, вверх по скользкому склону на насыпь и — свобода!

Светлел и алел восток. Ветер, сам бездомный бродяга, ласково потрепал собрата по щеке. Высоко над головой прокричали дикие гуси. Заяц трусил впереди по тропке и в любую минуту мог повернуть хоть направо, хоть налево — куда вздумается. Мимо скользила река, ни одной душе, конечно, не догадаться куда.

Взъерошенная темногрудая пичуга на кизиловой ветке завела было нежную, тоненькую, гортанную песню во славу росы, выманивающей дурней-червяков из их укрытий; но вдруг она умолкла и, склонив голову набок, прислушалась.

С тропки, что шла по насыпи, неся веселый, ликующий, захлебывающийся свист, он пробирал и будоражил, он был четок и прозрачен, как чистейшие ноты флейты. Парящий звук журчал и рассыпался, как не принято в птичьем пенье, но была в этих звуках дикая, свободная прелесть, и темной птахе вспомнилось даже что-то знакомое, хоть и неясно что. Птичья зоря, сигнал побудки, известный всем птицам на свете. Но он был щедро приправлен бессмыслицами, ведомыми только искусству, — странно и совершенно непонятно зачем. И темная пичуга сидела, склонив голову набок, покуда звук не замер вдали.

Того не знала пичуга, что ради этих-то трелей, которые она разобрала, музыкант отказался от завтрака; зато она сразу смекнула, что трели непонятные ее совершенно не касаются. А потому она взмахнула крылышками и пулей метнулась вниз на жирного червяка, вившегося по тропке вдоль насыпи.

### **Алебарщик маленького замка на Рейне**

Иногда я хожу в «Бирхалле» и в ресторан, который называется «Старый Мюнхен». Не так давно это было пристанище довольно интересной богемы, а теперь его посещают не только художники, музыканты и литераторы. Но «пилзнер» там на диво хорош, и мне нравится разговаривать с официантом с номером 18 на груди.

Долгие годы завсегдатаи «Старого Мюнхена» воспринимали его не иначе, как точную копию этого старинного немецкого города. Большой холл с почерневшими от дыма деревянными перекрытиями, ряды импортных глиняных пивных кружек, портрет Гёте на стене, стихи, написанные краской на стенах, — перевод на немецкий оригинальных стихов поэтов из Цинциннати, — все это создает точную картину царящей там атмосферы, если на все смотреть через пену над кружкой.

Недавно его владельцы сделали еще одну комнату наверху, назвали ее «маленький замок на Рейне» и провели к ней деревянную лестницу. Там они смастерили подобие увитого плющом парапета, стены были так покрашены, чтобы создавать впечатление перспективы вглубь и вширь, на заднике между живописными холмами с виноградниками змеился Рейн, а прямо перед входом возвышался замок Эренбрейтштейн. Само собой разумеется, там были столы, стулья, а пиво вам приносили туда, наверх, как и должно это быть в замке на Рейне.

Однажды, когда я зашел в «Старый Мюнхен», посетителей там почти не было, и я сел за свой обычный стол возле лестницы. Вдруг я с негодованием увидел, что стеклянная витрина с сигарами, стоявшая рядом с оркестровой эстрадой, разбита вдребезги. Мне, конечно, не нравились безобразия в «Старом Мюнхене», но ничего подобного здесь прежде не происходило.

Ко мне сзади подошел мой официант с номером 18 на груди. Я ощутил на затылке его дыхание. Он меня первым увидел, и я по праву становился его посетителем. Мозги восемнадцатого функционировали по типу загона. В его голове толпилось множество идей, и вот когда он распахивал воображаемые ворота, все они, толкая друг дружку, устремлялись

вперед, словно стадо овец, и он уже сам не знал, удастся ли ему всех их собрать и водворить на место, в загон. Ну, я не очень походил на пастуха. Я никак не мог определить, кто он такой, этот восемнадцатый, он ни во что не вписывался. Какой он национальности, была ли у него семья, вера, поводы для жалоб, душа, предпочтения, хобби, дом и право на голос. Он всегда подходил к моему столу, и в течение всего периода, который выкрадывал из своего свободного времени, он давал свободу своим словам, и те вылетали у него изо рта, как вылетают ласточки из амбара с наступлением дня.

— Кто же это разбил витрину, восемнадцатый? — спросил я с явным сожалением о случившемся.

— Могу вам об этом сказать, сэ, — ответил он, усаживаясь на соседний стул. — Скажите, кто-нибудь передавал вам две пригоршни везения, когда в обеих ваших руках было полно невезения и вы уже перестали обращать внимание на то, что делают ваши пальцы?

— А можно без ребусов, восемнадцатый? Оставим хиромантию и весь этот маникюр.

— Вы помните, наверное, — продолжал восемнадцатый, — того парня в помятых бронзовых латах, как у принца Альберта, в штанах из золотистого сплава меди и цинка, в шляпе из медной амальгамы, который держал в руке то ли нож для разделки мяса, то ли альпеншток, или жезл свободы. Он стоял на первой площадке, когда вы поднимаетесь к «маленькому замку на Рейне».

— Да, конечно, — сказал я. — Алебардщик. Но я никогда не обращал на него особого внимания. Я помню только его латы. Ну и поза у него была впечатляющая.

— У него было не только это, — сказал восемнадцатый. — Он еще был моим другом. Он был живой рекламой. Босс нанял его, чтобы он стоял на лестничной площадке, в общем, в виде декорации, чтобы создать у посетителей впечатление, что там, наверху, что-то происходит. Как вы назвали его? Да, какое принести вам пиво?

— Я назвал его алебардщиком, — объяснил я. — Много сотен лет назад были такие воины.

— Нет, здесь какая-то ошибка, — сказал восемнадцатый. — Этот не был таким старым. Ему было двадцать три или четыре. Это была идея босса, поставить человека в старинном костюме из жести на лестнице, ведущей к «замку». Он все эти причиндалы купил в антикварной лавке на Четвертой авеню и повесил объявление: «Нужен алебардщик, костюм от заведения».

На следующий день, утром, пришел какой-то молодой человек, довольно опрятно одетый, с голодными глазами, в руках у него было объявление босса. Я в это время наполнял горчицей маленькие контейнеры на своем служебном столе.

— Я тот, кто вам нужен, — сказал он, — но мне еще никогда не приходилось быть алебардщиком в ресторане. Можете меня ставить. Это что у вас тут, маскарад?

— Не очень задавайся, — сказал ему я.

— Здорово сказал, восемнадцатый, — похвалил меня он. — Вижу, что мы с тобой поладим. Ну-ка проводи меня к боссу.

Ну, босс примерил на нем эту железную пижаму, она подошла ему прекрасно, словно чешуя на боку караса. И он получил эту работу. Ну, вы видели, что это за работа — стоять смиренно на лестничной площадке с алебардой на плече, все время смотреть только вперед и охранять «замок» от набега португальцев. Босс просто помешался на этой своей идее — придать своему притону настоящий привкус старинных войн. Алебардщик такая же неотъемлемая часть рейнских замков, как крысы неотделимы от винного подвала, а белые хлопчатые чулки от тирольских деревенских девиц. Босс — любитель старины, он помешан на всяких исторических датах и такой прочей чепухе.

Работа у алебардщика продолжалась шесть часов: с восьми вечера до двух часов ночи. Он дважды за это время ел вместе с нами за служебным столом и получал доллар за вечер. Я сидел рядом с ним за общим столом. Я ему нравился. Он никогда не называл своего имени. Думаю, он путешествовал инкогнито, как это делают короли. В первый же раз за ужином я сказал, обращаясь к нему:

— Не желаете ли еще картошки, мистер Фрелингхейзен?

— Ах, стоит ли быть таким формальным, таким официальным, восемнадцатый. Называйте меня просто — Ал, ну, сокращенно от алебардщик.

— Прошу вас не подозревать, что мне хочется узнать ваше настоящее имя, — заверил его я. — Я знаю, что такое головокружительный полет с высоты благосостояния и величия в грязь. У нас есть тут один граф, — моет посуду на кухне, а третий бармен когда-то был кондуктором на «пульмане». И они отлично работают, сэр Персифаль, — съязвил я.

— Восемнадцатый, — сказал он, как дружески расположенный ко мне дьявол в пропахшем кислой капустой аду, — не соизволите ли отрезать мне вон тот кусочек мяса? Не думаю, что у этой коровки было больше мускулов, чем у меня, но...

И он показал мне свои ладони. Они были все изрезаны, покрыты волдырями, мозолями, распухли и выглядели как пара кусков мяса с туши бычка, отрезанных острым ножом, — такие куски обычно мясник припрятывает для себя и тащит домой, он-то знает, что такое лучший кусок.

— Вот, ворошил лопатой уголек, — объяснил мне он, — клал кирпичи, грузил подводы. Но вот руки мои меня подводили и приходилось отказываться от такой тяжелой работы. Знаете, я был рожден на самом деле алебардщиком, и меня двадцать четыре года воспитывали, чтобы я, наконец, получил такую работу. Ну а теперь прекратим разговоры о профессии, передайте мне, пожалуйста, вон тот кусочек ветчины. Сегодня я завершаю свой сорокавосьмичасовой пост.

На второй день работы он сошел вниз из своего угла, подошел к витрине с сигарами и нажал кнопку, чтобы получить пачку сигарет. Завсегдатаи за столами принялись громко это обсуждать, демонстрируя свои знания истории. К ним подключился и босс.

— Да, кажется, это — анархизм, — заметил босс. — Когда появились алебардщики, сигареты еще не были изобретены.

— Те, которые продаются у вас, наверняка были, — ответил «сэр Персифаль». — Даже на такой махорке можно сэкономить, если увеличить длину пробкового мундштука.

Он взял пачку, вытащил из нее сигарету и стал разминать ее пальцами. Положив пачку в шлем, он отправился на свой пост — охранять «замок на Рейне».

Он стал страшно популярным, особенно у дам. Некоторые из них без стеснения тыкали в него пальцами, чтобы убедиться, что это — живой человек, а не чучело, набитое соломой, которое им приходилось сжигать на улицах. А когда он шевелился, они вскрикивали от страха и, поднимаясь по лестнице к «замку», все время внимательно смотрели на него.

Он выглядел просто отлично в своей амуниции алебардщика. Он спал в отгороженном коридоре в дешевых меблированных комнатах на Третьей авеню и платил за ночлег два доллара в неделю. На рукомоинике у него лежала книжка, и он ее постоянно читал, не шатался по салунам после работы.

— У меня появилась такая привычка, после того как я прочитал об этом в романах, — говорил он. — Все странствующие герои таскали с собой какую-нибудь книжицу. Томик Тантала, Ливера или Горація, напечатанный по-латыни, — и вот ты уже человек, достойный колледжа.

— Я совсем бы не удивился, если бы вы совсем были необразованным, — сказал я ему.

Однажды поздно вечером, около половины двенадцатого, к нам пожаловала компания этих богачей с туго набитыми карманами, которые всегда ищут новые места, где можно было бы посидеть и повеселиться. Среди них были красивая девушка в рыжевато-коричневом длинном платье с вуалью, толстый старик с седыми бакенбардами, какой-то молодой парень, который все время отступал, чтобы не наступить на хвост платья дамы, и пожилая леди, которая считала жизнь чем-то абсолютно аморальным и ненужным.

— Ах, как здорово, поужинать там, в замке! — закричали они.

Они только поднялись по лестнице, как через минуту оттуда спустилась девушка в своем длинном платье, шурша юбками, что напоминало шипение волн. Остановившись на лестничной площадке, она посмотрела прямо в глаза алебардщику.

— Это ты! — воскликнула она с улыбкой, которая появляется у того, кто глотнул лимонного шербета. — Я была там, наверху, в «замке», подошла к двери, чтобы добавить немного уксуса и кайенского перца в пустую бутылочку для приправ, и все слышала, что о тебе говорили.

— Ах, вон оно что! — сказал «сэр Персифаль» не шевельнувшись. — Я — местная достопримечательность. Ну, как моя кольчуга, шлем, алебарда, все на месте?

— И это все твои объяснения? — сказала она. — Это похоже на дурную шутку, на которые горазды мужчины, жрущие пирожные и мясо молодого барашка в своих клубах. Я что-то никак не могу понять главного. Краем уха слышала, что ты уехал. Целых три месяца от тебя не было никаких вестей — ни слуху ни духу.

— Видишь, я играю роль алебардщика, чтобы заработать себе на жизнь, — сказала железная статуя. — Я ведь работаю. Не думаю, что тебе известно, что такое работа.

— Что, неужели ты потерял все свои деньги? — спросила она.

— Я беднее самого бедного рекламного «сэндвича» на улице, — сказал он, — и если я не буду зарабатывать на жизнь...

— И ты называешь вот это работой? — прервала его она. — Мне казалось, что мужчина должен работать своими руками, головой, а не быть шутком.

— Призвание алебардщика — древнее и весьма почетное занятие, — парировал он. — Иногда «страже» приходится спасать «замок», когда разошедшиеся рыцари с перьями на шлемах лихо отплясывают в это время кекуок в банкетном зале наверху.

— Кажется, тебе нисколько не стыдно, — сказала она. — Да, у тебя, нужно сказать, весьма своеобразный вкус. Однако я надеялась, что твое мужское достоинство, которое я так ценила в тебе, подскажет тебе какое-то другое занятие — скажем, таскать воду или рубить дрова, а не демонстрировать публично свое убожество на этом позорном маскараде.

«Сэр Персифаль» погремел латами.

— Элен, не хочешь ли ты повременить с вынесением приговора? Ты не понимаешь, — продолжал он, — мне нужно еще какое-то время заниматься этой работой.

— Алебардщика или арлекина? Как ты ее называешь?

— Я не могу сейчас бросить эту работу, чтобы меня назначили министром при королевском дворе Сент-Джеймса, — сказал он, широко улыбнувшись.

И тогда глаза красавицы вспыхнули, как два бриллиантика.

— Очень хорошо, — произнесла она. — Сегодня ночью ты получишь сполна, удовлетворишь свою склонность к роли слуги.

Она величавой походкой поплыла к конторке босса и так старательно ему улыбнулась, что веснушки на носике у нее пропали в складках.

— Мне кажется, ваш «замок на Рейне» — просто прекрасен, прекрасен, как дивный сон. Обломок старого мира в самом центре Нью-Йорка. У нас здесь будет замечательный ужин. Но не могли бы вы оказать нам любезность, чтобы иллюзия старины была полной, абсолютной? Не могли бы вы попросить вашего алебардщика прислуживать нам за столом?

Она нанесла прицельный выстрел по любимому хобби босса.

— О чем речь! — обрадовался он. — Это будет просто замечательно. А оркестр будет все время играть «Стражу на Рейне».

Он подошел к алебардщику и приказал ему пойти наверх и ставить приносимые снизу блюда на столик красотки.

— Но у меня своя работа, — возразил «сэр Персифаль», снимая с головы шлем. Повесив его на алебарду, он поставил ее в угол. Девушка поднялась и села на свое место, а когда она шла, я заметил, как, несмотря на любезную улыбку, у нее были плотно сжаты челюсти.

— Знаете, господа, нас будет сейчас обслуживать настоящий алебардщик, — сообщила она гостям. — Он очень гордится своей профессией. Ну, разве он не хорош?

— Потрясающий, — подтвердил красивый молодой человек.

— Нет, я предпочел бы обычного официанта, — сказал толстый старик.

— Надеюсь, его сюда доставили не из какого-то задрипанного музея, — заметила старая

дама, — ведь в его амуниции могут быть микробы.

Перед тем, как направиться в «замок» к столу, «сэр Персифаль», взяв меня за руку, отвел в сторону.

— Восемнадцатый, — сказал он, — мне нужно выполнить эту работу безукоризненно. Ну-ка немедленно обучи меня, или я возьму алебарду и проткну тебя насквозь.

После этого он поднялся в своей кольчуге, с салфеткой, переброшенной через руку, подошел к столу и замер в ожидании заказа.

— Да это же Диридж, чтоб мне провалиться! — воскликнул красавчик. — Хэлло, старина. Что это ты...

— Прошу прощения, сэр, — перебил его алебардщик, — я сейчас обслуживаю клиентов. Толстый старик мрачно уставился на него, как бостонский бык.

— Выходит, дорогой, ты работаешь? — спросил он.

— Да, сэр, — ответил «сэр Персифаль» с достоинством, как истинный джентльмен, точно так ответил бы и я на его месте. — Почти уже три месяца.

— И тебя не прогоняли за это время? — снова спросил толстый старик.

— Ни разу, сэр, — сказал алебардщик, — хотя мне пришлось сменить несколько работ.

— Официант, принеси еще салфетку, — резко, словно приказ, бросила девушка.

Он с уважением подал ей салфетку.

Должен сказать, я не видел еще такой разъяренной девицы, словно в нее вселился бес. На ее щеках проступили два пунцовых пятна, глаза ее сверкали, точно у дикой кошки, которую я однажды видел в зоопарке. Она все время нетерпеливо постукивала туфелькой по полу.

— Официант, — она снова начала отдавать приказы, — принеси-ка мне воды, только безо льда, фильтрованной. Убери порожнюю солонку.

Она не давала ему покоя, считая, что вольна сейчас распоряжаться алебардщиком как ей будет угодно.

В «замке» было мало посетителей, и я слонялся возле двери, чтобы в случае чего прийти на помощь «сэру Персифалю».

Он довольно легко справился с оливками, сельдереем и салатом. Все это было довольно просто. Потом онемевшему официанту принесли наверх мясной бульон в большой серебряной супнице. И вместо того, чтобы разлить его по тарелкам на служебном столике, он, взяв супницу в руки, понес ее прямо к большому столу. В нескольких дюймах от него супница выскользнула из его рук и с грохотом упала на пол, а расплескавшийся суп залил весь низ роскошного шелкового платья девушки.

— Болван, неумеха! — в сердцах завопила она, с ненавистью поглядев на неловкого алебардщика. — Торчать в углу с алебардой на плече — вот твое истинное призвание в жизни!

— Прошу извинить меня, леди, — сказал он. — Супница оказалась слишком горячей, обожгла мне руки. Я не смог ее удержать.

Старик вытащил записную книжку и стал что-то в ней выискивать.

— Сегодня двадцать пятое апреля, дорогой, — сказал он.

— Знаю, — ответил «сэр Персифаль».

— Без десяти двенадцать! — продолжал толстый старик. — Клянусь Юпитером! Он все еще здесь! — И, стукнув с размаху кулаком по столу завопил: — Официант, ну-ка позовите сюда немедленно менеджера, пусть явится как можно скорее.

Я отправился за боссом, и старик Брокман вприпрыжку взбежал по лестнице в «замок».

— Вот, увольте этого человека немедленно, — рычал старик. — Вы только посмотрите, что он наделал. Испортил платье моей дочери. А оно стоит не меньше шестисот долларов. Немедленно прогоните его, не то я потребую с вас всю эту сумму.

— Да, дело худо, — произнес босс. — Шестьсот долларов — куча денег. Придется мне...

— Подождите, герр Брокман, — добродушно, с улыбкой сказал «сэр Персифаль».

Но я чувствовал, что он под своими жестянками закипал. И тогда он произнес замечательную, превосходную речь, такой никогда не слыхал. Я, конечно, не могу привести вам все его слова. Он задал в лице этого толстяка головомойку всем миллионерам, излил на



него весь свой язвительный сарказм. Он описывал их роскошные дорогие автомобили, их ложи в театрах, их драгоценности, после чего перешел к рабочему классу. Говорил о том, какой отвратительной жратвой они должны довольствоваться, сколько часов гнуть на богачей спины, в общем, все такое и прочий вздор...

— Эти вечно недовольные богачи, — распаялся он, — никогда не довольствуются своей роскошью, всегда посещают места, где кормятся бедные и обездоленные, чтобы там потешаться над ними, над бедами и несчастьями, свалившимися на их же соотечественников, мужчин и женщин. И даже здесь, герр Брокман, в этом вашем прекрасном «замке на Рейне», в этом удачном и просветительском воспроизведении древней нашей истории и архитектуры они вознамерились испортить всю картину этого живописного очарования своим наглым, высокомерным требованием, чтобы алебардщик прислуживал им за столом! Я честно, сознательно исполнял свои обязанности алебардщика. Я не официант и не знаю искусства обслуживания. По глупому капризу этих случайных посетителей, этих избалованных аристократов меня заставили подавать им блюда. Следует ли меня бранить, меня, человека, лишенного возможности зарабатывать себе на жизнь, — горячо продолжал он, — из-за несчастного случая, который произошел только из-за высокомерия и надменности? Но большее всего ранит меня другое, — говорил «сэр Персифаль», — осквернение этого великолепного «замка на Рейне» — умыкание его неотъемлемой части — алебардщика, которого заставили прислуживать им за банкетным столом.

Даже мне было ясно, что все это чепуха, — но это страшно задело босса.

— Майн Гот, — воскликнул герр Брокман, — а он ведь прав! Алебардщику не пристало разливать по тарелкам суп. Нет, я его не уволю. Возьмите другого официанта, если хотите, а моего алебардщика отпустите, пусть идет и займет свой пост, со своей алебардой. А вы, джентльмен, — сказал он, указывая на толстого старика, — можете подавать на меня в суд, чтобы я возместил вам стоимость испорченного платья. Можете требовать шестьсот, даже шесть тысяч долларов! Это меня не разорит.

И он, тяжело дыша, стал спускаться по лестнице.

Когда часы пробили двенадцать, толстый старик громко засмеялся.

— Ты выиграл, дорогой, — сказал он. — А теперь позвольте мне все вам объяснить. Некоторое время назад мистер Диринг обратился ко мне с просьбой отдать ему то, что я не мог ему отдать, — он посмотрел на дочь, и та вся покраснела, не хуже красной свеклы. — Я сказал ему, — продолжал старик, — что если он сможет зарабатывать себе на жизнь в течение трех месяцев и его не уволят за полную некомпетентность, то он получит желаемое. Срок договора истекал сегодня в полночь. Я почти выиграл, Диринг, если бы только не этот проклятый суп.

Толстый старик встал, подошел к «сэру Персифалю» и пожал ему руку.

Алебардщик, издав дикий вопль, подпрыгнул от радости на месте фута на три.

— Вот посмотрите на мои ладони, — сказал он, показывая их старику. — Такие натруженные ладони можно увидеть лишь на руках чернорабочего в известковом карьере.

— Боже мой, парень! — воскликнул старик с седыми бакенбардами. — Что ты с ними сделал?

— Ах, что сделал! — ответил «сэр Персифаль». — Занимался черной работой, таскал уголь, добывал камень, покуда на них не стало страшно смотреть. Когда я уже не мог держать в таких руках кирку или даже кнут, то решил стать алебардщиком, чтобы они у меня немного отдохнули. Но опрокинутая супница, суда по всему, не лучшее для них лечение.

Я мог бы поставить на эту девушку. Такие темпераментные девушки ни перед чем не останавливаются. Она, словно ураган, обежала вокруг стола и схватила его руки своими руками.

— Ах, бедные ручки, — вздыхала она, слезы потекли по ее щекам, и она прижимала его изуродованные ладони к своей груди.

Знаете, сэр, в эту минуту весь «замок на Рейне» напоминал средневековую сцену, на которой разыгрывалась какая-то пьеса. Алебардщик сел за стол рядом с ней, а мне пришлось

их обслуживать. Ну, пожалуй, вот и все, если не считать, что этот парень сбросил свою амуницию и ушел вместе с компанией.

Мне не понравилось, что он отвлекает меня, не говорит о том, что с самого начала заинтересовало меня.

— Но вы, восемнадцатый, не сказали мне, кто же разбил витрины с сигарами, кто это сделал?

— А, это произошло вчера вечером, — сказал восемнадцатый. — «Сэр Персифаль» с его девушкой подъехали к ресторану на автомобиле кремового цвета и обедали у нас в «замке на Рейне».

— Сядем за тот же стол, Билли, — я слышал, как она сказала ему на лестнице.

Я их обслуживал. У нас уже был новый алебардщик, длинноногий парень с физиономией скромной овцы. Когда они, спускаясь, проходили мимо, «сэр Персифаль» протянул ему десятидолларовую бумажку. Удивленный алебардщик выронил из рук свою алебарду, и она, упав, разбила витрину. Вот как это случилось.

## Два ренегата

В городе Золотых Ворот Юга<sup>26</sup> собрались ветераны-конфедераты. А я стоял, наблюдая, как они шествовали под гирляндами флагов, направляясь в зал, назначенный для поминальных речей. Когда эта нестройная и заплетающаяся процессия проходила мимо меня, я сделал вылазку и вытащил из ее рядов моего приятеля, Барнарда О'Кифи, который находился там не по праву. Он был северянином по рождению и воспитанию. И как это его угораздило пристегнуться к этим седым, дряхлым ветеранам? И зачем это ему нужно было с его сияющим, мужественным, веселым, широким лицом путаться с этим вояками старого и чуждого поколения? Как я уже сказал, я вытащил его из толпы и крепко держал его, пока последняя деревянная нога не проковыляла мимо нас, и затем привел его в один спокойный и прохладный уголок; ибо город Золотых Ворот был в этот день в большом возбуждении, и шарманка благоразумно исключила из своего репертуара «Мы шли через Джорджию»<sup>27</sup>.

— Ну, какого черта ты это затеял? — спросил я О'Кифи, когда нас разделил стол и наполненные стаканы.

О'Кифи вытер разгоряченное лицо и долго будоражил плавающий в стакане лед прежде, чем удостоил меня ответом.

— Я присутствую при пробуждении, — сказал он, — единственной нации в мире, которая когда-либо оказала мне услугу. Как подобает между джентльменами, я ратифицирую и прославляю иностранную политику покойного Джефферсона Дэвиса — самого блестящего из государственных деятелей, когда-либо восстанавливавших финансы какой-либо страны. Око за око — вот в чем состояла его платформа: бочонок денег за бочонок муки, пара кредиток в двадцать долларов за пару сапог, полная шляпа кредиток за новую шляпу... Скажи сам, разве это не система по сравнению с этими глупыми металлическими кружочками?

— Что ты мелешь? — сказал я. — Твои финансовые отступления только отговорка. Я тебя спрашиваю: зачем ты маршировал в рядах ветеранов-конфедератов?

— Затем, мой мальчик, — ответил О'Кифи, — что правительство Конфедерации бросило свою власть и мощь для спасения Барнарда О'Кифи от немедленного и опасного для жизни убийства, замышленного против него кровожадной иностранной державой, после того как Соединенные Штаты Америки отвергли его просьбу о защите и даже уведомили

---

<sup>26</sup> Новый Орлеан.

<sup>27</sup> Марш северян.

статистическое бюро, чтобы оно уменьшило на один голос примерный подсчет республиканского большинства на тысяча девятьсот пятый год.

— Брось, брось, — сказал я. — Американская Конфедерация уже почти сорок лет, как перестала существовать. А тебе самому не больше сорока. Когда же это покойное правительство успело направить свою иностранную политику в твою пользу?

— Четыре месяца назад, — быстро ответил О'Кифи. — Гнусное иностранное правительство, о котором я упомянул, до сих пор не может оправиться от официальной пощечины, полученной им от контрабандного союза Штатов мистера Дэвиса. Вот почему ты видел меня шествующим с экс-бунтовщиками. Я голосую за президента в Вашингтоне, но не отворачиваюсь от массы Джеффа. Ты говоришь, что Конфедерация скончалась сорок лет назад. Ну, так если бы не она, я теперь настолько лишился бы дыхания, что не мог бы заказать даже шепотом кружки пива. О'Кифи никогда не страдали неблагодарностью.

У меня был, наверное, изумленный вид.

— Война окончилась, — сказал я растерянно, — в тысяча восемьсот шестьдесят четвертом году.

О'Кифи громко рассмеялся, окончательно сбивая меня с толку.

— Спроси старого Дока Милликина, окончилась ли война! — воскликнул он, сильно развеселившись. — О нет! Док еще не сдался! А Конфедерация! Я только что говорил тебе, что она всего четыре месяца назад выступила официально, солидно и государственно против иностранного правительства и спасла меня от расстрела. Страна старого Джеффа вмешалась и унесла меня под своим крылом... А Рузвельт в это время занимался перекрашиванием канонерок и ждал, пока национальный избирательный комитет наведет обо мне все справки.

— Под этим кроется какая-то история, Барни? — спросил я.

— Нет, — сказал О'Кифи, — готовой истории тут нет, но я изложу тебе все факты. Ты помнишь, что я отправился в Панаму, когда началась эта склока по поводу канала? Я хлебнул там воды с небольшим зоологическим садом в каждой ее капле и схватил лихорадку. Это случилось в маленьком прибрежном городке Сан-Жуане.

После того как я набрал в себя лихорадки в количестве, достаточном, чтоб угробить ямайского нефа, у меня сделался рецидив в лице Дока Милликина.

Там был доктор, чтобы лечить больных. Когда Док Милликин брался за вас, он превращал ужасы смерти в нечто похожее на приглашение на катанье на ослах. Он проявлял у постели больного манеры мормонского целителя и действовал на него не успокоительнее, чем телега, нагруженная железными брусьями. Эта старая медицинская кляча явилась в мою берлогу, как только я послал за ней. Сложением Док напоминал судака; у него были черные брови, а его седая борода струилась вдоль подбородка, как молоко из лейки. За ним шел мальчик-негр и нес старую банку из-под томатов с каломелью и пилу.

Док пощупал мой пульс и начал ворошить каломель каким-то земледельческим орудием из породы лопат.

— Мне еще пока не нужна моя маска на смертном одре, Док, — сказал я, — или моя препарированная печень. Я болен: мне нужно лекарство, а не лепная работа.

— Вы, видно, поганый янки? — спросил Док, продолжая размешивать свой портландский цемент.

— Я с севера, — сказал я, — но я простой человек и не нуждаюсь в гипсовых украшениях. Когда вы покроете весь перешеек асфальтом из этого вашего дерма, вы, может быть, не откажетесь дать мне небольшую дозу болеутоляющего или немножко стрихнину на сухаре, чтобы облегчить мое чувство недомогания?

— Все они так брыкались, — сказал старый Док, — но мы значительно понизили их температуру. Да, сэр, я полагаю, что мы порядочно-таки из вашей братии отправили к *de mortuis nisi bonum*. Вспомните-ка Антиетем, и Булль-Рэн, и Семь Сосен, и бой под Нэшвиллем. Не было ни одного сражения, где бы мы вас не вздули, если только вас не оказывалось десять против одного. Я догадался, что вы — проклятый янки, как только взглянул на вас.

— Не раскрывайте опять пропасть, Док, — сказал я ему. — Если я янки, так в этом

повинна география; что касается меня, то для меня южанин не хуже даже филиппинца. Я слишком плохо себя чувствую, мне не до споров. Давайте расстанемся без словопрений. Мне бы нужен лауданум, а не политика. Если вы для меня смешиваете этот сандарак с укропом, так, пожалуйста, заткните мне им уши прежде, чем вы дойдете до битвы при Геттисбурге... много пройдет времени, пока вы до нее доберетесь.

Тем временем Док Милликин раскинул на бумажных квадратиках целую линию укреплений.

— Янки, — сказал он мне, — принимайте по порошку каждые два часа. Они вас не убьют. Я заверну сюда под вечер, чтобы посмотреть, живы ли вы.

Порошки старого Дока выгнали из меня лихорадку. Я остался в Сан-Жуане и познакомился с ним ближе. Он был сам с Миссисипи и самым заядлым южанином, когда-либо нюхавшим мяту. В сравнении с ним Стонуолл Джексон и Р. Е. Ли казались аболиционистами. У него была семья где-то около Нового Орлеана; но он жил вдали от Штатов: у него была непреодолимая склонность к местностям, где не пахло правительством янки. Мы подружились с ним лично, как русский царь с голубем мира, но в убеждениях мы не сошлись. Старый Док ввел на этом перешейке поразительный метод лечения. Он брал свою пилу, раствор хлора и подкожный шприц и угощал этими ингредиентами все, что попадалось ему под руку, от желтой лихорадки до друзей.

Помимо прочих своих обязанностей, Док еще играл на флейте. Он был повинен в двух мелодиях. Одна из них была «Дикси», а другая сильно смахивала на «Реку Сэуени»; вероятно, она была ее притоком. Он приходил посидеть со мной, когда я поправлялся, насиловал свою флейту и говорил нецензурные вещи о Севере. Вы могли бы подумать, что дым от первого выстрела с форта Сэмтер еще носился в воздухе. Это было в то время, когда здесь, на перешейке, происходили эти бутафорские революции, завершившиеся после пятого акта тем, что дядю Сэма вызывали девять раз, и он выходил кланяться, держа за руку мисс Панаму, а декорацией был канал. Так это дело окончилось, но поначалу казалось, что Колумбия собирается придать Панаме вид панамы же, но ценою в два доллара девяносто восемь центов. Я думал, что соломенные шляпы выиграют, и поступил к ним на службу. Меня назначили полковником над бригадой в двадцать семь человек. Войска Колумбии отнеслись к нам страшно грубо. Однажды, когда моя бригада, сняв сапоги, занималась в песчаной местности упражнениями в ротном строю, колумбийская армия бросилась на нас из-за кустов и наделала столько шума и неприятностей, сколько только было в ее силах. Мое войско сделало поворот налево кругом и покинуло поле битвы. Заманивая противника на протяжении трех миль или около того, мы попали в терновник, и нам пришлось сесть. Когда нам приказали поднять ноги кверху и сдаться, мы повиновались. Пятеро моих лучших штаб-офицеров пали, сильно страдая из-за стертых камнями пяток. Тогда эти колумбийцы захватили вашего друга Барни, сэр, лишили его знаков отличия, состоявших из манерки с ромом, и приволокли его на военный суд. Председательствующий генерал выполнил все законные формальности, которые иногда затягивают дело в южноамериканских военных судах на целые десять минут. Он спросил меня, сколько мне лет, и приговорил меня к расстрелу.

Они разбудили судебного переводчика, американца, некоего Дженкса, который занимался здесь продажей рома и наоборот, и велели ему перевести мне приговор. Дженкс потянулся и принял таблетку морфия.

— Вам придется прислониться к стене, старина, — сказал он мне. — Три недели вам, что ли, прописали? А что, у вас жевательного табачку не найдется при себе порядочного?

— Переведите мне еще раз с примечаниями и толкованием, — сказал я. — Я не понял, оправдан ли я, осужден или передан на попечение патроната для дефективных детей?

— О, — сказал Дженкс. — Чего это вы не поняли? Вас поставят к стене и расстреляют через две или три недели — три, кажется, сказали они.

— Не будете ли вы так любезны спросить их, через две или три, — сказал я. — Лишняя неделя не играет для вас большой роли после того, как вы умерли, но, пока вы еще живы, одна неделька, знаете ли, она ничего.

— Две недели, — сказал переводчик, справившись по-испански у суда. — Переспросить еще?

— Довольно, — сказал я. — Пусть это будет окончательным приговором. Если я буду продолжать апеллировать в том же духе, меня расстреляют на десять дней раньше того, чем меня взяли в плен. Нет, у меня нет табачку.

Отряд негров, вооруженных винтовками «Энфильд», отвел меня в calabozos, и меня заперли там в какую-то кирпичеобжигательную печь. Температура там была приблизительно такая, какая упоминается в кухонных рецептах, требующих сильного жара. Я дал одному из сторожей серебряный доллар и попросил его послать за консулом Соединенных Штатов. Он явился в пижаме, с парой очков на носу и с содержимым пары других изделий из стекла в желудке.

— Меня должны расстрелять через две недели, — сказал я, — и хотя я записал себе этот факт в памятную книжку, он все-таки не выходит у меня из головы. Вы должны как можно скорее вызвать дядю Сэма по кабелю и заставить его заняться этим. Пусть он немедленно вышлет сюда «Кентукки», «Кирсерджа» и «Орегон». Броненосцев будет достаточно, но не мешало бы также отрядить пару крейсеров и миноносцев-истребителей. И скажите, если адмирал Дьюи не занят, самое лучшее, если он и сам прикатит на самом быстроходном судне во флоте.

— Слушайте, вы, О'Кифи, — сказал консул, справившись кое-как с икотой. — Чего ради вы беспокоите вашим делом министерство иностранных дел?

— Вы, верно, не расслышали, — сказал я. — Меня расстреляют через две недели. Вы, должно быть, поняли, что меня пригласили на пикник? Не мешало бы Рузвельту убедить японцев прислать на подмогу еще «Еллоуамтискокуи», или «Оготосингсинг», или другой какой-нибудь первоклассный крейсер. Я бы чувствовал себя безопаснее.

— Вам теперь нужно, — сказал консул, — поменьше волноваться. Я, когда вернусь, пришлю вам немножко табаку для жеванья и лепешек из бананов. Соединенные Штаты не могут в это вмешиваться. Вам известно, что вас захватили как мятежника против правительства и вы подлежите законам этой страны. Сказать вам по правде, мне от министерства иностранных дел дана инструкция — не официальная, конечно, — что, если какой-нибудь искатель приключений потребует флотилию броненосцев по случаю революционного катценъяммера, я должен перерезать кабель, дать ему столько табаку, сколько он пожелает, и, когда его расстреляют, взять его платье в счет моего жалованья, если оно мне окажется впору.

— Консул, — сказал я ему, — это серьезный вопрос. Вы представитель дяди Сэма. Это ведь не какая-нибудь интернациональная комедия вроде Всемирного Конгресса Мира или крещения броненосца. Я — американский гражданин и прошу защиты. Я требую весь москитный флот, и атлантическую эскадру, и Боба Эванса, и генерала Е. Берд Грубба, и двух или трех церемонийместеров. Что вы думаете делать?

— Ничего не делать! — сказал консул.

— Так убирайтесь к черту, — сказал я, потеряв с ним терпение, — и пришлите мне Дока Милликина. Попросите Дока прийти ко мне.

Док пришел и посмотрел на меня сквозь решетку; я был окружен грязными солдатами, у меня отняли даже сапоги и манерку. Док казался чрезвычайно довольным.

— Алло! Янки! — сказал он. — Ну что? Входите понемногу во вкус острова Джонсона?

— Док, — сказал я, — у меня только что было свидание с консулом Соединенных Штатов. Я вывел из его слов заключение, что мое настоящее положение не лучше, чем если бы моя фамилия была Розенцвейг и я гулял бы по Кишиневу во время погрома. По-видимому, морское вмешательство в мою пользу со стороны Соединенных Штатов ограничится тем, что мне пришлют четвертку матросского жевательного табаку. Док, — сказал я, — не можете ли вы приостановить временно наши междоусобия, вызванные соперничеством Севера и Юга, чтобы помочь мне?

— Это не входит в мои привычки, — ответил Док Милликин, — заниматься

зуболечением без боли, когда у какого-нибудь янки прорезывается глазной зуб. Так «Звезды и Полосы» не пришлют флота, чтобы обстрелять деревни колумбийских людоедов? Что? Скажите, «видишь ли ты на заре испещренное звездами знамя»? Что же это случилось с военным департаментом? Да, это великая вещь — быть гражданином страны золотой валюты, не правда ли?

— Лупите их, как хотите, Док, — сказал я. — Мы, кажется, действительно дали маху в иностранной политике.

— Для янки, — сказал Док, надевая очки и принимая более мягкий тон, — вы не так уж плохи. Если бы вы родились южнее, мне кажется, я бы даже вас полюбил. А значит, теперь, когда ваша страна повернулась к вам спиной, вы пришли за помощью к старому Доку, после того как вы сожгли его хлопок, украли его мулов и освободили его негров? Так это, янки, или не так?

— Так, — сказал я от всего сердца. — И поставьте поскорее диагноз. Через две недели вам останется сделать только мое вскрытие, а я не хочу, чтобы меня ампутировали, если можно избежать этого.

— Ну, — сказал Док деловым тоном, — вам нетрудно будет выкарабкаться из этой каши. Деньги все устроят. Вам придется, правда, подкупить целую шеренгу, начиная с генерала Помпозо и кончая человекоподобной обезьяной, охраняющей вашу дверь. За десять тысяч долларов можно обделать все дело. У вас есть деньги?

— У меня? — сказал я. — У меня в кармане один чилийский доллар.

— Ну, тогда, если у вас есть последнее слово, произнесите его, — сказал старый бунтовщик. — Звяканье ваших финансов напоминает мне погребальный звон.

— А вы измените метод лечения, — сказал я. — Созовите консилиум, прибегните к радио, выкрадите меня.

— Янки, — сказал Док Милликин, — я знаю, как вам помочь. Только одно правительство в мире может вызволить вас из беды, и это — Американская Конфедерация, самое великое государство, когда-либо существовавшее.

Я сказал Доку то же самое, что ты говорил мне: «Позвольте, Конфедерация не государство. Ее ликвидировали сорок лет назад».

— Это военная ложь, — ответил Док. — Конфедерация так же сильна, как Римская империя. На нее ваша единственная надежда. Только вы в качестве янки должны пройти через некоторые предварительные обряды, прежде чем вам окажут официальную поддержку. Вам придется дать присягу на верность правительству Конфедерации. Тогда я гарантирую, что она сделает для вас все, что может. Что вы на это скажете, янки? Это ваш последний шанс.

— Если вы дурачите меня, Док, — ответил я, — то вы не лучше Соединенных Штатов. Но так как вы говорите, что это мой последний шанс, валите и приведите меня скорее к присяге. Как-никак я всегда любил кукурузную водку и мятные лепешки. Я, должно быть, наполовину южанин от природы. Торопитесь!

Док Милликин на минуту призадумался и предложил мне следующую формулу присяги:

— Я, Барнард О'Кифи, янки, здоровый телом, но республиканец духом, сим клянусь передать мою преданность, уважение и верность Американской Конфедерации и ее правительству за то, что данное правительство своей официальной властью вернет мне свободу, спасет меня от заключения и смертного приговора, которые я навлек на себя порывистостью своего ирландского характера и общим кретинизмом, свойственным янки.

Док ушел, сказав, что немедленно вступит в переговоры со своим правительством.

Можешь себе представить, что я испытывал. Через две недели меня ожидал расстрел, и моей единственной надеждой была помощь государства, которое скончалось так давно, что о нем вспоминают только в день юбилея. Но это было все, на что я мог надеяться, и почему-то мне казалось, что у Дока в рукаве его старого пиджачишки было спрятано и что-нибудь посушественнее этих фокусов-покусов.

Через неделю старый Док снова заглянул в тюрьму. Я был искусан блохами, настроен несколько саркастически и чертовски голоден.

— Что, не видать в заливе ни одного броненосца Конфедерации? — спросил я. — Не слышно никаких звуков, говорящих о приближении кавалерии Джеба Стюарта? Стонуолла Джексон не подбирается крадучись с тылу? Если да, то сообщите мне, пожалуйста, утешьте!

— Помощь не могла прийти так скоро, — ответил Док.

— Чем скорее, тем лучше, — сказал я. — Я ничего не имею против того, чтобы она поспела за целых четверть часа до моего расстрела. Если вы случайно увидите Борегара, или Альберта Сиднея Джонсона, или какой-нибудь другой вспомогательный корпус, махните им, чтобы они поторапливались.

— Ответ еще пока не получен, — сказал Док.

— Не забывайте, — сказал я, — что осталось только четыре дня. Я не знаю, как вы оборудуете это дело, Док, — сказал я, — но мне думается, я спал бы спокойнее, если бы у вас было живое государство, отмеченное на карте, — вроде Афганистана, Великобритании или царства старичины Крюгера, которое могло бы взяться за это дело. Я не высказываю неуважения к вашей Конфедерации, но мне невольно кажется, что мои шансы выпутаться из этой истории значительно понизились с того момента, когда генерал Ли сдался.

— Это ваш единственный шанс, — сказал Док. — Нечего фыркать на него. Что сделала для вас ваша родная страна?

За два дня до утра, назначенного для моей казни, Док Милликин появился снова.

— Все в порядке, янки, — сказал он. — Помощь прибыла. Американская Конфедерация предпримет шаги для вашего освобождения. Представители правительства прибыли прошлой ночью на фруктовом пароходе.

— Молодчина! — сказал я. — Молодчина, Док! Наверное, это морская пехота с пушкой Гатлинга. Я полюблю вашу страну всей душой.

— Оба правительства, — сказал старый Док, — немедленно откроют переговоры. Вы сегодня попозже узнаете, увенчались ли они успехом.

Около четырех часов пополудни солдат в красных брюках принес в тюрьму бумагу; они отперли дверь, и я вышел. Сторож у входа поклонился мне, я также поклонился ему, пошел по траве и направился к берлоге Дока Милликина.

Док лежал в своем гамаке и играл «Дикси» на флейте, нежно, тихо и фальшиво. Я прервал его на первом коленце и тряс его руку в течение пяти минут.

— Я никогда не воображал, — сказал Док, раздражительно пожеывая табак, — что я когда-либо попытаюсь спасти жизнь проклятого янки. Но, мистер О'Кифи, я должен признать, что в вас все-таки есть нечто человеческое. Я никогда не предполагал, что у янки можно встретить зачатки приличия и порядочности. Может быть, я слишком обобщал свои выводы. Но вы не меня должны благодарить, а Американскую Конфедерацию.

— Я ей очень обязан, — сказал я, — плох тот человек, который не будет патриотом по отношению к стране, спасшей ему жизнь. Я обещаю пить в честь «Звезд и Решетки» каждый раз, как мне попадется соответствующий флаг и стакан. Но где, — спросил я, — находится спасательный отряд? Я не слышал ни одного выстрела.

Док Милликин приподнялся и указал флейтой через окно на фруктовый пароход, который нагружался бананами.

— Янки, — сказал он, — этот пароход отчаливает завтра утром. Если бы я был на вашем месте, я уехал бы с ним. Конфедерация сделала для вас все, что могла. Обошлось без выстрелов. Переговоры между обоими государствами велись секретно, через посредство эконома этого парохода. Я поручил это ему, так как не хотел выступать в этом деле. Должностным лицам дали на двенадцать тысяч долларов взяток, чтобы вас выпустили.

— Человеке! — воскликнул я, подпрыгнув на стуле. — Двенадцать тысяч? Как же я расплачусь?.. Кто же это мог... Откуда взялись эти деньги?

— Из Нового Орлеана, — сказал Док Милликин. — У меня там были небольшие сбережения. Два полных бочонка. Для этих колумбийцев они сойдут. Это доллары Конфедерации — все до последнего. Теперь вы понимаете, почему вам лучше уехать, пока они не пустили еще этих денег в ход? Хорошо ли будет, когда они попадут в руки какому-

нибудь опытному человеку?

— Понимаю, — сказал я.

— Теперь послушаем, как вы произносите пароль, — сказал Док Милликин.

— Ура! Джефф Дэвис! — воскликнул я,

— Правильно! — сказал Док. — Вот что я вам скажу. Следующая мелодия, которую я научусь играть на флейте, будет «Янки Дудль». По-видимому, среди янки встречаются и не окончательные кретины.

## Одиноким путем

Я увидел, как мой старинный приятель, помощник шерифа Бак Капертон — суровый, неукротимый, всевидящий, кофейно-коричневый от загара, при пистолете и шпорах — прошел в заднюю комнату здания суда и, звякнув колесиками шпор, погрузился в кресло.

И поскольку в суде в этот час не было ни души, а Бак мог иной раз порассказать кое-что не попадающее в печать, я последовал за ним и, будучи осведомлен об одной его маленькой слабости, вовлек его в беседу. Дело в том, что самокрутки, свернутые из маисовой шелухи, были для Бака слаще меда, и хотя он умел мгновенно и с большой сноровкой спустить курок сорокапяткакалиберного, свернуть самокрутку было выше его возможностей.

Никак не по моей вине (ибо самокрутки у меня всегда получались тугие и ровные), а в силу какой-то непонятной причуды самого Бака, мне на сей раз пришлось выслушать не увлекательную одиссею чапарраля, а... диссертацию на тему супружеской жизни! И ни от кого другого, как от Бака Капертона! Самокрутки же мои, повторяю, были безупречны, и я требую признания моей невиновности.

— Сейчас приволокли сюда Джима и Бэда Гранбери, — сказал Бак. — Ограбление поезда, слышал? В прошлом месяце они задержали арканзасский пассажирский. Мы накрыли их на Двадцатой Миле — в кактусовых зарослях на южном берегу Нуэсеса.

— Верно, нелегко было их стреножить? — спросил я, предвкушая эпический сказ о битве, которого жаждал мой уже взыгравший аппетит

— Попотели, — сказал Бак и на минуту умолк, а за это время мысли его сбились с дороги. — Чудной народ женщины, — сказал он. — И какое им отвести место, хотя бы, скажем, в ботанике? На мой лично взгляд, они нечто вроде дурман-травы. Видал ты когда-нибудь лошадь, которая нажралась дурман-травы? Сядь-ка в седло и скачи на ней к любой луже в два фута шириной. Она тут же расфыркается и начнет оседать на задние ноги. Эта лужа покажется ей шире Миссисипи. А в другой раз та же лошадь спустится в каньон в тысячу футов глубиной, словно он не глубже сусликовой норки. Так же вот и с женатым человеком.

Я, понимаешь, думаю о Перри Раунтри, который был моим бессменным правым крайним, пока не покончил жизнь супружеством. В ту пору мы с Перри были против всякой оседлости. Нас с ним, бывало, швыряло то туда, то сюда, и мы такой подымали шум, что будили каждое окрестное эхо и задавали ему работу. Да, когда нам с Перри хотелось хорошенько разгуляться в каком-нибудь поселке, это был настоящий праздник для переписчиков населения. Они просто прикидывали, какой потребуется наряд полицейских, чтобы призвать нас к порядку, и получали количество всего населения. Ну а потом явилась эта особа — Марианна Гуднайт, глянула из-под ресниц на моего Перри, и он, прежде чем ты успел бы освежевать годовичка, дал себя взнуздать и пошел, как миленький, под седло.

А меня даже на свадьбу не позвали. Я так понимаю, что невеста с ходу проработала всю мою родословную и наружный фасад моих привычек и рассудила про себя, что Перри сноровистей побежит в парной упряжке, если никакой неправовверный мустанг, вроде Бака Капертона, не будет ржать в окрестностях супружеского корраля. Так что прошло не меньше полугода, прежде чем я снова свиделся с Перри.

Как-то раз иду я окраиной поселка и вижу: в маленьком садике, возле маленького



домика, какое-то подобие человеческого существа с лейкой в руке поливает розовый куст. Показалось мне, будто видел я уже где-то это создание, и я остановился у калитки и стал припоминать, под каким оно прежде ходило тавром. Нет, это был не Перри Раунтри, а то прокисшее рыбное желе, в которое превратила его женитьба.

Человекоубийство — вот что эта Марианна над ним учинила! Выглядел он ничего, неплохо, но был, понимаешь, при белом воротничке и в ботиночках, и с первого взгляда было видно, что разговор у него вежливый и налоги он платит исправно, а когда пьет, мизинчик отставляет, совсем как овцевод какой-нибудь или хилек городской. Клянусь прахом моей прапра-прабабушки, противно мне было видеть, до чего этот Перри стал цивилизованный.

Подходит он к калитке, пожимает мне руку, а я этак с насмешкой хриплю, словно хворый попутай:

— Прошу прощения... Мистер Раунтри, если не ошибаюсь? Имел когда-то удовольствие вращаться в вашем развращающем обществе, если память мне не изменяет?

— Да пошел ты к черту, Бак, — вежливо, как я и опасался, отвечает Перри.

— Ладно, — говорю я, — скажи ты мне, жалкий комнатный ублюдок, несчастный придаток садовой лейки, на кой ляд тебе это понадобилось — так над собой надругаться? Ты только погляди на себя — какой ты весь приличный и богобоязненный! Да ты ж теперь годишься только на то, чтобы заседать в суде присяжных или навешивать дверь в дровяном сарае. А ведь ты был мужчиной когда-то! Я таких перебежчиков не терплю. Чего ты торчишь здесь, на ветру — шел бы в дом, пересчитал салфеточки, завел бы часики. А то, гляди, забежит ненароком дикий кролик, еще укусит, пожалуй.

— Послушай, Бак, — говорит Перри, кротко так и вроде бы огорченно, — ты не понимаешь. Женатый человек, хочешь не хочешь, становится другим. В нем уже не то нутро, как в таком старом, добром перекасти-поле, как ты. Можно, конечно, вывернуть наизнанку какой-нибудь поселок, чтобы поглядеть, чем он снизу подбит, можно сорвать банк в фараон или напиться в стельку, да только не грешно ли без толку предаваться таким беспокойным занятиям?

— Было время, — говорю я и, кажется, испускаю при этом глубокий вздох, — было время, когда один пасхальный ягненок, которого я мог бы даже назвать по имени, имел большой опыт по части разных греховных развлечений. Вот уж не думал, Перри, что ты можешь так опуститься и из хорошего, чумового забулдыги превратиться в этакие жалкие ошметки мужчины. Глянь, — говорю я, — ведь ты даже галстук нацепил! И несешь разную слюнявую околесицу, ровно лавочник какой или леди. По-моему, ты уже способен ходить с зонтиком и в подтяжках и, чуть свечереет, плестись домой.

— Моя женушка, — говорит Перри, — пожалуй, и в самом деле произвела во мне кое-какие усовершенствования. Тебе не понять этого, Бак. С тех пор как мы поженились, не было еще такого случая, чтобы я не ночевал дома.

Мы с ним потолковали еще малость, и не сойти мне живым с места, если этот человек не прервал меня прямо на полуслове, чтобы сообщить мне, что он вырастил шесть кустов помидоров у себя на огороде. Он даже принялся совать мне под нос плоды своего сельскохозяйственного падения, как раз когда я пытался рассказать ему, как мы здорово повеселились в кабачке у Пита Калифорнийца — вымазали дегтем и вываляли в перьях одного хорошо нам знакомого карточного шулера! Однако мало-помалу Перри начал выказывать некоторые проблески здравого смысла.

— Правду сказать, Бак, — говорит он, — порой, конечно, бывает скучновато. Ты не подумай худого — я с моей женушкой живу как в раю, но мужчине, видать, все же необходимо иной раз встряхнуться. Вот что я тебе скажу: Марианна сегодня пошла в гости и вернется домой к семи часам. Это у нас с ней так заведено — до семи, и крышка. Ни она, ни я никогда нигде не задерживаемся после семи часов — разве что вместе. Я рад, что ты завернул ко мне, Бак, — говорит Перри. — Мне что-то захотелось еще разок поднять дым коромыслом в память о прежних веселых денечках. Что скажешь, если мы с тобой скоротаем сегодня вместе время до вечера? По мне, так это было бы славно, — говорит он. Я шлепнул по плечу этого

заарканенного объездчика кухонной плиты так, что он отлетел к противоположной изгороди своего огородика.

— Надевай шляпу, ты, старый, высушенный аллигатор! — заорал я. — Похоже, ты еще не совсем помер. В тебе еще сохранилось что-то человеческое, хоть ты и погряз с головой в супружеской трясине. Мы с тобой сейчас разберем этот поселок по винтику и поглядим, отчего он тикает. Мы заставим показать высокий класс в искусстве откупоривания бутылок. Ты у меня еще набьешь себе мозоли, старая ты комолая корова, — сказал я, саданув Перри под ребра, — если снова пробежишься со своим дядюшкой Бакom древней стезей порока.

— Только я должен воротиться домой к семи часам, — ладил свое Перри.

— А то как же, — сказал я, подмигнув самому себе. Мне ли было не знать, к каким это семи часам может воротиться домой Перри Раунтри, если он начнет точить лясы с барменами.

Мы с Перри зашагали к салуну «Серый мул» — к этой старой глинобитной хибаре возле станции.

— Заказывай, — сказал я, как только мы поставили по одному копыту на приступку у стойки.

— Мне воды с сассапариловым сиропом, — говорит Перри.

Поверишь ли, я чуть языка не лишился.

— Валяй, оскорбляй меня, не стесняйся! — говорю я ему. — Но зачем же так пугать бармена? Может, у него большое сердце. Ладно, ты, верно, оговорился. Два высоких стакана, — это я бармену, — и вон ту бутылку со льда, из левого угла морозильника.

— Мне с сиропом, — повторяет Перри, и вдруг глаза у него загораются, и я вижу, что в мозгу его родилась какая-то великая идея и ему не терпится ее обнаружить.

— Бак, — говорит он, а сам аж пузырится весь от радости, — знаешь, что я удумал? Давай-ка мы устроим себе праздник! Я малость засиделся дома, мне необходимо проветриться. И мы с тобой так тряхнем стариной, что только держись! Мы сейчас пойдем в заднюю комнату и засядем там за шашки ровно до половины седьмого.

Я прислонился к стойке и сказал Майку Рваное Ухо, который в тот день держал вахту:

— Упаси тебя Господь проговориться кому-нибудь про то, что ты здесь слышал. Ты же помнишь, каков был наш Перри! А теперь он переболел лихорадкой, и доктор говорит, что его пока что надо ублажать.

— Дай-ка нам шашки и доску, Майк, — говорит Перри. — Пошли, Бак, я уже ног под собой не чувю, так мне хочется разгуляться!

Я пошел в заднюю комнату следом за Перри. Прежде чем затворить за собой дверь, я сказал Майку:

— Похорони навек у себя под шляпой, что ты видел, как Бак Капертон водил компанию с сассапариловым сиропом и шашками, если не хочешь, чтобы я сделал двузубую вилку из твоего второго уха.

Я запер дверь, и мы с Перри принялись за игру. Клянусь, простая овчарка и та заболела бы от унижения, доведись ей увидеть, как этот несчастный, затюканный антикварный предмет домашнего обихода радостно хихикал всякий раз, когда ему удавалось съесть у меня шашку, или омерзительно ликовал, проходя в дамки. Ведь этот человек не мог, бывало, успокоиться, пока не выиграет в лото сразу на шести картах или не доведет до нервного шока банкомета, и теперь, видя, как он, словно Салли-Луиза на школьном празднике, аккуратно передвигает шашки, я чуть не плакал от сострадания.

Сию я этак с ним, играю черными, весь в поту от страха, что кто-нибудь из знакомых про это узнает, и размышляю над брачным вопросом. Да, думаю, мало что, видать, изменилось в этих делах со времен миссис Далилы. Она взяла да и обкорнала своего муженька, а кто ж не знает, на что становится похож мужчина, если над его головой поработает женщина! И вот, когда фарисеи пришли над ним поиздеваться, его так замучил стыд, что он тут же принял за дело и обрушил весь дом прямо им на головы<sup>28</sup>. У этих женатиков, — рассуждаю я про

---

<sup>28</sup> По библейской легенде, Долила остригла Самсона, необыкновенная сила которого была заключена в его

себя, — уже не тот размах, они теряют вкус к доброй попойке и прочим дурачествам. Их уже не тянет ни покуролесить, ни сорвать банк, даже ввязаться в хорошую драку им неинтересно. Так на кой же ляд, спрашиваю я себя, лезут они в это брачное ярмо и так и ходят в нем до конца дней своих?

Но Перри, казалось, веселился от души.

— Ну что, Бак, старый ты мерин, — говорит он, — вот когда мы с тобой гульнули на славу! Что-то я и не припомню такого, даже в прежние времена. Я, понимаешь, редко выбирался из дома, с тех пор как женился, и давно не был в хорошем загуле.

В загуле! Да, вот что он сказал. Это про игру-то в шашки в задней комнате «Серого мула»! Я так смекаю, что после стояния с садовой лейкой над шестью помидорными кустиками наше занятие и вправду показалось ему чем-то вроде разнузданного дебоша на грани оргии.

Через каждые две минуты он смотрел на свои часы и говорил:

— К семи, понимаешь, мне надо быть дома.

— Ладно, — говорю я. — Ты меньше рассусоливай и знай ходи. Этот напряженный разгул меня убивает. Мне, я чувствую, необходимо немного расслабиться и нравственно перековаться после этого бурного разврата, иначе нервы треснут у меня по всем швам.

Было около половины седьмого, когда за окнами поднялся какой-то шум. До нас донеслись крики, стрельба из шестизарядных и громкий топот, как на маневрах.

— Что это там такое? — спрашиваю я.

— Да заварушка какая-то на улице, — говорит Перри. — Твой ход. Мы как раз успеем закончить эту партию.

— А я все-таки пойду гляну в окно — интересно, что там происходит, — говорю я. — Нельзя же требовать от простого смертного, чтобы он усидел на месте, когда у него одновременно съедают дамку и тарабанят в уши шумом неустановленного происхождения.

В задней комнате «Серого мула» было всего два окошка в фут шириной, забранных железными решетками. Я глянул в одно из этих окошек и установил причину переполоха.

Это были молодчики из тримбловской шайки. Десять самых отчаянных головорезов и конокрадов в Техасе скакали по улице напрямик к «Серому мулу» и палили направо и налево. Вскоре они исчезли из поля моего зрения, но было слышно, что они подскакали к крылечку и послали вперед себя изрядную порцию свинца. Мы услышали, как разлетелось вдребезги большое зеркало за стойкой и зазвенели бутылки. Затем мы увидели, как Майк Рваное Ухо, не сняв фартука, чешет через всю площадь, словно койот, а пули поднимают вокруг него фонтанчики пыли. После этого вся шайка принялась хозяйничать в салуне, опустошая те бутылки, что пришлись им по вкусу, и шмякая об пол остальные.

Нам с Перри эта шайка была хорошо знакома, и мы были известны ей не хуже. За год до того, как Перри осупружился, мы с ним вместе служили в конных стрелках и крепко раздолбали эту шайку в окрестностях Сан-Мигеля, после чего доставили сюда Берри Тримбла и еще двоих по обвинению в убийстве.

— Теперь нам отсюда не выйти, — говорю я. — Придется торчать здесь, пока они не уберутся.

Перри поглядел на часы.

— Без двадцати пяти семь, — сказал он. — Мы еще успеем доиграть эту партию. У меня на две шашки больше. Ход твой. К семи я должен быть дома, Бак, я тебе говорил.

Мы снова засели за игру. Шайка Тримбла, понятное дело, продолжала бесчинствовать. Они уже крепко набрались. Разопьют дюжину-другую бутылок, погорланят песни и потом постреляют по посуде. Два-три раза подходили к нашей двери, пытались отворить. А затем на улице снова поднялась пальба, и я глянул в окно. Хэм Гроссет, наш шериф, привел отряд

---

длинных волосах, и тем выдала его филистимлянам. Через много лет, когда волосы у пленного Самсона снова отросли, он явился в храм, где собрались филистимляне, обхватил руками два столба, поддерживавших крышу, и обрушил здание на себя и на своих врагов.

полиции, расположил его в доме и в лавках через улицу и пробовал усмирить бандитов, стреляя по окнам.

Эту партию я проиграл. Прямо скажу: я нипочем не потерял бы зазря трех дам, выбери мы для игры загон поспокойней. А еще этот слюнявый женатик знай себе кудахтает по поводу каждой снятой им шашки, словно дурно воспитанная курица над маисовым зерном.

Когда партия была сыграна, Перри встал и поглядел на часы.

— Я роскошно провел время, Бак, — сказал он. — Ну, а теперь мне надо двигать. Уже без четверти семь, а в семь, ты знаешь, я должен быть дома.

Я подумал, что он шутит.

— Через полчаса, самое большее — через час они либо умотают отсюда, либо свалятся под стол, — говорю я ему. — Разве супружество так уж тебя утомило, что ты хочешь еще раз покончить жизнь самоубийством?

— Случилось мне однажды, — говорит Перри, — воротиться домой в половине восьмого. С Марианной я столкнулся на улице — она выбежала меня искать. Поглядел бы ты тогда на нее, Бак... Да нет, тебе не понять. Она же знает, какой я был непутевый, и все боится, как бы со мной не приключилось беды. С той поры я домой опаздывать закаялся. Так что, Бак, прощай покудова.

Я стал между ним и дверью.

— Послушай ты, женатый человек, я знаю, что ты поглупел навеки с той минуты, как тебя окрутили у пастора, но постарайся хоть разочек раскинуть остатками своих мозгов. Их там десять человек, этой шантрапы, и все они уже ошалели от виски и только и ищут, кого бы пристукнуть. Ты и двух шагов к двери не успеешь ступить, как они выбьют из тебя душу, как пробку из бутылки. Ну, будь умником, у тебя же сейчас не больше здравого смысла, чем у лягушки. Садись и жди, пока у нас появится шанс выбраться отсюда на своих на двоих, — если, конечно, ты не жаждешь, чтобы нас вынесли по кускам в ящиках из-под пива.

— Я должен быть дома в семь часов, Бак, — тупо повторяет этот слабоумный подкаблучник, как какой-нибудь совсем обыдиотившийся попугай. — Марианна, — говорит он, — побежит меня искать. — И тут он наклоняется и отламывает ножку от стола. — Я прошмыгну сквозь эту тримбловскую шайку, как дикий кролик сквозь плетень загона. Не скажу, чтобы меня так уж подмывало, как прежде когда-то, ввязаться в потасовку, но в семь часов я должен быть дома. Ты запрети за мной дверь, Бак. И не забудь — я выиграл у тебя три из пяти. Я бы сыграл еще, но Марианна...

— Заткнись ты, обожравшаяся дурмана безмозглая кляча, — говорю я. — Видал ты когда-нибудь, чтобы дядюшка Бак прятался от хорошей потасовки за запертой дверью? Я хоть и не женат, но тоже не хуже любого многоженца сумею показать себя растреклятым дурнем. От четырех отнять один — будет три, — говорю я и отламываю еще одну ножку от стола. — Мы прибудем на место к семи часам — будь то хоть в рай, хоть совсем наоборот, — говорю я. — Могу я проводить вас до дому? — спрашиваю я этого чемпиона шашечных баталий, этого просиропленного чревоугодника, этого необузданного охотника за черепами.

Осторожно отомкнув дверь, мы устремляемся к выходу. Часть шайки выстроилась вдоль стойки, остальные разливают напитки, а двое-трое постреливают из двери и окон по ребятам шерифа. В салуне такой висит дымина, что мы успеваем протопать до половины зала, прежде чем они замечают нас. Откуда-то сбоку до меня доносится рев Берри Тримбла:

— Да это Бак Капертон! Как он сюда попал? — И его пуля сдирает лоскут кожи с моей шеи. Ну и мерзко же было небось у него на душе из-за этого промаха — ведь что ни говори, а Берри лучший стрелок к югу от Южно-тихоокеанской. Но в таком дыму, правду сказать, и промазать нетрудно.

Мы с Перри оглушили двоих из ихней шайки ножками от стола и, будьте покойны, не промазали, а когда мы выскочили на крыльцо, я выхватил винчестер у парня, сторожившего снаружи, обернулся и расквитался с мистером Берри.

Словом, нам с Перри удалось улизнуть от них, и мы благополучно завернули за угол. Я никак не думал, что мы живыми унесем оттуда ноги, но не мог же я сыграть труса перед этим

женатиком. По мнению Перри, гвоздем сегодняшнего дня была наша шашечная вакханалия, но если я хоть что-нибудь смыслю в светских развлечениях, то самых крупных заголовков в колонке происшествий заслуживает этот небольшой парад со столовыми ножками на плечо через весь зал салуна «Серый мул».

— Давай быстрее, — говорит Перри, — без двух минут семь, а мне надо...

— Ой, умолкни! — говорю я. — Мне вот надо было в семь часов быть на дознании — я сам его должен вести, а я же не разоряюсь так оттого, что опоздал.

Мне предстояло пройти мимо домика Перри. Его Марианна стояла у калитки. Мы притопали туда в пять минут восьмого. На ней был голубой халатик, а волосы гладко зачесаны вверх — как у маленькой девочки, которая хочет казаться взрослой. Она смотрела в другую сторону и не заметила нас, пока мы не подошли совсем близко. Тут она обернулась и увидела Перри, и что-то такое промелькнуло у нее в глазах, чего я, черт меня побери, нипочем не возьмусь описать. Я услышал, как она громко задышала — совсем как корова, у которой отобрали теленка, чтобы пустить его в стадо, и говорит:

— Ты запоздал, Перри.

— Всего на пять минут, — бодро отвечает Перри. — Мы с Баком заигрались в шашки.

Перри нас познакомил, и они пригласили меня зайти в дом. Нет уж, увольте. Хватит с меня на сегодня женатых. Я сказал им, что спешу и что очень приятно провел день с моим старым приятелем.

— Особенно, — добавил я, специально, чтобы поддеть Перри, — когда у стола одна за другой начали отваливаться ножки. — Впрочем, я ведь дал ему слово, что она ничего от меня не узнает.

— И вот с того самого дня я все об этом думаю, — сказал Бак, заканчивая свой рассказ. — Есть тут одна закавыка, которая мне всю душу перебалаламутила, и никак я в этом не разберусь.

— Ты это про что? — спросил я, свернув последнюю самокрутку и протягивая ее Баку.

— Да понимаешь, какая штука: когда эта фитюлька обернулась и увидела, что Перри целый и невредимый возвращается на ее ранчо, она так на него поглядела... Ну, словом, с тех самых пор я все думаю и думаю: а может, вот это — то, что я увидел в ее глазах, — стоит всех наших загулов, вместе со всеми шашками и сассапариловыми сиропами? И, может, самый-то большой дурак вовсе не Перри Раунтри, черт меня побери?

## Примечания

**Дороги судьбы** (Roads of Destiny), 1903. На русском языке под названием «Пути судьбы» в книге: О. Генри. О старом негре, больших карманных часах и вопросе, который остался открытым. Л., 1924, пер. под ред. В. Азова. Редкий для О. Генри рассказ, построенный на далеком от современности, условно-историческом материале.

**Хранитель рыцарской чести** (The Guardian of the Accolade), 1909. На русском языке в книге: О. Генри. О старом негре, больших карманных часах и вопросе, который остался открытым. Л., 1924, пер. под ред. В. Азова.

**Плюшевый котенок** (The Discounters of Money), 1909. На русском языке в книге: О. Генри. О старом негре, больших карманных часах и вопросе, который остался открытым. Л., 1924, пер. под ред. В. Азова.

**Волшебный профиль** (The Enchanted Profile), 1908. На русском языке в книге: О. Генри. О старом негре, больших карманных часах и вопросе, который остался открытым. Л., 1924, пер. под ред. В. Азова.

**«Среди текста»** («Next to Reading Matter»), 1907. На русском языке в книге: О. Генри. Рассказы о Западе и Юге. Л.-М., 1924, пер. под ред. В. Азова.

**Искусство и ковбойский конь** (Art and the Bronco), 1903. На русском языке в книге: О. Генри. Рассказы о Западе и Юге. Л.-М., 1924, пер. под ред. В. Азова.

**Феба** (Phoebe), 1907. На русском языке в книге: О. Генри. Рассказы о Западе и Юге. Л.-М., 1924, пер. под ред. В. Азова.

**Гнусный обманщик** (A Double-Dyed Deceiver), 1905. На русском языке под названием «Двойной обманщик» в книге: О. Генри. Рассказы о Западе и Юге. Л.-М., 1924, пер. под ред. В. Азова.

**Исчезновение Черного Орла** (The Passing of Black Eagle), 1902. На русском языке в книге: О. Генри. Рассказы о Западе и Юге. Л.-М., 1924, пер. под ред. В. Азова.

**Преображение Джимми Валентайна** (A Retrieved Reformation), 1903. На русском языке в книге: О. Генри. Рассказы о Западе и Юге. Л.-М., 1924, пер. под ред. В. Азова.

**Cherchez la femme**. На русском языке в книге: О. Генри. Рассказы о Западе и Юге. Л.-М., 1924, пер. под ред. В. Азова.

**Друзья из Сан-Розарио** (Friends in San Rosario), 1902. На русском языке под названием «Дружба» в книге: О. Генри. Рассказы о Западе и Юге. Л.-М., 1924, пер. под ред. В. Азова.

**Четвертое июля в Сальвадоре** (The Fourth in Salvador), 1903. На русском языке публикуется впервые.

**Эмансипация Билли** (The Emancipation of Billy), 1904. На русском языке публикуется впервые.

**Волшебный поцелуй** (The Enchanted Kiss), 1904. На русском языке публикуется впервые.

**Случай из департаментской практики** (A Departmental Case), 1902. На русском языке в журнале «Тридцать дней», 1938, № 9, пер. Е. Браиловского.

**Возрождение Шарльруа** (The Renaissance of Charleroi), 1902. На русском языке в книге: О. Генри. Рассказы о Западе и Юге. Л.-М., 1924, пер. под ред. В. Азова.

**От имени менеджмента** (On Behalf of the Management), 1904. На русском языке публикуется впервые.

**Рождественский чулок Дика-Свистуна** (Whistling Dick's Christmas Stocking), 1899. На русском языке в книге: О. Генри. Рассказы о Западе и Юге. Л.-М., 1924, пер. под ред. В. Азова. Этот написанный в заключении рассказ был переправлен за стены тюрьмы и появился в журнале «Макклур мэгезин» еще до освобождения писателя. Первый рассказ, подписанный псевдонимом О. Генри.

**Алебарщик маленького замка на Рейне** (The halberdier of the little Rheinschloss), 1907. На русском языке публикуется впервые.

**Два ренегата** (Two Renegades), 1904. На русском языке в книге: О. Генри. Рассказы о Западе и Юге. Л.-М., 1924, пер. под ред. В. Азова.

**Одиноким путем** (The Lonesome Road), 1903. На русском языке под названием «Одинокая дорога» в книге: О. Генри. Рассказы о Западе и Юге. Л.-М., 1924, пер. под ред. В. Азова.

## Сборник рассказов "На выбор"

### «Роза южных штатов»

Когда акционерная компания в Тумз-Сити штат Джорджия вознамерилась выпускать журнал под названием «Роза Южных штатов», его владельцы остановили свой выбор только на одном кандидате на пост главного редактора. Только полковник Акила Телфэр был таким человеком, достойным занять эту должность. У него для этого были все необходимые качества — знания, хорошая семья, высокая репутация, крепкие традиции Юга, он был по призванию, в силу логики, самым подходящим главным редактором.

Комитет патриотов — граждан Джорджии, который сформировал по подписке первоначальный капитал — 100 000 долларов, в полном составе приехал в резиденцию

полковника Телфэра, сильно опасаясь, как бы его возможный отказ не повредил такому предприятию, да и делу всего Юга.

Полковник встретил комитетчиков в большой библиотеке, где он проводил почти все свои дни. Эта библиотека перешла к нему от отца. В ней было собрано десять тысяч томов, некоторые из них вышли в свет еще в 1861 году. Когда прибыла депутация, полковник Телфэр, сидя за своим массивным столом, читал «Анатомию меланхолии» Бертона, он вышел из-за стола и церемонно пожал руку каждому члену комитета. Если вы знакомы с журналом «Роза Южных штатов», то, вероятно, еще помните портрет полковника, который появлялся в нем время от времени. Разве можно забыть его длинные, аккуратно расчесанные седые волосы, широкий, похожий на клюв, чуть искривленный влево нос, пронизательные глаза под все еще черными бровями, классических очертаний рот под седыми, повисшими усами, поредевшими на концах?

Комитет в торжественном тоне предложил ему должность управляющего редактора, наметил в общих чертах ту область, которую был призван освещать на своих страницах журнал, и назвал вполне приличную сумму полагающегося полковнику жалованья. Земли полковника истощались с каждым годом все больше, были изрядно уже изрыты оврагами с красноземом. К тому же, кто станет отказываться от такой высокой чести?

В своей сорокаминутной речи, в которой он выражал свое согласие, полковник Телфэр дал краткий обзор английской литературы от Чосера до Маколея, еще раз провел битву при Чанселорсвилле и заявил, что с Божьей помощью будет руководить «Розой Южных штатов». Так чтобы тонкие запахи и красоты Юга пропитали весь мир, чтобы эти креатуры с Севера заткнулись и позабыли о своем навязшем в зубах утверждении, что никаких проблесков гениальности не может быть в мозгах и ничего доброго в сердцах народа, собственность которого они уничтожили, а права значительно урезали.

Офис для нового журнала был должным образом оборудован с необходимыми перегородками на втором этаже здания Первого Национального банка и теперь полковнику предстояло сделать так, чтобы «Роза Южных штатов» цвела и пахла, распространяя повсюду пропитанный бальзамом воздух этой земли цветов.

Главный редактор полковник Телфэр подобрал себе заместителей и внештатных сотрудников, что не могло не вызвать удивления. Первый сорт! Каждый что тебе соблазнительный персик! Можно сказать, целый ящик отборных персиков из штата Джорджия. Первый заместитель — Толливер Ли Фэрфэкс, отец которого был убит при кавалерийской атаке. Второй заместитель — Китс Анфэнк, племянник одного из Рейдеров Моргана. Обозреватель книжных новинок — Джексон Рокинхэм, самый молодой солдат в армии конфедератов, можно сказать, появился на поле сражения с саблей в одной руке, а с бутылочкой молока в другой. Редактор отдела искусств — Ронсвэлл Сайкс — третий кузен племянника Джефферсона Дэвиса. Машинистка и стенографистка полковника — мисс Лавиния Терюн, тетку которой когда-то поцеловал Стонуолл Джексон. Главный рассыльный Томми Уэбстер получил свою работу после того, как прочитал наизусть все поэмы отца Райана на церемонии начала учебного года в средней школе Тумз-Сити. Девушки, заворачивающие журнал в бумагу и рассылающие его по адресам подписчиков, — все члены старинных южных семей, попавших в стеснительные обстоятельства. Кассиром стал малый по имени Хоукинс из Анн-Арбора штат Мичиган, у которого были рекомендации и гарантийное письмо от одной компании, составленное ее владельцами. Даже акционерные компании штата Джорджия порой понимают, что мертвых все равно приходится хоронить живым.

Ну, сэр, можете верить или не верить, но «Роза Южных штатов» стала процветать задолго до того, как о ней услышали, кроме тех, конечно, кто все видел собственными глазами в Тумз-Сити. Тогда Хоукинс слез со своего высокого стула и сделал всех акционерами компании. Даже в захолустном Анн-Арборе он делал все свои деловые предложения так громогласно, что их слышали, по крайней мере, в Детройте. Тогда был найден менеджер по рекламе, из Боригард Фитцхью бэнкс, — молодой человек с галстуком цвета лаванды, прадедушка которого был прославленной «Наволочкой» ку-клукс-клана.

Несмотря на все это, «Роза Южных штатов» выходила регулярно, каждый месяц. И хотя в каждом номере помещались фото либо Тадж-Махала или Люксембургских садов, Карменситы или Фолетты, кое-кто покупал журнал и даже подписывался на него. Чтобы увеличить тираж, главный редактор полковник Телфэр опубликовал вид с трех различных углов старого дома Эндрю Джексона, под названием «Эрмитаж», на всю страницу гравюру второй битвы при Манасси под названием «Защити тыл!» и биографию Прекрасной Бойд объемом пять тысяч слов, и все это в одном номере. Число подписчиков в этот месяц увеличилось на 118 человек. В том же номере были еще напечатаны поэмы Леонины Вашти Арико (псевдоним) — племянницы одного из акционеров компании. И еще статья корреспондента светской хроники, в которой тот описывал потрясающее чаепитие, устроенное состоятельными бостонцами и англичанами, причем очень много чая было пролито на скатерти из-за внезапного появления гостей в маскарадных костюмах индейцев.

Однажды один запыхавшийся человек, дыхание которого могло затуманить большое зеркало, вошел в офис «Розы Южных штатов». Это был крупный мужчина, похожий на агента по продаже недвижимости, с повязанным собственными руками галстуком и манерами, которые он, по-видимому, позаимствовал одновременно у У. Д. Брайана, Хэккеншмидта и Хетти Грина.

Его провели в святая святых полковника, кабинет главного редактора. Полковник Телфэр поднялся и отвесил учтивый поклон на манер принца Альберта.

— Я — Тэкер, — сказал вошедший, усаживаясь на стул редактора. — Т. Т. Тэкер, из Нью-Йорка.

Он торопливо выложил на стол полковника несколько карт, пухлый конверт из манильской плотной бумаги и письмо от владельцев акционерной компании. В письме они представляли мистера Тэкера и вежливо просили полковника Телфэра все ему объяснить и предоставить любую информацию о его журнале, которую тот у него попросит.

— Я какое-то время переписывался с секретарем владельцев журнала, — торопливо объяснил Тэкер. — Я и сам профессиональный журналист и умею повышать тираж, как никто другой, можете мне поверить. Могу гарантировать увеличение тиража от десяти до ста тысяч экземпляров любого издания, которое только не печатается на мертвом языке. Я остановил свой взор на «Розе Южных штатов» с того времени, как вышел первый номер. Я знаю как свои пять пальцев весь этот издательский бизнес, от редакции до помещения рекламных объявлений. Так вот, я приехал сюда, чтобы вложить в журнал кучу денег, если только я себе все верно представляю. Но меня должны попросить об этом. Секретарь говорит, что, мол, нечего выбрасывать деньги на ветер. Я не вижу, почему журнал, выходящий на Юге, если им только умело руководить, не может получить большого тиража и на Севере.

Полковник Телфэр подался вперед на своем стуле, протирая очки в золотой оправе.

— Мистер Тэкер, — сказал он вежливо, но твердо. — «Роза Южных штатов» — это такое издание, которое посвящено укреплению гения Юга и призвано предоставить ему возможность заговорить в полный голос. Вы не могли не заметить на его обложке девиз: «О Юге, за Юг и во имя Юга!»

— Но ведь вы, надеюсь, не против определенного его тиража на Севере? — спросил Тэкер.

— Как мне кажется, — продолжал полковник — главный редактор, — что подписка любого человека на журнал — это общепринятая практика. Честно говоря, я не знаю. Я не имею ничего общего с бизнесом журнала. Меня пригласили осуществлять над ним редакторский надзор, я посвятил ему все свои довольно скромные литературные таланты и ту эрудицию, которую я за эти годы накопил.

— Вы, конечно, правы, — сказал Тэкер, — но доллар — он везде доллар: на Севере, на Юге, на Западе, повсюду, где вы покупаете камбалу, земляной орех или мускусную дыню сорта «Рокки форд». Знаете, я искал ноябрьский номер журнала. Вон он, лежит на вашем столе. Давайте пройдемся по нему вместе с вами?

Ну, ваша передовица достаточно хороша. Хорошее описание «хлопкового пояса» с



множеством фотографий — всегда залог успеха. Знаете, Нью-Йорк постоянно проявляет свой повышенный интерес к урожаю хлопка. А вот сенсационный отчет о вражде между Хэтфильдом и Маккоем, который составила школьница, племянница губернатора штата Кентукки. Неплохая идея! Это было так давно, что большинство людей об этом забыли. А вот и поэма, занявшая целых три страницы, под заголовком «Нога тирана» Лореллы Ласеллс. Я пересмотрел немало рукописей и ни на одном отказе не увидел ее имени.

— Мисс Ласеллс, — сказал главный редактор, — одна из самых широко признанных южных поэтесс. Она тесно связана с семьей Ласеллсов в штате Алабама, она собственными руками сшила шелковое знамя конфедератов и лично подарила губернатору этого штата на его инаугурацию.

— Но почему в таком случае, — не сдавался Тэкер, — эта поэма проиллюстрирована фотографией железнодорожного депо «М. энд О.» в Тускалузе?

— На иллюстрации изображена угловая часть забора, окружающего старый земельный участок, на котором родилась мисс Ласеллс.

— Очень интересно, — сказал Тэкер. — Я прочитал поэму, но так и не понял, о чем она? О железнодорожном депо или о схватке с бегущими быками? Ну а этот коротенький рассказик под названием «Искушение Розы» Фосдайк Пиготт? Он просто ужасен. Кто такой этот Пиготт?

— Мистер Пиготт, — объяснил главный редактор, — брат главного акционера журнала.

— Ну да ладно, мир от этого не перевернулся. Пиготт — проходняк, — сказал Тэкер. — Статьи об исследовании Арктики и о ловле тарпанов сами по себе неплохи. Теперь по поводу вот этого материала о пивных заводах в Атланте, Новом Орлеане, Нэшвилле и Саванне. Что в нем такого, кроме статистики, объемов производства пива и его качества? В чем тут изюминка?

— Если я правильно понимаю ваш образный язык, — спокойно ответил полковник Телфэр, — дело заключается в следующем: статью, о которой вы говорите, мне передали владельцы журнала вместе с распоряжением ее напечатать. Ее литературные достоинства мне не понравились. Но в определенной мере я вынужден в некоторых вопросах идти навстречу пожеланиям джентльменов, которые заинтересованы в финансовом успехе «Розы».

— Понятно, — сказал Тэкер. — Пойдем дальше. Вот две страницы избранных отрывков из поэмы «Лалла Рук» Томаса Мура. Из какой же федеральной тюрьмы он сбежал, этот Мур, и что скрывается за инициалами Ф. Ф. В. семьи, которая стала для него гандикапом?

— Мур был ирландским поэтом и умер в тысяча восемьсот пятьдесят втором году, — объяснил полковник Телфэр, сожалея о невежестве посетителя. — Он считается классиком. Я подумывал о напечатании его перевода «Анакреона» в виде поэтической серии в моем журнале.

— Позаботьтесь об авторских правах, — резко бросил Тэкер. — А кто такая Бесси Бельклэр, которая печатает свое эссе, посвященное недавно открытой водоочистительной станции в Миллетдживилле?

— Ее имя, сэр, — сказал полковник Телфэр, — это боевой псевдоним мисс Элвиры Симпкинс. Я лично не имею чести знать эту леди, но ее сочинение мне прислал конгрессмен Брауэр от ее родного штата. Мать конгрессмена Брауэра приходилась родственницей Полксам из Теннесси.

— Послушайте, полковник, — сказал Тэкен, отбрасывая в сторону журнал. — Нет, так не пойдет. Нельзя успешно издавать журнал, предназначенный для какой-то определенной части страны. Мы должны обращаться с призывом ко всем, ко всему миру! Вы только посмотрите, сколько выходящих на Севере публикаций обращают особое внимание на положение на Юге, как они поощряют южных писателей. И вы должны идти дальше в этом направлении, привлекать все больше авторов. Но нужно, конечно, приобретать материалы только исходя из их качества, не обращать внимания на родовитость того или иного автора. Ну, могу поставить кварту чернил против того, что этот южный печатный орган, которым вы руководите, никогда не напечатал ни строчки о том, что творится к северу от географической линии Мейсон — Хамлинг? Разве я не прав?

— Я всегда сознательно и старательно отвергал все материалы, поступавшие ко мне из этой части страны, если я только верно понимаю ваш образный язык, — ответил полковник.

— Хорошо. Сейчас я вам кое-что покажу.

Тэкер потянулся к своему пухлому конверту из плотной манильской бумаги и, вытащив из нее несколько рукописей, положил их на стол главного редактора.

— Вот вам верный указатель, — сказал он, — я за него заплатил свои деньги и привез с собой.

Он стал вкладывать назад в конверт рукописи, предварительно показывая первые странички каждой полковнику.

— Здесь — четыре коротких рассказа, написанные самыми знаменитыми авторами в Соединенных Штатах. Трое из них живут в Нью-Йорке, а один в пригороде. Есть статья Тома Вампсона, специально посвященная венскому воспитательному обществу. Есть итальянский сериал о капитане Джеке, нет, это еще один опус Кроуфорда. Вот три отдельных очерка Сниффингса о городских правительствах и вот настоящий «гвоздь» — называется «Что носят женщины в своих плоских чемоданчиках»: одна сотрудница чикагской газеты завербовалась в служанки на пять лет к одной знатной леди, чтобы добыть такую информацию. А вот синопсис предыдущих глав нового сериала Холла Кейна, который выйдет в июне месяце. А вот пара фунтов стихов высшего общества, которые я взял из очень интеллектуальных журналов по рейтингу. Такой материал нужен всем, именно это хотят читать все люди. А вот «чтово» с фотографиями. На них изображен Джордж Б. Макклин в разном возрасте: когда ему четыре годика, двенадцать, двадцать, двадцать два и тридцать лет. Он будет непременно избран мэром Нью-Йорка. Это — точный прогноз. Большая сенсация по всей стране. Он...

— Прошу прощения, — прервал его полковник Телфэр, цепenea на своем стуле. — Как его зовут?

— А, понимаю, — расплылся Тэкер в широкой улыбке. — Да, он сын генерала. Нет, эту рукопись мы отложим. Простите меня, полковник, но должен «выстрелить» журнал, а не первое орудие в форте Самтер. Ну а вот эта вещица непременно увидит у вас скоро свет. Оригинальная поэма Джеймса Уиткомба Рилли. Лично его! Вы, конечно, представляете, что это значит для журнала? Я не стану называть вам ту сумму, которую мне пришлось за нее выложить, но я скажу вам следующее: Рилли способен заработать гораздо больше денег, когда пишет авторучкой, гораздо больше, чем мы с вами, когда пишем обычной, с чернильницей. Я прочитаю вам всего пару строф:

*Па мой — без дела целый день,  
Он лишь читает дребедень,  
И просит только нас обоих,  
Чтоб мы оставили его в покое.  
Я делаю все, что захочу,  
Когда шалю, лишь хохочу,  
Когда ругательства произношу я вслух,  
Па мой говорит, что я неслух!  
Па улыбается нашей кошке,  
А ма лишь злится понемножку.  
Он не дает мне гладить Джесси,  
Чем это вызвано на свете?  
А тем, что па мой никогда  
Не гладил серого кота!*

А вот вторая:

*Как только все гаснет в доме,  
Крадусь я тут под балконом,  
Кровать пуста, я к ма иду,  
Сказать ей, как ее люблю.  
Я буду обнимать ее и целовать,  
Глаз в темноте не разобрать,  
Но когда всем надо спать,  
Она — все плакать и кричать.  
Я удивляюсь, сколько слез  
Ма моя так часто льет?  
А почему? А потому,  
Что на уж до ней не льнет!*

— Ну, как материалчик? — продолжал Тэкер. — Что скажете?

— Не скажу, что я незнаком с творчеством мистера Рилли, — с нажимом сказал полковник. — Кажется, он живет в Индиане. В последние десять лет он превратился в своеобразного литературного отшельника, но я знаком почти со всеми его книгами, собранными на Кедровых высотах. Я также придерживаюсь мнения, что журнал должен печатать поэзию в разумных объемах. Многие самые сладкоголосые трубадуры нашего Юга внесли свой творческий вклад на страницах «Розы Южных штатов».

Я лично подумывал о переводе с оригинала знаменитого итальянского поэта Тассо, чтобы опубликовать его на страницах нашего журнала. А вы когда-нибудь пивали из кладезя его бессмертных поэтических строк, мистер Тэкер?

— Нет, даже из кладезя полу-Тассо, — честно признался Тэкер. — Давайте-ка лучше перейдем к делу, полковник Телфэр. Я уже вложил кое-какие деньги в это ваше рискованное предприятие. Вот эта куча рукописей обошлась мне в четыре тысячи долларов. Мой план — опубликовать несколько из них в ближайшем номере. Думаю, у вас осталось времени менее месяца, чтобы понять, как это скажется на увеличении тиража. Я твердо верю, если мы станем печатать лучшие материалы с Севера, Юга, Востока и Запада, то сможем как следует развернуться с журналом. Вот перед вами письмо от владельца компании, в котором он предлагает вам сотрудничать со мной в деле осуществления такого грандиозного плана. Давайте выбросим часть всей этой дряни, которую вы публиковали только потому, что авторы являются родственниками Скупдуддлс из графства Скупдуддлс. Ну, вы согласны?

— До тех пор, покуда я исполняю обязанности главного редактора журнала, я буду им оставаться, — сказал с достоинством полковник. — Но я также готов выполнить пожелания его владельцев, если это не означает сделку с совестью.

— Ну, вот это настоящий разговор, — подхватил Тэкер. — Ну, какая часть привезенных мной материалов может увидеть свет в январском номере? Нужно начинать немедленно, не терять зря времени.

— В январском номере еще остается свободное место, — сказал главный редактор, — как раз на материал около восьми тысяч слов, грубо говоря.

— Потрясающе! — воскликнул Тэкер. — Не густо, конечно, но таким образом мы дадим читателям возможность отдохнуть от земляного ореха, губернаторов и Геттисберга. Я сам выберу самое интересное из того, что привез с собой, чтобы заполнить свободную журнальную площадь. Договорились? Придется смотаться в Нью-Йорк и вернуться сюда через пару недель.

Полковник Телфэр медленно стал снимать с носа свои очки с широкой черной ленточкой.

— Но свободное место в январском номере, — размеренно произнес полковник, — я оставил намеренно и что там печатать, я пока не решил. Совсем недавно в «Розу Южных

штатов» был прислан материал, который, по-видимому, стал венцом просто замечательных литературных усилий. Такого я еще никогда не видел перед своими глазами. Только мастер высочайшего разума и громадного таланта способен на такое! И по размерам он как раз подходит для свободного пространства.

Тэкер тут же встревожился.

— Ну и что это за материал? — спросил он. — Восемь тысяч слов? Что-то очень подозрительно. Вероятно, в этом приняли участие самые старинные семьи. Может, нам это грозит новым отделением?

— Автор статьи, — продолжал главный редактор, проигнорировав историческую аллюзию Тэкера, — автор, имеющий определенную репутацию. И в других областях он тоже отличился. Я не вправе называть его имя, по крайней мере, до тех пор, пока не приму окончательного решения, что делать с его материалом.

— Ну так что же, — сказал Тэкер, явно нервничая, — что он из себя представляет? Рассказ с продолжением, отчет о торжественном открытии новой насосной станции в городе Уитмир в Южной Калифорнии или сокращенный список телохранителей генерала Ли?

— Вам угодно насмешничать, — спокойно сказал полковник Телфэр. — Статья принадлежит перу мыслителя, философа, ученого, профессионального оратора высшей пробы, испытывающего неукротимую любовь ко всему человечеству.

— Вероятно, ее состряпал какой-то синдикат, — сказал Тэкер. — Но, честно говоря, вы, полковник, почему-то совсем не спешите со своим решением. Я, право, не знаю, кто сегодня читает восемь тысяч слов напечатанного материала в наши дни, кроме отчетов о брифингах Верховного суда да стенограммы судебных разбирательств об убийствах. Кстати, у вас часом нет копии речи на суде Дэниэля Фэбстера?

Полковник Телфэр заерзал на своем стуле и устремил пронизывающий взгляд из-под кустистых бровей на этого журнального импресарио.

— Мистер Тэкер, — с серьезным видом сказал он, — мне не хотелось бы смешивать ваше грубое чувство юмора с теми заботами, которые связаны с вашими капиталовложениями в этот бизнес. И посему я вынужден попросить вас оставить при себе ваши неуместные шутки и оскорбительные комментарии в отношении Юга и южан. Подобное просто нетерпимо в офисе «Розы Южных штатов». Прежде чем вы вновь приступите к вашим завуалированным инсинуациям в отношении того, что я, главный редактор журнала, не могу быть компетентным судьей присылаемых на его рассмотрение материалов, я попрошу вас представить свидетельства или доказательства того, что вы превосходите меня в любой форме в методе подхода к материалам, их рассмотрения и оценки.

— Ах, что вы, полковник, что вы, — добродушно сказал Тэкер, — я совсем не собирался упрекать вас в подобном. Ваши слова — словно осуждение, прозвучавшее в устах четвертого помощника генерального прокурора. Давайте-ка лучше вернемся к делу. Так что же там, короче говоря, в этих восьми тысячах слов?

— Статья, — продолжал полковник Телфэр, кивком головы принимая извинение, — охватывает широкую область знаний. В ней рассматриваются теории и такие сложные вопросы, которые были головоломками для всего мира на протяжении веков, все они там решаются, решаются точно, конкретно. В ней перечисляется все зло, все беды нашего мира, указывается, как все это можно искоренить, после чего приводятся детальные рекомендации, как можно добиться добра и справедливости.

Вряд ли вы найдете какую-либо сторону жизни, чтобы в ней она не подвергалась мудрой, взвешенной и спокойной дискуссии. Проведение великой политики правительствами, обязанности частных лиц, граждан, их обязательства в семейной жизни, вопросы этики, нравственности — все эти предметы рассматриваются с поразительной мудростью, уверенно, убедительно, и, должен признать, вызывают мое искреннее восхищение.

— Да, вероятно, классная штука! — сказал Тэкер, на которого вдохновенные слова полковника произвели должное впечатление.

— Да, это великий вклад в мировую мудрость, — продолжил полковник. — Но меня

гложет единственное сомнение, которое нивелирует тот поразительный выигрыш, что получит «Роза Южных штатов» после такой публикации: у меня пока нет достаточной информации об авторе, чтобы я с легкой душой дал «добро» на публикацию его творения в моем журнале и создал таким образом ему паблисити.

— Кажется, вы говорили, что он — выдающийся человек, — напомнил ему Тэкер.

— Да, это так на самом деле. И не только в литературе, но и во многих других, совершенно различных областях. Но я всегда очень строг, когда принимаю материал к публикации. Все мои авторы — люди безукоризненной репутации и достойных связей, этот факт можно проверить в любую минуту. Как я уже сказал, я придерживаю эту статью до тех пор, пока ко мне не поступит больше информации о ее авторе. Я до сих пор не знаю, буду ли я ее вообще печатать. Если не стану, то буду очень рад, мистер Тэкер, заменить ее тем материалом, который предлагаете мне вы, и поставить его на место этой статьи.

Тэкер, казалось, недоумевал.

— Что-то я никак не могу понять суть этого вдохновенного труда, — признался Тэкер. — Он мне напоминает, скорее, «темную лошадку», чем Пегаса.

— Это — чисто человеческий документ, — уже доверительно продолжал полковник-редактор, — составленный человеком выдающихся достижений, человеком, который, на мой взгляд, оказывает на весь мир и на его будущее куда большее влияние, чем любой другой человек, живущий ныне на нашей земле.

Тэкер взволнованно вскочил на ноги.

— Ничего себе! Круто! — воскликнул он — Может, вам удалось раскопать мемуары Джона Д. Рокфеллера? Тогда говорите сразу, нечего тянуть.

— Нет, сэр, — сказал полковник Телфэр, — я говорю о великом разуме и высокой литературе, а не имею в виду менее достойные хитросплетения бизнеса.

— В таком случае, не понимаю, почему бы не опубликовать эту статью, — нетерпеливо вопрошал Тэкер, — если автор хорошо известный человек и у него есть отличный материал?

Полковник Телфэр тяжело вздохнул.

— Мистер Тэкер, — сказал он, — я не раз подвергался искушению. Еще никогда в «Розе Южных штатов» не появлялась публикация, которая не принадлежала бы перу их славных сыновей или дочерей. Я слишком мало знаю об авторе этой статьи. Только то, что он получил известность в той части страны, которая всегда наполняла враждебностью мой мозг и сердце. Но я признаю его гениальность, и, как я уже вам сказал, сейчас я провожу расследование, связанное с этой личностью. Может, оно и не принесет успеха, но я все равно буду продолжать его. И до окончания моих поисков вопрос о свободном журнальном пространстве в нашем январском номере остается открытым.

Тэкер встал, чтобы выйти из кабинета.

— Ну, ладно, полковник, — сказал он как можно более сердечно. — Вам обо всем судить. Если у вас в руках на самом деле сенсация, которая всех переполошит, то оставьте ее вместо моих материалов. Увидимся через две недели. Желаю удачи!

Когда через две недели Тэкер вышел из тряского «пульмана» в Тумз-Сити, то чуть позже узнал, что январский номер журнала уже сверстан и все свободное пространство занято.

Та свободная площадь, которая зияла пустотой, была заполнена статьей с таким заголовком:

### **Второе послание конгрессу**

Эксклюзивно для «Розы Южных штатов»

составлено

членом знаменитой семьи Баллока из штата Джорджия

ТЕОДОРОМ РУЗВЕЛЬТОМ

### **Третий ингредиент**

Так называемый «Меблированный дом Валламброза» — не настоящий меблированный дом. Он состоит из двух старинных буро-каменных особняков, слитых воедино. Нижний этаж с одной стороны оживляют шляпки и шарфы в витрине модистки, с другой — омрачают устрашающая выставка и вероломные обещания дантиста «Лечение без боли». В «Валламброзе» можно снять комнату за два доллара в неделю, а можно и за двадцать. Население ее составляют стенографистки, музыканты, биржевые маклеры, продавщицы, репортеры, начинающие художники, процветающие жулики и прочие лица, свешивающиеся через перила лестницы всякий раз, как у парадной двери раздается звонок.

Мы поведем речь только о двух обитателях «Валламброзы» при всем нашем уважении к их многочисленным соседям.

Когда однажды в шесть часов вечера Хетти Пеппер возвращалась в свою комнату в «Валламброзе» (третий этаж, окно во двор, три доллара пятьдесят центов в неделю), нос и подбородок ее были заострены больше обычного. Утонченные черты лица — типичный признак человека, получившего расчет в универсальном магазине, где он проработал четыре года, и оставшегося с пятнадцатью центами в кармане.

Пока Хетти поднимается на третий этаж, мы успеем вкратце рассказать ее биографию.

Четыре года назад Хетти вошла в «Лучший универсальный магазин» вместе с семьюдесятью пятью другими девушками, желавшими получить место в отделении дамских блузок. Фаланга претенденток являла собой ошеломляющую выставку красавиц с общим количеством белокурых волос, которых хватило бы не на одну леди Годиву, а на целую сотню.

Деловитый, хладнокровный, безличный, плешивый молодой человек, который должен был отобрать шесть девушек из этой толпы чающих, почувствовал, что захлебывается в море дешевых духов, под пышными белыми облаками с ручной вышивкой. И вдруг на горизонте показался парус. Хетти Пеппер, некрасивая, с презрительным взглядом маленьких зеленых глаз, с шоколадными волосами, в скромном полотняном костюме и вполне разумной шляпке, предстала перед ним, не скрывая от мира ни одного из своих двадцати девяти лет.

«Вы приняты!» — крикнул плешивый молодой человек, и это было его спасением. Вот так и случилось, что Хетти начала работать в «Лучшем магазине». Рассказ о том, как она стала, наконец, получать восемь долларов в неделю, был бы компиляцией из биографий Геркулеса, Жанны д'Арк, Уны, Иова и Красной Шапочки. Сколько ей платили вначале — этого вы от меня не узнаете. Сейчас вокруг этих вопросов разгораются страсти, и я вовсе не хочу, чтобы какой-нибудь миллионер, владелец подобного магазина, взобрался по пожарной лестнице к окну моего чердачного будуара и начал швырять в меня камни.

История увольнения Хетти из «Лучшего магазина» так похожа на историю ее поступления туда, что я боюсь показаться однообразным.

В каждом отделении магазина имеется заведующий — вездесущий, всезнающий и всеядный человек в красном галстуке и с записной книжкой. Судьбы всех девушек данного отделения, живущих на (см. данные Бюро торговой статистики) долларов в неделю, целиком в его руках.

В отделении, где работала Хетти, заведующим был деловитый, хладнокровный, безличный, плешивый молодой человек. Когда он ходил по своим владениям, ему казалось, что он плывет по морю дешевых духов, среди пышных белых облаков с машинной вышивкой. Обилие сладкого ведет к пресыщению. Некрасивое лицо Хетти Пеппер, ее изумрудные глаза и шоколадные волосы казались ему желанным зеленым оазисом в пустыне приторной красоты. В укромном углу за прилавком он нежно ущипнул ее руку на три дюйма выше локтя, но тут же отлетел на три фута, отброшенный ее мускулистой и не слишком лилейной ручкой. Теперь вы знаете, почему тридцать минут спустя Хетти Пеппер пришлось покинуть «Лучший магазин» с тремя медяками в кармане. Сегодня утром фунт говяжьей грудинки стоит шесть центов. Но в тот день, когда Хетти Пеппер была освобождена от работы в универсальном магазине, он стоил семь с половиной центов. Только благодаря этому и стал возможен наш

рассказ. Иначе на оставшиеся четыре цента можно было бы...

Но сюжет почти всех хороших рассказов в мире построен на неустранимых препятствиях, поэтому не придирайтесь, пожалуйста.

Купив говяжьей грудинки, Хетти поднималась в свою комнату (окно во двор, три доллара пятьдесят центов в неделю). Порция вкусного, горячего тушеного мяса на ужин, крепкий сон — и утром она будет готова снова искать подвигов Геркулеса, Жанны д'Арк, Уны, Иова и Красной Шапочки.

В своей комнате она достала, из крошечного шкафчика глиняный сотейник и стала шарить во всех кульках и пакетах в поисках картошки и лука. В результате этих поисков нос и подбородок ее заострились еще больше.

Ни картошки, ни лука! Но разве можно приготовить тушеное мясо из одного мяса? Можно приготовить устричный суп без устриц, черепаший суп без черепашек, кофейный торт без кофе, но приготовить тушеное мясо без картофеля и лука совершенно невозможно.

Правда, в крайнем случае и одна говяжья грудинка может спасти от голодной смерти. Положить соли, перцу и столовую ложку муки, предварительно размешав ее в небольшом количестве холодной воды, и сойдет. Будет не так вкусно, как омары по-ньюбургски, и не так роскошно, как праздничный пирог, но — сойдет.

Хетти взяла сотейник и отправилась в конец коридора. Согласно рекламе «Валламбозы», там находился водопровод, но, между нами говоря, он проводил воду не всегда и лишь скудными каплями; впрочем, техническим подробностям здесь не место. Там же была раковина, около которой часто встречались валламбозки, приходившие сюда выплеснуть кофейную гущу и поглазеть на чужие кимоно.

У этой раковины Хетти увидела девушку с густыми темно-золотистыми волосами и жалобным выражением глаз, которая мыла под краном две большие ирландские картофелины. Мало кто знал «Валламбозу» так хорошо, как Хетти. Кимоно были ее энциклопедией, ее справочником, ее агентурным бюро, где она черпала сведения о всех прибывающих и выбывающих. От одного розового кимоно с зеленой каймой она давно узнала, что девушка с двумя картофелинами — художница, рисует миниатюры, а живет под самой крышей в мансарде, или, как принято выражаться, в студии. Хетти не очень точно знала, что такое миниатюра, но была уверена, что это не дом, потому что маляры, хоть и носят забрызганные краской комбинезоны и на улице всегда норовят заехать своей лестницей вам в лицо, у себя дома, как известно, поглощают огромное количество пищи.

Картофельная девушка была тоненькая и маленькая и обращалась со своими картофелинами, как старый холостяк с младенцем, у которого режутся зубки. В правой руке она держала тупой сапожный нож, которым и начала чистить одну из картофелин.

Хетти заговорила с ней самым официальным тоном, но было ясно, что уже со второй фразы она готова сменить его на веселый и дружеский.

— Простите, что я вмешиваюсь не в свое дело, — сказала она, — но если так чистить картошку, очень много пропадает. Это молодая картошка, ее надо скоблить. Дайте я покажу.

Она взяла картофелину и нож и начала показывать.

— О, благодарю вас, — пролепетала художница. — Я не знала. Мне и самой было жалко так много срезать. Но я думала, что картофель всегда нужно чистить. Ведь знаете, когда сидишь на одной картошке, очистки тоже имеют значение.

— Послушайте, дорогая, — сказала Хетти, и нож ее замер в воздухе, — вам что, тоже не сладко приходится?

Миниатюрная художница улыбнулась голодной улыбкой.

— Да, пожалуй. Спрос на искусство, во всяком случае, на то, которым я занимаюсь, что-то не очень велик. У меня на обед только вот этот картофель. Но это не так уж плохо, если есть его горячим, с солью, и немножко масла.

— Дитя мое, — сказала Хетти, и мимолетная улыбка смягчила ее суровые черты, — сама судьба свела нас. Я тоже оказалась на бобах. Но дома у меня есть кусок мяса величиной с комнатную собачку. А картошку я пыталась достать всеми способами, разве только Богу не

молилась. Давайте объединим наши интендантские склады и сделаем жаркое. Готовить будем у меня. Теперь бы еще луку достать! Как вы думаете, милая, не завалилось ли у вас с прошлой зимы немного мелочи за подкладку котикового манто? Я бы сбегала за луком на угол к старику Джузеппе. Жаркое без лука хуже, чем званый чай без сладостей.

— Зовите меня Сесилия, — сказала художница. — Нет, я уже три дня как истратила последний цент.

— Значит, лук придется отставить, — сказала Хетти. — Я бы заняла луковицу у сторожихи, да не хочется мне, чтобы они сразу догадались, что я без работы. А хорошо бы нам иметь луковку!

В комнате продавщицы они занялись приготовлением ужина. Роль Сесилии сводилась к тому, что она беспомощно сидела на кушетке и воркующим голоском просила, чтобы ей разрешили хоть чем-нибудь помочь.

Хетти залила мясо холодной соленой водой и поставила на единственную горелку газовой плитки.

— Хорошо бы иметь луковку! — сказала она, кончая скоблить картофель.

На стене, напротив кушетки, был приколот яркий, кричащий плакат, рекламирующий новый паром железнодорожной линии, построенный с целью сократить путь между Лос-Анджелесом и Нью-Йорком на одну восьмую минуты.

Оглянувшись посреди своего монолога, Хетти увидела, что по щекам ее гости струятся слезы, а глаза устремлены на идеализированное изображение несущегося по пенистым волнам парохода.

— В чем дело, Сесилия, милая? — сказала Хетти, прерывая работу. — Очень уж скверная картинка? Я плохой критик, но мне казалось, что она немножко оживляет комнату. Конечно, художница-маникюристка сразу может сказать, что это гадость. Если хотите, я ее сниму... Ах, боже мой, если б у нас был лук!

Но миниатюрная миниатюристка отвернулась и зарыдала, уткнувшись носиком в жесткий валик кушетки.

Здесь таилось что-то более глубокое, чем чувство художника, оскорбленного видом скверной литографии.

Хетти поняла. Она уже давно примирилась со своей ролью. Как мало у нас слов для описания свойств человека! Чем ближе к природе слова, которые слетают с наших губ, тем лучше мы понимаем друг друга. Выражаясь фигурально, можно сказать, что среди людей есть Головы, есть Руки, есть Ноги, есть Мускулы, есть Спины, несущие тяжелую ношу.

Хетти была Плечом. Плечо у нее было костлявое, острое, но всю ее жизнь люди склоняли на это плечо свои головы (как метафорически, так и буквально) и оставляли на нем все свои горести или половину их. Подходя к жизни с анатомической точки зрения, которая не хуже всякой другой, можно сказать, что Хетти на роду было написано стать Плечом. Едва ли были у кого-нибудь более располагающие к доверию ключицы.

Хетти было только тридцать три года, и она еще не перестала ощущать легкую боль всякий раз, как юная хорошенькая головка склонялась к ней в поисках утешения. Но один взгляд в зеркало неизменно помогал ей, как лучшее болеутоляющее средство. Так и теперь она строго глянула в потрескавшееся старое зеркало над газовой плиткой, немного убавила огонь под булькающим в сотейнике мясом с картошкой и, подойдя к кушетке, прижала головку Сесилии к своему плечу-исповедальне.

— Ну, моя хорошая, — сказала она, — выкладывайте все как было. Я теперь вижу, это вас не искусство расстроило. Вы познакомились с ним на пароме, так ведь? Да успокойтесь же, Сесилия, милая, и расскажите все своей... своей тете Хетти.

Но молодость и печаль должны сначала излить избыток вздохов и слез, что подгоняют барку романтики к желанным островам. Вскоре, однако, прильнув к жилистой решетке исповедальни, кающаяся грешница — или благословенная причастница священного огня? — просто и безыскусственно повела свой рассказ.

— Это было всего три дня назад. Я возвращалась на пароме из Джерси-Сити. Старый



мистер Шрум, торговец картинами, сказал мне, что один богач в Ньюарке хочет заказать миниатюру, портрет своей дочери. Я поехала к нему, показала кое-какие свои работы. Когда я сказала, что миниатюра будет стоить пятьдесят долларов, он расхохотался, как гиена. Сказал, что портрет углем в двадцать раз больше моей миниатюры обойдется ему всего в восемь долларов.

У меня оставалось денег только на обратный билет в Нью-Йорк. Настроение было такое, что не хотелось больше жить. Вероятно, это видно было по моему лицу, потому что, когда я заметила, что он сидит напротив и смотрит на меня, мне показалось, что он все понимает. Он был красивый, но самое главное — у него было доброе лицо. Когда чувствуешь себя усталой, или несчастной, или во всем разуверишься, доброта важнее всего.

Когда мне стало так тяжело, что не было уже сил бороться, я встала и медленно вышла через заднюю дверь каюты. На палубе никого не было. Я быстро перелезла через поручни и бросилась в воду. Ах, друг мой Хетти, вода была такая холодная!

На одно мгновение мне захотелось вернуться в нашу «Валламбросу» и снова голодать и надеяться. А потом я вся онемела, и мне стало все равно. А потом я почувствовала, что в воде рядом со мной кто-то есть и поддерживает меня. Он, оказывается, вышел следом за мной и прыгнул в воду, чтобы спасти меня.

Нам бросили какую-то штуку вроде большой белой баранки, и он заставил меня продеть в нее руки. Потом паром дал задний ход, и нас втащили на палубу. Ах, Хетти, мне было так стыдно — ведь топиться грешно, да к тому же у меня волосы намокли и растрепались и выглядела я как пугало.

К нам подошло несколько мужчин в синем, и он дал им свою карточку, и я слышала, как он объяснил им, что я уронила сумочку у самого края парома и, перегнувшись за ней через поручни, упала в воду. И тут я вспомнила, что читала в газетах, что самоубийц сажают в тюрьму вместе с убийцами, и мне стало очень страшно.

Потом какие-то женщины увели меня в кочегарку, помогли мне обсушиться и причесали меня. Когда мы причалили, он подошел и посадил меня в кеб. Он сам промок до нитки, но смеялся, словно считал все это веселой шуткой. Он просил меня сказать ему мое имя и адрес, но я не сказала — уж очень мне было стыдно.

— Вы поступили глупо, дорогая, — ласково сказала Хетти. — Подождите, я чуточку прибавлю огня. Эх, если бы у нас была хоть одна луковица!

— Тогда он приподнял шляпу, — продолжала Сесилия, — и сказал: «Очень хорошо, но я вас все-таки найду. Я намерен получить награду за спасение утопающих». И он дал кебмену денег и велел отвезти меня, куда я скажу, и ушел. И вот прошло уже три дня, — простонала миниатюристка, — а он еще не нашел меня!

— Потерпите, — сказала Хетти. — Ведь Нью-Йорк — большой город. Подумайте, сколько ему нужно пересмотреть вымокших, растрепанных девушек, прежде чем он сможет вас узнать. Мясо наше отлично тушится, на вот луку, луку бы в него! На худой конец, я бы даже чесноку положила.

Мясо с картофелем весело булькало, распространяя соблазнительный аромат, в котором, однако, явно не хватало чего-то очень нужного, и это вызывало смутную тоску, неотвязное желание раздобыть недостающий ингредиент.

— Я чуть не утонула в этой ужасной реке, — сказала Сесилия, вздрогнув.

— Воды маловато, — сказала Хетти. — В жарком то есть. Сейчас схожу принесу.

— А как хорошо пахнет! — сказала художница.

— Это Северная-то река хорошо пахнет? — возразила Хетти. — От нее всегда воняет мыловаренным заводом и мокрыми сеттерами... Ах, вы про жаркое? Да, все бы хорошо, вот только бы еще луку! А как вам показалось, деньги у него есть?

— Главное, мне показалось, что он добрый, — сказала Сесилия. — Я уверена, что он богат, но это совсем не важно. Когда он платил кебмену, я заметила, что у него в бумажнике были сотни, тысячи долларов. А когда я высунулась из кеба, то увидела, что он сел в автомобиль и шофер дал ему свою медвежью доху, потому что он весь промок. И это было

только три дня назад!..

— Какая глупость! — коротко отрезала Хетти.

— Но ведь шофер не промок, — пролепетала Сесилия. — И он очень хорошо повел машину.

— Я говорю, вы сделали глупость, — сказала Хетти, — что не дали ему адреса.

— Я никогда не даю свой адрес шоферам, — надменно сказала Сесилия.

— А как он нам нужен! — удрученно произнесла Хетти.

— Зачем?

— Да в жаркое, конечно. Это я все насчет лука.

Хетти взяла кувшин и отправилась к крану в конце коридора.

Когда она подошла к лестнице, с верхнего этажа как раз спускался какой-то молодой человек. Одет он был прилично, но казался больным и измученным. В его мутных глазах читалось страдание — физическое или душевное. В руке он держал луковицу, розовую, гладкую, крепкую, блестящую луковицу величиною с девятидвухдюймовый будильник.

Хетти остановилась. Молодой человек тоже. Во взгляде и позе продавщицы было что-то от Жанны д'Арк, от Геркулеса, от Уны — роли Иова и Красной Шапочки сейчас не годились. Молодой человек остановился на последней ступеньке и отчаянно закашлялся. Сам не зная почему, он почувствовал, что его загнали в ловушку, атаковали, взяли штурмом, обложили данью, ограбили, оштрафовали, запугали, уговорили. Все мувиною были глаза Хетти. Глянув в них, он увидел, как взвился на верхушку мачты черный пиратский флаг и ражий матрос с ножом в зубах взобрался с быстротой обезьяны по вантам и укрепил его там. Но молодой человек еще не знал, что причиной, почему он едва не был пущен ко дну, и даже без переговоров, был его драгоценный груз.

— Прошу прощения, — сказала Хетти настолько сладко, насколько позволял ее кислый голос. — Не нашли ли вы эту луковицу здесь, на лестнице? У меня разорвался пакет с покупками, я как раз вышла поискать ее.

Молодой человек кашлял, не смолкая, добрых полминуты. За это время он, очевидно, набрался мужества, чтобы отстаивать свою собственность. Крепко зажав в руке свое слезоточивое сокровище, он дал решительный отпор свирепому грабителю, покушавшемуся на него.

— Нет, — сказал он в нос, — я не нашел ее на лестнице. Мне дал ее Джек Бивенс, который живет на верхнем этаже. Если не верите, подите спросите его. Я подожду здесь.

— Я знаю Джека Бивенса, — нелюбезно сказала Хетти. — Он пишет книги и вообще всякую чепуху для тряпичников. Весь дом слышит, как его ругает почтальон, когда приносит ему обратно толстые конверты. Скажите, вы тоже живете в «Валламброзе»?

— Нет, — ответил молодой человек, — я иногда захожу к Бивенсу. Мы с ним друзья. Я живу в двух кварталах отсюда.

— Простите, а что вы собираетесь делать с этой луковицей?

— Собираюсь ее съесть.

— Сырую?

— Да, как только приду домой.

— У вас там что же, больше нет никакой еды?

Молодой человек на минуту задумался.

— Да, — признался он. — У меня дома нет больше ни крошки. У старика Джека тоже, кажется, неважно с припасами. Ему ужасно не хотелось расставаться с этой луковицей, но я так пристал к нему, что он сдался.

— Приятель, — сказала Хетти, не сводя с него умудренного жизнью взгляда и положив костлявый, но выразительный палец ему на рукав, — у вас, видно, тоже неприятности, да?

— Сколько угодно, — быстро ответил владелец лука. — Но эта луковица моя собственность и досталась мне честным путем. Простите, пожалуйста, но я спешу.

— Знаете что? — сказала Хетти, слегка побледнев от волнения. — Сырой лук — это совсем невкусно. И тушеное мясо без лука — тоже. Раз вы друг Джека Бивенса, вы, наверно,

порядочный человек. У меня в комнате, в том конце коридора, сидит одна девушка, моя подруга. Нам обеим не повезло, и у нас на двоих — только кусок мяса и немного картошки. Все это уже тушится, но в нем нет души. Чего-то не хватает. В жизни есть некоторые вещи, которые непременно должны существовать вместе. Ну, например, розовый муслин и зеленые розы, или грудинка и яйца, или ирландцы и беспорядки. И еще — тушеное мясо с картошкой и лук. И еще люди, которым приходится туго, и другие люди в таком же положении.

Молодой человек опять раскашлялся, и надолго. Одной рукой он прижимал к груди свою луковицу.

— Разумеется, разумеется, — проговорил он, наконец. — Но я уже сказал вам, что спешу...

Хетти крепко вцепилась в его рукав.

— Не ешьте сырой лук, дорогой мой. Внесите свою долю в обед, и вы отведаете такого жаркого, какое вам не часто доводилось пробовать. Неужели две женщины должны свалить с ног молодого джентльмена и затащить его в комнату силой, чтобы он оказал им честь пообедать с ними? Ничего вам плохого не сделают. Решайтесь, и пошли.

Бледное лицо молодого человека осветилось улыбкой.

— Ну что же, — сказал он, оживляясь. — Если луковица может служить рекомендацией, я с удовольствием приму приглашение.

— Может, может, — сказала Хетти. — И рекомендацией и приправой. Вы только постоите минутку за дверью, я спрошу мою подругу, согласна ли она. И, пожалуйста, не удирайте никуда со своим рекомендательным письмом.

Хетти вошла в свою комнату и закрыла дверь. Молодой человек остался в коридоре.

— Сесилия, дорогая, — сказала продавщица, смазав, как умела, свой скрипучий голос, — там, за дверью, есть лук. И при нем молодой человек. Я пригласила его обедать. Вы как, не против?

— Ах, боже мой! — сказала Сесилия, поднимаясь и поправляя прическу. Глаза ее с грустью обратились на плакат с паромом.

— Нет, нет, — сказала Хетти, — это не он. На этот раз все очень просто. Вы, кажется, сказали, что у вашего героя имеются деньги и автомобили? А этот — голодранец. У него только и еды, что одна луковица. Но разговор у него приятный, и он не нахал. Скорее всего, он был джентльменом, а теперь оказался на мели. А ведь лук-то нам нужен! Ну как, привести его? Я ручаюсь за его поведение.

— Хетти, милая, — вздохнула Сесилия, — я так голодна! Не все ли равно, принц он или бродяга? Давайте его сюда, если у него есть что-нибудь съестное.

Хетти вышла в коридор. Луковый человек исчез. У Хетти замерло сердце, и серая тень покрыла ее лицо, кроме скул и кончика носа. А потом жизнь снова вернулась к ней — она увидела, что он стоит в дальнем конце коридора, высунувшись из окна, выходящего на улицу. Она поспешила туда. Он кричал, обращаясь к кому-то внизу. Уличный шум заглушил ее шаги. Она заглянула через его плечо и увидела, к кому он обращается, и расслышала его слова. Он обернулся и увидел ее.

Глаза Хетти вонзились в него, как стальные буравчики.

— Не лгите, — сказала она спокойно. — Что вы собирались делать с этим луком?

Молодой человек подавил приступ кашля и смело посмотрел ей в лицо. Было ясно, что он не намерен терпеть дальнейшие издевательства.

— Я собирался его съесть, — сказал он громко и отдельно, — как уже и сообщил вам раньше.

— И у вас дома больше нечего есть?

— Ни крошки.

— А чем вы вообще занимаетесь?

— Сейчас ничем особенным.

— Так почему же, — сказала Хетти на самых резких нотах, — почему вы высовываетесь из окон и отдаете распоряжения шоферам в зеленых автомобилях?

Молодой человек вспыхнул, и его мутные глаза засверкали.

— Потому, сударыня, — заговорил он, все ускоряя темп, — что я плачу жалованье этому шоферу и автомобиль этот принадлежит мне, так же как и этот лук, да, так же как этот лук!

Он помахал своей луковицей перед самым носом у Хетти. Продавщица не двинулась с места.

— Так почему же вы едите лук, — спросила она убийственно презрительным тоном, — и ничего больше?

— Я этого не говорил, — горячо возразил молодой человек. — Я сказал, что у меня дома нет больше ничего съестного. Я не держу гастрономического магазина.

— Так почему же, — неумолимо продолжала Хетти, — вы собирались есть сырой лук?

— Моя мать, — сказал молодой человек, — всегда давала мне сырой лук против простуды. Простите, что упоминаю о физическом недомогании, но вы могли заметить, что я очень, очень сильно простужен. Я собирался съесть эту луковицу и лечь в постель. И не понимаю, чего ради я стою здесь и оправдываюсь перед вами.

— Где это вы простудились? — подозрительно спросила Хетти.

Молодой человек, казалось, достиг высшей точки раздражения. Спуститься с нее он мог двумя путями: дать волю своему гневу или признать комичность ситуации. Он выбрал правильный путь, и пустой коридор огласился его хриплым смехом.

— Нет, вы просто прелесть, — сказал он. — И я не осуждаю вас за такую осторожность. Так и быть, объясню вам. Я промок. На днях я переезжал на пароме Северную реку, и какая-то девушка бросилась в воду. Я, конечно...

Хетти перебила его, протянув руку.

— Отдайте лук, — сказала она.

Молодой человек стиснул зубы.

— Отдайте лук, — повторила она.

Он улыбнулся и положил луковицу ей на ладонь.

Тогда на лице Хетти появилась редко озарявшая его меланхолическая улыбка. Она взяла молодого человека под руку, а другой рукой указала на дверь своей комнаты.

— Дорогой мой, — сказала она, — идите туда. Маленькая дурочка, которую вы выудили из реки, ждет вас. Идите, идите. Даю вам три минуты, а потом приду сама. Картошка там и ждет. Входи, Лук.

Когда он, постучав, вошел в дверь, Хетти очистила луковицу и стала мыть ее под краном. Она бросила хмурый взгляд на хмурые крыши за окном, и улыбка медленно сползла с ее лица.

— А все-таки, — мрачно сказала она самой себе, — все-таки мясо-то достали мы.

## Как скрывался Черный Билл

Худой, жилистый, краснолицый человек с крючковатым носом и маленькими горящими глазками, блеск которых несколько смягчали белесые ресницы, сидел на краю железнодорожной платформы на станции Лос-Пиньос, болтая ногами. Рядом с ним сидел другой человек — толстый, обтрепанный, унылый, — должно быть, его приятель. У обоих был такой вид, словно грубые швы изнанки жизни давно уже натерли им мозоли по всему телу.

— Года четыре не видались, верно, Огарок? — сказал обтрепанный. — Где тебя носило?

— В Техасе, — сказал краснолицый. — На Аляске слишком холодно — это не для меня. А в Техасе тепло, как выяснилось. Один раз было даже довольно жарко. Сейчас расскажу.

Как-то утром я соскочил с экспресса, когда он остановился у водокачки, и разрешил ему следовать дальше без меня. Оказалось, что я попал в страну ранчо. Домов там еще больше, чем в Нью-Йорке, только их строят не в двух дюймах, а в двадцати милях друг от друга, так что нельзя учуять носом, что у соседей на обед.

Дороги я не нашел и потащился напрямик, куда глаза глядят. Трава там по колено, а мескитовые роши издали совсем как персиковые сады, — так и кажется, что забрел в чужую усадьбу и сейчас налетят на тебя бульдоги и начнут хватать за пятки. Однако я отмахал миль двадцать, прежде чем набрел на усадьбу. Небольшой такой домик — величиной с платформу надземной железной дороги.

Невысокий человек в белой рубашке и коричневом комбинезоне с розовым платком вокруг шеи сворачивал самокрутки под деревом у входа в дом.

— Привет, — говорю я ему, — может ли в некотором роде чужестранец прохладиться, подкрепиться, найти приют или даже какую-нибудь работенку в вашем доме?

— Заходите, — говорит он самым любезным тоном. — Присядьте, пожалуйста, на этот табурет. Я и не слышал, как вы подъехали.

— Я еще не подъехал, — говорю я. — Я пока подошел. Неприятно затруднять вас, но если бы вы раздобыли ведра два воды...

— Да, вы изрядно запылились, — говорит он, — только наши купальные приспособления...

— Я хочу напиться, — говорю я. — Пыль, которая у меня снаружи, не имеет особого значения.

Он налил мне ковш воды из большого красного кувшина и спрашивает:

— Так вам нужна работа?

— Временно, — говорю я. — Здесь, кажется, довольно тихое местечко?

— Вы не ошиблись, — говорит он. — Порой неделями ни одной живой души не увидишь. Так я слышал. Сам я всего месяц, как обосновался здесь. Купил это ранчо у одного старожилы, который решил перебраться дальше на Запад.

— Мне это подходит, — говорю я. — Человеку иной раз полезно пожить в таком тихом углу. Но мне нужна работа. Я умею сбивать коктейли, шельмовать с рудой, читать лекции, выпускать акции, немного играю на пианино и боксирую в среднем весе.

— Так... — говорит этот недоросток. — А не можете ли вы пасти овец?

— Не могу ли я спасти овец? — удивился я.

— Да нет, не спасти, а пасти, — говорит он. — Ну, стеречь стадо.

— А, — говорю я, — понимаю! Сгонять их в кучу, как овчарка, и лаять, чтоб не разбежались! Что ж, могу. Мне, по правде сказать, еще не приходилось пастушествовать, но я не раз наблюдал из окна вагона, как овечки жуют на лугу ромашки, и вид у них был не особенно кровожадный.

— Мне нужен пастух, — говорит этот овцевод. — А на мексиканцев я не очень-то полагаюсь. У меня два стада. Можете хоть завтра с утра выгнать на пастбище моих баранов — их всего восемьсот штук. Жалованье — двенадцать долларов в месяц, харчи мои. Жить будете там же на выгоне, в палатке. Стряпать вам придется самому, а дрова и воду будут доставлять. Работа не тяжелая.

— По рукам, — говорю я. — Берусь за эту работу, если даже придется украсить голову венком, облачиться в балахон, взять в руки жезл и наигрывать на дудочке, как делают это пастухи на картинках.

И вот на следующее утро хозяин ранчо помогает мне выгнать из корраля стадо баранов и доставить их на пастбище в прерии, мили за две от усадьбы, где они принимаются мирно пощипывать травку на склоне холма. Хозяин дает мне пропасть всяких наставлений: следить, чтобы отдельные скопления баранов не отбивались от главного стада, и в полдень гнать их всех на водопой.

— Вечером я привезу вашу палатку, все оборудование и провиант, — говорит он мне.

— Роскошно, — говорю я. — И не забудьте захватить провиант. Да заодно и оборудование. А главное, не упустите из виду палатку. Ваша фамилия, если не ошибаюсь, Золликоффер?

— Меня зовут, — говорит он, — Генри Огден.

— Чудесно, мистер Огден, — говорю я. — А меня — мистер Персиваль Сент-Клер.

Пять дней я пас овец на ранчо Чикито, а потом почувствовал, что сам начинаю обрастать шерстью, как овца. Это обращение к природе явно обращалось против меня. Я был одинок, как коза Робинзона Крузо. Ей-богу, я встречал на своем веку более интересных собеседников, чем вверенные моему попечению бараны. Соберешь их вечером, запрешь в загон, а потом напечешь кукурузных лепешек, нажаришь баранины, сваришь кофе и лежишь в своей палатке величиной с салфетку да слушаешь, как воют койоты и кричат козодои.

На пятый день к вечеру, загнав моих драгоценных, но малообщительных баранов, я отправился в усадьбу, отворил дверь в дом и шагнул за порог.

— Мистер Огден, — говорю я. — Нам с вами необходимо начать общаться. Овцы, конечно, хорошая штука — они оживляют пейзаж, и опять же с них можно настричь шерсти на некоторое количество восьмидолларовых мужских костюмов, но что касается застольной беседы или чтобы скоротать вечерок у камелька, так с ними помрешь с тоски, как на великосветском файвоклоке. Если у вас есть колода карт, или литературное лото, или триктрак, тащите их сюда, и мы с вами займемся умственной деятельностью. Я сейчас готов взяться за любую мозговую работу — вплоть до вышибания кому-нибудь мозгов.

Этот Генри Огден был овцевод особого сорта. Он носил кольца и большие золотые часы и тщательно завязывал галстук. И физиономия у него всегда была спокойная, а очки на носу так и блестели. Я видел в Мэскоги, как повесили бандита за убийство шестерых людей. Так мой хозяин был похож на него как две капли воды. Однако я знавал еще одного священника в Арканзасе, которого можно было бы принять за его родного брата. Но мне-то, в общем, было наплевать. Я жаждал общения — с праведником ли, с грешником — все одно, лишь бы он говорил, а не блял.

— Я понимаю, Сент-Клер, — отвечает Огден, откладывая в сторону книгу. — Вам, конечно, скучновато там одному с непривычки. Моя жизнь, признаться, тоже довольно однообразна. Хорошо ли вы заперли овец? Вы уверены, что они не разбегутся?

— Они заперты так же прочно, — говорю я, — как присяжные, удалившиеся на совещание по делу об убийстве миллионера. И я буду на месте раньше, чем у них возникнет потребность в услугах сиделки.

Тут Огден извлек откуда-то колоду карт, и мы с ним сразились в казино. После пяти дней и пяти ночей заточения в овечьем лагере я почувствовал себя как гуляка на Бродвее. Когда мне шла карта, я радовался так, словно заработал миллион на бирже, а когда Огден разошелся и рассказал анекдот про даму в спальном вагоне, я хохотал добрых пять минут.

Все в жизни относительно, вот что я скажу. Человек может столько насмотреться всякой всячины, что уже не повернет головы, чтобы поглядеть, как горит трехмиллионный особняк, или возвращается с гастролей Джо Вебер, или волнуется Адриатическое море. Но дайте ему только попасть немножко овец, и он будет кататься со смеху, едва кто-нибудь запоет «Могильный звон, могильный звон!» — и получать искреннее удовольствие от игры в карты с дамами.

Словом, дальше — больше. Огден вытаскивает бутылку бурбонского, и мы окончательно предаем забвению наших овец.

— Вы помните, — говорит Огден, — примерно месяц назад в газетах писали о нападении на скорый Канзас — Техас? Было похищено пятнадцать тысяч долларов кредитными билетами, а проводник почтового вагона ранен в плечо. И говорят, все это дело рук одного человека.

— Что-то припоминаю, — говорю я. — Но такие вещи случаются настолько часто, что мозг рядового техасца не в состоянии удержать их в памяти. И что ж, преступник был застигнут на месте преступления? Или изловлен, схвачен, предан в руки правосудия?

— Он удрал, — говорит Огден. — А сегодня я прочел в газете, что полиция напала на его след где-то в наших краях. Все похищенные банкноты были, оказывается, одной серии — первого выпуска Второго Национального банка города Эспинозы. Проследили, где грабитель менял эти банкноты, и след привел сюда.

Огден наливает себе еще бурбонского и поддвигает бутылку мне.

— Что ж, — говорю я, отхлебнув глоточек этого царского напитка, — для железнодорожного налетчика не так уж глупо придумано — укрыться на время в здешней глуши. Овечья ферма, пожалуй, самое подходящее для этого место. Кому придет в голову искать такого отпетого бандита среди певчих птичек, барашков и полевых цветочков? А что, — говорю я, скосив глаза на Огдена и как бы приглядываясь к нему, — в газетах не было дано примет этого единоборца? Что-нибудь насчет объема, веса, линейных измерений, покроя жилета или количества запломбированных зубов?

— Нет, — говорит Огден. — Он был в маске, и никто не мог его хорошенько рассмотреть. Но установлено, что это известный железнодорожный налетчик по кличке Черный Билл, потому что тот всегда работает один и, кроме того, в почтовом вагоне нашли платок с его меткой.

— Я одобряю Черного Билла, — говорю я. — Он правильно сделал, что спрятался на овечьем ранчо. Думаю, им его не найти.

— Объявили награду в тысячу долларов за его поимку, — говорит Огден.

— На черта мне эти деньги, — говорю я, глядя мистеру овцеводу прямо в глаза. — Хватит с меня и двенадцати долларов в месяц, которые я у вас получаю. Я нуждаюсь в отдыхе. Мне бы только наскрести деньжат, чтоб оплатить билет до Тексарканы, где проживает моя вдовствующая матушка. Если Черный Билл, — говорю я, многозначительно глядя на Огдена, — этак месяц назад подался в эти края... и купил себе небольшое овечье ранчо и...

— Стойте, — говорит Огден и с довольно-таки свирепой рожей подымается со стула, — это что за намеки?

— Никаких намеков, — говорю я. — Я беру чисто гипотонический случай. Если бы, — говорю я, — Черный Билл забрел сюда и купил себе овечье ранчо и нанял бы меня нянчить его овец и играть им на дудочке, да поступал бы при этом со мной честно и по-товарищески, вот как вы, — ему бы не пришлось меня опасаться. Человек для меня всегда человек, какие бы ни случались у него осложнения с железнодорожными поездами или с овцами. Теперь вы знаете, чего от меня ждать.

Лицо у Огдена стало черней кофейной гущи. Секунд девять он молчал, а потом рассмеялся.

— Вот вы какой, Сент-Клер, — говорит он. — Что ж, будь я Черным Биллом, я бы не побоялся довериться вам. А теперь давайте перекинемся в картишки... если, конечно, вам не претит играть с налетчиком.

— Я уже выразил вам свои чувства в словесной форме, — говорю я, — и притом без всякой задней мысли.

Тасуя карты после первой сдачи, я, как бы невзначай, спрашиваю Огдена, откуда он.

— О, — говорит Огден, — я с Миссисипи.

— Хорошенькое местечко, — говорю я. — Мне не раз приходилось там останавливаться. Только простыни немного сыроваты и насчет жратвы не густо. Верно, да? А я вот, — говорю я ему, — с побережья Тихого океана. Может, бывали когда?

— Сплошные сквозняки, — говорит Огден. — Но если вам случится попасть на Средний Запад, сошлитесь на меня, и вам нальют кофе через ситечко и положат грелку в постель.

— Ладно, — говорю я. — Я ведь не хотел выведать у вас номер вашего личного телефона или девичью фамилию вашей тетушки, которая умыкнула пресвитерианского священника из Кэмберленда. Мне-то что. Я стараюсь только втолковать вам, что в руках у вашего овчара вы в полной безопасности. Ну, бросьте нервничать, червы пиками не кроют.

— Втемяшится же человеку, — говорит Огден и опять смеется. — А не кажется ли вам, что, будь я Черный Билл и явись у меня мысль, что вы меня подозреваете, я давно угостил бы вас пулей из винчестера и тем успокоил бы свои нервы, если бы они у меня расшалились?

— Не кажется, — говорю я. — Тот, у кого хватило духу в одиночку ограбить поезд, никогда такой штуки не выкинет. Я не зря пошатался по свету — знаю, что у них там насчет дружбы крепко. Не то чтобы я, мистер Огден, — говорю я ему, — состоя при вас овечьим пастухом, набивался вам в друзья. Но при менее малоблагоприятных обстоятельствах мы,

может, и сошлись бы поближе.

— Забудьте на время овец, прошу вас, — говорит Огден, — и снимите — мне сдавать.

Дня четыре спустя, когда мои барашки мирно полдничали у речки, а я был погружен в превратности приготовления кофе, передо мной появилась некая загадочная личность, стремившаяся изобразить из себя то, что ей хотелось изобразить. Она неслышно подкралась по траве, верхом на лошади. По одеянию это было нечто среднее между сыщиком из Канзаса, собачником из Батон-Ружа и небезызвестным вам разведчиком Буффало Биллом. Глаза и подбородок этого субъекта не свидетельствовали о боевом опыте, и я смекнул, что это всего-навсего ищейка.

— Пасешь овец? — спрашивает он меня.

— Увы, — говорю я, — перед лицом такой несокрушимой проницательности, как ваша, у меня не хватает нахальства утверждать, что я тут реставрирую старинную бронзу или смазываю велосипедные колеса.

— Что-то ты, сдастся мне, не похож на пастуха: и одет не так и говоришь не так.

— А вы зато говорите так, что очень похожи на то, что мне сдастся.

Тут он спросил меня, у кого я работаю, и я показал ему на ранчо Чикито в тени небольшого холма, милях в двух от моего выгона. После этого он сообщил мне, что я разговариваю с помощником шерифа.

— Где-то в этих краях скрывается железнодорожный налетчик по кличке Черный Билл, — рапортует мне эта ищейка. — Его уже проследили до Сан-Антонио, а может, и дальше. Ты здесь не видал ли каких пришлых людей за истекший месяц, или, может, слышал, что появился кто?

— Нет, — отвечаю я, — если не считать того, который появился, говорят, в мексиканском поселке на ранчо Люмис, на Фрио.

— Что тебе известно про него? — спрашивает шериф.

— Ему три дня от роду, — говорю я.

— А каков с виду человек, у которого ты работаешь? — допытывается он. — Старик Джордж Рэми все еще хозяйничает на своем ранчо? Он тут уже лет десять разводит овец, да что-то ему никогда не везло.

— Старик продал ранчо и подался на Запад, — сообщил я. — Другой любитель овец купил у него это хозяйство с месяц назад.

— А каков он с виду? — снова спрашивает тот.

— О, — говорю я, — он-то? Такой здоровенный, толстенный датчанин с усищами и в синих очках. Не поручусь, что он сумеет отличить овцу от суслика. Похоже, что старина Джордж крепко обставил его на этом деле.

Подкрепившись еще целой кучей столь же ценных сведений и львиной долей моего обеда, шериф отъехал прочь.

В тот же вечер я докладываю об этом посещении Огдену.

— Они оплетают Черного Билла цепкими щупальцами спрута, — говорю я. И рассказываю ему о шерифе и о том, как я расписал его этому шерифу, и что тот сказал.

— Э, что нам до Черного Билла, — говорит Огден. — У нас и своих забот довольно. Достаньте-ка из шкафа бутылочку, и выпьем за его здоровье. Если, — добавляет он со смешком, — вы не слишком предубеждены против железнодорожных налетчиков.

— Я готов выпить, — говорю я, — за всякого, кто умеет постоять за друга. А Черный Билл, — говорю я, — как раз, мне кажется, из таких. Итак, за Черного Билла и за удачу.

И мы выпили.

А недельки через две подошло время стрижки овец. Мне надо было пригнать их в усадьбу, где кучка кудлатых мексиканцев должна была наброситься на них с садовыми ножницами и остричь их наголо. И вот вечером, накануне прибытия парикмахеров, я погнал своих недожаренных баранов по зеленому лужку, по крутому бережку и доставил прямо в усадьбу. Там я запер их в корраль и пожелал им спокойной ночи.

После этого я направился к дому. Г. Огден, эсквайр, спал, растянувшись на своей



узенькой походной койке. Как видно, его свалила с ног антибессонница или одолело противободствование или еще какой-нибудь недуг, возникающий от тесного соприкосновения с овцами. Рот у него был разинут, жилет расстегнут, и он сопел, как старый велосипедный насос. Вид его навел меня на некоторые размышления.

«Великий Цезарь, — подумалось мне, — спи, захлопнув рот, и ветер внутрь тебя не попадет. Тобою кто-нибудь замажет щели, чтоб червяки чего-нибудь не съели».

Спящий мужчина — это зрелище, от которого могут прослезиться ангелы. Чего стоят сейчас его мозги, бицепсы, чековая книжка, апломб, протекции и семейные связи? Он — игрушка в руках врага, а тем паче — друга. И так же привлекателен, как наемная кляча, когда она стоит, привалясь к стене оперного театра в половине первого ночи и грезит просторами аравийских пустынь. Вот спящая женщина — совсем другое дело. Плевать нам на то, как она выглядит, лишь бы подольше находилась в этом состоянии.

Ну, выпил я две порции бурбонского — свою и Огдена и расположился с приятностью провести время, пока он почивает. На столе у него нашлись кое-какие книжицы на разные местные темы — о Японии, об осушке болот, о физическом воспитании — и немного табаку, что было особенно кстати.

Покури и насытив свой слух вулканическим храпом Генри Огдена, я невзначай глянул в окно в направлении загона для стрижки овец, где что-то вроде тропки ответвлялось от чего-то вроде дороги, пересекавшей вдаль что-то вроде ручья.

Вижу — пять всадников направляются к дому. У каждого — поперек седла ружье. Один из них — тот самый шериф, который тогда навестил меня на выгоне.

Они приближаются с опаской, расчлененным строем, в полной боевой готовности. Присматриваюсь и определяю, который из них атаман этой конной шайки блюстителей закона и порядка.

— Добрый вечер, джентльмены, — говорю я. — Не угодно ли вам спешиться и привязать ваших коней?

Атаман подъезжает ко мне вплотную и вращает стволом своего ружья так, словно хочет поймать на мушку сразу весь мой фасад.

— Замри на месте, — говорит он, — и пальцем не шевельни, пока я не удовлетворю своего желания некоторым образом с тобой побеседовать.

— Замру, — говорю я, — слава богу, я не глухонемой — зачем мне шевелить пальцами и оказывать неповиновение вашим предписаниям?

— Мы ищем, — сообщает он мне, — Черного Билла, который в мае месяце задержал экспресс на Канзас — Техасской и ограбил его на пятнадцать тысяч долларов. Сейчас мы обыскиваем всех подряд на всех ранчо. Как тебя зовут и что ты здесь делаешь?

— Капитан, — говорю я, — моя профессия — Персиваль Сент-Клер, а зовусь я овчаром. Сегодня я загнал в этот корраль своих телят... то бишь овчат. Ищете... то есть брадобреи, придут завтра, чтобы причесать их, в смысле обкорнать.

— Где хозяин ранчо? — спрашивает атаман шайки.

— Обождите минутку, — говорю я. — Не было ли назначено какой-то награды за поимку этого закоренелого преступника, о котором вы изволили упомянуть в вашем предисловии?

— За поимку и изобличение преступника назначена награда в тысячу долларов, — говорит тот. — За сообщение сведений о нем никакого вознаграждения никак не предусмотрено.

— Похоже, не сегодня-завтра соберется дождик, — говорю я, глядя со скучающим видом в лазурно-голубое небо.

— Если тебе известно тайное убежище, дислокация или псевдомины Черного Билла, — говорит он на самом свирепом полицейском жаргоне, — ты ответишь перед законом за недонесение и укрывательство.

— Слышал я от одного прохожего, — говорю я скороговоркой нудным голосом, — что в одной лавчонке в Нуэсесе один мексиканец говорил одному ковбою, которого зовут Джек, что двоюродный брат одного овцевода недели две тому назад видел Черного Билла в

Матаморасе.

— Слушай ты, мистер Язык-на-Привязи! — говорит капитан, оглядывая меня с головы до пят и прикидывая, сколько можно выторговать. — Если ты подскажешь нам, где захватить Черного Билла, я заплачу тебе сто долларов из моего собственного... из наших собственных карманов. Ты видишь, я щедр, — говорит он. — Тебе ведь ровно ничего не причитается. Ну, как?

— Деньги на бочку? — спрашиваю я.

Капитан посоветовался со своими молодчиками. Они вывернули карманы для проверки содержимого. Совместными усилиями наскребли сумму в сто два доллара тридцать центов и кучку жевательного табаку на тридцать один доллар.

— Приблизься, о мой капитан, — сказал я, — и внемли!

Он так и сделал.

— Я очень беден, и общественное положение мое более чем скромно, — начал я. — За двенадцать долларов в месяц я тружусь в поте лица, стараясь держать вместе кучу животных, единственное стремление которых — разбежаться во все стороны. И хотя я еще и не в таком упадке, как штат Южная Дакота, тем не менее это занятие — страшное падение для человека, который до сей поры сталкивался с овцами только в форме бараньих отбивных. Я скатился так низко по воле необузданного честолюбия, рома и особого сорта коктейля, который подают на всех вокзалах Пенсильванской железной дороги от Скрантона до Цинциннати: немного джина и французского вермута, один лимон плюс хорошая порция апельсиновой горькой. Попадете в те края — не упустите случая испробовать на себе. И все же, — продолжал я, — мне еще не приходилось предавать друга. Когда мои друзья купались в золоте, я стоял за них горой и никогда не покидал их, если меня постигала беда.

— Но, — продолжал я, — какая тут к черту дружба? Двенадцать долларов в месяц — это же в лучшем случае шапочное знакомство. Разве истинная дружба может питаться красными бобами и кукурузным хлебом? Я бедный человек, у меня вдовствующая мама в Тексаркане. Вы найдете Черного Билла, — говорю им я, — в этом доме. Он дрыхнет на своей койке в первой комнате направо. Это именно тот человек, который вам нужен. Я смекнул это из разных его слов и разговоров. Пожалуй, отчасти он все же был мне другом, и будь я тот человек, каким я был когда-то, все сокровища рудников Голдонды не заставили бы меня предать его. Но, — говорю я, — бобы всегда были наполовину червивые и к концу недели я вечно сидел без топлива.

— Входите осторожнее, джентльмены, — предупреждаю их я. — Он временами бывает очень несдержан, и, принимая во внимание его прежнюю профессию, как бы вам не нарваться на какую-нибудь грубость с его стороны, если вы захватите его врасплох.

Тут все ополчение спешивается, привязывает лошадей, снимает с передков орудия и всю прочую амуницию и на цыпочках вступает в дом. А я крадусь за ними, как Далила, когда она вела Вилли Стимлена к Самсону.

Начальник отряда трясет Огдена за плечо, и тот просыпается. Он вскакивает, и еще два охотника за наградами наваливаются на него. Огден хоть мал и худ, а парень крепкий и так лихо отбивается, несмотря на их численный перевес, что я только глазами хлопаю.

— Что это значит? — спрашивает он, когда им наконец удается одолеть его.

— Вы попались, мистер Черный Билл, — говорит капитан, — только и всего.

— Это грубое насилие, — говорит Огден, окончательно взбесившись.

— Конечно, это было насилие, — говорит поборник мира и добра. — Поезд-то шел себе и шел, ничем вам не мешал, а вы позволили себе запрещенные законом шалости с казенными пакетами.

И он садится Генри Огдену на солнечное сплетение и начинает аккуратно и симптоматически обшаривать его карманы.

— Вы у меня попотеете за это, — говорит Огден, изрядно вспотев сам. — Я ведь могу доказать, кто я такой.

— Это я и сам могу, — говорит капитан и вытаскивает у него из кармана пачку новеньких

банкнот выпуска Второго Национального банка города Эспинозы. — Едва ли ваша визитная карточка перекричит денежные знаки, когда станут устанавливать индентичность вашей личности. Ну, пошли! Поедете с нами замаливать свои грехи.

Огден подымается и повязывает галстук. После того как у него нашли эти банкноты, он уже молчит, как воды в рот набрал.

— А ведь ловко придумано! — с восхищением отмечает капитан. — Забрался сюда, в этакую глушь, где, как говорится, ни одна душа живой ногой не ступала, и купил себе овечье ранчо! Хитро укрылся, я такого еще сроду не видывал, — говорит он.

Один из его молодчиков направляется в корраль и выгоняет оттуда второго пастуха — мексиканца, по прозвищу Джон-Смешки. Тот седлает лошадь Огдена, и вся шерифская шайка с ружьями на изготовку окружает своего пленника, чтобы доставить его в город.

Огден, прежде чем тронуться в путь, поручает свое ранчо Джону-Смешки и отдает всякие распоряжения насчет стрижки и пасения овец, словно рассчитывает вскорости вернуться обратно. А часа через два некто Персиваль Сент-Клер, бывший овчар с ранчо Чикито, отбывает в южном направлении на другой лошади, уведенной с того же ранчо, и в кармане у него лежит сто девять долларов — цена крови и остаток жалованья.

Краснолицый человек умолк и прислушался. Где-то вдали за пологими холмами раздался свисток приближающегося товарного поезда.

Толстый, унылый человек, сидевший рядом, сердито засопел и медленно, осуждающе покачал нечесаной головой.

— В чем дело, Окурок? — спросил краснолицый. — Опять хандрить?

— Нет, не хандрю, — сказал унылый и снова засопел. — А только этот твой рассказ мне что-то не нравится. Мы с тобой были приятелями пятнадцать лет с разнообразными промежутками, но я еще не видал и не слышал, чтобы ты выдал кого-нибудь полиции, — нет, этого за тобой не водилось. А с этим парнем ты делил его хлеб насущный и играл с ним в карты — если казино можно назвать игрой, — а потом взял и выдал его полиции. Да еще деньги за это получил. Нет, никогда я от тебя такого не ожидал.

— Этот Генри Огден, — сказал краснолицый, — очень быстро оправдался, как я слышал, с помощью адвоката, алиби и прочих юридических уголовностей. Ничего ему не случилось. Он оказал мне немало одолжений, и я совсем не рад был выдавать его полиции.

— А как же эти деньги, что нашли у него в кармане? — спросил унылый.

— Это я их туда положил, — сказал краснолицый, — пока он спал. Как только увидел, что они едут. Черный Билл — это был я. Смотри, Окурок, товарный! Мы заберемся на буфера, пока он будет стоять у водокачки.

## Разные школы

### I

Старый Джером Уоррен жил в стотысячедолларовом доме № 35 по Восточной Пятьдесят и так далее улице. Он был маклером в деловой части города и так богат, что каждое утро мог позволить себе — для укрепления здоровья — пройти пешком несколько кварталов по направлению к своей конторе, а затем уже взять извозчика.

У него был приемный сын, сын его старого друга, по имени Гилберт — отличный типаж для Сириллы Скотта<sup>29</sup>. Гилберт был художником и завоевывал успех с такой быстротой, с какой успевал выдавливать краски из тюбиков. Другим членом семейства старого Джерома

---

<sup>29</sup> Английский композитор, пианист и поэт.

была Барбара Росс, племянница его покойной жены. Человек рожден для забот; поскольку у старого Джерома не было своей семьи, он взвалил на свои плечи чужое бремя.

Гилберт и Барбара жили в полном согласии. Все окружающие молчаливо порешили, что недалек тот счастливый день, когда эта пара станет перед аналоем и пообещает священнику порастрясти денежки старого Джерома. Но в этом месте в ход событий следует внести некоторые осложнения.

Тридцать лет назад, когда старый Джером был молодым Джеромом, у него был брат, которого звали Диком. Дик отправился на Запад искать богатства — своего или чужого. О нем долго ничего не было слышно, но, наконец, старый Джером получил от него письмо. Написано оно было коряво, на линованной бумаге, от которой пахло солониной и кофейной гущей. Почерк страдал астмой, а орфография — пляской святого Вита.

Оказалось, что Дик не удалось подстеречь Фортуны на большой дороге и заставить ее раскошелиться, — его самого обобрали дочиста. Судя по письму, песенка его была спета: здоровье у него пришло в такое расстройство, что даже виски не помогало. Тридцать лет он искал золота, но единственным результатом его трудов была дочка девятнадцати лет, как и значилось в накладной, каковую дочку он, оплатив все дорожные издержки, отправлял теперь на Восток в адрес старого Джерома, чтобы тот кормил ее, одевал, воспитывал, утешал и холил, пока смерть или брак не разлучат их.

Старый Джером был человек-помост. Всякий знает, что мир держится на плечах Атласа, что Атлас стоит на железной решетке, а железная решетка установлена на спине черепахи. Черепахе тоже надо стоять на чем-нибудь — она и стоит на помосте, сколоченном из таких людей, как старый Джером.

Я не знаю, ожидает ли человека бессмертие. Но если нет, я хотел бы знать, когда люди, подобные старому Джерому, получают то, что им причитается?

Они встретили Неваду Уоррен на вокзале. Она была небольшого роста, сильно загоревшая и так и сияла здоровьем и красотой; она вела себя совершенно непринужденно, но даже коммивояжер сигарной фабрики подумал бы, прежде чем подмигнуть ей. Глядя на нее, вы невольно представляли ее себе в короткой юбке и кожаных гетрах, стреляющей по стеклянным шарам или укрощающей мустангов. Но она была в простой белой блузке и черной юбке, и вы не знали, что и подумать. Она без малейшего усилия несла тяжелый саквояж, который носильщики тщетно пытались вырвать у нее.

— Мы будем с вами дружить, это непременно, — сказала Барбара, клянуv Неваду в крепкую загорелую щеку.

— Надеюсь, — сказала Невада.

— Милая племянница, малютка моя! — сказал старый Джером. — Добро пожаловать в мой дом, живи у меня, как у родного отца.

— Спасибо, — сказала Невада.

— Вы мне позволите называть вас кузиной? — обратился к ней Гилберт со своей очаровательной улыбкой.

— Возьмите, пожалуйста, саквояж, — сказала Невада. — Он весит миллион фунтов. В нем, — пояснила она Барбаре, — образцы из шести папиных рудников. По моим подсчетам, они стоят около девяти центов за тысячу тонн, но я обещала ему захватить их с собой.

## II

Обычное осложнение между одним мужчиной и двумя женщинами, или одной женщиной и двумя мужчинами, или женщиной, мужчиной и аристократом — словом, любую из этих проблем — принято называть треугольником. Но эти треугольники следует определить точнее. Они всегда равнобедренные и никогда не бывают равносторонними. И вот, по приезде Невады Уоррен, она, Гилберт и Барбара Росс образовали такой фигуральный треугольник, причем Барбара заняла в нем место гипотенузы.

Однажды утром, перед тем как отправиться в свою мухоловку в деловой части города, старый Джером долго сидел после завтрака над скучнейшей из всех утренних газет Нью-Йорка. Он душевно полюбил Неваду, обнаружив в ней и независимость характера и доверчивую искренность, отличавшие его покойного брата.

Горничная принесла для мисс Невады Уоррен письмо.

— Вот, пожалуйста, его доставил мальчик-посыльный, — сказала она. — Он ждет ответа.

Невада насвистывала сквозь зубы испанский вальс и наблюдала за проезжающими по улице экипажами и автомобилями. Она взяла конверт и, еще не распечатав его, догадалась по маленькой золотой палитре в его левом верхнем углу, что письмо от Гилберта.

Разорвав конверт, она некоторое время внимательно изучала его содержимое; затем с серьезным видом подошла к дяде и стала возле него.

— Дядя Джером, Гилберт хороший человек, правда?

— Почему ты спрашиваешь, дитя мое? — сказал старый Джером, громко шелестя газетой. — Конечно, хороший. Я сам его воспитал.

— Он ведь никому не станет писать ничего такого, что было бы не совсем... я хочу сказать, чего нельзя было бы знать и прочесть каждому?

— Попробовал бы он только, — сказал дядя и оторвал от своей газеты порядочный кусок. — Но почему ты об этом...

— Прочитайте, дядя, эту записку — он только что прислал мне ее — и скажите, как, по-вашему, все ли в ней в порядке и как полагается? Я ведь плохо знаю, как и что принято у вас в городе.

Старый Джером швырнул газету на пол и наступил на нее обеими ногами. Он схватил записку Гилберта, внимательно прочитал ее дважды, а потом и в третий раз.

— Ах, детка, — проговорил он, — ты чуть было не расстроила меня, хоть я и был уверен в моем мальчике. Он точная копия своего отца, а его отец был чистый брильянт в золотой оправе. Он спрашивает только, можете ли вы с Барбарой сегодня в четыре часа дня поехать с ним в автомобиле на Лонг-Айленд? Я не нахожу в записке ничего предосудительного, за исключением бумаги. Терпеть не могу этот голубой оттенок.

— Удобно будет, если я поеду?

— Да, да, дитя мое, конечно. Почему нет? Право, мне очень приятны твоя осторожность и чистосердечие. Поезжай, непременно поезжай.

— Я не знала, как мне поступить, — застенчиво проговорила Невада, — и подумала: спрошу-ка я лучше у дяди. А вы, дядя, не можете поехать с нами?

— Я? Нет, нет, нет! Я разок прокатился в машине, которой правил этот мальчишка. С меня довольно! Но ты и Барбара можете ехать, это вполне прилично. Да, да. А я не поеду. Нет, нет и нет!

Невада порхнула к двери и сказала горничной:

— Поедем, будьте уверены. За мисс Барбару я отвечаю. Скажите посыльному, чтобы он так и передал мистеру Уоррену: «Поедем, будьте уверены».

— Невада! — позвал старый Джером. — Извини меня, моя милая, но не лучше ли ответить запиской? Черкни ему несколько слов.

— Не стану я разводить эту канитель, — весело сказала Невада. — Гилберт поймет и так — он все понимает. Ни разу в жизни я не ездила в автомобиле; но я проплыла в каноэ по ущелью Пропавшей Лошади на Чертовой речке. Еще посмотрим, где больше риска!

### III

Предполагается, что прошло два месяца.

Барбара сидела в кабинете стотысячедолларового дома. Для нее это было самое подходящее место. На свете много уготовано мест, куда мужчины и женщины могут удалиться с намерением избавиться себя от разных хлопот. Для этой цели имеются монастыри, кладбища,

курорты, исповедальни, кельи отшельников, конторы адвокатов, салоны красоты, дирижабли и кабинеты; лучше всего кабинеты.

Обычно проходит много времени, прежде чем гипотенуза начнет понимать, что она самая длинная сторона треугольника. Но нет того положения, которое может длиться вечно.

Барбара была одна. Дядя Джером и Невада уехали в театр. Барбара ехать отказалась. Ей хотелось остаться дома и заняться чем-нибудь в уединенной комнате для занятий. Если бы вы, мисс, были блестящей нью-йоркской барышней и каждый день видели, как смуглая, ловкая чародейка с Запада накидывает лассо на молодого человека, которого вы держали на примете для себя, вы тоже потеряли бы вкус к дешевому блеску музыкальной комедии.

Барбара сидела за дубовым письменным столом. Ее правая рука покоилась на столе, а пальцы этой руки беспокойно теребили запечатанное письмо. Письмо было адресовано Неваде Уоррен; в левом верхнем углу конверта помещалась маленькая золотая палитра Гилберта. Письмо доставили в девять часов, когда Невада уже уехала.

Барбара отдала бы свое жемчужное кольцо, только бы знать, что в нем написано. Но вскрыть конверт с помощью пара, ручки, шпильки или каким-нибудь иным из общепринятых способов она не решалась — не позволяло ее положение в обществе. Она смотрела письмо на свет и изо всех сил сжимала конверт, пытаясь прочесть хотя бы несколько строк, но ничего у нее не вышло — Гилберт знал толк в канцелярских принадлежностях.

В одиннадцать тридцать театралы вернулись. Была прелестная зимняя ночь. Пока они шли от экипажа до дверей, их густо обсыпало крупными снежными хлопьями, косо летевшими с востока. Старый Джером добродушно ругал извозчиков и толчею на улицах. Невада, раздумавшаяся, как роза, поблескивая сапфировыми глазами, рассказывала о ночных бурях, которые бушевали в горах вокруг папиной хижины. В продолжение этих зимних апострофов Барбара спала, чувствуя холод в сердце, и тихо всхрапывала — ничего лучшего она не могла придумать. Старый Джером сразу поднялся, к себе наверх — к своим грелкам и хинину. Невада впорхнула в кабинет, единственную ярко освещенную комнату, опустилась в кресло и, приступив к бесконечной процедуре расстегивания длинных — до локтя — перчаток, начала давать устные показания относительно виденного ею «зрелища».

— Да, мистер Филдс бывает смешон... иногда, — сказала Барбара. — Тут для тебя есть письмо, дорогая, его принес посыльный, как только вы уехали.

— От кого? — спросила Невада, дернув за пуговицу.

— Могу только догадываться, — с улыбкой сказала Барбара. — На конверте, в уголке, имеется такая финтифлюшка, которую Гилберт называет палитрой, а мне она больше напоминает золоченое сердечко на любовной записке школьницы.

— Интересно, о чем он мне пишет? — равнодушно заметила Невада.

— Все мы, женщины, одинаковы, — сказала Барбара. — Гадаем о содержании письма по штемпелю, как последнее средство используем ножницы и читаем письмо снизу вверх. Вот оно!

Она подняла руку с письмом, собираясь бросить его через стол Неваде.

— Шакал их укуси! — воскликнула Невада. — Надоели мне эти бесконечные пуговицы. Кожаные штаны и то лучше. Барбара, прошу тебя, сдери, пожалуйста, шкурку с этого письма и прочти его.

— Неужели ты хочешь, милая, чтобы я распечатала письмо, присланное Гилбертом на твое имя? Оно написано для тебя, и, разумеется, тебе не понравится, если кто-нибудь другой прочтает его!

Невада подняла от перчаток свои смелые, спокойные, сапфировые глаза.

— Никто не напишет мне ничего такого, чего нельзя было бы прочитать всем, — сказала она. — Живей, Барбара! Возможно, Гилберт хочет, чтобы завтра мы опять поехали кататься в его автомобиле?

«Любопытство сгубило кошку» — так гласит народная мудрость. Любопытство еще и не таких бед может натворить. А если чувства, которые считаются чисто женскими, враждебны кошачьей жизни, то ревность вскоре оставит целый свет без кошек.

С несколько скучающим, снисходительным видом Барбара вскрыла письмо.

— Ну, что ж, дорогая, — проговорила она, — если ты так хочешь, я прочитаю его тебе.

Она бросила конверт и торопливо пробежала письмо глазами; прочитала его еще раз и бросила быстрый, хитрый взгляд на Неваду, для которой весь мир в эту минуту, казалось, свелся к перчаткам, а письма молодых, но идущих в гору художников имели не больше значения, чем послания с Марса.

Четверть минуты Барбара смотрела на Неваду как-то особенно пристально; затем чуть заметная улыбка, от которой рот ее приоткрылся всего на одну шестнадцатую дюйма, а глаза сузились не более, чем на двадцатую, сверкнула на ее лице, как вдохновенная мысль.

Спокон веков ни одна женщина не составляла тайны для другой женщины. С быстротой света каждая из них проникает в сердце и ум другой женщины, срывает со слов своей сестры хитроумные покровы, читает самые сокровенные ее желания, снимает шелуху софистики с коварнейших ее замыслов, как волосы с гребня, и, сардонически повертев ее между пальцами, пускает по ветру изначального сомнения.

Много-много лет назад сын Евы позвонил у дверей фамильной резиденции в Рай-парке. Он держал под руку неизвестную даму, которую и представил матери. Ева отозвала свою невестку в сторону и подняла классическую бровь.

— Из земли Нод, — сказала новобранная, томно кокетничая пальмовым листом. — Вы, конечно, бывали там?

— Давненько не была, — ответила Ева с полной невозмутимостью. — Вам не кажется, что яблочный соус, который там подают, отвратителен? Ваша туника из листьев шелковицы довольно привлекательна, милочка; но, конечно, настоящего фигового товара там не достанешь. Пройдем сюда, за этот сиреневый куст, пока джентльмены выпьют по рюмочке сельдереевки. Мне кажется, что дырки, которые прогрызли в вашем наряде гусеницы, слишком оголяют вам спину.

Таким-то образом в упомянутое время и в указанном месте, как гласит предание, был заключен союз между единственными двумя дамами в мире, которые попали в биографический справочник тогдашнего светского общества. И тогда же было решено, что женщина навеки пребудет для другой женщины прозрачной, как стекло, — хотя его предстояло еще изобрести, — и компенсирует себя тем, что составит тайну для мужчины.

Барбара как будто колебалась.

— Ах, Невада, — проговорила она что-то уж очень смущенно, — зачем ты настаивала, чтобы я распечатала письмо. Я... я так и знала, что оно написано не для посторонних глаз.

Невада забыла на минуту о перчатках.

— Если так, читай его вслух, — сказала она. — Ты ведь уже прочла, так теперь все равно. Если мистер Уоррен действительно написал мне что-нибудь такое, чего другим не следует знать, пусть знают об этом все.

— Ну-у, — проговорила Барбара, — здесь вот что сказано: «Милая моя Невада, приходите сегодня ко мне в студию в двенадцать часов ночи. Приходите непременно».

Барбара поднялась и уронила записку Неваде на колени.

— Мне страшно неприятно, что я узнала об этом, — сказала она. — На Гилберта это не похоже. Тут какое-то недоразумение. Будем считать, что я ничего не знаю, хорошо, милая? Ну, я пойду, ужас как болит голова. Нет, серьезно, не понимаю я этой записки. Может быть, Гилберт слишком хорошо пообедал и позже все разъяснится. Спокойной ночи!

#### IV

Невада подошла на цыпочках к холлу и услышала, как наверху захлопнулась за Барбарой дверь. Бронзовые часы в кабинете показывали, что до полуночи оставалось пятнадцать минут. Она быстро побежала к парадной двери, открыла ее и вышла в метель. Студия Гилберта находилась за шесть кварталов.

Проносья по воздушной переправе, белое безмолвное войско метели атаковало город со стороны угрюмой Восточной реки. Снега намело уже на целый фут, сугробы громоздились, как лестницы у стен осажденного города. Авеню была тиха, как улица в Помпее. Порой мимо пролетали экипажи, как белокрылые чайки над освещенным луной океаном; реже автомобили — продолжим сравнения — со свистом рассекали пенные волны, как подводные лодки, пустившиеся в увлекательное и опасное плавание.

Невада мелькала в снежных хлопьях, как над морем буреветник, гонимый ветром. Она посмотрела вверх, на разорванную цепь зданий, покрытых шапками облаков и окрашенных ночными огнями и застывшими испарениями в серые, тускло-коричневые, пепельные, бледно-лиловые, серовато-коричневые и небесно-голубые тона. Они так напоминали горы ее родного Запада, что она почувствовала удовольствие, какое редко испытывала в стотысячедолларовом доме.

Стоявший на углу полисмен одним своим взглядом заставил ее вздрогнуть.

— Хелло, красотка! — сказал он. — Поздновато гуляешь, а?

— Я... я в аптеку, — проговорила Невада и поспешила пройти мимо.

Такая отговорка заменяет пропуск самым искушенным в житейских делах. Подтверждает ли это, что женщина не способна к развитию, или что она вышла из адамова ребра с полным запасом сообразительности и коварства?

Когда Невада свернула на восток, ветер ударил ей прямо в лицо и сократил скорость ее продвижения наполовину. Она оставляла на снегу зигзагообразные следы; но она была гибка, как молодое деревце, и так же грациозно кланялась ветру. Вдруг перед ней замаячило здание, в котором находилась студия Гилберта, — желанная вежа, точно утес над знакомым каньоном. В обители бизнеса и враждебного ему соседа — искусства — было темно и тихо. Лифт кончал работать в десять часов.

Невада одолела восемь пролетов Стигийской лестницы и смело постучала в дверь под номером «89». Она бывала здесь много раз с Барбарой и дядей Джеромом.

Гилберт отворил дверь. В руке у него был карандаш, над глазами зеленый щиток, во рту трубка. Трубка упала на пол.

— Опоздала? — спросила Невада. — Я спешила как только могла. Мы с дядей были в театре. Вот я, Гилберт!

Гилберт разыграл эпизод Пигмалиона и Галатеи. Из статуи оцепенения он превратился в молодого человека, которому надо решить трудную задачу. Он впустил Неваду в комнату, взял веник и стал смахивать снег с ее одежды. Большая лампа с зеленым абажуром висела над мольбертом, где Гилберт только что делал набросок карандашом.

— Вы звали меня, и я пришла, — просто сказала Невада. — Я получила ваше письмо. Что случилось?

— Вы прочли мое письмо? — спросил Гилберт, жадно глотая воздух.

— Барбара прочла. Потом я его тоже видела. В нем было сказано: «Приходите ко мне в студию в двенадцать часов ночи. Приходите непременно». Я решила, конечно, что вы больны, но что-то непохоже.

— Ага! — некстати произнес Гилберт. — Я скажу вам, Невада, зачем я просил вас прийти. Я хочу, чтобы вы вышли за меня замуж — сегодня же, сейчас. Метель нам не помеха. Вы согласны?

— Вы давно могли заметить, что я согласна. А метель мне даже очень нравится. Терпеть не могу эти пышные свадьбы в церкви и при дневном освещении. Вот не думала я, что у вас хватит духу сделать мне такое предложение. Давайте огорошим их — дело-то касается нас и никого больше! Правда ведь?

— Будьте уверены! — ответил Гилберт. «Где я слышал это выражение?» — подумал он про себя. — Одну минуту, Невада. Я только позвоню по телефону.

Он закрылся в маленьком кабинете и вызвал молнии небесные, сконденсированные в малоромантичные цифры и буквы.

— Это ты, Джек? Ну и соня ты, черт тебя подери! Да проснись же! Это я, ну я же, брось



придираться к словам! Я женюсь, сию минуту. Ну да. Буди сестру... какие могут быть возражения. Тащи ее с собой! Для меня ты обязан это сделать! Напомни Агнесе, что я спас ее, когда она тонула в озере Ронконкома... Я понимаю, нетактично напоминать ей об этом, но она должна приехать вместе с тобой. Да, да! Невада здесь, ждет. Мы помолвлены довольно давно. Родственники не согласны, понимаешь, вот и приходится действовать таким образом. Ждем вас. Не дай Агнесе заговорить себя — тащи ее, и все тут! Сделаешь?! Молодец, старина! Заказываю для вас извозчика, скажу, чтоб гнал во всю прыть. Черт тебя поберет, Джек, славный ты малый!

Гилберт вернулся в комнату, где его ждала Невада.

— Мой старый друг, Джек Пейтон, и его сестра должны были явиться сюда без четверти двенадцать, — пояснил он. — Но Джек вечно копается. Я позвонил, чтобы они поторапливались. Они приедут через несколько минут. Я счастливейший человек в мире. Невада! Что вы сделали с моим письмом?

— Я засунула его вот сюда, — сказала Невада, вытаскивая письмо из-за лифа вечернего платья.

Гилберт вынул записку из конверта и внимательно прочитал ее. Затем он в раздумье взглянул на Неваду.

— Вам не показалось несколько странным, что я просил вас прийти ко мне в студию в полночь? — спросил он.

— Не-ет, — сказала Невада, широко раскрыв глаза. — Почему же, если я была вам нужна. У нас, на Западе, когда приятель шлет вам срочный вызов — кажется, у вас это так называется? — сначала спешат к нему, а потом, когда сделают все, что нужно, начинаются разговоры. И там тоже в таких случаях обычно идет снег. Я не нашла здесь ничего особенного.

Гилберт кинулся в соседнюю комнату и вернулся, нагруженный верхней одеждой, гарантирующей от ветра, дождя и снега.

— Наденьте этот плащ, — сказал он, подавая его Неваде. — Нам придется проехать четверть мили. Старина Джек и его сестра явятся сюда через несколько минут. — Он стал натягивать на себя пальто. — Ах да, Невада! — сказал он. — Просмотрите-ка заголовки на первой странице вечерней газеты, вон она лежит на столе. Пишут про вашу местность на Западе, я уверен, вам будет интересно.

Он ждал целую минуту, делая вид, что никак не может попасть в рукав, потом обернулся. Невада не сдвинулась с места. Она смотрела ему прямо в лицо странным, задумчивым взглядом. Ее щеки, раздумывавшиеся от ветра и снега, запыхали еще ярче; но она не опускала глаз.

— Я собиралась сказать вам, — проговорила она, — во всяком случае, прежде, чем вы... прежде, чем мы... прежде... ну, в общем заранее... Папа совсем не посылал меня в школу. Я не могу ни прочесть, ни написать ни одного распроклятого слова. И если вы...

На лестнице слышались неуверенные шаги Джека сонливого и Агнесы благодарной.

## V

После обряда, когда мистер и миссис Гилберт Уоррен быстро и плавно катили домой в закрытой карете, Гилберт сказал:

— Невада, ты хочешь знать, что я написал в письме, которое ты получила сегодня вечером?

— Валяй, говори! — сказала новобрачная.

— Вот что там было написано, слово в слово: «Моя дорогая мисс Уоррен, вы были правы. Это была гортензия, а не сирень».

— Ну и прекрасно, — сказала Невада. — Но это дело прошлое. И что ни говори, а Барбара подшутила сама над собой.

## **О старом негре, больших карманных часах и вопросе, который остался открытым**

Вот как вам следует идти, если вы хотите попасть в главную контору фирмы «Картерет и Картерет: принадлежности для мельниц и приводные ремни».

Идите по тропе Бродвей; пересекуте Среднюю Черту, Хлебную Черту, Мертвую Черту и войдите в Большое Ущелье Племена Биржевиков. Затем поверните налево, потом направо, отскочите с пути ручной тележки, ловко увернитесь от дышла тяжелого фургона, запряженного четверкой, сделайте ряд прыжков и взберитесь наверх, — топ, топ, топ, — на гранитный уступ двадцатиэтажной горы, — синтеза из камня и железа. В двенадцатом этаже находится контора фирмы Картерет и Картерет. Завод же, где производятся принадлежности для мельниц и приводные ремни, находится в Бруклине. Но эти предметы — не говоря уж о Бруклине — вряд ли представляют для вас интерес, и потому будем держаться в рамках пьесы в одном действии и одной картине; это сэкономит труд читателя и сократит расходы издателя. Поэтому, если вас не устрашают ни четыре печатных страницы, ни Персиваль, мальчик-рассыльный в конторе Картерет и Картерет, можете усестись на стул из лакированного дерева в кабинете владельцев конторы; здесь перед вами будет разыграно лицедейство: «О Старом Негре, Больших Карманных Часах и Вопросе, Который Остался Открытым».

Но сначала сюда примешается биография — впрочем, очищенная до самой сердцевины. Я стою за новый сорт пилюль из хины в сахаре; по-моему, пусть уж лучше горечь будет снаружи.

Картереты принадлежат к старинной семье из Виргинии. В очень отдаленные времена мужчины этой семьи носили кружевное жабо и шпаги, владели плантациями и имели рабов. Но война значительно уменьшила размеры их вотчины.

Раскапывая историю Картеретов, я не заведу вас дальше 1620 года. В этом году переселились в Новый Свет два первых американских Картерета, но они избрали разные способы передвижения. Один брат, по имени Джон, прибыл на «Мэйфлауере» и стал одним из отцов-пилигримов. Вы видели его изображение на обложке специальных номеров иллюстрированных журналов, выпускаемых в День Благодарения; он охотится с мушкетом за индейками по снегу. Другой брат, Бланкфорд Картерет, переехал через Атлантическую лужицу на собственной бригантине, пристал к берегу Виргинии и сделался аристократом. Джон стал известен своей набожностью и умением вести дела; Бланкфорд прославился своей гордостью, лимонадом, который приготавливался у него в доме, своей меткостью в стрельбе и обширными, обработанными рабами плантациями.

Затем настала гражданская война. (Эту историческую вставку придется передать в сильно конденсированном виде). Стонуолл Джексон погиб от пули; Ли сдался; Грант отправился путешествовать по свету; хлопок упал до девяти центов; были изобретены виски «Олд Кро» и вагоны Джима Кро. 79-й Массачусетский добровольческий полк вернул 97-му полку алабамских зуавов боевое знамя, участвовавшее в битве при Лендиз Лэн; куплено оно было в Челси, в магазине подержанных вещей Кшепшицюльского; Джорджия преподнесла президенту арбуз весом в шестьдесят фунтов — и вот мы дошли до того времени, когда начинается наш рассказ.

Картереты-янки поселились в Нью-Йорке и занялись делами задолго до войны. Поскольку дело шло о приводных ремнях и мельничных принадлежностях, фирма эта была таким же полным надменности, затхлым и солидным учреждением, как те торговые дома, торгующие ост-индским чаем, про которые вы читали у Диккенса.

Во время войны и после нее Бланкфорд Картерет, аристократ, лишился своих плантаций, лимонадов, искусства в стрельбе и жизни. Его наследники не унаследовали от него почти ничего, кроме семейной гордости. Поэтому Бланкфорд Картерет-пятый, будучи пятнадцатилетним юношей, получил приглашение от ременно-мельничной ветви семьи

приехать на Север и поучиться делу, вместо того чтобы охотиться на лисиц и хвастаться, сидя на остатках имения, своими славными предками. Мальчик с радостью ухватился за это предложение; в двадцать пять лет он уже заседал в конторе фирмы в качестве равноправного компаньона Джона-пятого, потомка индейско-мушкетной ветви. Тут рассказ наш снова начинается.

Молодые люди были приблизительно одного возраста; у обоих была легкость движений, меньше свободно держаться в обществе; у обоих было выражение, говорившее о деятельном уме и деятельном теле. Оба были гладко выбриты, одеты в костюмы из синего шевиота, носили соломенные шляпы, жемчужные булавки в галстуках, как все прочие молодые нью-йоркцы, про которых вы не можете сказать — миллионеры они или конторщики.

Однажды, в четыре часа дня, Бланкфорд Картерет, сидя в своем кабинете, вскрыл конверт, только что положенный ему на стол одним из клерков.

Прочитав его, он целую минуту смеялся. Джон, сидевший за своим столом, вопросительно взглянул на него.

— Это от мамы, — сказал Бланкфорд. — Я сейчас прочту тебе самое забавное место. Сначала она, как полагается, сообщает мне все местные новости, а затем просит меня беречься насморка и оперетки. Затем идет какая-то очень важная статистика насчет телят и поросят и виды на урожай пшеницы. А тут уже я читаю:

«А теперь представь себе! Старый дядя Джек, которому в среду минуло семьдесят шесть лет, задумал попутешествовать. Понадобилось ему во что бы то ни стало поехать в Нью-Йорк и повидать своего «молодого мастера Бланкфорда». Хотя он и стар, но у него есть практическая сметка, и потому я отпустила его. Я никак не могла ему отказать, — он, видимо, сосредоточил все свои желания и надежды на этом единственном своем выезде в свет. Ведь он, как ты знаешь, родился у нас на плантации и ни разу в жизни не выезжал дальше, как за десять миль отсюда. И он все время был при твоём отце в продолжении войны; он всегда был чрезвычайно преданным. Он часто видел у меня золотые часы, — часы, которые принадлежали твоему отцу, а раньше и отцу твоего отца. Я говорила ему, что они будут твоими, и он умолял меня позволить ему отвезти их и собственноручно передать тебе.

Я дала ему часы, тщательно уложив их в кожаный футляр. Он везет их, а сам горд и важен, точно королевский посол. Я дала ему денег на билет туда и обратно и на двухнедельное пребывание в столице. Прошу тебя, позаботься о том, чтобы найти ему удобное пристанище; впрочем, за Джеком особенно присматривать не придется, — он сам о себе позаботится. Но я в газетах читала, что даже африканским епископам и разным темнокожим властителям нелегко бывает найти кров и пищу в столице янки. Может быть, это так и следует, но я не понимаю, почему бы Джек не мог остановиться в лучшей гостинице? Вероятно, такие уж у вас там правила?

Я дала ему точные инструкции насчет того, как отыскать тебя; чемодан его я уложила собственноручно. Он тебе не доставит хлопот, но все-таки, прошу тебя, позаботься, чтобы ему было удобно. Прими часы, которые он тебе привезет, — это почти знак отличия. Их носили истинные Картереты; ты не найдешь на них ни одного пятнышка и ни одной неисправности в колесиках. Мысль, что он сам привезет их тебе, — высшая радость в жизни старого Джека. Мне хотелось доставить ему это маленькое развлечение и дать ему эту радость, пока не поздно. Ты часто слышал от нас, как Джек, сам будучи серьезно ранен, во время битвы при Чанслорсвилле, прополз по обгаренной кровью траве к тому месту, где лежал твой отец с пулей в груди; он вынул часы у него из кармана, чтобы они не достались «янкам».

Итак, сын мой, когда приедет старик, смотри на него, как на дряхлого, но достойного вестника минувшего, как на вестника из родного дома.

Ты так давно покинул нас и так долго жил среди людей, на которых мы всегда смотрели, как на чужих. Я боюсь, что Джек не узнает тебя при встрече. Впрочем, у старика много проницательности, и я думаю, что он виргинского Картерета узнает с первого же взгляда. Не могу себе представить, чтобы мой мальчик мог измениться, даже после десяти лет,

проведенных в стране янки. Как бы то ни было, но ты-то уж узнаешь Джека сразу. Я положила ему в чемодан восемнадцать воротничков. Если ему придется еще прикупить, то помни, что его номер пятнадцать с половиной. Пожалуйста, присмотри, чтобы он не ошибся. Он тебе никаких хлопот не доставит.

Если ты не слишком занят, я попросила бы тебя найти ему такой пансион, где можно получить хороший хлеб; не позволяй ему также разуваться на улице или у тебя в конторе. У него правая нога немного пухнет, а он любит удобства.

Если у тебя найдется время, пересчитай его носовые платки, когда их принесут из стирки. Я купила ему дюжину новых перед отъездом. Вероятно, он прибудет почти одновременно с этим письмом. Я велела ему отправиться прямо к тебе в контору, как только он приедет».

Не успел Бланкфорд кончить письмо, как случилось нечто (это рекомендуется проделывать в рассказах, а на сцене так это уж обязательно).

Вошел Персиваль, мальчик-рассыльный, выражая, как всегда, всем своим видом, что он глубоко презирает все мельничные принадлежности и приводные ремни всего мира; он доложил, что один цветной джентльмен желает видеть мистера Бланкфорда Картерета.

— Просите сюда, — сказал Бланкфорд, вставая.

Но Джон Картерет повернулся на стуле и сказал Персивалю:

— Попросите его подождать несколько минут. Мы скажем, когда ему можно будет войти.

И с этими словами он повернулся к своему двоюродному брату, улыбаясь широкой, медленной улыбкой, которая являлась наследием всех Картеретов.

— Бланк, — сказал он, — меня просто пожирает любопытство. Я хочу наконец понять разницу, которая, по мнению всех вас, гордых южан, существует между вами и жителями Севера. Разумеется, я знаю, что вы считаете себя сделанными из более тонкого теста, но почему — это я не понимаю. Я никогда не мог понять, какая между нами разница.

— Ну, Джон, — сказал, смеясь, Бланкфорд, — то, чего ты не понимаешь, — это именно и есть разница, разумеется. Я думаю, что мы приобрели такой важный тон сеньоров и сознание своего превосходства благодаря тому, что жили при настоящем феодальном строе.

— Но теперь вы уже больше не феодалы, — продолжал Джон. — С тех пор как мы вздули вас и сперли у вас хлопок и мулов, вам приходится работать не хуже нас, «проклятых янки», как вы нас называете. А все-таки вы остались такими же надменными, презрительными аристократами, как и до войны. Значит, ваше богатство было тут ни при чем.

— А может быть, виноват климат, — шутливо сказал Бланкфорд, — или же нас испортили наши негры. Ну, я позову сейчас старика Джека. Мне хочется повидать этого старого негодяя.

— Подожди одну минуточку, — сказал Джон. — У меня есть маленькая теория, которую мне хочется проверить. У нас с тобой есть сходство в общем облике. Старый Джек не видал тебя с тех пор, как тебе минуло пятнадцать лет. Позовем его сюда, и пусть он сам решит, кому он привез часы. Следовало бы ожидать, что этот негр без труда узнает своего молодого «мастера». Пресловутый аристократизм и превосходство, присущее всякому южанину, должно сразу выразиться. Не может же он ошибиться и передать часы какому-то янки. Проигравший платит сегодня за обед и покупает две дюжины воротничков номер пятнадцать с половиной для Джека. Идет пари?

Бланкфорд охотно согласился. Позвали Персиваля и велели ему пригласить цветного джентльмена в кабинет.

Дядя Джек осторожно вошел в комнату. Это был маленький старичок, черный как сажа; он был весь в морщинах и совершенно лысый, если не считать бахромы из седых, похожих на шерсть волос; бахрома эта, шедшая вокруг всей головы и около ушей, была весьма прилично и коротко подстрижена. Он вовсе не походил на театрального «дядю Тома»: черный сюртук его был шит почти что на него, сапоги у него блестели, а соломенную шляпу украшала яркая

лента. В правой руке он держал какой-то предмет, который он тщательно закрывал сжатыми пальцами.

Дядя Джек прошел немного вперед и остановился недалеко от двери. Шагах в десяти друг от друга, на вращающихся креслах, сидели за своими письменными столами два молодых человека. Дружески, но молча глядели они на него. Он несколько раз переводил взгляд с одного на другого; он чувствовал, что находится в присутствии, во всяком случае, одного из членов того почитаемого им семейства, в чьем доме он начал и, вероятно, кончит свою жизнь.

У одного из молодых людей было приятное, но надменное выражение; у другого — характерный для этой семьи длинный, прямой нос. У обоих были пронизательные черные глаза, прямые брови и тонкий улыбающийся рот, которыми отличались и Картерет с «Мэйфлауера», и Картерет с бригантины. Раньше старый Джек думал, что он узнает своего молодого мастера из тысячи северян; но тут он оказался в затруднении. Оставалось одно — прибегнуть к хитрости.

— Здравствуйте, масса Бланкфорд, здравствуйте, сэр, — сказал он, глядя в пространство между обоими молодыми людьми.

— Здравствуйте, дядя Джек, — приветливо ответили оба в унисон. — Садитесь. Ну что, привезли часы?

Дядя Джек выбрал твердый стул, сел на краешек его на почтительном расстоянии и осторожно положил шляпу на пол. Он крепко сжал в руке часы в кожаном футляре. Не для того он рисковал жизнью на поле сражения, спасая эти часы «старого господина» от неприятеля, чтобы теперь добровольно отдать их в руки врага.

— Да, сэр; они у меня в руке, сэр; я вам их передам сию же минуту. Мамаша ваша, она мне велела передать их массе Бланкфорду в собственные руки и сказать ему, чтобы он носил их и помнил о чести и гордости семьи. Да, сэр, далековато пришлось ехать старому негру — десять тысяч миль, пожалуй, будет до родной Виргинии, сэр. А вы очень выросли, масса Бланкфорд. Я бы вас и не узнал, кабы вы не были так похожи на старого барина, сэр.

Старик с тонкой дипломатичностью блуждал взглядом по пустому пространству между двоюродными братьями. Слова его могли с одинаковым успехом относиться к обоим. Он ждал какого-нибудь знака.

Бланкфорд и Джон переглянулись.

— Вы, верно, уж получили мамашино письмо, — продолжал дядя Джек. — Она говорила, что пишет вам, что я собираюсь в эти края.

— Как же, как же, дядя Джек! — быстро ответил Джон. — Мы с братом только что получили известие о вашем приезде. Ведь мы оба — Картереты, как вам известно.

— Хотя один из нас, — сказал Бланкфорд, — родился и воспитывался на Севере.

— Итак, если вы дадите часы... — сказал Джон.

— Мы с братом... — сказал Бланкфорд.

— Позаботимся о том... — сказал Джон.

— Чтобы найти вам хорошее помещение, — сказал Бланкфорд.

Но старый Джек нашелся и весьма умно разразился продолжительным, резким, похожим на кудахтанье хохотом. Он похлопал себя по коленям, затем поднял с полу шляпу и начал мять края ее, точно в припадке восторга от шутки, которую затеяли с ним сыграть. Этот припадок хохота служил ему ширмой, благодаря которой он мог, вращая глазами, кидать взгляды в пространство между, над и за своими мучителями.

— Понимаю! — довольно усмехнулся он, когда кончил. — Вы оба, сэр, шутите над бедным старым негром. Но вам не одурачить старого Джека. Я узнал вас, масса Бланкфорд, как только взглянул на вас. Вы были маленький такой, худенький мальчик — лет четырнадцать вам было, — когда вы уехали из дому на Север; но я узнал вас, как только глаза мои вас увидели. Вы прямо вылитый старый господин. Другой джентльмен очень на вас похож, сэр, но Джек не обманывается, когда видит кого-нибудь из старых виргинцев. Нет, сэр, — не обманывается.

Оба Картерета совершенно одновременно улыгнулись и протянули руку за часами.

С морщинистого черного лица Джека слетело веселое выражение. Он знал, что его дразнят. Что касается целостности и сохранности семейного сокровища, конечно, совершенно безразлично, в чьи руки он передаст его. Но ему казалось, что тут дело шло не только о том, чтобы поддержать собственную честь и доказать свою верность; нужно было также поддержать и честь виргинских Картеретов. Живя на Юге, он слышал во время войны про вторую ветвь этой семьи, которая жила на Севере и сражалась «на той стороне»; это всегда огорчало его. Он всю жизнь не покидал своего господина: ни во времена роскошной жизни, ни тогда, когда война разорила Картерета и превратила его почти в нищего. А теперь он привез сюда часы — последнюю реликвию и единственное оставшееся о нем воспоминание; «старая госпожа» благословила его и всецело доверила ему это сокровище; он пропутешествовал целых десять тысяч миль (так ему казалось), чтобы вручить часы тому, кто должен был носить их, заводить, любовно беречь и прислушиваться к их тиканью, повествующему о незапятнанной жизни прошлых Картеретов — виргинских Картеретов.

О янки у него было особое представление; они казались ему тиранами, — «хамским отродьем» в синих мундирах, — которые все предавали огню и мечу. Он много раз видел, как к сонному южному небу поднимался дым от пожаров многих домов, почти столь же величественных, как Картерет-холл. И вот теперь перед ним находится один из этих янки, и он не может отличить его от своего «молодого мастера», а ведь он и приехал-то лишь за тем, чтобы повидать его и вручить ему эмблему его высокого происхождения. Так «рука в белом бархате, таинственная и чудесная» вложила меч Эскалибур в десницу Артура. Старый негр видел перед собой двух молодых людей, веселых, добродушных, любезных и приветливых; любой из них мог быть тем, кого он искал. Расстроенный, растерявшийся, глубоко огорченный собственным недостатком проницательности, старый Джек отказался от своих уверток во имя преданности. Его правая ладонь, сжимавшая кожаный футляр с часами, взмокла от пота. Он испытывал унижение и стыд. Его выпуклые, желто-белые глаза теперь уже не в шутку устремили пристальный взгляд свой на обоих молодых людей. Но, несмотря на самый внимательный осмотр, он увидел между ними лишь одну разницу: у одного был узкий черный галстук и булавка с белой жемчужиной; у второго — узкий синий галстук, заколотый черной жемчужиной.

Но тут, к великой радости старого Джека, произошла диверсия. В двери властно постучалась Драма и обратила Комедию в бегство.

Персиваль, ненавистник всяких мельничных принадлежностей, влетел с чьей-то визитной карточкой и передал ее Синему Галстуку с таким видом, точно это был вызов на дуэль.

— «Оливия де Ормонд», — прочел Синий Галстук имя на карточке. Он вопросительно взглянул на двоюродного брата.

— Отчего бы нам не попросить ее сюда, — сказал Черный Галстук, — и не покончить, так или иначе, с этим делом?

— Дядя Джек, — сказал один из молодых людей, — будьте добры, присядьте ненадолго на тот стул, вон там, в углу. Сейчас придет сюда дама по делу. Мы займемся вами потом.

Дама, которую Персиваль ввел в кабинет, была молода и обладала капризной, определенной, свежей, сознательной и преднамеренной красотой. Одета она была с той дорого стоящей простотой, в сравнении с которой всякие кружева да оборки кажутся лишь жалкими лохмотьями. Впрочем, ее огромное страусовое перо служило султаном, по которому ее, как и веселого носителя наваррского шлема, можно было узнать издали даже среди целой армии прелестниц.

Мисс де Ормонд приняла предложенное ей вращающееся кресло у стола Синего Галстука. Затем молодые люди придвинули поближе два кожаных кресла, сели и заговорили о погоде.

— Да, — сказала она, — я заметила, что становится теплее. Но я не хочу отнимать у вас время в деловые часы. Впрочем, — добавила она, — мы можем поговорить и о деле.

Она говорила, обращаясь к Синему Галстуку, и при этом очаровательно улыбалась.

— Отлично, — сказал он. — Вы ничего не имеете против того, чтобы мой кузен присутствовал при разговоре, надеюсь? У нас обыкновенно не бывает тайн друг от друга, особенно в делах.

— О, несколько, — зачирикала мисс де Ормонд. — Я даже предпочитаю, чтобы он слушал. Во всяком случае, он является важным свидетелем; ведь он был тут, когда вы... когда это случилось. Я предполагала, что вы не прочь будете переговорить, пока еще... пока еще не возбуждено дело, — так, кажется, говорят юристы?

— Имеется ли у вас наготове какое-нибудь конкретное предложение? — спросил Синий Галстук.

Мисс де Ормонд задумчиво поглядела на носки своих шевровых туфельек.

— Мне было сделано предложение, предложение руки и сердца, — сказала она. — Если оно не будет взято обратно, то другое предложение само собой отпадает. Давайте поговорим сначала насчет первого.

— Ну, что касается... — начал Синий Галстук.

— Прости меня, друг мой, — перебил Черный Галстук, — и разреши мне вмешаться. — И он с добродушным видом повернулся к молодой женщине.

— Ну-с, давайте-ка припомним слегка обстоятельства дела, — веселым тоном сказал он. — Мы все трое, в обществе многих общих знакомых, неоднократно кутили вместе, ловили мух...

— Мне кажется, что тогда в воздухе носилось нечто значительно более крупное, чем мухи... — сказала мисс де-Ормонд.

— Согласен, — так же невозмутимо и добродушно продолжал Черный Галстук. — Вам показалось, что это голуби. Два месяца назад человек шесть из нашей компании поехали кататься на автомобиле с намерением провести день на лоне природы. Мы остановились в придорожной гостинице, чтобы пообедать. Там мой родственник сделал вам предложение. Разумеется, он это сделал, находясь под влиянием ваших чар и вашей красоты — качеств, которых никто не может отрицать у вас.

— Жаль, что не вы пишете обо мне рекламные статьи, — сказала красавица, ослепительно улыбувшись.

— Вы — на сцене, мисс де Ормонд, — продолжал Черный Галстук. — Без сомнения, вы имели множество поклонников; быть может, вы получали предложения и от других. Вы должны также помнить, что мы все в тот день кутили и веселились. Не одна бутылка была распита. Что мой родственник сделал вам предложение — этого мы отрицать не можем. Но разве вам до сих пор не случалось замечать, что подобные вещи теряют, с обоюдного согласия, все свое значение на следующее утро при свете солнца? Ведь существует же между «веселящейся братией» — я беру это слово отнюдь не в дурном смысле — известный кодекс правил, согласно которому всякие выходки после обильных возлияний на другой день забываются?

— О да, — сказала мисс де Ормонд. — Я это отлично знаю. И я всегда так и действовала. Но так как это дело, по-видимому, защищаете вы, — с молчаливого согласия ответчика, — я вам скажу еще кое-что вдобавок. У меня есть письма от него, в которых он повторяет свое предложение. И они с подписью.

— Понимаю, — серьезным тоном сказал Черный Галстук. — Сколько вы хотите за эти письма?

— Меня дешево не купить, — сказала мисс де Ормонд. — Но я была на другое. Вы оба принадлежите к аристократической семье. Ну что же, хотя я и на сцене, однако никто ничего не может про меня сказать. А деньги для меня были лишь второстепенным соображением. Я не за деньгами гналась. Я... я верила ему... и... и... он мне нравился.

Она кинула на Синий Галстук томный, чарующий взгляд из-под длинных ресниц.

— А цена? — неумолимо продолжал Черный Галстук.

— Десять тысяч долларов, — нежно сказала дама.

— Или...

— Или выполнение обещания жениться.

— Кажется, пора, — перебил Синий Галстук, — дать и мне вставить слово. Мы с тобой, брат, принадлежим к семье, которая всегда высоко держала голову. Ты воспитывался в местности, совершенно непохожей на ту, где всегда жила наша ветвь. Но все же мы оба Картереты, даже если у нас и есть различие во взглядах и в образе действий. Как ты, конечно, помнишь, одна из традиций нашей семьи та, что все Картереты всегда по-рыцарски поступали с дамами и никто из них ни разу не нарушал данного слова.

И Синий Галстук с открытой душой и полной готовностью повернулся к мисс де Ормонд.

— Оливия, — сказал он, — назначьте день свадьбы.

Но не успела она ответить, как опять вмешался Черный Галстук.

— От Плимут Рока до Норфолк Би<sup>30</sup> — путь немалый, — сказал он. — Между этими двумя пунктами мы находим различия, созданные тремя веками. За это время старый порядок изменился. Мы больше не сжигаем ведьм и не пытаем рабов. И мы теперь уже больше не расстилаем плащей, чтобы дама могла пройти через лужицу; но мы также и не окунаем их с головой в воду за малейшую провинность. Наш век — век здравого рассудка, применения к обстоятельствам и чувства меры. Все мы — дамы, кавалеры, женщины, мужчины, северяне, южане, лорды, проходимцы, актеры, уличные разносчики, сенаторы, поденщики, политические деятели — начинаем приходить к лучшему пониманию вещей. «Рыцарство» — одно из тех слов, которые постоянно меняют свое значение. Семейная гордость может выражаться разными способами; одни поддерживают ее тем, что берегут свое заплесневшее высокомерие в заросших паутиной хоромах где-нибудь в колониях, а другие — тем, что сразу платят свои долги.

Ну-с, а теперь я думаю, что я вам уже надоел со своими монологами. Я кое-что смыслю в делах, знаю немного жизнь, и я почему-то уверен, брат, что наши прадеды, первые Картереты, одобрили бы мое отношение к этому вопросу.

Черный Галстук повернул свой вращающийся стул к столу, что-то написал в чековой книжке, вырвал чек; звук отрываемой по пунктиру бумажки резко нарушил молчание, воцарившееся в комнате. Черный Галстук положил чек так, чтобы мисс де Ормонд легко могла взять его.

— Дело — делом, — сказал он. — Мы живем в деловой век. Вот чек на десять тысяч долларов. Ну, мисс де Ормонд, как вы решаете: флердоранж или наличными?

Мисс де Ормонд небрежно взяла чек равнодушно сложила его и сунула в перчатку.

— Больше ничего не нужно, — спокойно сказала она. — Я отлично знала, что лучше будет, если я зайду и заранее переговорю с вами. Вы, по-видимому, народ порядочный. Но ведь у всякой девушки есть самолюбие. Я слыхала, что один из вас — южанин. Кто же именно? Любопытно было бы знать.

Она встала, нежно улыбнулась и прошла к двери. Затем, сверкнув белыми зубами и взмахнув пером, она исчезла.

Родственники успели совершенно позабыть о дяде Джеке. Но тут они услышали, как он, шаркая ногами, зашагал по ковру по направлению к ним.

— Масса Бланкфорд, — сказал он, — вот вам ваши часы.

И с этими словами он без малейшего колебания вручил старинный хронометр его законному владельцу.

## Спрос и предложение

Заведение Финча — 9 футов на 12, Третья авеню, — обещает «чистку шляп

---

<sup>30</sup> Путь, проделанный кораблем «Мэйфлауер».



электричеством в присутствии заказчика». Если вам случилось попасть ему в лапы, вы его клиент навеки. Мне неведомы производственные тайны Финча, но отныне вам придется чистить шляпу каждые четыре дня.

Финчу, жилистому, нерасторопному субъекту с испитым лицом, можно дать от двадцати до сорока. Поглядеть на него — кажется, он с младых ногтей только тем и занимался, что чистил шляпы. Когда у него нет посетителей, он охотно болтает со мной, и я чищу шляпу чаще, чем требуется, в надежде, что Финч приподнимет завесу над тайнами местных потогонных мастерских.

Как-то я заглянул к Финчу и застал его одного. Он тут же принялся умащать мой головной убор панамского производства своим загадочным составом, притягивающим пыль и грязь, как магнит.

— Говорят, индейцы плетут шляпы под водой, — сказал я для затравки.

— Ерунда, — сказал Финч. — Так долго под водой не пробыть ни индейцу, ни белому. Послушайте, вы интересуетесь политикой? Я на днях прочел в газете, что приняли один закон, его еще называют закон спроса и предложения.

Я, как мог, постарался ему втолковать, что речь идет не о законодательном акте, а о законе политической экономии.

— Вот оно как, — сказал Финч. — Я об этом законе много чего слышал года два тому назад, но все больше с одного боку.

— Верно, — подтвердил я. — У ораторов этот закон не сходит с языка. Похоже, они жить без него не могут. Вам, наверное, доводилось слышать, как наши разбойники с большой платформы разглагольствуют о нем тут, в Ист-Сайде.

— Лично мне, — сказал Финч, — об этом законе рассказал король, белый король, он правил индейским племенем в Южной Америке.

Сообщение Финча меня заинтриговало, но не удивило. Большой город — это своего рода материнские колени для тех, кто забрел далеко от дома и нашел, что выбранный путь слишком тернист для их неокрепших ног. В сумерках они возвращаются домой и садятся у порога. Я знаком с пианистом из третьеразрядного кафе, который охотился на львов в Африке, с посыльным, сражавшимся в рядах британской армии против зулусов, с извозчиком, чью левую руку патагонские людоеды уже готовились сунуть в похлебку, предварительно раздробив ее, как клешню краба, в ту самую минуту, когда на горизонте замаячило судно, несшее страдальцу избавление. Поэтому сообщение о том, что у чистильщика шляп числится в друзьях король, не потрясло меня.

— Ленту новую? — спросил Финч, и губы его раздвинула унылая, безжизненная улыбка.

— Да, — сказал я. — И на полдюйма шире.

Я менял ленту всего пять дней назад.

— Встречаю я как-то одного человечка, — начал Финч свой рассказ, — коричневый такой, все равно что табак, из всех карманов деньги торчат, заправляется свинными клецками у Шлагеля. Было это два года тому назад, я еще тогда брандспойт возил при 98-й части. И заводит он речь о золоте. Говорит, в одной, значит, южной стране, Хватималой называется, в горах золота полным-полно. Индейцы, говорит, намывают его в многочисленных количествах из ручьев.

— Скажешь тоже, — говорю, — Джеронимо<sup>31</sup>, индейцы! Нет на юге никаких индейцев, кроме «лосей» из деловых клубов и закупщиков мануфактуры... Индейцев всех загнали в резервации, но, надо сказать, допуск к ним есть.

— И рассказ мой тоже будет с допуском, — говорит он. — Только это не те индейцы, что при Буффало Билле, эти на собственных землях противозаконно живут, и они будут породовитее. Называются они финки и аптеки, они там стародавние жители, они в Хватимале в те времена еще жили, когда Мексикой Толстосума правил. Они намывают золото из горных

---

<sup>31</sup> Джеронимо — вождь апачей, был взят в плен и погиб в 1909 г.

ручьев, говорит коричневый человечек, сыплют его в гусиные перья, из перьев в красные кувшины, ну а как насыплют кувшины доверху, пакуют золото в кожаные мешки, в каждый мешок по арробе, и в арробе той целых двадцать пять фунтов, а там уж тащат мешки в каменный дом, и над дверью того дома картинка высечена — идол с завитыми волосами играет на флейте.

— И куда ж они девают эту небывалую прибыль? — спрашиваю.

— А никуда, — говорит человечек. — Это, знаете, тот самый случай, когда «Зло двигается по земле, и скорости его не вынести. Где золота невпроворот, там не ищите справедливости»<sup>32</sup>.

Выдоил я коричневого человечка досуха, пожал ему руку и сказал, мол, извините, только веры к вам у меня нет. А ровнехонько через месяц я высадился на хватимальский берег и при себе имел тысячу триста долларов, за пять лет скопленных. Индейские вкусы, думалось, мне известны, так что товару я набрал самого что ни есть подходящего. Четырех мулов навьючил красными шерстяными одеялами, железными ведрами, цветными гребнями для дам, стеклянными ожерельями и безопасными лезвиями. Нанял черномазого погонщика, сговорились, что он и мулов будет нахлестывать, и индейцев понимать. Ну, мулов-то он понимал вполне, а вот английский нахлестывал уж больно люто. Имечко его лязгало, как ключ, когда его не той стороной в замок сунешь, но я его Мак-Клинтоком кликал, выходило похоже. Так вот, золотая эта деревушка ютилась в горах, и было до нее миль сорок ходу, мы ее проискали девять дней. А на десятый Мак-Клинток перегнал всех мулов и меня в том числе по сыромятной кожи мосту через пропасть глубиной тысяч этак в пять футов. Копыта моих мулов барабанили по мосту точь-в-точь как барабанчики в театре перед тем, как Джордж М. Коэн на сцену выходит. Дома в той деревушке были слеплены из камня и грязи, а улиц и вовсе не предвиделось. Из дверей миглом повысовывались какие-то желто-бурые типчики, глаза тарачат — ни дать ни взять эскулапы в томатном соусе. И тут из самого большого дома, с галерейкой на все стороны, выходит белый крупный такой мужчина, цветом в свеклу, в шикарных дубленых одеждах из оленьей кожи, на шее золотая цепка, во рту — сигара. Мне встречались сенаторы такого обличья и статей, а еще метрдотели и полицейские.

И вот подходит он и приглядывается к нам, пока Мак-Клинток разгрузкой занимается, а потом закуривает и, пока курит, делает перевод головному мулу.

— Привет, Непрошенский! — говорит мне этот шикарный мужчина. — Ты чего встрял в мою игру? Что-то я не приметил, чтоб ты покупал фишки. И кто это тебе вручил ключи от города?

— Я всего лишь бедный путешественник, — говорю, — да еще на муломочном транспорте. Так что вы уж извините меня великодушно. А вы тут кайлом работаете или песок промываете?

— Обособляйся-ка ты от своего мнимоходца, — говорит он, — и входи в дом.

Он поднимает палец, и к нему опроретью кидается индеец.

— Вот этот малый позаботится о твоей экспедиции, — говорит он, — а я позабочусь о тебе.

И ведет меня в тот самый большой дом, выставляет стулья и выпивку молочного такого колера. Шикарней комнаты я не видывал. Каменные стены сплошняком занавешены шелковыми шальями, на полу желтые и красные дорожки, красные кувшины, шкуры ангорских коз, а уж бамбуковой мебелью, что там находилась, можно было б заставить полдюжины приморских домишек и еще б осталось.

— Прежде всего, — говорит он, — тебе, очевидно, желательно узнать, кто я такой. Я — единоличный арендатор и владелец здешнего индейского племени. Индейцы меня прозвали Великий Акула, что значит Король, или Набольшой. У меня тут больше силы, чем у пресс-атташе, гидравлического прессы и престиджитатора, вместе взятых. Я для них Палка-

---

<sup>32</sup> Пародийный пересказ известных строк из стихотворения О. Голдсмита «Покинутая деревня».

Погонялка, и сучков-узлов на мне не меньше, чем выдает в рекордный пробег машина «Лузитании». Да, да, и мы газеты почитываем, — говорит он. — А теперь предъяви ты свои полномочия, — продолжает, — и мы откроем заседание.

— Ладно, — говорю. — Я известен под именем У. Д. Финч. Занятие — капиталист. Адрес — 541 Восточная Тридцать вторая...

— Нью-Йорк, — прерывает меня Набольшой. — Так-так, — говорит он, ухмыляясь. — Вижу, фортуна не впервой оборачивается к тебе задом. Сужу по тому, как ты щедр на рекламу. А теперь объясни, что означает «капиталист»?

Я ему как на духу выложил, для чего я сюда пришел и каким манером дошел до того, что пришел.

— Золотой песок? — говорит он, и такой у него вид удивленный, ну чисто как у младенца, которому на перемазанный патокой палец налипло перышко. — Уморил ты меня! Ведь тут золотых приисков сроду не было. И ты вложил весь свой капитал в чужие рассказы? Ну и ну! Здешние людишки — они из вымершего племени пече — наивны, как дети. Им ничего не известно о покупательной способности золота. Похоже, тебя надули, — говорит он.

— Возможно, — говорю, — только сдается мне, что человечек тот не врал.

— У. Д., — говорит вдруг король, — мне не хочется кривить душой. Не часто доводится поговорить с белым человеком, так что за твои деньги я тебе устрою наглядную демонстрацию. Может статься, что у моих избирателей и припрятан гран-другой песку под одежкой. Доставай-ка завтра свои товары и погляди сам, как у тебя пойдет торговля. А теперь хочу представиться тебе неофициально. Меня зовут Шейн, Патрик Шейн. И владею я этими индейскими людишками по праву победителя, а победу над ними я одержал благодаря моей отваге и единоличному превосходству. Я сюда забрел четыре года назад и одолел их своими габаритами, цветом лица и нахрапом. Язык их я изучил за шесть недель, проще ничего нет: произносишь столько согласных, сколько хватает дыхания, а потом тычешь пальцем в то, что тебе требуется. Подавил я их своей импозантностью, а добил, — продолжает король Шейн, — при помощи экономической политики, ловкости рук, ну и, конечно, нашей новоанглийской морали и сквалыжества. Каждое воскресенье или, во всяком случае, когда по моим расчетам должно быть воскресенье, я читаю им проповедь в доме совета (а советы там даю я один) о законе спроса и предложения. Я превозношу предложение и поношу спрос. И всегда придерживаюсь одного текста. Ведь ты бы никогда не подумал, У. Д., — говорит Шейн, — что во мне так сильна поэтическая жилка?

— Не знаю, — говорю, — как-то язык не поворачивается назвать эту жилку поэтической.

— Свое поэтическое евангелие я заимствовал у Теннисона. Я его считаю всем поэтам поэтом. Вот, значит, как этот текст звучит:

«Нет, не ради восторгов люди явились на свет.

Так же, как не за тем, чтоб гулять, как султаны в пряных садах»<sup>33</sup>.

Понимаешь, я учу их урезать спрос, учу ставить предложение выше спроса. Учю не желать ничего, кроме самого необходимого. Чуток баранины, чуток кофе, чуток фруктов — их привозят с побережья — вот и все, что им нужно для счастья. Я их вымуштровал лучше не надо. Одежду свою и шляпы они плетут из соломы и живут припеваючи. Великое дело, — заключает Шейн, — осчастливить народ таким простым и здоровым прижимом.

Так вот назавтра я с королевского разрешения велел Мак-Клинтоку разбросать два мешка товара по площади. Тут же к нашему прилавку понабежало видимо-невидимо индейцев. Я размахивал перед ними красными одеялами, сверкал сережками и кольцами, нацеплял на дам жемчужные ожерелья и гребешки, на мужчин красные подштанники. Все без толку. Они лупились, как оголодавшие идолы, и равным счетом ничего не покупали. Я

---

<sup>33</sup> Цитата, не имеющая отношения к Теннисону.

справился у Мак-Клинтока, в чем дело. Мак несколько раз зевнул, скрутил папиросу, поделился кое-какими сокровенными соображениями с мулом, потом снизошел до меня и сообщил, что у индейцев просто нет денег.

А тут на площадь является сам король Шейн, грузный, багровый и царственный, как всегда, на груди золотая цепка, во рту — сигара.

— Как торгуется, У. Д.? — спрашивает.

— Надо б лучше, да нельзя, — говорю. — Товар рвут из рук. Но у меня тут еще один товарец припасен, я решил его выбросить перед самым закрытием, хочу посмотреть, как они отнесутся к безопасным лезвиям. Я прихватил с собой два гросса, купил по случаю на распродаже подпорченного пожарами товара.

Шейн тут как захохочет, так зашелся, чуть не упал, спасибо, этот его не то мамелюк, не то секретарь подхватить успел.

— Ах ты, чертополох тебя подери, — говорит, — можно подумать, ты только что на свет родился, а, У. Д.? Ты что, не знаешь, что индейцы не бреются? Они свою растительность по волоску выдирают.

— Подумаешь, — говорю, — и бритвы мои то же самое делают, так что они особой разницы и не заметили б.

Шейн ушел, и его хохот было бы слышно за квартал, будь в этой деревушке кварталы.

— Передай им, — говорю я Мак-Клинтоку, — мне деньги не нужны, передай им — я принимаю золотой песок. Передай, я дам по шестнадцать долларов за унцию песка, ясное дело, товарами. Я только за песком сюда и явился.

Мак переводит, и толпа кидается врассыпную, будто на них спустили отряд полиции. И двух минут не прошло, а уж всех дядькиных племянников и теткиных племянниц как ветром сдуло.

В тот же вечер в королевском дворце мы с королем потолковали по душам.

— У них наверняка припрятано золотишко, — говорю я, — а иначе, с чего б они пустились наутек?

— Ничего у них нет, — говорит Шейн. — И далось тебе это золото. Ты что, начитался Эдварда Аллана По? Нету у них никакого золота.

— Они его сыплют в перья, — говорю я, — из перьев в кувшины, а из кувшинов в мешки, в каждом мешке двадцать пять фунтов весу. Мне точно сказали.

— У. Д., — хохочет-заливается Шейн и жует сигару, — не часто мне случается видеть белого человека, так что я, пожалуй, введу тебя в курс дела. Сдается мне, тебе отсюда живьем не выбраться. Так что я тебе выложу все начистоту. Поди-ка сюда.

Он приподнимает занавес шелкового волокна, и я вижу в углу груды мешков оленьей кожи.

— Здесь сорок мешков, — говорит Шейн, — в каждом по арробе золотого песку, круглым числом двести двадцать тысяч долларов. И все это золото мое. Оно принадлежит Великому Акуле. Индейцы сдают весь золотой песок мне. Двести двадцать тысяч долларов, — говорит Шейн, — тебе небось такие деньги и во сне не снились, лоточник ты несчастный. И все они мои.

— И много тебе от них толку? — говорю я издевательски и злопыхательски. — Выходит, ты государственная казна для этой шайки нищих деньгопроизводителей. И даже процентов не платишь, так что никто из твоих вкладчиков не может купить себе хотя бы технический алмаз огастовского (штат Мэн) производства ценой в двести долларов за четыре доллара восемьдесят пять центов?

— Послушай, — говорит Шейн, и на лбу у него выступает испарина. — Я тебе открыл душу, потому что ты завоевал мое расположение. Тебе случалось держать золотой песок не в тройском весе, а в весе эвердьюпойс, самом что ни на есть весомом весе, который насчитывает не двенадцать, а целых шестнадцать фунтов?

— Никогда, — говорю. — Не имею такой скверной привычки.

Тут Шейн падает на колени и заключает мешки с золотом в объятия.

— Обожаю золото, — говорит он. — Я бы, — говорит, — круглые сутки его не выпускал из рук. Нет у меня в жизни большей радости. Стоит мне войти в эту комнату, и я король и богач разом. Через год я буду миллионером. Богатство мое растет с каждым днем. Все индейцы, как один, по моему приказу намывают песок в ущелье. Счастливее меня, У. Д., нет человека на свете. Я же хочу только, чтоб золото мое было у меня под боком, чтоб богатство мое росло с каждым днем, а больше я от жизни ничего не прошу Теперь, — говорит, — ты понимаешь, почему мои индейцы не покупают твои товары. Им не на что их покупать. Золотой песок они без остатка выдают мне. Я их король. Я обучил их ничего не желать и ни о чем не мечтать. Так что прикрывай-ка ты свою лавочку.

— Нет, теперь я тебе скажу, кто ты такой, — говорю я. — Ты самый что ни на есть бесстыжий жмот. Ты проповедуешь предложение и знать ничего не хочешь о спросе. А предложение, — продолжаю я, — оно и есть предложение. Только и всего. Ну а со спросом дело другое, это силлогизм и понятие выше классом. Спрос учитывает права наших жен и детей, благотворительность и дружбу и даже уличных попрошаек. И понятия эти должны друг друга уравнивать. И я тебя честно предупреждаю, мне есть еще чем тебя ошарашить по коммерческой линии, так что гляди в оба, как бы я не порушил твои косные мыслишки относительно политики и экономики.

Назавтра я с утра пораньше дал указание Мак-Клинтоку пригнать на площадь еще одну мулосилу с товарами. Народу опять набежало видимо-невидимо.

Я, ясное дело, достаю самые наилучшие ожерелья, браслеты, гребешки, сережки и велю дамам их примерить. Потом иду с козыря.

Вынимаю из последнего мешка полгросса ручных зеркал в прочных оловянных оправках и распределяю их между дамами. Так я познакомил племя пече с зеркалами.

Смотрю, по площади шествует Шейн.

— Ну, как торговля, не сыграла еще в ящик? — спрашивает он и утробно хохочет.

— Не только не сыграла в ящик, а как бы еще несколько ящичков товару выписать не пришлось, — говорю.

Тут по толпе прошел ропот. Женщины заглянули в магический кристалл, увидели, какие они красотки, и поделились этим открытием с мужчинами. Мужчины, ясное дело, давай ссылаться на нехватку денег и временные трудности перед выборами, но дамы и слушать ничего не хотели.

И тут настал мой час. Я прервал оживленный разговор Мак-Клинтока с мулами и наказал ему заняться переводом.

— Переведи им, — говорю, — что на золотой песок они могут купить эти украшения, достойные королей и королев земли. Передай им, что за желтый песок, который они намывают из ручья для Его Преподобия Акулея и Марципана вашего племени, можно приобрести все эти драгоценности и амулеты, которые их украсят, а также замаринуют и сохранят от злых духов. Передай им, что питтсбургские банки платят четыре процента по вкладам, деньги по желанию клиента высылаются почтой, а от этого богачей-не-зевай хранителя народного достояния — и спасибо не дожدهшься. И еще передай им, Мак, не ленись, повтори, да не раз, чтоб они не мешкая пустили песок в оборот. Говори с ними так, будто ты сроду терпеть не можешь Брайана.

Мак-Клинток благосклонно машет рукой одному из своих мулов и швыряет в толпу одну-другую верстатку петита.

Тогда какой-то гуттаперчевый индеец залезает вместе со своей дамой на большой камень, а вокруг шеи у нее в три ряда намотана моя облезлая бижутерия и бусы поддельного мрамора — и произносит речь: на слух смахивает, будто игральные кости в стакане трясут.

— Он говорить, — переводит Мак-Клинток, — людишки не понимать, что золотой песок ваши вещички покупать. Женщины беситься. Великий Акула говорить золотой песок он хранить злых духов отогнать.

— Злых духов от денег нипочем не отгонишь, — говорю я.

— Они говорить, — продолжает Мак-Клинток, — Акула их дурачить. Они много-много

ругаться.

— Ладно, ладно, — говорю. — Пусть гонят золотой песок или монету, и я отдам им весь товар. Песок взвешивается на ваших глазах и принимается по шестнадцати долларов за унцию, больше здесь, на хватимальском берегу, никто им не даст.

В этом месте индейцы вдруг кидаются врассыпную, а я не могу понять, какая муха их укусила. Мы с Маком пакуем ручные зеркала и ожерелья, что они покидали, и отводим мулов в тот корраль, который нам отвели под гараж.

Сначала в наш корраль доносится шум и гам, потом через площадь на всех парах мчится Патрик Шейн, одежда на нем изорвана в клочья, а лицо так исцарапано, будто очень живучая кошка дралась с ним за свою жизнь.

— Они грабят сокровищницу, У. Д.! — вопит он. — Они хотят убить меня и тебя в придачу. Живо приведи мулов в боевую готовность. Надо сматываться, нельзя терять ни минуты.

— Выходит, они раскусили, — говорю я, — что такое закон спроса и предложения.

— Это все женский пол виноват, — говорит король. — А ведь как они мной восторгались, бывало.

— Тогда они еще не знали зеркал, — говорю я.

— Они схватились за топоры, — говорит Шейн. — Поторапливайся.

— Бери себе чалого мула, — говорю я. — В печенках ты у меня сидишь со своим законом спроса и предложения. А себе я возьму мышастого, он порезвее будет, у него скорость на два узла больше. Чалый, он шпатит, но может статься, что тебе и на нем удастся удрать, — говорю. — Вот если б ты предусмотрел справедливость в своей политической платформе, я, может, дал бы тебе мышастого.

Взгромоздились мы на наших мулов и не успели пересечь сыромятный мост, как на другой стороне показались индейцы и ну бросать в нас камни и ножи. Но мы мигом обрубил ремни со своего краю и двинули к побережью.

Тут в заведение Финча вошел грузный верзила в полицейской форме и облокотился о витрину. Финч дружески кивнул ему.

— У Кейси говорили, — сказал полицейский сиплым рокочущим басом, — что Союз чистильщиков шляп в воскресенье устраивает пикник в Берген-Бич? Верно?

— Ага, — сказал Финч. — Гулянье будет первый сорт.

— Дай пять билетов, — сказал полицейский и швырнул на прилавок пять долларов.

— Ишь ты, — сказал Финч, — что-то ты больно...

— Иди ты знаешь куда, — сказал полицейский. — Тебе надо их продать, так ведь? А раз так, значит, кому-то надо их купить. Жаль, что я не смогу туда выбраться.

Меня обрадовало, что Финч пользуется таким авторитетом в своем квартале.

Нас прервала девчушка лет семи с грязной рожицей и чистыми глазами, одетая в перепачканное кургузое платье.

— Мамка велела, — затараторила она, — чтоб ты дал восемьдесят центов для бакалейщика, девятнадцать для молочника и пять центов мне на мороженое, только про мороженое она не говорила, — заключила девчушка, заискивающе, но правдиво улыбаясь.

Финч достал деньги, пересчитал их дважды, и я заметил, что девчушке был выдан доллар и четыре цента.

— Закон спроса и предложения, — заметил Финч, — справедливый закон, — и точно рассчитанным движением надорвал шов на ленте моей шляпы, сильно сократив тем самым срок ее службы. — Только друг без друга они существовать не могут. Я знаю, — продолжал он, уныло улыбаясь, — что она спустит эти деньги на жвачку — она ее страсть как любит. Но что случилось бы с предложением, спрашиваю я вас, если б на него не было спроса?

— А как сложилась дальнейшая судьба короля? — полюбопытствовал я.

— Совсем забыл сказать, — ответил Финч. — Этот вот, что сейчас билеты у меня купил, он самый Шейн и есть. Он вместе со мной сюда вернулся и подался в полицейские.

## Клад

Дураки бывают разные. Нет, попрошу не вставать с места, пока вас не вызвали.

Я бывал дураком всех разновидностей, кроме одной. Я расстроил свои дела патримониальные, подстроил матримониальные, играл в покер, в теннис и на скачках — избавлялся от денег всеми известными способами. Но одну из ролей, для которых требуется колпак с бубенчиками, я не играл никогда: я никогда не был Искателем Клада. Мало кого охватывает это сладостное безумие. А между тем из всех, кто идет по следам копыт царя Мидаса, именно кладоискателям выпадает на долю больше всего приятных надежд.

Должен признаться, — я отклоняюсь от темы, как всегда бывает с горе-писателями, — что я был дураком сентиментального оттенка. Я увидел Мэй Марту Мангэм — и пал к ее ногам. Ей было восемнадцать лет; кожа у нее была цвета белых клавишей у новенького рояля; она была прекрасна и обладала чарующей серьезностью и трогательным обаянием ангела, обреченного прожить свою жизнь в скучном городишке в сердце техасских прерий. В ней был огонь, в ней была прелесть — она смело могла бы срывать, точно малину, бесценные рубины с короны короля бельгийского или другого столь же легкомысленного венценосца; но она этого не знала, а я предпочитал не рисовать ей подобных картин.

Дело в том, что я хотел получить Мэй Марту Мангэм в полную собственность. Я хотел, чтобы она жила под моим кровом и прятала каждый день мою трубку и туфли в такие места, где их вечером никак не найдешь.

Отец Мэй Марты Мангэм скрывал свое лицо под густой бородой и очками. Этот человек жил исключительно ради жуков, бабочек и всяких насекомых — летающих, ползающих, жужжащих или забирающихся вам за шиворот и в масленку. Он был этимолог или что-то в этом роде. Все время он проводил в том, что ловил летучих рыбок из семейства июньских жуков, а затем втыкал в них булавки и называл их по-всякому.

Он и Мэй Марта составляли всю семью. Он высоко ценил ее как отличный экземпляр *homo sapiens*; она заботилась о том, чтобы он хоть изредка ел, и не надевал жилета задом наперед, и чтобы в его склянках всегда был спирт. Люди науки, говорят, отличаются рассеянностью.

Был еще один человек, кроме меня, который считал Мэй Марту привлекательным существом. Это был некий Гудло Банкс, юноша, только что окончивший колледж. Он знал все, что есть в книгах, — латынь, греческий, философию и в особенности высшую математику и самую высшую логику.

Если бы не его привычка засыпать своими познаниями и ученостью любого собеседника, он бы мне очень нравился. Но даже и так вы решили бы, что мы с ним друзья.

Мы бывали вместе, когда только могли: каждому из нас хотелось выведать у другого, что, по его наблюдениям, показывает флюгер относительно того, в какую сторону дует ветер от сердца Мэй Марты... метафора довольно тяжеловесная. Гудло Банкс нипочем не написал бы такой штуки. На то он и был моим соперником.

Гудло отличался по части книг, манер, культуры, гребли, интеллекта и костюмов. Мои же духовные запросы ограничивались бейсболом и диспутами в местном клубе; впрочем, я еще хорошо ездил верхом.

Но ни во время наших бесед вдвоем, ни во время наших посещений Мэй Марты или разговоров с ней мы не могли догадаться, кого же из нас она предпочитает. Видно, у Мэй Марты было природное, с колыбели, уменье не выдавать себя.

Как я уже говорил, старик Мангэм отличался рассеянностью. Лишь через долгое время он открыл, — верно, какая-нибудь бабочка ему насплетничала, — что двое молодых людей пытаются накрыть сеткой молодую особу — кажется, его дочь, в общем-то техническое усовершенствование, которое заботится о его удобствах.

Я никогда не вообразил, что человек науки может оказаться при подобных

обстоятельствах на высоте. Старик Мангэм без труда устно определил нас с Гудло и наклеил на нас этикетку, из которой явствовало, что мы принадлежим к самому низшему отряду позвоночных; и притом еще он проделал это по-английски, не прибегая к более сложной латыни, чем *Orgetorix, Rex Helvetii* — дальше этого я и сам не дошел в школе. Он еще добавил, что если когда-нибудь поймают нас вблизи своего дома, то присоединит нас к своей коллекции.

Мы с Гудло Банксом не показывались пять дней, в ожидании, что буря к тому времени утихнет. Когда же мы, наконец, решились зайти, то оказалось, что Мэй Марта и отец ее уехали. Уехали! Дом, который они снимали, был заперт. Вся их несложная обстановка, все вещи их также исчезли.

И ни словечка на прощание от Мэй Марты! На ветвях боярышника не виднелось белой записочки; на столбе калитки ничего не было начертано мелом; на почте не оказалось открытки — ничего, что могло бы дать ключ к разгадке.

Два месяца Гудло Банкс и я — порознь — всячески пробовали найти беглецов. Мы использовали нашу дружбу с кассиром на станции, со всеми, кто отпускал напрокат лошадей и экипажи, с кондукторами на железной дороге, с нашим единственным полицейским, мы пустили в ход все наше влияние на них — и все напрасно.

После этого мы стали еще более близкими друзьями и заклятыми врагами, чем раньше. Каждый вечер, окончив работу, мы сходились в задней комнате в трактире у Снайдера, играли в домино и подстраивали один другому ловушки, чтобы выведать, не узнал ли чего-нибудь кто-либо из нас. На то мы и были соперниками.

У Гудло Банкса была какая-то ироническая манера выставлять напоказ свою ученость, а меня засаживать в класс, где учат «Дженни плачет, бедняжка, умерла ее пташка». Ну, Гудло мне скорее нравился, а его высшее образование я ни во что не ставил; вдобавок я всегда считался человеком добродушным, и потому я сдерживался. Кроме того, я ведь хотел выведать, не известно ли ему что-нибудь про Мэй Марту, и ради этого терпел его общество.

Как-то раз, когда мы с ним обсуждали положение, он мне говорит:

— Даже если бы вы и нашли ее, Джим, какая вам от этого польза? Мисс Мангэм умная девушка. Быть может, ум ее не получил еще надлежащего развития, но ей предназначен более высокий удел, чем та жизнь, которую вы можете дать ей. Никогда еще мне не случалось беседовать ни с кем, кто лучше ее умел бы оценить прелесть древних поэтов и писателей и современных литературных течений, которые впитали их жизненную философию и распространили ее. Не кажется ли вам, что вы только теряете время, стараясь отыскать ее?

— А я представляю себе домашний очаг, — сказал я, — в виде дома в восемь комнат, в дубовой роще, у пруда, среди техасских прерий. В гостиной, — продолжал я, — будет рояль с пианолой, в загородке — для начала — три тысячи голов скота; запряженный тарантас всегда наготове для «хозяйки». А Мэй Марта тратит по своему усмотрению весь доход с ранчо и каждый день убирает мою трубку и туфли в такие места, где мне их никак нельзя будет найти вечером. Вот как оно будет. А на все ваши познания, течения и философию мне очень даже наплевать.

— Ей предназначен более высокий удел, — повторил Гудло Банкс.

— Что бы ей там ни было предназначено, — ответил я, — дело сейчас в том, что она была, да вся вышла. Но я собираюсь вскорости отыскать ее, и притом без помощи греческих философов и американских университетов.

— Игра закрыта, — сказал Гудло, выкладывая на стол костяшку домино. И мы стали пить пиво.

Вскоре после этого в город приехал один мой знакомый, молодой фермер, и принес мне сложенный вчетверо лист синей бумаги. Он рассказал мне, что только что умер его дед. Я проглотил слезы, и он продолжал. Оказывается, старик ревниво берег эту бумажку в течение двадцати лет. Он завещал ее своим родным в числе прочего своего имущества, состоявшего из двух мулов и гипотенузы не пригодной для обработки земли.

Бумага была старая, синяя, такую употребляли во время восстания аболиционистов против сецессионистов. На ней стояло число: 14 июня 1863 года, и в ней описывалось место,



где был спрятан клад: десять вьюков золотых и серебряных монет ценностью в триста тысяч долларов. Старик Рэндлу — деду своего внука Сэма — эти сведения сообщил некий священник-испанец, который присутствовал при сокрытии клада и который умер за много лет... то есть, конечно, спустя много лет, в доме у старика Рэндла. Старик все записал под его диктовку.

— Отчего же ваш отец не занялся этим кладом? — спросил я молодого Рэндла.

— Он не успел и ослеп, — ответил тот.

— А почему вы сами до сих пор не отправились его искать?

— Да видите ли, я про эту бумажку всего десять лет, как узнал. А мне нужно было то пахать, то лес рубить, то корм скотине запасать; а потом, глядишь, и зима наступила. И так из года в год.

Все это показалось мне правдоподобным, и потому я сразу же вошел с Рэндлом в соглашение.

Инструкции в записке не отличались сложностью. Караван, нагруженный сокровищами, вышел в путь из старинного испанского миссионерского поселка в округе Долорес. Он направился по компасу прямо на юг и продвигался вперед, пока не дошел до реки Аламито. Перейдя ее вброд, владельцы сокровищ зарыли их на вершине небольшой горы, формой напоминавшей вьючное седло и расположенной между двумя другими, более высокими вершинами. Место, где был зарыт клад, отметили кучей камней. Все присутствовавшие при этом деле, за исключением священника, были убиты индейцами несколько дней спустя. Тайна являлась монополией. Это мне понравилось.

Рэндл выразил мнение, что нам нужно приобрести все принадлежности для жизни на открытом воздухе, нанять землемера, который прочертил бы нам правильную линию от бывшей испанской миссии, а затем прокутить все триста тысяч долларов в Форт-Уэрте. Но я, хотя и не был уж так образован, однако знал способ, как сократить и время и расходы.

Мы отправились в Земельное управление штата и заказали так называемый «рабочий» план со съемками всех участков от старой миссии до реки Аламито. На этом плане я провел линию прямо на юг, до реки. Длина границ каждого участка была точно указана. Это помогло нам найти нужную точку на реке, и нам ее «связали» с четко обозначенным углом большого уголья Лос-Анимос — дарованного еще королем Филиппом Испанским — на пятимильной карте.

Таким образом, нам не пришлось обращаться к услугам землемера, что сэкономило нам много времени и денег.

И вот мы с Рэндлом достали фургон и пару лошадей, погрузили в него все необходимое и, проехав сто сорок девять миль, остановились в Чико — ближайшем городе от того места, куда мы направлялись. Там мы захватили с собой помощника местного землемера. Он отыскал нам угол уголья Лос-Анимос, отмерил пять тысяч семьсот двадцать варас на запад, согласно нашему плану, положил на этом месте камень, закусил с нами кофе и копченой грудинкой и сел на обратный дилижанс в Чико.

Я был почти уверен, что мы найдем эти триста тысяч долларов. Рэндл должен был получить только третью часть, так как все расходы взял на себя я. А я знал, что с этими-то двумястами тысяч долларов я сумею хоть из-под земли вырыть Мэй Марту Мангэм. Да, с такими деньгами у меня запорхают все бабочки на голубятне у старика Мангэма. Только бы мне найти этот клад!

Мы с Рэндлом расположились лагерем у реки. По ту сторону ее виднелся десяток невысоких гор, густо заросших кедровником, но ни одна из них не имела формы вьючного седла. Это нас не смутило. Внешность часто бывает обманчива. Может быть, седло, как и красота, существует лишь в воображении того, кто на него смотрит.

Мы с внуком клада осмотрели эти покрытые кедровником холмы с такой тщательностью, с какой дама ищет у себя блоху. Мы обследовали каждый склон, каждую вершину, окружность, впадину, всякий пригорок, угол, уступ на каждом из них на протяжении двух миль вверх и вниз по реке. На это у нас ушло четыре дня. После этого мы запрягли

гнедого и саврасого и повезли остатки кофе и копченой грудинки обратно за сто сорок девять миль — домой, в Кончо-Сити.

На обратном пути Рэндл не переставая жевал табак. Я же все время погонял лошадей: я очень спешил.

В один из ближайших дней после нашего возвращения из безрезультатной поездки мы с Гудло опять сошлись в задней комнате у Снайдера, засели за домино и начали выуживать друг у друга новости. Я рассказал Гудло про свою экспедицию за кладом.

— Если бы мне только удалось найти эти триста тысяч долларов, — сказал я ему, — я уж обыскал бы весь свет и открыл бы, где находится Мэй Марта Мангэм.

— Ей предназначен более высокий удел, — сказал Гудло. — Я сам отыщу ее. Но расскажите, как это вы искали место, где кто-то так неосторожно закопал столько доходов.

Я рассказал ему все до мельчайших подробностей. Я показал ему план, на котором ясно были отмечены расстояния.

Он всмотрелся в него взглядом знатока и вдруг откинулся на спинку стула и разразился по моему адресу ироническим, покровительственным, высокообразованным хохотом.

— Ну и дурак же вы, Джим, — сказал он наконец, когда к нему вернулся дар речи.

— Ваш ход, — терпеливо сказал я, сжимая в руке двойную шестерку.

— Двадцать, — сказал Гудло и начертил мелом два крестика на столе.

— Почему же я дурак? — спросил я. — Мало ли где находили зарытые клады.

— Потому что, — сказал он, — когда вы вычисляли точку, где ваша линия должна пересечь реку, вы не приняли в расчет отклонения стрелки. А это отклонение должно равняться приблизительно девяти градусам к западу. Дайте-ка мне карандаш.

Гудло Банкс быстро подсчитал что-то на старом конверте.

— Расстояние с севера на юг, от испанской миссии до реки Аламито, — двадцать две мили. По вашим словам, эта линия была проведена с помощью карманного компаса. Если принять во внимание отклонение, то окажется, что пункт на реке Аламито, откуда вам следовало начать поиски, находится ровно на шесть миль и девятьсот сорок пять варас к западу от того места, где вы остановились. Ох и дурак же вы, Джим!

— Про какое это отклонение вы говорите? — сказал я. — Я думал, что числа никогда не врут.

— Отклонение магнитной стрелки, — сказал Гудло, — от истинного меридиана.

Он улыбнулся с выражением превосходства, которое так меня бесило, а затем я вдруг увидел у него на лице ту странную, горячую, всепоглощающую жадность, что охватывает искателей кладов.

— Иногда, — проговорил он тоном оракула, — эти старинные легенды о зарытых сокровищах не лишены основания. Не дадите ли вы мне просмотреть эту бумажку, в которой описано местонахождение вашего клада? Может быть, мы вместе...

В результате мы с Гудло Банксом, оставаясь соперниками в любви, стали товарищами по этому предприятию. Мы отправились в Чико на дилижансе из Хантерсберга, ближайшей к нему железнодорожной станции. В Чико мы наняли пару лошадей и крытый фургон на рессорах; достали и все принадлежности для лагерной жизни. Тот же самый землемер отмерил нам нужное расстояние, но уже с поправкой на Гудло и его отклонение.

После этого мы распростились с землемером и отправили его домой.

Когда мы приехали, была уже ночь. Я накормил лошадей, разложил костер на берегу реки и сварил ужин. Гудло готов был мне помочь, да его воспитание не подготовило его к таким чисто практическим занятиям.

Впрочем, пока я работал, он развлекал меня изложением великих мыслей, завещанных нам древними мудрецами. Он приводил длинейшие цитаты из греческих писателей.

— Анакреон, — объяснил он. — Это было одно из любимых мест мисс Мангэм, когда я декламировал его.

— Ей предназначен более высокий удел, — сказал я, повторяя его фразу.

— Что может быть выше, — сказал Гудло, — чем жизнь в обществе классиков, в

атмосфере учености и культуры? Вы часто издевались над образованностью. А сколько усилий пропало у вас даром из-за незнания элементарной математики! Когда бы вы еще нашли свой клад, если бы мои знания не осветили вам вашей ошибки?

— Сначала посмотрим, что нам скажут горки на том берегу, — отвечал я. — Я все-таки еще не вполне уверовал в ваши отклонения. Меня с детства приучили к мысли, что стрелка смотрит прямо на полюс.

Июньское утро выдалось ясное. Мы встали рано и позавтракали. Гудло был в восторге. Пока я поджаривал грудинку, он декламировал что-то из Китса и Келли, кажется, или Шелли. Мы собирались переправиться через реку, которая здесь была лишь мелким ручейком, чтобы осмотреть многочисленные заросшие кедром холмы с острыми вершинами на противоположном берегу.

— Любезный мой Улисс, — сказал Гудло, подходя ко мне, пока я мыл оловянные тарелки, и хлопая меня по плечу, — дайте-ка мне еще раз взглянуть на волшебный свиток. Если я не ошибаюсь, там есть указания, как добраться до вершины того холма, который напоминает формой вьючное седло. На что оно похоже, Джим? Я никогда не видал вьючного седла.

— Вот вам и ваше образование, — сказал я. — Я-то узнаю его, когда увижу.

Гудло стал рассматривать документ, оставленный стариком Рэндлом, и вдруг у него вырвалось отнюдь не университетское ругательное словцо.

— Подойдите сюда, — сказал он, держа бумагу на свет. — Смотрите, — добавил он, ткнув в нее пальцем.

На синей бумаге, — до тех пор я этого не замечал, — выступили белые буквы и цифры: «Молверн, 1898».

— Ну, так что же? — спросил я.

— Это водяной знак, — сказал Гудло. — Бумага эта была сделана в тысяча восемьсот девяносто восьмом году. На документе же стоит тысяча восемьсот шестьдесят третий год. Это несомненная подделка.

— Ну, не думаю, — сказал я. — Рэндлы — люди простые, необразованные, деревенские, на них можно положиться. Может быть, это бумажный фабрикант подстроил какое-нибудь жульничество.

Тут Гудло Банкс вышел из себя — насколько, разумеется, ему позволяла его образованность. Пенсне его слетело с носа, и он яростно воззрился на меня.

— Я вам часто говорил, что вы дурак, — сказал он. — Вы дали себя обмануть какой-то грубой скотине. И меня в обман ввели.

— Каким же это образом я ввел вас в обман?

— Своим невежеством, — сказал он. — Я два раза отметил в ваших планах грубые ошибки, которых вы, несомненно, избегли бы, поучись вы хоть в средней школе. К тому же, — продолжал он, — я понес из-за этого мошеннического предприятия расходы, которые мне не по карману. Но теперь я с ним покончил.

Я выпрямился и ткнул в него большой разливательной ложкой, только что вынутой из грязной воды.

— Гудло Банкс, — сказал я, — мне на ваше образование в высокой степени наплевать. Я и в других-то его еле выношу, а вашу ученость прямо презираю. Что она вам дала? Для вас это — проклятие, а на всех ваших знакомых она только тоску нагоняет. Прочь, — сказал я, — убирайтесь вы вон со всеми вашими водяными знаками да отклонениями. Мне от них ни холодно, ни жарко. Я от своего намерения все равно не отступлюсь.

Я указал ложкой за реку, на холм, имевший форму вьючного седла.

— Я осмотрю эту горку, — продолжал я, — поищу, нет ли там клада. Решайте сейчас, пойдете вы со мной или нет. Если вас может обескуражить какое-то отклонение или водяной знак, вы не настоящий искатель приключений. Решайте.

Вдали, на дороге, тянувшейся по берегу реки, показалось белое облако пыли. Это шел почтовый фургон из Гесперуса в Чико. Гудло замахал платком.

— Я бросаю это мошенническое дело, — кислым тоном сказал он. — Теперь только дурак может обращать внимание на эту бумажку. Впрочем, вы, Джим, всегда и были дураком. Предоставляю вас вашей судьбе.

Он собрал свои пожитки, влез в фургон, нервным жестом поправил пенсне и исчез в облаке пыли.

Вымыв посуду и привязав лошадей на новом месте, я переправился через обмелевшую реку и начал медленно пробираться сквозь кедровые заросли на вершину горы, имевшей форму вьючного седла.

Стоял роскошный июньский день. Никогда еще я не видал такого количества птиц, такого множества бабочек, стрекоз, кузнечиков и всяких крылатых и жалящих тварей.

Я обследовал гору, имевшую форму вьючного седла, от вершины до подошвы. На ней оказалось полное отсутствие каких-либо признаков клада. Не было ни кучи камней, ни давнишней зарубки на дереве, — ничего, что указывало бы на местонахождение трехсот тысяч долларов, о которых упоминалось в документе старика Рэндла.

Под вечер, когда спала жара, я спустился с холма. И вдруг, выйдя из кедровой рощи, я очутился в прелестной зеленой долине, по которой струилась небольшая речка, приток Аламито.

С глубоким изумлением я увидел здесь человека. Я его сначала принял за какого-то дикаря. У него была всклокоченная борода и лохматые волосы, и он гнался за гигантской бабочкой с блестящими крыльями.

«Может быть, это сумасшедший, сбежавший из желтого дома», — подумал я. Меня только удивляло, что он забрел сюда, так далеко от всяких центров науки и цивилизации.

Потом я сделал еще несколько шагов и увидел на берегу речки весь заросший виноградом домик. А на полянке с зеленой травой я увидел Мэй Марту Мангэм; она рвала полевые цветы.

Она выпрямилась и взглянула на меня. В первый раз, с тех пор как я познакомился с ней, я увидел, как порозовело ее лицо цвета белых клавиш у новенького рояля. Я молча направился к ней. Собранные ею цветы тихо посыпались у нее из рук на траву.

— Я знала, что вы придете, Джим, — звонким голосом проговорила она. — Отец не позволял мне писать, но я знала, что вы придете.

Что произошло потом, — это я предоставляю вам угадать; ведь там, на другом берегу реки, стоял мой фургон с парой лошадей.

Я часто задумывался над тем, какая польза человеку от чрезмерной образованности, если он не может употребить ее для собственной пользы. Если от нее выигрывают только другие, то какой же в ней смысл?

Ибо Мэй Марта Мангэм живет под моим кровом. Посреди дубовой рощи стоит дом из восьми комнат; есть и рояль с пианолой, а в загородке имеется некоторое количество телок, которое со временем вырастет в стадо из трех тысяч голов.

А когда я вечером приезжаю домой, то оказывается, что моя трубка и туфли так засунуты куда-то, что нет никакой возможности их отыскать.

Но разве это так уж важно?

## Он долго ждал

Отшельник с берегов Гудзона с необычным оживлением метался по своей пещере.

Пещера находилась на вершине или, вернее, в вершине невысокой скалы Катскилле. Казалось, эта скала сбежала к самому берегу реки, но, не имея билета на перевоз, так и осталась здесь. Живописные горы густо поросли лесом и буквально кишели неистовыми белками и дятлами, упорно пугавшими всех летних путников. Между зеленой оторочкой холма и пенным

кружевом реки, как небрежно пристроченный белый шнурок, проходила шоссе́нная дорога. Незаметная тропинка ответвлялась от шоссе и вилась на вершину скалы к пещере отшельника. Вверх по течению в одной миле отсюда стояла гостиница «Кругозор», сюда на лето съезжались дачники; покинув свои прохладные, овеваемые электрическими вентиляторами апартаменты, они совершали путь по самому солнцепеку в трещащих моторных лодках.

Но наведите ваш бинокль на отшельника; рассмотрев его внимательными глазами, разве можно не почувствовать к нему симпатии?

Ему на вид лет сорок, у него длинные вьющиеся волосы, выразительные печальные глаза и темная раздвоенная борода; такие носили самозванные «чудесные исцелители», несколько лет назад собиравшие обильную жатву с доверчивых жителей Запада. Его одеяние было сшито из грубой джутовой мешковины, но было так хорошо скроено, что фасон сделал бы карьеру любому лондонскому портному. Его длинные холеные пальцы, его прекрасно очерченный нос и спокойные манеры резко отличали его от классических отшельников, которые питают отвращение к воде и закапывают деньги в глубине своих пещер, отмечая место клада грубыми знаками, высеченными на каменных стенах.

Собственно говоря, отшельник жил вовсе не в пещере. Пещера, скорее, служила придатком к его жилищу — хижине из грубых, обмазанных снаружи глиной бревен, но тем не менее покрытой прекрасной крышей из самого лучшего оцинкованного железа.

В самой хижине были каменные скамьи и неуклюжий книжный шкаф из неструганных досок, столом служила доска, положенная на две гранитных тумбы, — все жилище смахивало не то на храм друидов, не то на кабачок в подвале где-нибудь на Бродвее. Стены были увешаны шкурами диких зверей, купленными где-то в окрестностях Университетской площади в Нью-Йорке.

Задняя половина хижины сливалась с пещерой. Здесь на грубом каменном очаге отшельник готовил себе пищу. Вооруженный старым топором и безграничным терпением, он выбил ниши в каменных стенах пещеры. В них он хранил свои запасы муки, грудинки, сала, талька, керосина, дрожжей в порошке, соды, перца, соли и пальмовой эмульсии для смягчения кожи.

Отшельник отшельничал уже десять лет. Он составлял определенную статью дохода гостиницы «Кругозор»: для ее посетителей, после замечательного эхо у Хонтед-Глин, он был самой интересной достопримечательностью. Его известность распространялась далеко (но в силу топографических условий не особенно широко); его считали ученым с блестящими способностями, ушедшим от мира, после того как одна женщина отвергла его любовь. Каждую субботу из гостиницы «Кругозор» ему тайно доставлялась корзина с провизией. Он сам никогда не выходил за пределы ближайших окрестностей своего убежища. Навещавшие его посетители гостиницы рассказывали, что его познания, его остроумие, его блистательная философия были просто изумительны. В этом году дела гостиницы «Кругозор» шли бойко, поэтому в субботних корзинах у отшельника оказывались дополнительные банки консервов, а ростбиф был самого высшего качества.

Теперь, раз вы имеете представление о материальной стороне дела, перейдем к романтической...

Отшельник, очевидно, кого-то ждал. Он тщательно расчесывал свои длинные волосы и апостольскую бороду. И едва только девяностопятицентовый будильник возвестил с каменной полки о наступлении пяти часов, отшельник подобрал полы своего грубого одеяния, тщательно почистился щеткой, взял дубовый посох и медленно пошел в глубь густого леса, со всех сторон окружавшего его убежище.

Он ждал недолго. По чуть заметной тропинке, скользкой от покрывавшего ее хвойного ковра, с трудом поднималась Битрикс, самая юная и самая прекрасная из знаменитых сестер Тренхолм. Все на ней: от шляпки до легких парусиновых туфелек, переливалось различными оттенками синего цвета: от легкой синевы полевого колокольчика, чуть заметного при первом луче весеннего солнца, до глубоких синих теней летнего вечера, которых не удастся передать ни одному художнику.

Битрикс воткнула конец своего небесно-голубого зонтика глубоко в хвойный ковер и вздохнула, отшельник спокойно сбросил колючку с одной обутой в сандалию ноги большим пальцем другой. Битрикс взглянула на него своими кобальтовыми глазами, — он почти окаменел.

— Как чудесно, — произнесла она тихим прерывающимся голосом, — быть отшельником и встречать женщин, карабкающихся на скалы только для того, чтобы поговорить с вами.

Отшельник скрестил руки и прислонился к дереву. Битрикс со вздохом опустилась на хвойный ковер, она напоминала теперь синичку, сидящую на своем гнезде. Отшельник смиренно последовал ее примеру, неуклюже спрятав ноги под свою грубую хламиду.

— Как чудесно быть горой, — произнес он с тяжеловесной легкостью, — и чувствовать на себе голубого ангела, который на сей раз не летит по воздуху.

— У мамы невралгия, — сказала Битрикс, — она легла, а то бы я не смогла прийти. Ужасно душно в этой отвратительной старой гостинице. Но у нас нет денег ехать куда-нибудь в другое место.

— Вчера поздно вечером, — сказал отшельник, — я взобрался на вершину вот этой высокой скалы, что прямо над нами. Оттуда мне были видны огни гостиницы, а ветер иногда доносил до меня звуки музыки. Я представил себе, что среди аромата цветов вы, опираясь на чью-нибудь руку, грациозно танцуете под звуки волшебного вальса. Подумайте, как остро ощущал я свое одиночество!

Самая юная, самая прелестная и самая бедная из знаменитых сестер Тренхолм вздохнула.

— Вы отчасти угадали, — печально произнесла она, — я грациозно опиралась на чьи-то руки! У мамы случился очередной приступ ревматизма в обеих руках, и я должна была целый час растирать их каким-то ужасным снадобьем. Надеюсь, вам бы не показалось, что оно благоухает, как цветы. Видите, на последнем танцевальном вечере было несколько джентльменов с Запада, а из города пришла яхта с молодыми людьми. Я отлично знаю, что мама может просидеть целых три часа у открытого окна, причем одна половина ее тела будет испытывать жару в восемьдесят пять градусов, а другая чуть ли не мороз, — мама при этом даже и не чихнет! Но стоит только молодым людям, которых она считает неподходящими, подойти ко мне, она сейчас же начинает пухнуть и вскрикивать от боли. И вот я должна отводить ее в комнату и растирать ей руки. Стоит только представить себе, как я ее бинтую, так только изумляешься, сколько квадратных дюймов помещается на поверхности ее рук. Я думаю, как чудесно быть отшельником! Это сутана или габардин? Вы ее сами сшили? Но уж переделывали, конечно, вы. А какое изумительное счастье носить сандалиии вместо туфель! Подумайте, как мы должны мучиться, какие узкие туфли я покупаю и как жмут они мне пальцы. О, почему не бывает женщин-отшельниц!

Самая прелестная и самая юная из сестер Тренхолм вытянула стройные голубые ножки, оканчивающиеся двумя громадными шелковыми голубыми бантами, почти скрывающими изящные туфельки одного из сорока семи оттенков синего цвета. Отшельник инстинктивно спрятал еще глубже под грубое одеяние свои босые ноги.

— Я слышала о романе вашей жизни, — сказала мисс Тренхолм нежно. — Он напечатан на карточке меню в гостинице. Верно, она была такой очаровательной, такой прелестной.

— На карточке меню?! — пробормотал отшельник. — Но что мне до людских сплетен. Да, она была возвышенной и обаятельной. Тогда, — продолжал он, — тогда я думал, что мир не может вместить другой, равной ей. И вот я покинул мир и поселился здесь в горах, чтобы провести остаток дней в одиночестве, чтобы посвятить остающиеся мне годы только воспоминаниям о ней.

— Как это грандиозно! — воскликнула мисс Тренхолм. — Как изумительно грандиозно! Я думаю, что жизнь отшельника — это идеальная жизнь. Никаких кредиторов, никаких переодеваний к обеду, — как мне хочется стать отшельницей. Нет, на мою долю никогда не выпадет такого счастья. Если я не выйду замуж в этом сезоне, то я вполне уверена, что мама заставит меня чем-нибудь заняться, делать шляпы, что ли! И не потому, что я уже состарилась

или стала безобразной, а просто потому, что у нас нет больше денег для этих фешенебельных мест. Но я не хочу выходить замуж, не хочу, пока не полюблю кого-нибудь! Вот поэтому я и хочу стать отшельницей. Ведь отшельники никогда не вступают в брак, правда?

— Вступают, сотнями вступают, — ответил отшельник, — если находят свой идеал!

— Но ведь они потому и отшельничают, — сказала самая юная и самая прекрасная, — что лишились своего идеала, разве не правда?

— Потому что они думают, что потеряли, — фатовски ответил отшельник. — Мудрость приходит к живущему в горной пещере так же, как к живущему в «шикарном» мире, — так, кажется, его называют на жаргоне.

— Если кто-нибудь из этого мира приносит ее к ним, — сказала мисс Тренхолм. — Да, меня окружают люди шикарного света. В этом-то и беда. Летом на взморье столько шикарных, что на нас обращают не больше внимания, чем на зыбь на воде. Вы знаете, нас в семье было четверо. А вот осталась одна я. Остальные все вышли замуж. И все ради денег. Мама так гордится моими сестрами. А они каждый раз на Рождество присылают ей изящные перочистки и иллюстрированные календари. Теперь на рынке осталась я одна! И вот мне даже запрещают смотреть на людей, если у них нет денег.

— Но... — начал отшельник.

— Но, конечно, — перебила самая прелестная, — конечно, все отшельники держат золото и дублионы в больших кубышках, закопанных где-нибудь у трех высоких дубов. Не правда ли?

— Я ничего не закапывал, — с глубоким сожалением произнес отшельник.

— Какая жалость! — отозвалась мисс Тренхолм. — Я всегда думала, что все отшельники обязательно закапывают деньги. Но, мне кажется, пора идти!

О! вне всякого сомнения, она была самой прелестной!

— Прелестная леди... — начал отшельник.

— Я Битрикс Тренхолм, многие зовут меня просто Трикс, — сказала она. — Вы должны зайти ко мне в гостиницу.

— Вот уже десять лет, как я не отходил от своей пещеры дальше, чем на расстояние брошенного камня, — сказал отшельник.

— Но вы должны навестить меня, — повторила она — Вечером, когда хотите, но только не в четверг!

Отшельник чуть заметно улыбнулся.

— До свиданья, — сказала она, поправляя свою светло-голубую юбку — Я буду ждать вас, но помните: только не в четверг!

Во сколько раз интереснее стали бы карточки меню в гостинице «Кругозор», если бы на них были добавлены такие строки: «Больше чем за десять лет жизни в полном одиночестве отшельник один-единственный раз покинул свою знаменитую пещеру. Он появился в гостинице, привлеченный неотразимым очарованием мисс Битрикс Тренхолм, самой юной и самой прелестной из всех сестер, принадлежавших к известному семейству Тренхолм. Ее блестящая свадьба с...»

— Да, — но с кем?!

Отшельник направился к своему убежищу. В дверях стоял Боб Бинкли, старый друг и сотоварищ тех далеких дней, когда он еще и не собирался покидать мир. Как орхидея в теплице, Боб сверкал в своем разноцветном наряде, — Боб миллионер, с крупным, толстым хитрым лицом, с бриллиантовыми кольцами, с шикарной цепочкой, с безукоризненно разглаженной грудью сорочки. Он был двумя годами старше отшельника, а казался моложе лет на пять.

— Несмотря на эту бороду и на парадный купальный халат, вы, безусловно, Хэмп Эллиом! — воскликнул он. — Я прочел о вас на карточке меню. Вашу биографию можно найти между сыром и предупреждением, что «за несданные пальто и зонты гостиница не отвечает». Для чего вы все это делаете, Хэмп? Целых десять лет. Но, черт возьми, эта борода!

— Вы все такой же, — сказал отшельник. — Заходите, садитесь вот сюда, на известковую

плиту, она чуть помягче гранита.

— Ничего не могу понять, старина, — сказал Бинкли. — Я бы понял, если бы вы отказались от женщины ради десяти лет жизни, но от десяти лет ради женщины? Я знаю, конечно, что вас толкнуло. Это теперь все знают. Эдит Карр. Но она ведь натянула нос четверым или пятерым, кроме вас. Однако только вы единственный забрались в такую дыру. Другие обратились к виски, к Клондайку, к политике, этому *similia similibus*<sup>34</sup> средству. Сказать по правде, Хемп, Эдит Карр действительно была самой обаятельной женщиной на свете — благородная, гордая, надменная, она играла идеалами и всегда выигрывала. Она была, конечно, самой выдающейся женщиной.

— После того как я ушел от мира, — произнес отшельник, — я о ней ничего не слышал!

— Она вышла замуж за меня, — сказал Бинкли.

Отшельник прислонился к деревянной стене своей хижины и зашевелил пальцами ноги.

— Я знаю, что вы думаете об этом, — сказал Бинкли. — Но что же ей было делать? Ведь в семье было четыре сестры, да еще мать и этот старик Карр, — помните, как он вложил все деньги в эти дирижабли? Можно сказать, все полетело вниз и ничего не взлетело вверх. Я знаю Эдит так же, как и вы, хотя я и женился на ней. У меня тогда был миллион, но с тех пор я увеличил его до пяти-шести. Она ведь не за меня выходила... Ну, одним словом, у нее на руках была вся эта куча, нужно было о них подумать. Она вышла за меня через два месяца после того, как вы закопались в землю. Мне казалось, что я нравился ей тогда!

— А теперь? — спросил отшельник.

— Теперь мы друзья больше, чем когда-либо. Она взяла развод два года тому назад. Что же делать, я, конечно, не возражал. Да, да, Хемп, действительно забавное убежище вы себе здесь соорудили. Вы ведь всегда были мастером на выдумки. Кажется, вы-то и были единственным, поразившим сердце Эдит. Да, так, может быть, и было, но банкноты больше значат, мой мальчик, и ваши пещеры и бакенбарды теперь не помогут. Честное слово, Хемп, подумайте сами, разве вы не были непроходимым дураком?

Отшельник улыбнулся в свою спутанную бороду, — он всегда считал себя настолько выше этого грубого расчетливого Бинкли, что никогда не обижался на его ругательства. А теперь, теперь его занятия, его размышления в одиночестве высоко вознесли его над мелкой суетой мира. Этот небольшой горный кряж был для него почти Олимпом, с вершины которого он, улыбаясь, смотрел, как внизу в долинах суетились люди. Разве эти десять лет самоотречения, размышлений, служения идеалу, глубокого презрения ко всему продажному миру пропали даром? Разве не поднялась к нему из мира самая юная, самая прекрасная, прекраснее, чем Эдит, в семь раз прекраснее самой Рахили, за которую Иаков служил целых семь лет? Вот почему отшельник улыбнулся себе в бороду.

Когда Бинкли освободил его убежище от своего неприятного присутствия и первая яркая звезда зажглась над соснами, отшельник достал из своего буфета жестянку с порошком, заменяющим дрожжи. Он все еще улыбался себе в бороду.

В дверях послышался слабый шорох. Там стояла Эдит Карр, — за десять лет она стала еще красивее, еще грациознее, еще благороднее.

Она никогда не была слишком болтлива. И вот она смотрела на отшельника большими темными вдумчивыми глазами. Пораженный неожиданностью, он стоял так же неподвижно, как и она. Но совершенно инстинктивно он стал медленно вертеть в руках жестянку со своим порошком, пока ее красная этикетка не скрылась в складках одежды у него на груди.

— Я остановилась в гостинице, — тихим, но ясным голосом сказала Эдит. — Как только я услышала о вас, я сказала себе, что должна видеть вас. Я хочу просить у вас прощения. Я продала свое счастье за деньги. Правда, мне надо было думать о других, но это не оправдание для меня. Я хотела только увидеть вас и просить у вас прощения. Я слышала, что уже десять

---

<sup>34</sup> «Подобное подобным» — принцип гомеопатии: излечение болезни теми же средствами, какие могут вызвать ее (*лат.*).



лет вы живете здесь, живете воспоминаниями обо мне. Я была слепа, Хэмптон, и не сумела понять, что все деньги мира ничто в сравнении с преданным любящим сердцем. Если бы... Но теперь, конечно, слишком поздно.

В этих словах чувствовался скрытый гордостью любящей женщины вопрос. Но через эту прозрачную маску отшельник ясно увидел, что его леди вернется к нему, — если он только пожелает. Перед ним его золотой венец, — если ему угодно принять его. Награда за десятилетнюю верность здесь, близко, стоит ему только протянуть руку.

И вот в течение целой минуты бывшее очарование вновь озаряло его. Но потом в нем поднялось чувство обиды за отвергнутую любовь, и он почувствовал отвращение к той, которая теперь ищет его любви. И вдруг, наконец, — странно только, почему «наконец», — его умственному взору явилось бледно-голубое видение, — самая прекрасная из всех сестер Тренхолм — видение явилось и исчезло.

— Слишком поздно, — глухо сказал он, прижимая к груди свою жестянку.

Она медленно прошла двадцать ярдов по тропинке и обернулась. Отшельник начал было открывать свою жестянку, но опять быстро спрятал ее в складках одеяния. Сквозь сумерки он увидел ее большие, сверкавшие печалью глаза. Но он неподвижно стоял на пороге своей лачуги, он даже не вздохнул.

В четверг вечером, как только поднялась луна, отшельника обуяла безумная жажда общества.

Снизу, из гостиницы, до его слуха долетали аккорды музыки, они звучали нежнее волшебной музыки эльфов. Ночь превратила Гудзон в необозримое море: огни, что едва мерцали на том берегу, казались ему не огнями бакенов, прозаически отмечающих фарватер, ему казалось, что это звезды, мерцающие за миллионы миль. Река перед гостиницей сверкала веселыми светляками, — но, может быть, это просто моторные лодки, отравляющие воздух запахом масла и газа. Когда-то и он хорошо знал все это, когда-то и он участвовал в таких празднествах, когда-то и он плавал под красно-белым тентом. Вот уже десять лет, как он отвратил свое ухо от отдаленного эха мирской суеты. Но сегодня он чувствовал в этом какую-то фальшь.

Оркестр в казино играл вальс... Вальс! Что он за дурак, добровольно проплакать десять лет, вычеркнуть их из жизни из-за той, которая отвергла его ради такой призрачной радости, как богатство. Тум-ти-тум-ти-тум-ти, а как танцуется этот вальс? Но разве эти годы были напрасной жертвой, разве они не привели к нему самую яркую звезду, самую изумительную жемчужину мира, самую юную, самую прекрасную из...

— Но только не в четверг вечером, — настаивала она.

Может быть, сейчас она медленно и грациозно скользит под звуки этого вальса и какой-нибудь блестящий офицер или городской щеголь крепко обнимает ее за талию, а в это время он, прочитавший в ее глазах то, что вознаграждает за все десять потерянных лет, он сидит здесь, словно дикое животное в своей норе. Почему бы ему...

— Черт возьми, — неожиданно произнес он, — я все-таки пойду!

Он сбросил свою грубую тогу, сбросил все, что напоминало Марка Аврелия, вытащил из дальнего угла пещеры покрытый пылью чемодан и с трудом открыл крышку.

Свечей было достаточно, и скоро вся пещера озарилась их мерцающим светом. Платье, — оно было сшито десять лет тому назад, — ножницы, бритвы, шляпы, обувь, — все заброшенные наряды и принадлежности туалета были безжалостно извлечены из их покойного уединения и разбросаны в самом чудовищном беспорядке.

Ножницы быстро обрезали его бороду и дали возможность затупившейся бритве хоть как-нибудь выполнить свои обязанности. Но постричь волосы было выше его сил, он только расчесал и пригладил их как мог, щеткой. Милосердие запрещает нам описывать страдания и старания того, который так долго был далек от общества и магазинов модных вещей.

Наконец, отшельник направился в самый дальний угол пещеры и стал раскапывать мягкую землю длинной железной ложкой.

Из выкопанной ямки он вытащил небольшую жестянку, а из жестянки три тысячи

долларов в казначейских билетах, плотно скатанных в трубочку и завернутых в промасленный шелк. Одно это может вполне убедить вас, что он был самый настоящий отшельник.

Но взгляните только, как он спешит, покидая свои горы! На нем длинный, доходящий до икр, помятый черный сюртук, узкие белые брюки, давно уже не видевшие портновского утюга, розовая сорочка, белый стоячий воротник, яркий синий галстук бабочкой и высокие, застегнутые на все пуговицы гетры. Но только подумайте, леди и джентльмены: прошло десять лет! Из-под соломенной шляпы выбивались длинные волосы. При всей вашей проницательности вы ни за что бы не догадались, кто он. Вы могли бы, пожалуй, подумать, что это актер, играющий Гамлета или еще какую-нибудь роль, но никогда вы не могли бы положить руку на сердце сказать: «Вот идет отшельник, десять лет проживший в пещере из-за отвергнутой любви, он покинул свою пещеру только ради другой женщины!»

Павильон для танцев тянулся над самой водой. Яркие фонари и холодные электрические шары бросали мягкий волшебный свет. Тут и там порхали леди и джентльмены. Слева от пыльной дороги, по которой спустился отшельник, находилась гостиница, рядом с ней — ресторан. Там тоже что-то происходило. Окна были ярко освещены, слышались звуки музыки, но эта музыка совершенно не походила на вальсы и тустепы, звучащие из казино.

В больших железных воротах с громадными гранитными столбами и чугунными кронштейнами показался негр.

— Что сегодня здесь происходит? — спросил отшельник.

— Сегодня четверг, сэр, — ответил слуга, — и в казино очередной танцевальный вечер. В ресторане сейчас идет обед.

Отшельник взглянул на стоящую на холме гостиницу, оттуда внезапно донесся торжественный аккорд чудесной гармонической музыки.

— А там, — спросил он, — почему там играют Мендельсона, что там происходит?

— Там, — ответил негр, — происходит свадьба. Мистер Бинкли, очень богатый джентльмен, женится на мисс Тренхолм, сэр, — на молодой леди, самой красивой из всех живущих здесь, сэр.

## Пригодился

Если б мне пожить еще немного, ну хоть тысячу лет, всего какую-нибудь тысячу лет, так за это время я бы подошел вплотную к истинной Поэзии — так, что мог бы коснуться подола ее платья.

Ко мне отовсюду сходятся люди: с кораблей, из степей и лесов, с дороги, из чердака и подвала, и в странных бессвязных речах лепечут мне о том, что они видели и о чем передумали. Дело ушей и пальцев воспользоваться их рассказами. Я боюсь только двух угрожающих мне несчастий — глухоты и писательских судорог. Рука пока еще тверда, так что вся вина падет на мой слух, если эти печатные слова окажутся не в том порядке, в каком они были сказаны мне Хэнком Мэджи, истинным борцом за счастье.

Биография отнимет у вас не больше минуты; я впервые узнал Хэнки, когда тот был старшим официантом в маленьком ресторанчике в кафе у Чэббса на Третьей авеню. Кроме него, там был еще только один официант.

Потом я проследил за ним по маленьким улицам большого города, после его экскурсии на Аляску, его путешествия в качестве повара при кладоискательской экспедиции в Марибею, после его неудачи при ловле жемчуга на реке Арканзасе. Обычно в промежутках между этими экскурсиями в страну приключений он на некоторое время возвращался к Чэббсу. Чэббс служил ему портом во время сильных штормов; зато когда вы там обедали и Хэнки отправлялся за бифштексом для вас, то вы не могли предвидеть, бросит ли он якорь в кухне или на Малайском архипелаге. Описывать его наружность не стоит; у него был мягкий голос и жесткое лицо, и достаточно было одного его взгляда, чтобы предотвратить малейший

беспорядок среди посетителей Чэббса.

Однажды вечером, после того как Хэнки пропал в течение нескольких месяцев, я увидел его на углу Тридцать третьей улицы и Третьей авеню. Не прошло и десяти минут, как мы уже сидели за круглым столиком в сторонке, и я насторожил уши. Я выпускаю описание своих хитрых подходов и подвохов, при помощи которых я старался выудить из Хэнки его рассказы; в общем речь его была в таком роде:

— Кстати, о новых выборах, — сказал Хэнки, — разве вы знаете что-нибудь об индейцах? Нет? Я понимаю не тех индейцев, которых мы встречали у Купера, у Бидля, в табачных магазинах; я понимаю современного индейца, того, который получает награду за греческий в колледжах и скальпирует неприятелю полголовы во время футбола. Того индейца, который вечером ест макароны и пьет чай с дочерью профессора биологии, а когда снова попадет в отеческий вискьюп, то напихивает свою утробу кузнечиками и жареной гремучей змеей.

Право, они недурные люди. Мне они больше нравятся, чем большинство иностранцев, переселившихся сюда за последние несколько сот лет. У индейца есть одна особенность: при смешивании с белой расой он подсовывает бледнолицему свои пороки, а все свои добродетели оставляет при себе. Добродетелей-то у него хватит, когда пороки разбушуются и надо их утихомирить. А эти импортированные иностранцы усваивают наши добродетели и остаются при своих собственных пороках; если так пойдет и дальше, так в один прекрасный день нам придется всю армию обратить в полицию.

Я вам расскажу, какую я совершил экскурсию в Мексику с чирокезом Большим Джеком Змеекормом; он кандидат Пенсильванского колледжа и позднейший образчик расы — в остроносых, подбитых резиновой набойкой мокасинов из патентованной кожи и в мадрасской охотничьей блузе с отложными манжетами. Мы с ним приятели. Я встретился с ним в Талекве, когда я был там во время восстания, и мы с ним стали закадычными друзьями. Он набрался в колледже каких только можно знаний и возвратился к своему народу, чтобы вывести его из Египта. Он был способный парень, писал статьи, и его приглашали к богатым бостонским господам и вообще в разные дома.

Была там в Мэскоджи одна чирокезская девушка, по которой Большой Джек ходил с ума. Он несколько раз водил меня к ней в гости. Ее звали Флоренса Голубое Перо; только не думайте, что это какое-нибудь черномазое чучело с кольцом в носу. Эта юная леди была белее вас, а по образованию — так куда мне до нее. Вы бы ее не отличили от барышень, которые ходят за покупками по шикарным магазинам на Третьей авеню. Мне она так понравилась, что я нет-нет и опять заходил к ней, один, без Большого Джека: в таких делах между приятелями это принято. Она воспитывалась в колледже в Мэскоджи и была по специальности... постойте, как это... эт... да, этнологом. Это такая наука, которая возвращается назад и следит за тем, как произошли разные человеческие расы, которые ведут начало от заливного из рыбы и через обезьяну восходят к О'Бриэнам. Большой Джек избрал себе такую же специальность и читал об этом доклады в разных потешных обществах: у каких-то там Чотоквасов да Чоктов, да всяких там. Я думаю, что они потому и понравились друг другу, что оба любили копаться во всякой плесени. А впрочем, кто их знает. Они-то называют это общностью интересов, а только это не всегда так. Вот, например, когда мы разговаривали с мисс Голубое Перо, так я ничего не понимал и с почтением слушал ее разглагольствования про то, что первые семьи обетованной земли приходились двоюродными братьями нашим предкам, которые строили укрепления на реке Огио. А когда я рассказывал ей про Бауэри и про Остров Конэй, или пел ей какие-нибудь негритянские песенки — я слышал, как негры на Ямайке пели их во время богослужений, — так это ее куда больше забавляло, чем всякие размышления Большого Джека о том, что коренные обитатели Америки впервые явились сюда и поселились в свайных постройках после разлива Тэнафли, в Нью-Джерси...

Я, бишь, хотел рассказать вам про Большого Джека.

Месяцев шесть спустя получаю от него письмо, в котором он пишет, что получил назначение от Несовершеннолетнего Вашингтонского Отдела Этнологических Изысканий

отправиться в Мексику, с тем чтобы произвести там не то перевод каких-то раскопок, не то раскопки стенографических записей на каких-то развалинах, словом, что-то в этом роде. И если я отправлюсь вместе с ним, так он может втиснуть мои расходы в смету.

А я в то время долгонько застоялся у Чэббса с салфеткой под мышкой, ну и телеграфировал Большому Джеку «да»; он выслал мне билет, мы встретились с ним в Вашингтоне; у него для меня был целый короб новостей. Во-первых, то, что Голубое Перо вдруг исчезла из дома и совсем пропала с глаз.

— Сбежала? — спрашиваю.

— Исчезла, — отвечает Большой Джек. — Исчезла, как исчезает твоя тень, когда солнце зайдет за тучу. Ее видели на улице, а потом она завернула за угол, и никто ее больше не видал. Вся наша коммуна поднялась на поиски, но не удалось найти ни малейших следов.

— Плохо дело, плохо дело, — говорю. — Этакая, ведь, была славная девица, и всегда такая нарядная.

Большой Джек, по-видимому, принял это близко к сердцу. Он, должно быть, уж больно уважал мисс Голубое Перо. Я заметил, что он повадился обсуждать это дело вдвоем с кувшином виски. Это у него было слабое местечко, да и не только у него, а у многих мужчин. Я замечал, что когда девушка бросает мужчину, так он непременно ударится в пьянство, — либо до того, либо после того.

Из Вашингтона мы отправились по железной дороге в Новый Орлеан, а там сели на пароход, отправлявшийся в Белизу. Нас погнало приливом вниз по Каррибею и чуть не выбросило на берег в Юкатане, напротив маленького бесприютного городка под названием Бока-де-Кокойла. Подумать только, что если бы судно наскочило в темноте на этакое названьице!

— Лучше прожить пятьдесят лет в Европе, чем один раз просидеть циклон в бухте, — говорит Большой Джек Змеекорм.

Ну, как только мы заметили, что шквал перестал шквалить, так мы сейчас же попросили капитана переправить нас на берег.

— Одно из двух: или мы найдем тут одни щепки, когда вернемся, или сами превратимся в щепки, — говорит Большой Джек — То ли, другое ли, правительству все едино: послали человека, и ладно.

Бока-де-Кокойла — мертвый городишка. Тайред и Сайфон, про которые мы читали в Библии, после своего разрушения и то, наверно, выглядели как Сорок вторая улица или Бродвей, по сравнению с этой самой Бокой. Тут все еще было тысяча триста жителей, как это значилось по переписи 1597 года и как было выгравировано на стене каменного дома, где помещались присутственные места. Городские жители представляли собою смесь одних индейцев с другими; только некоторые из них были светлого цвета, чему я очень удивился. Город весь взгромоздился на берегу, а кругом него такой густой лес, что никакой судейский крючок не достал бы до обезьяны своими бумажками, — будь он всего в десяти ярдах. Мы удивлялись, почему этот город не соединили с Канзасом, но вскоре оказалось, что это все майор Бинг.

Майор Бинг — как сыр в масле катался. Он захватил в свои руки все концессии на кошениль, сарсапарель, кампешевое дерево и на все деревья, из которых делают краски, и даже концессии на продукты питания. Пять шестых текстильщиков из Бока и из Тингамы работали на него на паях. Это было ловко устроено. Когда приходилось бывать в провинциях, так мы, бывало, могли хоть похвастаться Морганом или кем другим, а теперь — куда там. Из-за этого полуострова весь край наш превратился в подводную лодку — и даже перископа не видать снаружи.

Майор Бинг распоряжался таким образом: он все народонаселение отправлял в лес собирать материал для производства. Принесут они ему, бывало, а он дает им пятую часть за труд. Другой раз они забастуют и просят у него шестую часть. Ну, тут майор всегда, бывало, уступал им.

У майора был бунгало так близко к морю, что когда прилив подымался на девять

дюймов, так вода просачивалась через щели в кухонном полу. Мы с ним да с Большим Джеком Змеекормом с утра до ночи просиживали на крыльце и распивали ром. Он говорил, что прикопил триста тысяч долларов в банках в Новом Орлеане и что мы с Большим Джеком, если угодно, можем оставаться у него навсегда. Как-то раз Большой Джек вспомнил про Соединенные Штаты и пустился толковать про этнологию.

— Развалины, — говорит майор Бинг. — Да в лесу полно развалин. Не знаю, к какому времени они относятся, а только они тут были до меня.

Большой Джек спрашивает, какого культа придерживаются здешние туземцы.

Майор потер себе нос и говорит:

— Право, не могу сказать. Вероятно, они язычники, или ацтеки, или нонконформисты, или что-нибудь в этом роде. Тут есть и церковь — методистская, что ли, или какая другая, и священник; его зовут Скиддер. Он хвастает, что обратил народ в христианство. Мы с ним не ассимилируемся иначе, как по общественным делам. Я думаю, они и до сих пор еще поклоняются каким-нибудь богам или идолам. А Скиддер говорит, что они у него все в руках.

Через пять дней мы с Большим Джеком пошли продираемся через лес и проложили прямую дорожку на добрых четыре мили. Потом видим — налево другая дорожка. Мы идем по ней мило, может быть, — и вдруг натываемся на красивейшие развалины из крепкого камня, а против них, на них и сквозь них растут деревья, виноград и кустарники. На них со всех сторон были вырезаны на камне какие-то забавные животные и люди, которых бы у нас здесь арестовали, если бы они в таком виде появились на сцене. Мы подошли к ним издали.

Большой Джек, с тех пор как мы высадились в Боке, слишком много пил рому. Знаете, как пьют индейцы. Когда бледнолицые познакомили индейца с огненным напитком — у того даже часы сами собой остановились. Так вот, Джек привез с собой целую квартиру.

— Хэнки, — говорит он, — мы исследуем древний храм. Может, это судьба, что буря заставила нас высадиться здесь. Несовершеннолетнему Отделу Этнологических Изысканий еще удастся воспользоваться превратностями ветра и прилива.

Мы вошли в заднюю дверь строения и наткнулись на что-то вроде алькова, только без ванны. Там стоял каменный умывальник, без мыла, без стока для воды; в отверстия в стене было вбито несколько гвоздей из твердого дерева, вот и все. Если б мы после этого богато обставленного помещения попали в меблированную комнату в Гарлеме, так нам бы показалось, что мы наслушались в концерте любителя-виолончелиста и вернулись в собственный дом на Восточной стороне.

Пока Большой Джек рассматривал какие-то иероглифы на стене (посмотреть на них, так можно подумать, что каменщики нетвердо на ногах стояли, когда их делали), я вошел в первую комнату. Размером она была, по крайней мере, тридцать на пятьдесят футов; каменный пол, шесть окошечек, точно четырехугольные замочные скважины, свету от них не было много.

Я оглянулся назад и вижу: фута на три от меня — Джек.

— Большой Джек, — говорю, — из всех...

А потом вижу, он что-то не в себе; я обошел вокруг него.

Он снял с себя одежду до пояса и как будто не слышал меня. Я дотронулся до него и точно обо что-то ударился. Большой Джек превратился в камень. Я, должно быть, подвыпил.

— Окостенел! — громко крикнул я ему. — Я знал, что так и будет, если ты не бросишь пить.

А тут вдруг из спальни выходит Большой Джек, — он слышал, как я разговаривал с пустотой, — и мы вместе принялись разглядывать мистера Змеекорма № 2. Это был не то каменный истукан, не то бог, не то пересмотренный статуй, или что-то в этом роде, и он был так похож на Большого Джека, как зеленая горошина сама на себя. У него было то же в то же такое же лицо, такой же рост и цвет, только чуточку потверже. Он стоял на какой-то подставке или на пьедестале, и сразу видно, что он простоял там десять миллионов лет.

— Это мой двоюродный брат, — пропел Большой Джек, а потом вдруг сделался такой торжественный.

— Хэнки, — говорит, а сам одну руку положил мне на плечо, а другую на плечо

статуи, — мы в священном храме моих предков.

— А что, брат, если наружность чего-нибудь стоит, так мы с тобой наткнулись на твоего двойника. Ну-ка, стань рядом с истуканом, посмотрим, какая между вами разница?

Никакой! Знаете, ведь индеец может, когда надо, сделать такое неподвижное лицо, как у чугунной собаки; и когда Большой Джек застыл, как каменный, так его было не отличить от этого другого.

— Тут какие-то буквы, — говорю, — на пьедестале, только я их не разберу. У этого народа весь алфавит состоит из *a, e, u, o, y*; больше всего там слышатся *з, л, и, т*.

У Большого Джэка на минуту этнология взяла перевес над ромом, и он принялся исследовать надпись.

— Хэнки, — говорит, — это статуя Тлотопаксла, одного из могущественнейших богов древних ацтеков.

— Рад с ним познакомиться, — говорю, — а только при настоящих обстоятельствах мне он напоминает одну шуточку, которую Шекспир отпустил по адресу Юлия Цезаря. Мы бы могли сказать про твоего приятеля: «Державный Как-Бишь-Вас, вы в камень обращены. Вотще теперь писать вам, звать вас к телефону».

— Хэнки, — говорит Большой Джек Змеекорм, а сам смотрит на меня как-то чудно, — ты веришь в перевоплощение?

— Для меня это такая же мудреная штука, как чистота на городских бойнях или новый сорт бостонских румян. Я не знаю.

— Я верю в то, что я — перевоплотившийся Тлотопаксль. Мои исследования привели меня к убеждению, что из всех северо-американских племен одни чирокезы могут похвалиться тем, что они происходят по прямой линии от гордого рода ацтеков. Это, — говорит, — была наша любимая теория, моя и Флоренсы Голубое Перо. А она... а что, если она...

Большой Джек сгрэб меня за руку и выпучил на меня глаза. В ту минуту он был больше похож на своего соотечественника-индейца, убийцу, по прозвищу Бешеный Конь.

— Ну, — говорю, — что, если она, что, если она, что, если она! Ты, — говорю, — пьян. Истукана принимаешь за живого человека и веришь в какое-то там, — как, бишь, его — перетолпощение. Давай-ка выпьем. Тут жутковато, точно в Бруклине, на фабрике искусственных конечностей, в полночь, когда газ спущен.

Тут я слышу, что кто-то идет; я втокнул Большого Джэка в опочивальню без кровати. Там в стене были просверлены дырочки, так что нам была видна вся передняя часть храма. После майор Бинг рассказывал мне, что древние жрецы при исполнении своих обязанностей приглядывали оттуда за молящимися.

Через несколько минут в храм вошла старая индианка с большим овальным глиняным блюдом, полным съестного. Она поставила его на четырехугольную каменную плиту перед кумиром, а сама упала перед ним на колени и несколько раз ударилась головой о землю, а потом пошла прочь.

Мы с Большим Джеком проголодались; мы вышли и посмотрели, что там такое. Тут была козлятина, рисовый каравай, индейские смоквы, маниоковый хлеб, печенные на солнце крабы и манго — все такие вещи, которых вы не получите у Чэббса.

Мы поели за милую душу — и выпили еще по чарочке рому.

— Сегодня, — говорю, — верно, день рождения старого Тэкумсэха, или как, бишь, ты его зовешь. А то, может, они его каждый день кормят. Я думал, что боги только пьют ванильный напиток на горе Катавампус.

Потом, пунктиром этаким на горизонте, — показались еще партии туземцев в коротких кимоно, которые выявляли их принадлежность к местным жителям, и нам с Большим Джеком опять пришлось притаиться в секретном будуаре отца Акслетрея. Они шли поодиночке, попарно, по трое, и каждый оставлял какое-нибудь приношение; тут хватило бы съестного для всех богов войны, да еще порядком осталось бы и на долю Гаагской мирной Конференции. Они несли кувшины с медом, связки бананов, бутылки вина, целые охапки черепах и прекрасные шарфы ценою долларов по сто за штуку, которые индейские женщины ткнут из

каких-то растительных волокон, вроде шелка. Все они падали ниц, корчились на полу перед этим бесчувственным идиолом и опять скрывались в лесу.

— Интересно, кому достанется вся эта добыча? — заметил Большой Джек.

— Верно, — говорю, — тут есть и жрецы, или какие-нибудь депутаты от богов, или, может, где-нибудь поблизости работает распределительный комитет. Где есть бог, там вы всегда найдете охотников позаботиться о принесенных жертвах.

Тут мы еще пропустили по чарочке рома и вышли из гостиной на воздух, освежиться, так как там внутри была такая жара, точно в летних лагерях.

Пока мы стояли там на ветру и смотрели на тропинку, мы увидели молодую леди, которая шла по направлению к развалинам. Она была босиком, в белом платье и несла в руке пучок белых цветов. Когда она подошла ближе, мы увидели, что в ее черных волосах было воткнуто голубое перо. А когда она подошла еще ближе, то мы с Большим Джеком Змеекормом схватились друг за дружку, чтобы не упасть на землю; лицо у девушки было так же похоже на лицо Флоренсы Голубое Перо, как его собственное было похоже на короля Токсиколога.

Тут уж у Большого Джека хмель затопил все системы этнологии. Он втолкнул меня в храм, где была статуя, и говорит:

— Хватай ее, Хэнки. Мы перетащим ее в другую комнату. Я все время это чувствовал; я перетолпощенный бог Локомотор-атаксия, и Флоренса Голубое Перо была моей невестой тысячу лет тому назад. Она пришла за мною в этот храм, где я когда-то царствовал.

— Отлично, — говорю. — С ромом ведь не поспоришь. Бери его за ноги.

Мы подняли трехсотфунтового каменного истукана, перетащили его в заднюю комнату кафе, то, бишь, храма, и прислонили его к стене. Эта работа была потруднее, чем вытолкнуть троих живых на перекресток Бродвея в канун Нового года.

Потом Большой Джек выбежал оттуда, притащил две индейских шелковых шали и начал раздеваться.

— Вот так фунт! — сказал я. — До чего дошло. Крепкие напитки, оказывается, кой-что прибавляют, а кой-что убавляют — так сказать, и сложение и вычитание зараз. Тебя жара, что ли, разбирает или это в тебе заговорила твоя дикарская кровь?

Но Большой Джек был слишком возбужден и пьян, чтобы отвечать. Он покончил с раздеванием, когда по мангаттанским правилам было уж дальше некуда, а потом намотал на себя белые с красным шали и стал на постамент неподвижно, точно какой металлический божок. А я стал поглядывать в дырочку, что будет.

Через некоторое время входит девушка с пучком цветов в руке. Может быть, я уж совсем одурел, когда она подошла, но она была так похожа на Флоренсу Голубое Перо! «Уж не перепревратилась ли она тоже?» — думаю я про себя. Как бы мне увидеть, есть ли у нее родинка на левой... И в ту же минуту я подумал, что волосы у нее на одну восьмую тона темнее, чем у Флоренсы; а только хороша она была и так. Большой Джек, видно, не один выпил весь ром, который был выпит.

Девушка подошла футов на десять к истукану, встала на колени и повозила носом по полу, как все остальные. Потом она подошла ближе и положила пучок цветов на каменную плиту у ног Большого Джека. Хоть я и нализался рому, а подумал, что с ее стороны очень любезно было принести в жертву цветы, а не хозяйственные вещи и не кухонные припасы. Сам каменный бог, стоя на вершине горы из бакалейных товаров, которую они нагромоздили перед ним, должен был бы оценить это простое чувство.

Тут Большой Джек спокойно сходит с пьедестала и произносит несколько слов, вроде тех иероглифов, что вырезаны на стенах развалин. Девушка отскочила назад, глаза у нее широко раскрылись и стали точно каштаны, а только ее это не обескуражило.

А почему, спрашивается? Я скажу вам почему. Девушке не может показаться сверхъестественным, невероятным, странным и поразительным, чтобы ради нее ожил каменный идол. Если бы он сделал это для одной из курносых черных девиц, которые живут по другую сторону леса, тогда другое дело, а ради нее! Пари держу, что она подумала про

себя: «Господи ты боже мой. Ну и долго же ты собирался! Я еще, пожалуй, не стану с тобой и разговаривать».

Но вместо этого они с Большим Джеком взялись за руки и пошли прочь из храма... Не успел я еще пропустить чарочку и выйти на сцену, как они ушли на двести ярдов, все по той дорожке, откуда пришла девушка. С этой природной декорацией, смотришь на них, точно в театре: она глядит на него снизу вверх, а он посматривает на нее ласково так, конечно, насколько индеец может глядеть ласково. Да мне-то не было никакой выгоды от этого пересовмещения.

— Эй! Стой! — заорал я Большому Джеку. — Мы должны в городе за простой, а ты не оставил мне ни цента! Брось-ка ты свою неаполитанскую рыбачку, да пойдем назад домой.

Но эта пара ни разу даже не обернулась и шла все дальше и дальше, пока, как говорится, лес не поглотил их. С того часа до сегодня я никогда не видал Большого Джека Змеекорма, даже не слышал о нем. Не знаю, происходят ли чирокезы от аспиков, а только если происходят, то один из них вернулся обратно.

Все, что я мог сделать, это бежать скорей в Боку и пообчистить майора Бинга. Он оторвался от своих выигрышей для того, чтобы купить мне билет домой. И вот я опять попал на службу к Чэббсу, теперь уж буду сидеть крепко. Пойдемте, увидите, что у нас бифштексы не хуже, чем прежде.

Я недоумевал, что Хэнки Мэджи хотел показать своим рассказом, и спросил, есть ли у него какие-нибудь теории насчет перевоплощения, пресуществления и подобных этому тайн, которых он коснулся.

— Никаких, — сказал Хэнки уверенно. — Большой Джек был болен пьянством и образованием. От них индеец живо скапунится.

— А как же мисс Голубое Перо! — настаивал я.

— Подумайте, ведь эта леди, что похитила Большого Джека, отвела мне глаза, когда я в первый раз взглянул на нее, но только на минуту. А помните, я говорил вам, что Большой Джек сказал, будто мисс Флоренса Голубое Перо исчезла из дому около года тому назад? Ну так вот, четыре дня спустя она высадилась в чистенькой квартирке в пять комнат на Восточной Двадцать третьей улице, и с тех самых пор она сделалась миссис Мэджи.

## Момент победы

Бен Грэнжер, двадцати девяти лет от роду, уже ветеран войны. Теперь нетрудно разгадать, какой именно войны. В то же время он — начальник почты и самый крупный торговец в Кадиксе, — это маленький городок, над которым постоянно веют ветерки с Мексиканского залива.

Бен помогал сбросить испанских донов с их насиженных мест на Больших Антильских островах, а затем, перешагнув через полсвета, он в роли не то капрала, не то воспитателя стал маршировать взад и вперед по раскаленным тропическим залам колледжа на открытом воздухе, в котором были вышколены Филиппины. Теперь же, переменив шашку на лавочный нож, он собирает команду своих старых товарищей в тени веранды перед своим домом, а не в непроходимых джунглях Минданао. Он всегда больше стоял за дело, чем за слова. Однако этот рассказ, который принадлежит ему, покажет нам, что ему были доступны и размышления о причинах, а также и анализ их.

— Какая причина, — сказал он мне как-то раз в лунный вечер, когда мы сидели вместе среди ящиков и бочек, — какая причина обычно заставляет людей идти на опасность, беспокойства, голод, битвы и тому подобные неприятности? Почему человек поступает так? Зачем он старается заткнуть за пояс своего ближнего, оказаться храбрее, сильнее, решительнее и отличиться больше, чем даже его лучший друг? В чем заключается его игра? Что он надеется извлечь из этого? Ясно, что он не делает это просто из любви к искусству или для того, чтобы



подышать свежим воздухом. Вот, Билл, скажи мне: каково твое мнение относительно того, на что вообще рассчитывает обыкновенный человек в награду за свои старания в достижении честолюбивых планов и необычайные усилия в области торговых дел, законодательства, науки, войны, всякого спорта и театра во всех цивилизованных и варварских странах света?

— По правде сказать, Бен, — ответил я вдумчиво и серьезно, — я полагаю, что мы можем ограничить число мотивов у человека, ищущего славы, тремя: честолюбием, которое зиждится на жажде общественной похвалы; жадностью, которая интересуется материальной стороной успеха; и любовью к женщине, которую он уже или имеет, или желает получить.

Бен обдумывал мои слова в то время, как дрозд, сидящий на верхушке дерева около крыльца, прощепетал с дюжину трелей.

— Я полагаю, — сказал он, — что твое заключение исчерпывает вопрос в том случае, если следовать правилам прописной истины и исторических книжек. Но я имею в виду случай с моим приятелем Вилли Роббинсом. Если ты ничего не имеешь против, я расскажу тебе о нем до закрытия магазина.

«Вилли принадлежал к нашей компании в Сан-Августино. Я служил в конторе у Бреди и Мургисона, оптовых торговцев сухой провизией и принадлежностями для сельского хозяйства. Мы с Вилли были членами одного и того же немецкого клуба, атлетического общества и военного собрания. Он был третьим участником нашей веселой компании из четырех, которая проводила вечера раза три в неделю где-нибудь в городе.

Вилли, в значительной степени, соответствовал своему имени<sup>35</sup>. Он весил около ста фунтов вместе со своим летним платьем, и у него всегда было такое вопросительное выражение лица, что казалось, вот-вот он обрстет пухом и перьями.

И вместе с тем молодых девушек нельзя было отгородить от него даже колючей проволокой. Всем известен этот сорт молодых людей — эта особая помесь безумца и ангела! Они кидаются стремглав и в то же время боятся ступить; но если им представляется случай ступить куда-нибудь по-настоящему, они никогда его не упустят. Он всегда оказывался тут как тут, когда наклеивалось какое-нибудь развлечение или «великое событие», как выражаются утренние газеты; в одно и то же время он казался счастливым, как король, и чувствовал себя не в своей тарелке, как сырая устрица, поданная со сладкими пиккулями. Он всегда танцевал с таким видом, как будто у него связаны ноги. Лексикон его состоял приблизительно из трехсот пятидесяти слов, которых ему хватало на четырех немцев в неделю; из этого же запаса он черпал материал для разговоров во время двух званых ужинов и одного воскресного вечернего визита. Он казался мне какой-то помесью мальтийского котенка, растения «не-тронь-меня» и члена захудалого общества «Две сиротки».

Я дам тебе некоторое представление о его характере и внешнем виде, а затем приступлю к своему рассказу.

Вилли был арийцем по своей окраске и по манере держать себя. Его волосы имели молочный оттенок, а разговор был бессвязен донельзя. Глаза у него были голубые и того же оттенка, что и у фарфоровой собаки, стоящей на правой стороне камина у твоей тетки Эллен. Он очень просто относился к жизни, и я никогда не чувствовал к нему никакой неприязни.

Однажды он вздумал по уши влюбиться в Миру Аллисон, самую бойкую, веселую, остроумную, изящную и хорошенькую девушку в Сан-Августино. Я должен сказать тебе, что у нее были самые черные глаза, и самые блестящие кудри, и самая умопомрачительная... О нет, ты не попал в точку, — я не был ее жертвой. Я мог бы стать ею, но знал, что это бесцельно. Я остерегся и отступил вовремя. С самого начала победителем был Джозе Гранберри. Он сразу отогнал всех остальных на пару миль.

Однажды вечером у жены полковника Спраггинса в Сан-Августино состоялась вечеринка. Для нас, кавалеров, была отведена комната наверху, где мы могли складывать шляпы и разные мелочи, также приглаживать волосы и надевать чистые воротнички, которые

---

<sup>35</sup> Робин — по-английски означает птицу-реполова. (Примеч. пер.)

мы приносили с собой вложенными под подкладку шляпы. Словом, это была такая комната, которая имеется всюду, где заботятся о «светском тоне». Немного дальше по коридору находилась комната для других дел. Внизу же, в гостиной, где происходили танцы, расположились мы, то есть члены Сан-Августинского Общественного Клуба Танцоров и Весельчаков.

Вилли Роббинс и я случайно оказались в нашей гардеробной (кажется, так мы называли ее), когда Мира Аллиссон пробежала по коридору, направляясь из дамской уборной вниз. Вилли стоял перед зеркалом, поглощенный приглаживанием своей светлой шевелюры, которая, по всей видимости, причиняла ему массу хлопот. Мира всегда была полна жизни и проказ. Она остановилась и просунула голову в нашу дверь. Безусловно, она была очаровательна. Но я знал, каковы ее отношения к Джое Гранберри; знал это и Вилли; но он продолжал, как барашек за маткой, следовать за ней повсюду. У него была особая система упорства, противоречащая его светлым волосам и выцветшим глазам.

— Послушайте, Вилли! — сказала Мира. — Что вы там делаете перед зеркалом?

— Я стараюсь принять бравый вид! — ответил Вилли.

— Но вы никогда не сможете принять бравый вид! — возразила Мира с особым смехом, который показался мне самым раздражающим звуком, когда-либо мною слышанным, за исключением разве лязганья пустой кружки об мое седло.

Я взглянул на Вилли после того, как Мира ушла. У него было самое несчастное выражение лица; получилось впечатление, как будто ее замечание, если так можно выразиться, растерзало его душу. Я не заметил в ее словах ничего особенно оскорбительного для мужского самолюбия, но трудно себе представить, как был удручен мой приятель.

После того как мы, переменяя воротнички, спустились вниз, Вилли ни разу не подошел к Мире. В конце концов он оказался слабохарактерным парнем, простоквашей, и я нисколько не удивился, что победа осталась за Джое Гранберри.

На следующий день было взорвано военное судно «Мэн», и очень скоро вслед за тем кто-то — не то Джо Бейли, не то Бен Тиллжан, а быть может, и само правительство — объявил Испании войну.

Все, находящиеся к югу от линии «Мэзон и Гамлин», знали, что Север сам по себе не может поколотить целую страну величиной с Испанию.

Поэтому северные янки начали взывать о помощи, а мы ответили на призыв: «Мы идем, отец Уильям! Нас сто тысяч человек, а быть может, и больше!» Так гласила наша песенка. Старые партийные разногласия, вызванные походом Шермана, и Ку-Клукс-Кланом, и девятицентовым хлопком, и трамваями Джима Кроу, исчезли сразу и бесследно. Мы превратились в единое государство, без Севера, с очень маленьким Востоком, с порядочным куском Запада и с Югом, который возвышался громадный, как первый иностранный отдельный ярлык на новеньком восьмидолларовом чемодане.

Конечно, собачья военная свора не была бы полной без лая ружей Сан-Августинской роты Д, принадлежавшей к Четырнадцатому Техасскому полку. Наш отряд, один из первых, высадился на Кубе и вселил страх в сердца неприятеля. Я не буду рассказывать тебе историю войны; я привожу эти факты только затем, чтобы сделать более понятным рассказ о Вилли Роббинсе; точно так же в свое время республиканская партия воспользовалась этим фактом для выборной агитации в 1898 году.

Если у кого-либо и когда-либо была «геройская» лихорадка, то это у Вилли Роббинса. С того момента, как он ступил ногой на землю кастильских тиранов, казалось, что он так же глотает опасность, как кот лакает сливки. Он привел в изумление всех участников нашего отряда, начиная с самого капитана. Можно было ожидать, что его будет соблазнять место ординарца при полковнике или же переписчика на пишущей машинке в канцелярии, — но ничуть не бывало! Он создал роль золотоволосого героя, который возвращается домой с победными лаврами, вместо того чтобы умереть у ног своего полковника, держа в руках важное донесение.

Наш отряд попал на тот участок Кубы, где происходила самая запутанная и наименее

интересная часть похода. Каждый день мы рыскали вокруг в кустарниках и иногда схватывались с испанскими войсками, которые походили больше на добродушных мучеников, чем на что-нибудь другое. Война была забавной для нас, но для них не представляла никакого интереса. Нам всегда казалось, что это — до слез смешная комедия-фарс, и мало кто из нас искренне верил в то, что Сан-Августинский отряд в действительности сражается во имя поддержки Соединенных Штатов. А негодные маленькие сеньоры не получали достаточного жалования, и им было совершенно безразлично: быть ли патриотами или изменниками. Иногда случалось, что кого-нибудь убивали. Это казалось мне напрасной тратой человеческой жизни. Как-то раз, когда я был в Нью-Йорке, мне пришлось побывать на Кони-Айленде и видеть, как опускающееся с холма приспособление, называемое «роллер-костер», сорвалось со своего блока и убило человека в коричневом костюме. Каждый раз, когда испанцы убивали кого-нибудь из наших, мне это казалось таким же прискорбным и ненужным фактом, как случай на Кони-Айленде.

Однако я совсем позабыл про Вилли Роббинса.

Он стремился к кровопролитиям, лаврам, отличиям, медалям, похвалам и всяким другим формам военной славы. Не было признаков, по которым мы могли бы судить, что он боится каких бы то ни было проявлений военных опасностей, кроме испанцев, пушечных ядер, консервов, пороха или непотизма. Бледноволосый, с глазами как голубой фарфор, он выступал и уничтожал испанцев так же, как ты бы стал уничтожать бутерброды с сардинками. Война и рассказы о войне его никогда не волновали. Он переносил с одинаковым хладнокровием стояние на карауле, москитов, военные сухари, голодовки и обстрелы. Я думаю, что, за исключением валета бубен и русской императрицы Екатерины, ни один блондин в истории не мог хоть сколько-нибудь с ним сравняться.

И вспоминаю, как однажды, когда мы сидели за обедом, маленький отряд испанцев появился у нас с тыла, обошел заросли сахарного тростника и застрелил Боба Тернера, фельдфебеля нашей роты. Следуя военным правилам, мы продолжали обычные приемы, стали во фронт, салютовали неприятелю, зарядили ружья и, став на колени, начали стрелять.

Это не был, конечно, техасский образ действий, но, будучи очень важным прибавлением и частью регулярной армии, Сан-Августинская рота должна была следовать всем регламентированным правилам военного искусства.

К тому времени, как мы вынули «тактику Эптопа», дошли до страницы пятьдесят седьмой, сказали «раз-два-три, раз-два-три», пару раз постреляли холостыми зарядами, испанские солдаты, вдоволь насмеявшись и накурившись, презрительно отступили назад.

Я направился прямо к капитану Флойду и сказал ему следующее:

— Я не думаю, Сэм, что эта война ведется честным образом. Вы знаете так же, как и я, что Боб Тернер был одним из лучших молодцов, которые когда-либо перекидывали ногу через седло, а теперь я нахожу, что в его смерти повинны эти начальники, которые отдают приказания по телеграфу из Вашингтона. Это неправильно. Зачем они действуют таким образом? Если они хотят, чтобы испанцы были побиты, почему они не пошлют против них Сан-Августинскую роту, отряд Джо Сили и кучку шерифов из Западного Техаса? Мы живо стерли бы их с лица земли. Мне никогда не импонировало, — сказал я, — ведение боя по правилам лорда Честерфилда. Я подам заявление о моей отставке и отправлюсь домой, если только еще кто-нибудь, с кем я лично знаком, пострадает снова в этой войне. Если вы можете заменить меня кем-нибудь, Сэм, — продолжал я, — я уеду в начале будущей недели. Я не желаю служить в армии, которая не обеспечивает ни одного шанса победы своим солдатам. А что касается моего жалования, — сказал я, — то пусть казначей его себе оставит.

— Ладно, Бен, — ответил мне капитан, — ваше мнение на этот счет и оценка военной тактики, действий правительства, патриотизма и демократизма, может быть, и правильны, но я изучил систему международных отношений и этику законных избиений немного глубже вашего. Это тоже может быть. Вы можете подать мне заявление об отставке в начале будущей недели, если вам угодно. Но если вы так поступите, — сказал Сэм, — я прикажу капралу отвести вас к одному известняковому утесу у залива и всадить в вас свинец в таком количестве,

которого вполне хватило бы для балласта подводного дирижабля. Я — капитан роты и в свое время присягнул в верности Соединенным Штатам, не принимая во внимание секционных, конгрессных и прочих разногласий. Нет ли у вас табаку? — закончил свою речь Сэм. — Мой промок в то время, как я утром плавал в заливе.

Причина, почему я привожу весь этот разговор *non ex parte*, та, что Вилли Роббинс стоял рядом с нами и слушал. Я был вторым сержантом, а он простым рядовым, но у нас никогда не было такой дисциплины и субординации, как в регулярной армии. Мы никогда не называли нашего капитана иначе, как «Сэмом», — за исключением тех случаев, когда вокруг толпилось множество генерал-майоров и адмиралов, для которых надо было поддерживать дисциплину.

Вилли Роббинс заговорил со мной резким голосом, совсем не подходившим к его светлым волосам и прежней характеристике.

— Тебя следовало бы расстрелять, Бен, за выражение подобных чувств. Человек, не желающий сражаться за свою родину, хуже, чем конокрад. Будь я капитаном, я посадил бы тебя на гауптвахту на тридцать дней на хлеб и на воду. Война, — сказал Вилли, — есть великая и замечательная вещь. Я не знал, что ты трус.

— Я не трус, — ответил я, — иначе я бы снял немного бледности с твоего мраморного лба. Я снисходителен к тебе, — сказал я, — так же точно, как и к испанцам, потому что ты всегда напоминал мне гриб, который в простонародье именуется поганкой. Ах ты, маленькая леди Шалотт, недопеченный дирижер котильонов, желторотый, недоношенный молокосос. Знаешь ли ты, о ком говоришь? Мы принадлежали с тобой к одной компании, — продолжал я, — и я ладил с тобой до сих пор только потому, что ты всегда казался таким тихим и неприятельным человеком. Я никак не пойму, с какой стати ты вдруг так преисполнился страсти к героизму и убийствам? В тебе произошел полнейший переворот. В чем дело?

— Ты никогда не поймешь меня, Бен, — ответил Вилли, улыбнувшись своей тонкой улыбкой, и повернулся с тем, чтобы уйти.

Но я схватил его за фалды мундира цвета хаки.

— Поворачивай назад, — сказал я, — ты меня вывел из себя, хотя я до сих пор считал, что не стоит обращать на тебя внимания. Ты хочешь отличиться в этом предприятии, и я полагаю, что мне известна причина твоего поведения. Ты так поступаешь или потому, что спятил с ума, или надеешься таким способом завоевать себе сердце одной девушки. В случае, если тут замешана девушка, я могу тебе кое-что показать.

Я бы так не поступил, если бы не был доведен буквально до белого каления. Я вытащил из кармана брюк номер сан-августинской газеты и показал ему один столбец. Это было описание свадьбы Миры Аллисон и Джое Гранберри.

Вилли засмеялся, и я увидел, что это его ничуть не задело.

— Все знали, — сказал он, — что это должно случиться. Я об этом слышал неделю тому назад. — И он снова засмеялся.

— В таком случае, — возразил я, — зачем гоняться сломя голову за славой? Не рассчитываешь ли ты, что тебя изберут в президенты? Или, быть может, ты принадлежишь к Клубу Самоубийц?

Тут капитан Сэм вмешался в наш разговор.

— Господа, перестаньте чесать языки и возвращайтесь восвояси! — сказал он. — Или мне придется препроводить вас обоих на гауптвахту. Проваливайте оба. Перед тем, как уйдете, сообщите мне, у кого из вас найдется немного жевательного табаку?

— Мы уходим, Сэм, — ответил я, — к тому же, теперь пора ужинать. Но что вы сами думаете относительно того, о чем мы говорили? Я заметил, что и вы немало гоняетесь за славой. Что такое честолюбие? Зачем человек ежедневно рискует своей жизнью? Разве вы уверены в том, что в конечном итоге он может получить нечто, искупающее все его старания? Я лично хочу вернуться домой. Мне безразлично, будет ли Куба плавать или пойдет ко дну, и я не дам щепотки табаку за то, будет ли править этими благословенными островами королева София-Христина или Чарли Кульберсон. Я желаю видеть свое имя исключительно в списке оставшихся в живых, и никаких других списков мне не нужно. Но я заметил, что вы, Сэм,

множество раз бежали за колесницей изменчивой славы. Ну, скажите: зачем она вам нужна? Для чего вы геройствуете? Ради честолюбия, коммерции или какой-нибудь веснушчатой Фебы, ожидающей вас дома?

— Видите ли, Бен, — ответил Сэм с таким видом, будто он вытаскивал меч, находившийся между его колен, — как старший офицер, я мог бы вас предать военному суду за трусость и попытку к дезертирству. Но я так не поступлю. Я скажу вам, зачем я добиваюсь повышений и других военных отличий. Майор получает больше жалованья, чем капитан, а мне нужны деньги.

— Вот это правильно! — сказал я. — Вот это я понимаю. Ваши поиски славы основаны на самом глубоком патриотизме. Но вот чего я не могу понять, — продолжал я, — почему это Вилли Роббинс, родители которого люди со средствами и который был до сих пор такой тихоня и так же не желал обращать на себя внимания, как кошка, у которой на усах еще не обсохли сливки, — почему он вдруг обратился в храброго вояку с самыми боевыми наклонностями? Ведь в этом случае исключается девушка, так как она вышла замуж за другого. Я полагаю, — сказал я, — что это случай явного честолюбия. Возможно, он хочет, чтобы его имя, покрытое славой, перешло в потомство. Вот, должно быть, единственная причина!

Не перечисляя подробно его подвигов, можно констатировать, что Вилли, безусловно, удалась роль героя. Он проводил большую часть своего времени на коленях, умоляя нашего капитана посылать его в атаку и в самые опасные разведочные экспедиции. В каждом бою он шел всегда впереди всех и страшно любил драться с Донами Альфонсами врукопашную. Три или четыре пули попали в различные части его тела. Однажды он отправился на разведку с отрядом в восемь человек и взял в плен целую роту испанцев. Капитан Флойд был по горло занят посылкой донесений в главный штаб с описанием его храбрых поступков, вследствие чего Вилли начал набирать медали за разные разности, — за героизм, за стрельбу в цель, за доблестные поступки и за исполнительность, — словом, за все те маленькие таланты, которые так нравятся третьим помощникам секретарей военного министерства.

В конце концов капитана Флойда произвели в генерал-майоры, или в какие-то там командиры главного стада, или что-то в этом роде. Он гарцевал вокруг нас на белом коне, разукрашенный золотым шитьем и петушиными перьями, и со шляпой, как у тамплиера, и он не мог уже, согласно уставу, с нами разговаривать. А Вилли Роббинса произвели в капитаны нашей роты.

Может быть, вы думаете, что он после этого перестал стремиться к венцу славы? Ничего подобного! На мой взгляд, это он привел войну к победоносному концу. Восемнадцать человек из нас, — и все его друзья! — были убиты в боях, которые он затевал по собственному почину и которые мне казались совсем ненужными. Однажды ночью он взял с собой двенадцать человек и вброд перешел через маленький ручей, шириной приблизительно в сто девяносто ярдов, затем перелез через пару гор, пробрался через густой кустарник, тянувшийся на протяжении мили, перемахнул еще через пару каменоломен и, наконец, пришел в жалкую деревушку, где взял в плен генерала по имени Бенни Видус. С моей точки зрения, овчинка выделки не стоила, так как Бенни оказался черненьким человеком без манжет и башмаков, мечтавшим только о том, чтобы сдаться в плен.

Но это дело было для Вилли той рекламой, которой он так жаждал. Сан-августинские «Новости», а затем газеты Гальвестона, Сент-Луиса, Нью-Йорка и Канзаса напечатали его фотографию и посвятили ему целые столбцы. Старый Сан-Августино прямо помешался на своем «доблестном сыне». «Новости» поместили передовицу, в которой слезно умоляли правительство отозвать действующую регулярную армию и национальную гвардию и предоставить Вилли продолжать войну единолично. Там говорилось, что отказ в этом будет рассмотрен как доказательство того, что антагонизм между Севером и Югом теперь так же силен, как и прежде.

Если бы война не закончилась достаточно скоро, я не знаю, до каких пределов славы и золотых нашивок дошел бы Вилли, — но она закончилась. Прекращение враждебных

действий произошло через три дня после производства Вилли в полковники; за эти дни он умудрился получить по почте еще три медали в заказных посылках и застрелить еще двух испанцев в то время, как, находясь в засаде, несчастные пили лимонад.

Как только война окончилась, наша рота вернулась в Сан-Августино. Больше ей некуда было деваться. И что же ты думаешь? По почте, телеграфом, специальной эстафетой и через негра, по имени Саул, приехавшего на сером муле в Сан-Антоне, город уведомил нас, что он собирается устроить в нашу честь величайший фестиваль, какой когда-либо знали окрестности, причем во главу угла одновременно были выдвинуты патриотические и кулинарные задачи.

Я сказал «в нашу честь», но все это пиршество предназначалось для Вилли Роббинса, бывшего рядового, исполнившего *de facto* свои обязанности капитана и, наконец, произведенного в полковники. Город сошел с ума по нем. Жители известили нас, что прием, который они нам окажут, низведет знаменитый карнавал в Новом Орлеане до степени *five o'clock'a* в церковном доме Бюри Сант-Эдлонде.

Наша рота прибыла домой, ни на час не запоздав против расписания. Весь город был около станции, оглашая воздух демократическими рузвельтовскими возгласами, которые когда то именовались «революционными». Были два духовых оркестра, мэр и воспитанницы школ, одетые в белое и пугавшие лошадей тем, что бросали в нас чирокезскими розами и... Впрочем, возможно, что тебе приходилось видеть празднества в подобных провинциальных городках.

Горожане пожелали, чтобы полковник Вилли проследовал до арсенала в коляске, в которую впрягутся именитые граждане и некоторые из членов мэрии, но герой остался со своей ротой и во главе ее продолжал маршировать по Сэм-Остен-авеню. Здания по обе стороны улицы были покрыты флагами и зрителями, и все кричали: «Роббинс!», или: «Здравствуй, Вилли!», когда мы проходили по четыре человека в ряд. Я никогда в жизни не видал человека, имеющего более бравый вид, чем Вилли. На его мундире хаки было, по крайней мере, семь или восемь медалей и знаков отличия, а загорел он до такой степени, что был одного цвета с седлом.

Нам сказали на станции, что мэрия будет иллюминирована в половине восьмого и что главные речи начнутся в «Палас-отеле»; мисс Дельфина Томпсон должна была прочесть поэму, написанную Джемсом Уиткомбом Рианоль, а констебль Хукер обещал салютовать нам из девяти пушек, которые он случайно реквизировал в этот день.

После того как в арсенале всех нас распустили по домам, Вилли обратился ко мне со следующими словами:

— Не прогуляешься ли ты немного со мной?

— Ладно! — сказал я. — Если это только не так далеко, что мы вовремя услышим, когда прекратятся все эти возгласы и вообще вся сумятица. Я голоден и мечтаю о домашнем обеде. Но все равно я пойду с тобой.

Вилли повел меня боковыми улицами, пока мы не пришли к маленькому белому коттеджу, который, очевидно, был недавно построен и перед которым была разбита лужайка размером двадцать на тридцать футов, украшенная черепками и старыми досками от бочек.

— Остановись и скажи мне, в чем дело? — сказал я Вилли. — Разве ты не знаешь, что это за строение? Это гнездышко, построенное Джое Гранберри перед тем, как он женился на Мире Аллисон. Зачем ты идешь туда?

Но Вилли уже открыл калитку. Он прошел по усыпанной кирпичами дорожке до ступеней, и я последовал за ним. Мира сидела в качалке на веранде и шила. Ее волосы были наспех зачесаны назад и жгутом лежали на затылке. Я впервые заметил, что у нее веснушки. Джое стоял сбоку около веранды, без пиджака, без воротничка и небритый и старался проделать отверстие среди обломков кирпичей и жестянок, чтобы посадить маленькое фруктовое деревце. Он поднял голову и взглянул на нас, но не промолвил ни единого слова. Молчала также и Мира.

Вилли, безусловно, выглядел очень шикарно. Грудь его была покрыта медалями, а сбоку

болталась сабля с золотой рукояткой. Никак нельзя было узнать в нем того маленького, белобрысого дурачка, который всегда был у девушек на побегушках и над которым те неизменно потешались. Он постоял с минуту, глядя на Миру со своей особенной, легкой улыбочкой, затем обратился к ней очень медленно, как будто отчеканивая каждое слово:

— О, я не знаю! Быть может, я бы и мог, если бы захотел!

Ничего больше не было сказано. После этого Вилли приподнял свою фуражку, и мы ушли.

Когда он произнес это, я вдруг вспомнил танцевальный вечер, затем Вилли, приглаживающего себе волосы, и Миру, просунувшую в дверь голову, чтобы подразнить его.

— Ну, до свидания, Бен. Я иду домой, сниму сапоги и немного отдохну.

— Что ты! — сказал я. — Что с тобой случилось? Разве мэрия не набита битком людьми, ожидающими, чтобы приветствовать героя? А два духовых оркестра? а речи? а флаги? а угощение, которое затем тебе предстоит?

Вилли вздохнул.

— Ну, ладно, Бен! — сказал он. — Честное слово, я позабыл про все это.

— И поэтому-то я утверждаю, — сказал в заключение Бен Грэнжер, — что нельзя точно сказать, где начинается честолюбие, как нельзя сказать и того, где оно кончается.

## Охотник за головами

По окончании войны между Испанией и Джорджем Дьюи я отправился на Филиппинские острова. Я был военным корреспондентом одной газеты и писал отчеты о военных действиях, но военных действий на Филиппинах никаких не было. Как-то раз наш главный редактор написал мне, что телеграмма в восемьсот слов, в которой я описывал наши дела-делишки, отнюдь не может считаться важной военной новостью. Пришлось отказаться и ехать домой.

Во время обратного путешествия на торговом судне я долго раздумывал над странными явлениями, которые мне пришлось наблюдать на этом сказочно-жутком архипелаге, населенном людьми желто-коричневой расы. Все эти маневры и стычки малой войны нисколько меня не интересовали. Зато я был точно зачарован странно-чуждым, таинственным обликом этих людей, устремлявших на нас, из недр неведомого прошлого, свой ничего не выражающий взор.

В особенности заинтересовало меня, когда я был в Минданао, очаровательно-оригинальное племя дикарей-язычников, известное под названием «охотников за головами». Это свирепые, непреклонные, безжалостные карлики, которые никогда не показывались, но тайное присутствие которых вселяло ужас и бросало вас в дрожь в самый жаркий полдень; которые шаг за шагом преследовали свою жертву сквозь не занесенные еще на карту леса, через опасные горы и бездонные пропасти, необитаемые дебри, которые всегда были тут, вблизи, как занесенная над жертвой десница судьбы, но выдавали себя лишь еле уловимыми признаками, точно зверь, птица или ползущая змея — хрустом ветки, например, нарушавшим внезапно тишину пропитанного испарениями, тяжелого ночного воздуха, или неожиданным падением целого потока капель с густой непроницаемой листвы какого-нибудь дерева-великана, или шорохом прибрежного тростника. Какими забавными казались они мне — эти крохотные существа, упорно преследовавшие одну цель!

Как подумаешь, метод их очаровательно, до смешного прост и безошибочен.

Есть у человека хижина, в которой он живет, выполняя жребий, предназначенный ему судьбой. К косяку бамбуковой рамы у входа прибита корзина, сплетенная из зеленых ивовых ветвей. Время от времени, в зависимости от того, когда заговорит в нем честолюбие, тщеславие, скука, любовь или ревность, — он выползает и бесшумно отправляется по следу, захватив с собой тяжелый нож. И затем он с торжеством возвращается из своей экспедиции и

приносит с собой отделенную от туловища окровавленную голову своей жертвы, которую он с вполне понятной радостью опускает в корзину у входа. Это может быть голова врага, или друга, или даже совершенно незнакомого человека, в зависимости от того, что побудило его пуститься в поход: ревность, желание уничтожить соперника или только инстинкт спортсмена.

Во всяком случае, он будет вознагражден за свои труды. Все жители деревни, проходя мимо, останавливаются и поздравляют его. Точно так же при других, более бесцветных формах жизни ваш сосед останавливается, чтобы полюбоваться бегониями в вашем палисаднике и похвалить их. Темнокожая девица, которой увлекается счастливый охотник, стоит тут же: грудь ее лихорадочно вздымается, и она кидает нежные, тигриные взгляды на это доказательство его любви к ней. Победитель сидит, жует бетель и самодовольно прислушивается к тихому шуму крови, капающей из перерезанных артерий. Временами он оскаливает зубы и хрюкает, точно носорог, — что должно означать смех, — при мысли о том, что похолодевшее, обезглавленное тело, составляющее придаток к нынешнему украшению его хижины, становится добычей коршунов, которые кружатся над лесными дебрями Минданао.

Воистину, меня прельщала веселая жизнь охотника за человеческими головами. Он свел искусство и философию к простейшему жизненному кодексу. Отрубить голову врага, положить ее в корзину у входа в свой замок и смотреть, как она лежит там — точно безжизненная вещь, лишенная могущества, всякой хитрости и возможности повредить... Да есть ли лучший способ разрушить коварные планы этого врага, опровергнуть все его доводы и доказать свое превосходство над его мудростью и ловкостью?

Капитаном судна, на котором я возвращался домой, был некий швед, которому часто взбредали на ум разные фантазии; на сей раз он вздумал изменить свой курс; он высадил меня, выразив мне при этом свое искреннее сочувствие, в маленьком городке, на тихоокеанском берегу, в одной из республик Центральной Америки, на несколько сот миль южнее того порта, куда он взялся меня доставить. Но мне надоели вечное передвижение и экзотические фантазии, и потому я не без удовольствия соскочил на твердый песок городка Мохад, сказав себе, что я здесь найду тот отдых, которого я так жаждал. В конце концов, куда лучше остаться здесь (так я думаю) и прислушиваться к убаюкивающему, успокоительному плеску волн и к шороху ветра в пальмах, чем сидеть на набитом конским волосом диване в родительском доме на Востоке, наполняя желудок смородиновым сиропом и домашними печеньями; там вокруг меня будут вечно торчать самые скучные из всех родственников и слушать, развесив уши, мои слюнявые рассказы о колониальных приключениях.

Когда я в первый раз увидел Клоэ Грин, она стояла вся в белом в дверях дома своего отца; это был домик из высушенной глины, крытый черепицей. Она чистила тряпочкой серебряную чашку и казалась жемчужиной на фоне темного бархата. Она кинула мне довольно продолжительный (что было очень лестно), но вместе с тем уничтожающе-неодобрительный взгляд. После этого она вошла в дом, напевая какую-то веселую песенку, чтобы показать, как мало значения она придает моей особе.

Это было вполне понятно: дело в том, что доктор Стамфорд (самый легкомысленный из всех врачей на всем протяжении между Джоано и Вальпараисо) и я, мы шли по немощеной улице, описывая зигзаги, да еще фальшиво напевали при этом старый гимн на мотив негритянской песенки. Мы возвращались с завода искусственного льда — единственного места для кутежей во всей Мохад; мы там играли на бильярде, причем раскупорили немало черных, покрытых белым инеем бутылок, которые мы за шнурки вытаскивали из холодных чанов, где их хранил старик Сандоваль.

Я сразу повернулся к доктору Стамфорду; винные пары у меня мгновенно улетучились, и я был трезв, как сторож, стоящий с булавой у входа в кафедральный собор. В этот миг я понял, что мы не что иное, как свиньи перед бисером.

— Ах ты, скотина, — сказал я, — ведь это наполовину твоя вина! А в остальном виновата эта проклятая страна! Лучше бы я уехал в свое родное захолустье и умер бы там после дикой оргии с смородиновым сиропом и домашними булками. Тогда бы не было этого позора!



Громкий хохот Стамфорда разнесся по пустынной улице.

— И ты тоже! — крикнул он. — В один миг — скорее, чем пробку из бутылки вытащить! Н-да, она приятно запечатлевается на сетчатой оболочке глаза. Но смотри, не обожги пальцев! Вся Мохада скажет тебе, что счастливый смертный — это Луис Дево.

— Это мы еще посмотрим, — сказал я. — Узнаем, действительно ли он счастливый и действительно ли он смертный.

Я решил, не теряя времени, познакомиться с Луисом Дево. Это мне легко удалось: иностранная колония в Мохаде насчитывала не больше десятка членов. Все они ежедневно собирались в некоей полупочтенной гостинице, содержимой каким-то турком. Я решил сблизиться сначала с Дево, а затем уже предстать перед моей «жемчужиной на пороге»; я успел научиться немного тактике войны, и мне было известно, что не следует наносить удара, не произведя разведки сил неприятеля.

Какое-то мрачное разочарование — нечто близкое к панике охватило меня, когда я оценил его преимущества. Он оказался человеком в высшей степени уравновешенным, очаровательным, вполне знакомым со всеми светскими обычаями, чрезвычайно тактичным, крайне любезным и гостеприимным; к тому же, он обладал каким-то особым умением держать себя вежливо и свободно, с примесью небрежного высокомерного сознания своей силы. Я чуть не перешел границы приличий, стараясь вывернуть его наизнанку, чтобы отыскать в нем ту слабую струнку, которую я так жаждал найти. Но я ошибся в своих надеждах. Поневоле я пришел к горькому сознанию, что Луис Дево — настоящий джентльмен, достойный того, чтобы с ним сразиться не на живот, а на смерть; и я дал себе клятву сделать это. Он был одним из крупных местных негодяев и занимался экспортом и импортом. Целый день он сидел в своей изысканно обставленной конторе, окруженный произведениями искусства и другими признаками его высокой умственной культуры.

По наружности это был стройный, не особенно высокий человек; его небольшая, красивой формы голова была покрыта густой шапкой темных волос, коротко подстриженных; густую, темную бороду свою он тоже подстригал клинышком. Манеры его можно было считать образцовыми.

Довольно скоро я стал частым и желанным гостем в доме у Гринов. Свою любовь к кутежам я стянул с себя, как пришедший в ветхость плащ. Я начал готовиться к борьбе со всей тщательностью тренирующегося борца и с самопожертвованием брамина.

Что касается Клэ Грин, то я не стану утомлять вас сонетами, посвященными ее бровям. Это была чудесная, полная женственности девушка, крепкая и здоровая, как ноябрьское яблоко; таинственности в ней было не больше, чем в оконном стекле. У нее были свои забавные маленькие теории, которые она вывела из практики и в которых афоризмы Эпиктета сидели бы как в трико.

Кто знает, не обладал ли в конце концов этот старый болван мудростью?

У Клэ был отец, его преподобие Гомер Грин, и перемежающаяся мамаша, которая иногда, в сумерки, безлично разливала чай. Его преподобие Гомер Грин был весь какой-то шершавый; у него была работа, которой он посвятил всю свою жизнь. Он писал толкование к Библии и дошел до Книги Царств. Так как я, по-видимому, являлся претендентом на руку его дочери, то я и оказался самым подходящим приемником для его авторских излияний. Он так вбил мне в голову родословное древо Израиля, что я иногда громко кричал во сне: «...а Аминадаб роди Радамеса, а Радамес роди Аиду» — и так далее, покуда он не перешел к следующей книге. Я как-то раз высчитал, что толкование его преподобия будет доведено до семи сосудов, о которых упоминается в Апокалипсисе, приблизительно на третий день после их вскрытия.

Луис Дево был так же, как и я, частым посетителем и близким другом Гринов. У них я чаще всего и встречался с ним; я никогда в жизни еще не ненавидел более приятного и интересного во всех отношениях человека.

К счастью или к несчастью, на меня смотрели как на «мальчика». Я был очень моложав; кроме того, у меня, кажется, был трогательный вид бездомного сироты, который всегда

действует на материнские чувства, таящиеся в душе у каждой девушки; увы, он также вызывает папаш на разглагольствования и длинные изложения своих проклятых любимых теорий.

Клоэ называла меня «Томми»; она относилась ко мне как сестра и вышучивала все мои попытки ухаживать за ней. С Дево она была куда более сдержанна. Он напоминал героя романа; он мог бы подействовать на ее воображение и на самые глубокие ее чувства, если бы только сумел понравиться ей. Я был ближе, но зато меня не окружал романтический ореол. Передо мной стояла задача завоевать сердце Клоэ всеми средствами, которые дозволены истинному американцу: прямоотой, смелостью и ежеминутной готовностью пожертвовать собой ради нее. Вот на что я надеялся, чтобы сломить ту стену дружбы, которая стояла между нами. Я хотел, — если только сумею, — покорить ее при свете дня, не прибегая к помощи лунного света, музыки и всяких годных лишь для иностранцев фокусов.

Ничто не указывало, чтобы Клоэ отдала свое сердце кому-либо из нас. Впрочем, она как-то раз намекнула мне на то, что ей нравится в мужчине. Это было безумно интересно, но приложить к практике полученные сведения нельзя было никак. Перед этим я изводил ее в двенадцатый раз перечислением и изложением моих чувств к ней.

— Томми, — сказала она, — я не хотела бы, чтобы человек доказывал свою любовь ко мне тем, что стал бы во главе армии и пошел бы завоевывать соседнее государство, стреляя в людей из пушек. Нет, Томми, для женщины играют роль вовсе не великие подвиги, совершаемые в мире. В те дни, когда рыцари в полном вооружении разъезжали по свету, ища, как бы сразиться с драконом, часто случалось, что сидевший дома паж получал руку прекрасной дамы, — и это лишь потому, что он был тут, под рукой, мог вовремя поднять упавшую перчатку или принести ей плащ, как только становилось свежо. Тот человек, которого я люблю, — кто бы это ни был, — должен проявить свою любовь в мелочах. Если я хоть раз ему скажу, что я не люблю, когда мой спутник идет слева от меня, он не должен уже это забывать. Он должен также помнить, что я ненавижу яркие галстуки; что я предпочитаю сидеть спиной к свету; что я люблю засахаренные фиалки; что со мной нельзя разговаривать, когда я люблюсь отражением лунного света в воде, и что мне очень, очень часто хочется фиников с начинкой из грецких орехов.

— Это пустяки, — сказал я, нахмутив брови. — Любой хорошо вышколенный слуга окажется на высоте положения.

— Он должен также, — продолжала Клоэ, — напоминать мне, что я хочу, — в тех случаях, когда я сама не знаю, чего я хочу.

— Вы уже начинаете повышать свои требования, — сказал я. — По-видимому, вам нужен первоклассный ясновидящий.

— А если я говорю, что умираю от желания послушать сонату Бетховена, и при этом топаю ногой, он должен по этим признакам понять, что моя душа жаждет соленого миндаля; и он должен иметь наготове коробку миндаля в соли в кармане.

— Ну, — говорю я, — теперь я совсем стал в тупик. Не могу понять, кем должна быть эта родственная вам душа — импресарио или кондитером?

Клоэ сверкнула своей жемчужной улыбкой.

— Считите почти половину моих слов за шутку, — продолжала она. — Но не относитесь слишком легко к мелочам, милый мальчик. Будьте рыцарем без страха и упрека, если вы не можете иначе, но пусть это никому не бросается в глаза. Большинство женщин — лишь большие дети, а большинство мужчин — лишь малые ребята. Старайтесь нам понравиться, но не пытайтесь подавлять нас. Если нам нужен герой, то мы сумеем превратить в него даже скромного кондитера, когда он в третий раз поймает на лету носовой платок, который мы уроним.

В этот вечер у меня сделался приступ злокачественной малярии. Это нечто вроде тропической лихорадки с разными ухищрениями и усовершенствованиями. Температура у больного вскакивает, забирается высоко-высоко, выше сорока, и сидит себе там, «лихорадочно» подсмеиваясь над хинным деревом и препаратами из угольного дегтя.

Злокачественная малярия относится к области элементарной математики, а не медицины. Формула ее весьма проста: жизненная энергия + желание выжить + продолжительность болезни = результату.

Я улегся в постель в своей маленькой, крытой соломой хижине из двух комнат, где я так удобно устроился, и послал за ромом. Ром был вовсе не для меня. В пьяном виде Стамфорд был лучшим врачом на всем пространстве между Кордильерами и Тихим океаном. Он пришел, сел у моей кровати и начал поглощать ром, чтобы привести себя в соответствующее состояние.

— Мальчик мой, — сказал он, — невинная лилия моя, вернувшийся на путь истины Ромео, лекарства тебе не помогут. Но я дам тебе хины: она горькая и потому возбудит в тебе ненависть и злобу — два возбуждающих средства, которые повысят на десять процентов твои шансы на выздоровление. Ты крепок, как молодой бычок, и ты поправишься, если только лихорадка не нанесет тебе какого-нибудь удара врасплох.

В течение двух недель я лежал на спине и чувствовал себя как индусская вдова на пылающем погребальном костре. Старая Атаска, неученая сиделка-индианка, торчала у дверей как окаменелое олицетворение идеи «И к чему все это?». Она добросовестно исполняла свои обязанности, которые состояли преимущественно в одном — следить за тем, чтобы время протекало правильно и чтобы колеса его ни за что не задевали. Иногда я воображал, что все еще нахожусь на Филиппинах или — еще хуже, — что я соскальзываю с набитого конским волосом дивана в моем родном захолустье.

В один прекрасный день я приказал Атаске исчезнуть, а сам встал и тщательно оделся. Я измерил температуру и не без удовольствия увидел, что у меня 104°. <sup>36</sup> Я с большим вниманием совершил свой туалет; галстук я заботливо выбрал темного, не кричащего оттенка. Зеркало сказала мне, что я выгляжу неплохо, несмотря на болезнь. Лихорадка придавала блеск моим глазам; щеки и тело порозовели. И вдруг, пока я стоял и глядел на свое изображение, я вспомнил про Клоэ Грин — про то, что прошел целый миллион эонов с тех пор, как я с ней виделся; вспомнил я и про Луиса Дево и про то, сколько времени он выиграл, — и краска то исчезала, то появлялась у меня на лице.

Я направился прямо к дому Гринов. Мне казалось, что я не иду, а скорее, плыву: я еле чувствовал землю под ногами. Я даже решил, что злокачественная малярия — очень хорошая вещь, если она может придать человеку столько силы.

Клоэ и Луис Дево сидели перед домом, под тентом. Она вскочила и протянула мне обе руки.

— Ах, как я рада, как я рада, что вы опять стали выходить! — воскликнула она, и слова ее казались мне жемчужинами, нанизанными в фразу. — Вы поправились, Томми, — или вам лучше, разумеется? Я хотела зайти навестить вас, но меня не пускали.

— О да, — небрежно сказал я, — это был пустяк. Маленькая лихорадка. Как видите, я уже выхожу.

Мы посидели втроем и разговаривали с полчаса. Вдруг Клоэ устремила вдаль, на океан, жалобный, полный тоски, взгляд. Я видел, что в ее синих, как море, глазах светится глубокая, безумная жажда чего-то. Дево — черт бы его побрал — тоже заметил это.

— В чем дело? — спросили мы одновременно.

— Пудинг из кокосовых орехов! — жалобно сказала Клоэ. — Мне давно хочется его, целых два дня, страшно хочется! Это уж не желание — это превратилось в навязчивую мысль.

— Сезон кокосовых орехов прошел, — сказал Дево этим своим голосом, который придавал жгучий интерес самым обыкновенным его словам. — Я думаю, что в Мохаве вряд ли найдется сейчас хоть один. Туземцы употребляют их, только когда они еще зеленые и молоко свежее. Все спелые орехи они продают на пароходы.

— А нельзя ли заменить пудинг омаром или кроликом по-уэльски? — спросил я с идиотски-любезным видом человека, только что перенесшего злокачественную малярию.

---

<sup>36</sup> По термометру Фаренгейта.

Клоэ чуть было не сделала недовольной гримасы, но у нее был такой хороший характер и такой очаровательный профиль, что гримаса так и не вышла.

Его преподобие Гомер Грин просунул в дверь свое отороченное горностаем лицо и присоединил свое толкование к нашей беседе.

— Иногда бывает, — сказал он, — что можно найти сухие орехи у старика Кампоса в маленькой лавочке на горе. Но было бы лучше, дочь моя, если бы ты сдерживала столь необычайные желания и с благодарностью принимала бы ту пищу, которую Господь посылает нам каждый день.

— Чушь! — сказал я.

— Как вы сказали? — резко спросил его преподобие.

— Я говорю, сушь страшная... дождя давно не было, — сказал я. — Может быть, — продолжал я заботливо, — кокосовый орех можно заменить грецкими орехами в пикулях или фрикасе из венгерских орешков?

Все посмотрели на меня: на лицах отразилось некоторое удивление.

Луис Дево встал и начал прощаться. Я следил за ним глазами, покуда он шел до угла своей медленной и величественной походкой. Вот он повернул за угол: ему нужно было пойти к себе, в свои обширные склады и магазины. Клоэ извинилась передо мной и вошла в дом; ей нужно было распорядиться насчет кое-каких мелочей для обеда, который всегда бывал у Гринов в семь часов. Она была великолепной хозяйкой. Я уже пробовал ее пудинги и хлеб и был в восторге от них.

Когда все ушли, я как-то случайно повернул голову и увидел корзину, сплетенную из зеленых ивовых ветвей, висевшую на гвоздике на косяке дверей. И вдруг на меня нахлынули воспоминания об охотниках за человеческими головами, и с такой силой, что в моих горевших от жара висках громко застучала кровь. Да, я вспомнил про этих свирепых, безжалостных карликов, которые никогда не показывались, но тайное присутствие которых вселяло ужас и бросало вас в дрожь в самый жаркий полдень... Время от времени, в зависимости от того, когда заговаривает в нем честолюбие, тщеславие, скука, любовь или ревность, один из них выползает и бесшумно отправляется по следу, захватив с собой тяжелый нож... И затем он с торжеством возвращается из своей экспедиции, и приносит с собою отделенную от туловища окровавленную голову своей жертвы... темнокожая девица, которой увлекается счастливый охотник, стоит тут же: грудь ее лихорадочно вздымается, и она кидает нежные, тигриные взгляды, на это доказательство его любви к ней...

Я потихоньку выбрался от Гринов и пошел к себе в хижину. Я схватил висевший на гвозде мачете<sup>37</sup>, тяжелый, как большой нож мясника, и более острый, чем безопасная бритва. А затем я направился, внутренне смеясь, в великолепно обставленный кабинет месье Луиса Дево, узурпатора моих прав на руку Жемчужины Тихого океана.

Дево умел быстро соображать. Когда я открыл дверь в его комнату, он всего раз взглянул на мое лицо, затем на мачете в моей руке и точно испарился куда-то. Я побежал к черному ходу, пинком ноги открыл дверь и увидел, что он с быстротой лани мчится по дороге в лес, опушка которого виднелась ярдах в двухстах. Я тотчас же с криком погнался за ним. Я помню, что мне попадались на пути женщины и дети; они орали и кидались в сторону.

Дево бежал быстро, но я был сильнее его. Не успели мы пробежать около мили, как я почти настиг его. Он ловко увильнул от меня и кинулся в овраг, который переходил в небольшое ущелье. Я бросился туда за ним, ломая ветви, и не прошло и пяти минут, как я загнал его в угол, образуемый двумя отвесными скалами. Тут его инстинкт самосохранения придал ему смелости; так случается нередко и с затравленным зверем. Он повернулся ко мне, совершенно спокойный, с искаженной улыбкой на лице.

— Ну, Рэберн, — сказал он. Он сделал такое ужасное усилие, чтобы говорить непринужденно, что я весьма невежливо и грубо расхохотался ему в лицо. — Да ну же,

---

<sup>37</sup> Нож, которым рубят сахарный тростник.

Рэберн, — сказал он, — бросим эту ерунду. Конечно, я знаю, что виновата ваша болезнь и что вы не в своем уме; но возьмите же себя в руки — отдайте мне этот дурацкий нож. Давайте, вернемся домой и переговорим обо всем.

— Я вернусь, — сказал я, — с вашей головой. Посмотрим, как она будет разглагольствовать, лежа в корзине у дверей.

— Да бросьте, — начал он меня уговаривать, — я вовсе не такого дурного мнения о вас и не могу допустить, что вы валяете дурака. Но даже причудам спятившего от лихорадки идиота должен быть предел. Что это за чушь про головы да про корзины? Возьмите себя в руки и бросьте эту дурацкую тяпку для тростника. Ну, что подумает о вас мисс Грин? — сказал он, стараясь ласково уговорить и умаслить меня, точно капризного ребенка.

— Слушайте, — сказал я, — наконец-то вы верно попали. Что она обо мне подумает? Слушайте! — повторил я. — Есть женщины, — сказал я, — которые смотрят на диваны с конским волосом и на смородиновый сироп, как на дрянь. Для них даже размеренные модуляции ваших тщательно подстриженных речей звучат точно падение гнилых слив ночью с дерева. Это те девушки, которые ходят взад и вперед по деревне, презируя пустые корзинки, висящие у дверей молодых людей, которые хотят пленить их сердце. Сейчас ждет, — сказал я, — одна из таких девушек. Только дурак старается прельстить женщину тем, что ноет у нее на пороге или исполняет все ее капризы, как лакей. Все они — дочери Иродиады! Чтобы пленить их, нужно собственноручно положить к их ногам голову. А теперь, Луис Дево, подставьте шею. Не будьте трусом. Довольно с вас того, что вы болтун, годный лишь для дамской гостиной.

— Ну, ну, перестаньте, Рэберн, — в страхе сказал Дево. — Ведь вы узнаете меня, не правда ли?

— О да! — сказал я. — Я узнаю вас. Я узнаю вас. Я узнаю вас. Но корзинка пуста. И старики, и молодежь, и темнокожие девушки, и те, что белы, как жемчужины, — все ходят по деревне и видят, что она пуста. Станете ли вы сейчас на колени, или же мне придется с вами бороться? Непохоже это на вас — вы ведь не любите ничего грубого и неприличного. Но корзинка ждет вашей головы.

Тут он совсем обезумел. Мне пришлось ловить его: он попытался проскочить мимо меня, точно испуганный заяц. Я бросил его на землю и поставил ногу к нему на грудь; но он начал извиваться, точно червяк, хотя я несколько раз взывал к его чувству приличия и доказывал ему, что его долг по отношению к самому себе как к джентльмену обязывает его не поднимать скандала.

Но наконец я улучил минуту и занес свой мачете.

Работа оказалась трудной. Он бился, как цыпленок, пока я наносил ему удары: пришлось хватить его раз шесть-семь по шее, раньше чем отлетела голова; но наконец он затих. Я увязал его голову в свой носовой платок. Глаза его три раза открывались и закрывались, пока я прошел шагов сто. Я был весь красный от стекающей крови, но не все ли это было равно. Я с наслаждением щупал короткие густые темные волосы и тщательно подстриженную бороду.

Я дошел до дома Гринов и швырнул голову Луиса Дево в корзину, все еще висевшую на гвозде у дверей. Затем я сел на кресло под тентом и стал ждать. До захода солнца оставалось часа два. Клэо вышла. Она, видимо, удивилась.

— Где это вы были, Томми? — спросила она. — Вас тут не было, когда я недавно выходила сюда.

— Загляните в корзинку, — сказал я, вставая.

Она посмотрела и испустила легкий крик — крик восторга, как я с удовольствием заметил.

— Ох, Томми! — сказала она. — Ведь я именно этого-то от вас и хотела! Немножко течет эта штука, но это неважно. Разве я вам не говорила? Мелочи играют большую роль. И вы вспомнили!

Мелочи! А ведь она держала в своем белом переднике окровавленную голову Луиса Дево. Струйки красной жидкости расплывались у ней на переднике, и капли стекали на пол.

Лицо у нее было веселое, полное нежности.

«Мелочи, нечего сказать, — подумал я еще раз, — Филиппинские дикари правы. Вот что любят женщины!»

Клоэ приблизилась ко мне. Вокруг не было видно ни души. Она взглянула на меня своими синими, как море, глазами; эти глаза выражали теперь то, чего я никогда раньше в них не видел.

— Вы заботитесь обо мне, — сказала она. — Вы сами — тот человек, которого я вам описала. Вы думаете о мелочах, а именно мелочи и делают жизнь приятной. Тот, кого я люблю, должен помнить малейшее мое желание и доставлять мне маленькие удовольствия. Он должен принести мне персик в декабре, если я этого захочу, — и я буду любить его до июня. Мне вовсе не нужен рыцарь в латах, который убивает своего соперника или умерщвляет дракона ради меня. Вы мне очень нравитесь, Томми.

Я нагнулся и поцеловал ее. Но тут на лбу у меня выступила испарина, и я почувствовал слабость. С передника Клоэ начали исчезать красные пятна, а голова Луиса Дево превратилась в коричневый высохший кокосовый орех.

— К обеду будет кокосовый пудинг, Томми, мальчик, — весело сказала Клоэ. — Вы непременно должны прийти. А теперь мне нужно на кухню.

Она грациозно вспорхнула и исчезла.

Доктор Стамфорд торопливо приближался. Он схватил мой пульс с таким жестом, точно это была его собственность, которую я у него похитил.

— Второго такого идиота, как ты, не найти даже за стенами желтого дома! — сказал он, страшно рассердившись. — Почему ты встал с постели? И сколько глупостей ты тут натворил! Ничего удивительного, когда у тебя пульс стучит, точно молот!

— Какие глупости? — сказал я.

— За мной послал Дево, — сказал Стамфорд. — Он видел из своего окна, как ты вошел в лавку к старику Кампосу; потом ты погнался за ним на гору, с его собственным ярдом в руках; а затем ты вернулся в лавку, взял оттуда самый большой кокосовый орех и убежал с ним.

— В конце концов, играют роль именно мелочи, — сказал я.

— Сейчас для тебя играет роль только постель, — сказал он. — Пойдем со мной сейчас же, иначе я откажусь тебя лечить. Король идиотов этакий!

Таким образом, я в этот вечер остался без кокосового пудинга; зато я перестал всецело доверять методу дикарей — охотников за головами. Быть может, темнокожие девушки уже много веков ходят по деревне и грустно глядят на головы, лежащие в корзинах у входа в хижины, и сожалеют о том, что там не лежат совсем иные, менее кровавые трофеи!

## Без вымысла

Чтобы предубежденный читатель не отшвырнул сразу же эту книгу в самый дальний угол комнаты, я заранее предупреждаю, что это — не газетный рассказ. Вы не найдете здесь ни энергичного, всезнающего редактора, ни вундеркинда-репортера только что из деревни, ни сенсации, ни вымысла — ничего.

Но если вы разрешите мне избрать местом действия для первой сцены репортерскую комнату «Утреннего маяка», то в ответ на эту любезность я в точности сдержу все данные мною выше обещания.

В «Маяке» я работал внештатным сотрудником и надеялся, что меня переведут на постоянное жалованье. В конце длинного стола, заваленного газетными вырезками, отчетами о заседаниях конгресса и старыми подшивками, кто-то лопатой или граблями расчистил для меня местечко. Там я работал. Я писал обо всем, что нашептывал, трубил и кричал мне огромный город во время моих прилежных блужданий по его улицам. Заработок мой не был

регулярным.

Однажды ко мне подошел и оперся на мой стол некто Трип. Он что-то делал в печатном отделе, — кажется, имел какое-то отношение к иллюстрациям; от него пахло химикалиями, руки были вечно измазаны и обожжены кислотами. Ему было лет двадцать пять, а на вид — все сорок. Половину его лица скрывала короткая курчавая рыжая борода, похожая на коврик для вытирания ног, только без надписи «Добро пожаловать». У него был болезненный, жалкий, заискивающий вид, и он постоянно занимал деньги в сумме от двадцати пяти центов до одного доллара. Больше доллара он не просил никогда. Он так же хорошо знал предел своего кредита, как Национальный Химический банк знает, сколько H<sub>2</sub>O может обнаружиться в результате анализа некоторых обеспечений. Присев на краешек стола, Трип стаскивал руки, чтобы они не дрожали. Виски! Он всегда пытался держаться беспечно и развязно; это никого не могло обмануть, но помогало ему перехватывать займы, потому что очень уж жалкой была эта наигранность.

В тот день я выманил у ворчливого бухгалтера пять блестящих серебряных долларов в виде аванса за рассказ, который весьма неохотно был принят для воскресного номера. Поэтому если я и не состоял еще в мире со всей вселенной, то перемирие, во всяком случае, было заключено, и я с жаром приступил к описанию Бруклинского моста при лунном свете.

— Ну-с, Трип, — сказал я, взглянув на него не слишком приветливо, — как дела?

Вид у него был еще более несчастный, измученный, пришибленный и подобоострастный, чем обычно. Когда человек доходит до такой степени унижения, он вызывает такую жалость, что хочется его ударить.

— У вас есть доллар? — спросил Трип, и его собачьи глаза заискивающе блеснули в узком промежутке между высоко растущей спутанной бородой и низко растущими спутанными волосами.

— Есть! — сказал я. — Да, есть, — еще громче и резче повторил я, — и не один, а целых пять. И могу вас уверить, мне стоило немалого труда вытянуть их из старика Аткинсона. Но я их вытянул, — продолжал я, — потому что мне нужно было — очень нужно — просто необходимо — получить именно пять долларов.

Предчувствие неминуемой потери одного из этих долларов заставляло меня говорить внушительно.

— Я не прошу займы, — сказал Трип. Я облегченно вздохнул. — Я думал, вам пригодится тема для хорошего рассказа, — продолжал он, — у меня есть для вас великолепная тема. Вы могли бы разогнать ее, по меньшей мере, на целую колонку. Получится прекрасный рассказ, если обыграть как надо. Материал стоил бы вам примерно один-два доллара. Для себя я ничего не хочу.

Я стал смягчаться. Предложение Трипа доказывало, что он ценит прошлые ссуды, хотя и не возвращает их. Догадайся он в ту минуту попросить у меня двадцать пять центов, он получил бы их немедленно.

— Что за рассказ? — спросил я и повертел в руке карандаш с видом заправского редактора.

— Слушайте, — ответил Трип. — Представьте себе: девушка. Красавица. Редкая красавица... Бутон розы, покрытый росой... фиалка на влажном мху... и прочее в этом роде. Она прожила двадцать лет на Лонг-Айленде и ни разу еще не была в Нью-Йорке. Я налетел на нее на Тридцать четвертой улице. Она только что переехала на пароме через Восточную реку. Говорю вам, она такая красавица, что ей не страшна конкуренция всех мировых запасов перекиси. Она остановила меня на улице и спросила, как ей найти Джорджа Брауна. Спросила, как найти в Нью-Йорке Джорджа Брауна. Что вы на это скажете?

Я разговорился с ней и узнал, что на будущей неделе она выходит замуж за молодого фермера Додда — Хайрэма Додда. Но, по-видимому, Джордж Браун еще сохранил первое место в ее девичьем сердце. Несколько лет назад этот Джордж начистил сапоги и отправился в Нью-Йорк искать счастья. Он забыл вернуться в Гринбург, и Хайрэм, как второй кандидат, занял его место. Но когда дошло до развязки, Ада — ее зовут Ада Лоури — оседлала коня,

проскакала восемь миль до железнодорожной станции, села в первый утренний поезд и поехала в Нью-Йорк, искать Джорджа. Вот они, женщины! Джорджа нет, значит, вынь да положи ей Джорджа.

Вы понимаете, не мог же я оставить ее одну в этом Волчьем-городе-на-Гудзоне. Она, верно, рассчитывала, что первый встречный должен ей ответить: «Джордж Браун? Да-да-да... минутку... такой коренастый парень с голубыми глазами? Вы его найдете на Сто двадцать пятой улице, рядом с бакалейной лавкой. Он — кассир в шорно-седельном магазине». Вот до чего она очаровательно наивна! Вы знаете прибрежные деревушки Лонг-Айленда, вроде этого Гринбурга, — две-три утиные фермы для развлечения, а для заработка — устрицы да человек десять дачников. Вот из такого места она и приехала. Но вы обязательно должны ее увидеть! Я ничем не мог ей помочь. По утрам у меня деньги не водятся. А у нее почти все ее карманные деньги ушли на железнодорожный билет. На оставшуюся четверть доллара она купила леденцов и ела их прямо из кулечка. Мне пришлось отвести ее в меблированные комнаты на Тридцать второй улице, где я сам когда-то жил, и заложить ее там за доллар. Старуха Мак-Гиннис берет доллар в день. Я провожу вас туда.

— Что вы плетете, Трип? — сказал я. — Вы ведь говорили, что у вас есть тема для рассказа. А каждый паром, пересекающий Восточную реку, привозит и увозит с Лонг-Айленда сотни девушек...

Ранние морщины на лице Трипа врезались еще глубже. Он серьезно глянул на меня из-под своих спутанных волос, разжал руки и, подчеркивая каждое слово движением трясущегося указательного пальца, сказал:

— Неужели вы не понимаете, какой изумительный рассказ из этого можно сделать? У вас отлично выйдет. Поромантичнее опишите девушку, нагородите всякой всячины о верной любви, можно малость подтрунить над простодушием жителей Лонг-Айленда — ну, вы-то лучше меня знаете, как это делается. Вы получите никак не меньше пятнадцати долларов. А вам рассказ обойдется в каких-нибудь четыре. У вас останется чистых одиннадцать долларов!

— Почему это он обойдется мне в четыре доллара? — спросил я подозрительно.

— Один доллар миссис Мак-Гиннис, — без запинки ответил Трип, — и два девушке, на обратный билет.

— А четвертое измерение? — осведомился я, быстро подсчитав кое-что в уме.

— Один доллар мне, — сказал. Трип. — На виски. Ну, идет?

Я загадочно улыбнулся и удобно пристроил на столе локти, делая вид, что возвращаюсь к прерванной работе. Но стряхнуть этот фамильярный, подобострастный, упорный, несчастный репейник в человеческом образе было не так-то легко. Лоб его вдруг покрылся блестящими бусинками пота.

— Неужели вы не понимаете, — сказал он с какой-то отчаянной решимостью, — что девушку нужно отправить домой сегодня же днем — не вечером, не завтра, а сегодня днем! Я сам ничего не могу сделать. Вы же знаете, я — действительный и почетный член Клуба Неимущих. Я ведь думал, что вы могли бы сделать из всего этого хороший рассказ и в конечном счете заработать. Но как бы там ни было, неужели вы не понимаете, что ее во что бы то ни стало нужно отправить сегодня, не дожидаясь вечера?

Тут я начал ощущать тяжелое, как свинец, гнетущее чувство, именуемое чувством долга. Почему это чувство ложится на нас как груз, как бремя? Я понял, что в этот день мне суждено лишиться большей части с таким трудом добытых денег ради того, чтобы выручить Аду Лоури. Но я дал себе клятву, что Трипу не видать доллара на виски. Пусть сыграет на мой счет роль странствующего рыцаря, но устроить попойку в честь моего легковерия и слабости ему не удастся. С какой-то холодной яростью я надел пальто и шляпу.

Покорный, униженный Трип, тщетно пытаюсь угодить мне, повез меня на трамвае в своеобразный ломбард тетюшки Мак-Гиннис. За проезд платил, конечно, я. Казалось, этот пропахший коллодием дон Кихот и самая мелкая монета никогда не имели друг с другом ничего общего.

Трип дернул звонок у подъезда мрачного кирпичного дома. От слабого звяканья



колокольчика он побледнел и сжался, точно заяц, слышавший собак. Я понял, как ему живется, если приближающиеся шаги квартирной хозяйки приводят его в такой ужас.

— Дайте один доллар, скорей! — прошептал он.

Дверь приоткрылась дюймов на шесть. В дверях стояла тетушка Мак-Гиннис, белоглазая — да, да, у нее были белые глаза — и желтолицая, одной рукой придерживая у горла засаленный розовый фланелевый капот. Трип молча сунул ей доллар, и нас впустили.

— Она в гостиной, — сказала Мак-Гиннис, поворачивая к нам спину своего капота.

В мрачной гостиной за треснутым круглым мраморным столом сидела девушка и, сладко плача, грызла леденцы. Она была безукоризненно красива. Слезы лишь усиливали блеск ее глаз. Когда она разгрызала леденец, можно было думать только о поэзии ее движений и завидовать бесчувственной конфете. Ева в возрасте пяти минут — вот с кем могла сравниться мисс Лоури в возрасте девятнадцати-двадцати лет. Трип представил меня, леденцы были на мгновение забыты, и она стала рассматривать меня с наивным интересом, как щенок (очень породистый) рассматривает жука или лягушку.

Трип стал у стола и оперся на него пальцами, словно адвокат или церемониймейстер. Но на этом сходство кончалось. Его поношенный пиджак был наглухо застегнут до самого ворота, чтобы скрыть отсутствие белья и галстука. Беспокойные глаза, сверкавшие в просвете между шевелюрой и бородой, напоминали шотландского терьера. Меня кольнул недостойный стыд при мысли, что я был представлен безутешной красавице как его друг. Но Трип, видимо, твердо решил вести церемонию по своему плану. Мне казалось, что в его позе, во всех его действиях сквозит стремление представить мне все происходящее как материал для газетного рассказа в надежде все-таки выудить у меня доллар на виски.

— Мой друг (я содрогнулся) мистер Чалмерс, — начал Трип, — скажет вам то же самое, что уже сказал вам я, мисс Лоури. Мистер Чалмерс — репортер и может все объяснить вам гораздо лучше меня. Поэтому-то я и привел его. (О Трип, тебе скорее нужен был Среброуст!) Он прекрасно во всем разбирается и может посоветовать, как вам лучше поступить.

Я не чувствовал особой уверенности в своей позиции, к тому же и стул, на который я сел, расшатался и поскрипывал.

— Э... э... мисс Лоури, — начал я, внутренне взбешенный вступлением Трипа. — Я весь к вашим услугам, но... э-э... мне неизвестны все обстоятельства дела, и я... гм...

— О! — сказала мисс Лоури, сверкнув улыбкой. — Дело не так уж плохо, обстоятельств-то никаких нет. В Нью-Йорк я сегодня приехала в первый раз, не считая того, что была здесь лет пяти от роду. Я никогда не думала, что это такой большой город. И я встретила мистера... мистера Сnipпа на улице и спросила его об одном моем знакомом, а он привел меня сюда и попросил подождать.

— По-моему, мисс Лоури, — вмешался Трип, — вам лучше рассказать мистеру Чалмерсу все. Он — мой друг (я стал привыкать к этой кличке) и даст вам нужный совет.

— Ну, конечно, — обратилась ко мне Ада, грызя леденец, — но больше и рассказывать нечего, кроме разве того, что в четверг я выхожу замуж за Хайрэма Додда. Это уже решено. У него двести акров земли на самом берегу и один из самых доходных огородов на Лонг-Айленде. Но сегодня утром я велела оседлать мою лошадку, — у меня белая лошадка, ее зовут Танцор, — и поехала на станцию. Дома я сказала, что пробуду целый день у Сюзи Адамс; я это, конечно, выдумала, но это неважно. И вот я приехала поездом в Нью-Йорк и встретила на улице мистера... мистера Флиппа и спросила его, как мне найти Дж... Дж..

— Теперь, мисс Лоури, — громко и, как мне показалось, грубо перебил ее Трип, едва она запнулась, — скажите, нравится ли вам этот молодой фермер, этот Хайрэм Додд. Хороший ли он человек, хорошо ли к вам относится?

— Конечно, он мне нравится, — с жаром ответила мисс Лоури, — он очень хороший человек. И конечно, он хорошо ко мне относится. Ко мне все хорошо относятся!

Я был совершенно уверен в этом. Все мужчины всегда будут хорошо относиться к мисс Аде Лоури. Они будут из кожи лезть, соперничать, соревноваться и бороться за счастье держать над ее головой зонтик, нести ее чемодан, поднимать ее носовые платки или угощать

ее содовой водой.

— Но вчера вечером, — продолжала мисс Лоури, — я подумала о Дж... о... о Джордже и... и я...

Золотистая головка уткнулась в скрещенные на столе руки. Какой чудесный весенний ливень! Она рыдала безудержно. Мне очень хотелось ее утешить. Но ведь я — не Джордж Я порадовался, что я и не Хайрэм... но и пожалел об этом.

Вскоре ливень прекратился. Она подняла голову, бодрая и чуть улыбающаяся. О! Из нее, несомненно, выйдет очаровательная жена — слезы только усиливают блеск и нежность ее глаз. Она сунула в рот леденец и стала рассказывать дальше.

— Я понимаю, что я ужасная деревенщина! — говорила она между вздохами и всхлипываниями. — Но что же мне делать? Джордж и я... мы любили друг друга с того времени, когда ему было восемь лет, а мне пять. Когда ему исполнилось девятнадцать — это было четыре года тому назад, — он уехал в Нью-Йорк. Он сказал, что станет полисменом, или президентом железнодорожной компании, или еще чем-нибудь таким, а потом приедет за мной. Но он словно в воду канул... А я... я очень любила его.

Новый поток слез был, казалось, неизбежен, но Трип бросился к шлюзам и вовремя запер их. Я отлично понимал его злодейскую игру. Во имя своих гнусных, корыстных целей он старался во что бы то ни стало создать газетный рассказ.

— Продолжайте, мистер Чалмерс, — сказал он. — Объясните даме, как ей следует поступить. Я так и говорил ей, — вы мастер на такие дела. Валяйте!

Я кашлянул и попытался заглушить свое раздражение против Трипа. Я понял, в чем мой долг. Меня хитро заманили в ловушку, и теперь я крепко в ней сидел. В сущности говоря, то, чего хотел Трип, было вполне справедливо. Девушку нужно вернуть в Гринбург сегодня же. Ее необходимо убедить, успокоить, научить, снабдить билетом и отправить без промедления. Я ненавидел Хайрэма и презирал Джорджа, но долг есть долг. Noblesse oblige и жалкие пять серебряных долларов не всегда оказываются в романтическом соответствии, но иногда их можно свести вместе. Мое дело — быть оракулом и вдобавок оплатить проезд. И я вошел одновременно в роли Соломона и агента Лонг-Айлендской железной дороги.

— Мисс Лоури, — сказал я, — жизнь — достаточно сложная штука. — Произнося эти слова, я невольно уловил в них что-то очень знакомое, но понадеялся, что мисс Лоури не слышала этой модной песенки. — Мы редко вступаем в брак с предметом нашей первой любви. Наши ранние увлечения, озаренные волшебным блеском юности, слишком воздушны, чтобы осуществиться. — Последние слова прозвучали банально и пошловато, но я все-таки продолжал: — Эти наши заветные мечты, пусть смутные и несбыточные, бросают чудный отблеск на всю нашу последующую жизнь. Но ведь жизнь — это не только мечты и грезы, это действительность. Нельзя жить одними воспоминаниями. И вот мне хочется спросить вас, мисс Лоури, как вы думаете, могли ли бы вы построить счастливую... то есть согласную, гармоничную жизнь с мистером... мистером Доддом, если во всем остальном, кроме романтических воспоминаний, он человек, так сказать, подходящий?

— О, Хайрэм очень славный, — ответила мисс Лоури. — Конечно, мы бы с ним прекрасно ладили. Он обещал мне автомобиль и моторную лодку. Но почему-то теперь, когда подошло время свадьбы, я ничего не могу с собой поделаться... я все время думаю о Джордже. С ним, наверно, что-нибудь случилось, иначе он написал бы мне. В день его отъезда мы взяли молоток и зубило и разбили пополам десятицентовую монету. Я взяла одну половинку, а он — другую, и мы обещали быть верными друг другу и хранить их, пока не встретимся снова. Я храню свою половинку в коробочке с кольцами, в верхнем ящике комода. Глупо было, конечно, приехать сюда искать его. Я никогда не думала, что это такой большой город.

Здесь Трип перебил ее своим отрывистым скрипучим смехом. Он все еще старался состряпать какую-нибудь драму или рассказик, чтобы выцарапать вождеденный доллар.

— Эти деревенские парни о многом забывают, как только приедут в город и кой-чему здесь научатся. Скорее всего, ваш Джордж свихнулся или его зацапала другая девушка, а может быть, сгубило пьянство или скачки. Послушайте мистера Чалмерса, отправляйтесь

домой, и все будет хорошо.

Стрелка часов приближалась к полудню; пора было действовать. Свирепо поглядывая на Трипа, я мягко и разумно стал уговаривать мисс Лоури немедленно возвратиться домой. Я убедил ее, что для ее будущего счастья отнюдь не представляется необходимым рассказывать Хайрэму о чудесах Нью-Йорка, да и вообще о поездке в огромный город, поглотивший незадачливого Джорджа.

Она сказала, что оставила свою лошадь (бедный Росинант!) привязанной к дереву у железнодорожной станции. Мы с Трипом посоветовали ей сесть на это терпеливое животное, как только она вернется на станцию, и скакать домой как можно быстрее. Дома она должна подробно рассказать, до чего интересно провела день у Сюзи Адамс. С Сюзи можно сговориться — я уверен в этом, — и все будет хорошо.

И тут я, не будучи неуязвим для ядовитых стрел красоты, сам начал увлекаться этим приключением. Мы втроем поспешили к парому; там я узнал, что билет до Гринбурга стоит всего один доллар восемьдесят центов. Я купил билет, а за двадцать центов — ярко-красную розу для мисс Лоури. Мы посадили ее на паром и смотрели, как она махала нам платочком, пока белый лоскуток не исчез вдаль. А затем мы с Трипом спустились с облаков на сухую, бесплодную землю, осененную унылой тенью неприглядной действительности.

Чары красоты и романтики рассеялись. Я неприязненно посмотрел на Трипа: он показался мне еще более измученным, пришибленным, опустившимся, чем обычно. Я нащупал в кармане оставшиеся там два серебряных доллара и презрительно прищурился. Трип попытался слабо защищаться.

— Неужели же вы не можете сделать из этого рассказ? — хрипло спросил он. — Хоть какой ни на есть, ведь что-нибудь вы можете присочинить от себя?

— Ни одной строчки! — отрезал я. — Воображаю, как взглянул бы на меня Граймс, если бы я попытался всучить ему такую ерунду. Но девушку мы выручили, будем утешаться хоть этим.

— Мне очень жаль, — едва слышно сказал Трип, — мне очень жаль, что вы потратили так много денег. Мне казалось, что это прямо-таки находка, что из этого можно сделать замечательный рассказ, понимаете — рассказ, который имел бы бешеный успех.

— Забудем об этом, — сказал я, делая над собой похвальное усилие, чтобы казаться беспечным, — сядем в трамвай и поедем в редакцию.

Я приготовился дать отпор его невысказанному, но ясно ощущаемому желанию. Нет! Ему не удастся вырвать, выклянчить, выжать из меня этот доллар. Довольно я валял дурака!

Дрожащими пальцами Трип расстегнул свой выцветший лоснящийся пиджак и достал из глубокого, похожего на пещеру кармана нечто, бывшее когда-то носовым платком. На жилете у него блеснула дешевая цепочка накладного серебра, а на цепочке болтался брелок. Я протянул руку и с любопытством его потрогал. Это была половина серебряной десятицентовой монеты, разрубленной зубилом.

— Что?! — спросил я, в упор глядя на Трипа.

— Да, да, — ответил он глухо, — Джордж Браун, он же Трип. А что толку?

Хотел бы я знать, кто, кроме Женского общества трезвости, осудит меня за то, что я тотчас вынул из кармана доллар и решительно протянул его Трипу.

## **Прагматизм чистой воды**

Где искать мудрости? Вопрос этот стоит сейчас очень серьезно. Платон и Аристотель, Марк Аврелий и Эзоп — все мудрецы древности так или иначе скомпрометированы. Муравей, столько лет служивший хрестоматийным примером трудолюбия и ума, на поверку оказался суетливым идиотом, непроизводительно растрачивающим труд и время. Просветители из общества Шатоква пропагандируют на своих съездах не культуру, а игру в диаволо.

Почтенные старцы пишут восторженные отзывы продавцам средств для рращения волос. В предсказаниях погоды, которые печатают газеты, встречаются опечатки. Университетские профессора превратились в...

Но воздержимся от личных выпадов.

Оттого, что мы будем сидеть в классах, рыться в энциклопедиях и в учебниках истории, мы не станем мудрее. «Знание пришло, а мудрость медлит». Мудрость — это роса, которая незаметно просачивается в нас, поит нас и способствует нашему росту. Знание — сильная струя воды, пущенная в нас из пожарного шланга. Она грозит подмыть наши корни.

Так давайте же лучше набираться мудрости. Если мы что-то знаем, так мы это знаем; но очень часто нам не хватает мудрости, чтобы это осознать, и тогда...

Но перейдем к рассказу.

Однажды на скамейке маленького городского парка я нашел журнал ценой в десять центов. Столько он, по крайней мере, запросил с меня, когда я опустился на скамью рядом с ним. Журнал был растрепанный, грязный, захватанный, в таких попадаются интересные рассказы. Однако он оказался всего лишь тетрадь для черновых записей.

— Я газетный репортер, — сказал я, чтобы нащупать почву. — Мне поручено написать что-нибудь о жизни тех несчастных, что проводят вечера в этом парке. Могу я вас спросить, чему вы, например, приписываете ваше падение...

Меня прервал смех такой заржавевший и неумелый, что мне стало ясно — он звучит впервые за много дней.

— Нет, нет, — сказал он. — Вы не репортер. Репортеры начинают разговор не так. Они притворяются, что сами бродяги, и рассказывают, что только что приехали зайцем из Сент-Луиса. Репортера я узнаю с первого взгляда. Мы, парковые бродяги, приучаемся разбираться в людях. Сидим здесь целыми днями и смотрим на прохожих. Я вам так определю каждого, кто проходит мимо моей скамьи, что вы диву дадитесь.

— Ну что ж, — сказал я. — Попробуйте. Как вы определите меня?

— Я бы сказал, — начал знаток человеческой природы после непростительной паузы, — что вы, скорее всего, занимаетесь подрядами, а может, служите в магазине или пишете вывески. В парк вы зашли докурить сигару и надеялись извлечь из меня небольшой бесплатный монолог. А впрочем, вы, может быть, штукатур или адвокат — уже темнеет, знаете ли, боюсь сказать точнее. А жена не позволяет вам курить дома.

Я мрачно нахмурился.

— Но опять же, — продолжал знаток рода человеческого, — жены у вас, пожалуй, нет.

— Нет, — сказал я, беспокойно вставая с места. — Нет, нет, нет. Но будет, клянусь стрелами Купидона. То есть если я...

Вероятно, голос мой замер, придушенный неуверенностью и отчаянием.

— Я вижу, у вас у самого есть в запасе история, — сказал запыленный субъект, и в тоне его мне послышалось нахальство. — Хотите — вот вам обратно ваши десять центов и выкладывайте. Меня тоже интересуют жизненные перипетии тех, кто проводит вечера в этом парке.

Это меня позабавило. Я посмотрел на своего оборванного соседа с большим интересом. У меня и правда была в запасе своя история. Почему бы и не рассказать ее? Ни с кем из знакомых я об этом не говорил. Я всегда был человеком сдержанным и замкнутым. Виной тому была либо душевная робость, либо чувствительность, а может, и то и другое. Я даже улыбнулся про себя, ощутив непонятное желание довериться этому незнакомому бродяге.

— Джек, — представился я.

— Мак, — представился он.

— Мак, — сказал я, — я вам все расскажу.

— Десять центов желаете получить авансом? — спросил он.

Я протянул ему доллар.

— Те десять центов, — сказал я, — пошли в счет гонорара за вашу историю.

— Не в бровь, а в глаз, — сказал он.

И, как это ни покажется невероятным влюбленным всего мира, которые поверяют свои горести только ночному ветру и полной луне, я открыл свою тайну этому оборванцу, менее всего, казалось бы, способному мне посочувствовать.

Я рассказал ему, что обожаю Милдред Телфэр — что это длится уже много дней, недель, месяцев. Рассказал о своем отчаянии, о мучительных днях и бессонных ночах, об угасающих надеждах и душевном смятении. Я даже описал этому ночному бродяге ее красоту, и царственную повадку, и уважение, которым она пользуется в обществе как старшая дочь старинного родовитого семейства, перед чьей гордостью бледнеет бахвальство миллионеров.

— Так чего ж вы зеваете? — спросил Мак, возвращая меня на землю.

Я объяснил ему, что я небогат, что доход мой так ничтожен, а страх так велик, что я не решаюсь даже заикнуться ей о своей любви. Я сказал, что при ней могу только краснеть и заикаться, а она смотрит на меня с волшебной, с ума сводящей насмешливой улыбкой.

— Она, выходит, вроде как профессионалка? — спросил Мак.

— Семейство Телфэр... — начал я заносчиво.

— Я это в рассуждении ее красоты, — объяснил он.

— Многие заслуженно ею восхищаются — ответил я осторожно.

— Сестры у нее есть?

— Есть одна.

— А еще знакомые девушки у вас есть?

— Ну конечно, — ответил я. — Много и еще несколько.

— Так вот, — продолжал он. — С другими девицами вы обращаться умеете? Ну там, строить им глазки, а когда и потрепать по щечке и ущипнуть? В общем, вы меня понимаете. А робость нападает на вас только с ней, с этой профессиональной красавицей, так?

— Вы, пожалуй, довольно верно обрисовали положение вещей, — согласился я.

— Так я и думал, — сказал Мак угрюмо. — Вот и со мной так же было. Я вам расскажу.

Я возмутился, но не подал виду. Что значат переживания этого бродяги, да и кого бы то ни было по сравнению с моими? Кроме того, я ему дал доллар и десять центов.

— Попробуйте мои мускулы, — неожиданно сказал мой собеседник, напряжив руку.

Я машинально послушался. На тренировках в гимнастическом зале к вам постоянно обращаются с такой просьбой. Рука его оказалась твердой, как чугун.

— Четыре года тому назад, — сказал Мак, — я мог уложить любого человека в Нью-Йорке, который не числился в профессиональных боксерах. Ваш случай — точная копия с моего. Я родился в Вест-Сайде, между Тридцатой улицей и Сороковой, номер дома я вам не скажу. Уже в десять лет я был отчаянным драчуном, а когда мне стукнуло двадцать, ни один любитель в городе не мог выдержать со мной и четырех раундов. Честное слово. Вы Билла Мак-Карти знаете? Нет? Он устраивал матчи для некоторых шикарных клубов. Так вот, я нокаутировал всех, с кем он меня сводил. Я был средневесом, но мог, если нужно, сбросить до полусреднего. Я боксировал по всему Вест-Сайду — на любительских состязаниях, бенефисах и частных встречах, и никому не удавалось меня победить.

Но представьте себе, в первый же раз, как я выступил против профессионала, я превратился в вареного рака. Сам не знаю, как это получилось, но только я струсил. Наверно, у меня слишком богатое воображение. Вся эта обстановка и публичность подействовала, нервы сдали. На ринге я не выиграл ни одной встречи. Всякие легковесы, всякий сброд записывались у моего менеджера, а потом подходили ко мне, хлопали легонько по руке и смотрели, как я валюсь наземь. Стоило мне увидеть публику и кучу людей во фраках в первых рядах, а на ринг выходил профессионал, как я становился слабее имбирного пива.

Понятно, на меня скоро перестали ставить и меня перестали выпускать против профессионалов, да и против порядочных любителей тоже. Но при этом, заметьте, я был не хуже большинства боксеров, и профессиональных и прочих. Губило меня это чувство оцепенения, омертвления какого-то, которое меня охватывало при виде противника-специалиста.

Так вот, сэр, когда я бросил это дело, меня стало тянуть к нему еще сильнее. Я ходил по

городу и тузил частных лиц и всяких непрофессионалов просто для удовольствия. Я лупил фараонов в темных переулках, трамвайных кондукторов, извозчиков и ломовиков, — затевал ссору и лупил. Какого бы они ни были роста или веса, знали или не знали приемы, — я со всеми справлялся. Будь у меня на ринге та уверенность, с какой я действовал на улице, мой галстук был бы сейчас заколот булавкой с жемчугом, а носки на мне были бы шелковые, цвета гелиотроп.

Как-то вечером шел я по Бауэри, думал о разных разностях, а навстречу мне компания гуляк — в трущобы их понесло, поглядеть, как там люди живут. Было их человек шесть или семь, все во фраках и в цилиндрах. Один из них легонько спихнул меня с тротуара. У меня перед тем три дня не было ни одной потасовки. Я только сказал: «С превеликим удовольствием!» — и дал ему по уху.

Ну и пошло. Этот хлыщ работал так, что и в кинематографе лучше не увидишь. Улица была пустынная, фараона ни одного. Парень был знатоком своего дела, и все же на шестой минуте я его уложил.

Фрачники оттащили его к какому-то крылечку, прислонили и стали обмахивать. А один подошел ко мне и говорит:

— Молодой человек, вы знаете, что вы сделали?

— А, бросьте, — говорю, — ничего я не сделал, просто пощекотал немножко вашего приятеля. Везите его домой в университет, да скажите — пусть не валяет дурака, не изучает социологию где не надо.

— Милейший, — говорит он, — я не знаю, кто вы такой, но очень хотел бы узнать. Ведь вы нокаутировали Редди Бернса, чемпиона мира в среднем весе! Он приехал в Нью-Йорк только вчера вечером, договориться о встрече с Джимом Джеффрисом. Если вы...

Но когда я очнулся от обморока, оказалось, что я лежу на полу в аптеке, начиненный нашатырным спиртом. Знай я, что это Редди Бернс, я бы спрыгнул в водосточную канаву и прополз мимо него на карачках. Да если б я стоял на ринге и увидел, что он лезет под канат, я бы сквозь землю провалился.

— Вот что значит воображение, — закончил Мак. — И, как я уже говорил, ваш случай точно такой же. Вам никогда не выиграть. Перед профессионалами вы пасуете. Уж поверьте мне, скамейка в парке — вот чем кончится ваша романтическая история.

И Мак-пессимист хрипло рассмеялся.

— К сожалению, я не вижу здесь аналогии, — сказал я холодно. — С боксом я знаком очень поверхностно.

Оборванец для большей убедительности ткнул меня пальцем в рукав и объяснил свою притчу.

— Каждый из нас, — сказал он несколько даже назидательным тоном, — пялит буркалы на то, что ему нравится. Для вас это девица, с которой вы боитесь объясниться, для меня это была победа на ринге. И вы провалитесь так же, как я.

— Почему это вы думаете, что я провалюсь? — спросил я запальчиво.

— Потому, — отвечал он, — что вы боитесь выйти на ринг. Не решаетесь схватиться с профессионалом. Что ваш случай, что мой — одно и то же. Вы любитель, а раз так, значит, нечего вам лезть на ринг.

— Ну, мне пора, — сказал я, вставая, и с подчеркнутым вниманием посмотрел на часы.

Когда я отошел шагов на двадцать, парковый житель закричал мне вслед:

— Благодарю за доллар. И за десять центов. Но вы ее не добьетесь. Вы — в классе любителей.

«Так тебе и надо, — сказал я себе. — Не якшайся со всяким сбродом. Нет, какая наглость!»

Но пока я шел, слова его все время вертелись у меня в мозгу. Я, кажется, всерьез на него рассердился.

— Я ему докажу! — пригрозил я вслух. — Докажу, что тоже могу сразиться с Редди Бернсом, даже зная, с кем имею дело.

Я вбежал в телефонную будку и вызвал особняк Телфэров.

Мне ответил нежный, ласкающий голос. Мне ли было не знать его? Рука моя, державшая трубку, задрожала.

— Это вы? — сказал я, прибегая к дурацкой формуле всех, говорящих по телефону.

— Да, это я, — прозвучал в ответ низкий, хорошо поставленный голос, семейный признак всех Телфэров. — А кто говорит?

— Это я, — сказал я. — И мне нужно кое-что сообщить вам сейчас же, незамедлительно и без обиняков.

— Ой-ой-ой! — сказал голос. — Так это вы, мистер Арден!

— Конечно, — сказал я, — кто же еще? И давайте ближе к делу. — Последние слова прозвучали грубовато, но я не стал тратить времени на извинения. — Вы, разумеется, знаете, что я вас люблю и пребываю в этом идиотском состоянии уже давно. Довольно с меня этой канители... то есть я хочу сказать, что мне нужен ваш ответ немедленно. Согласны вы выйти за меня замуж? Да или нет? Пожалуйста, не вешайте трубку. Станция, не разъединяйте. Алло, алло! Да или нет?

Это был тот самый удар по уху, нанесенный Редди Бернсу. И я услышал ответ.

— Да, Фил, конечно, милый. Я не знала, что вы... то есть вы никогда не говорили... ой, приходите, пожалуйста, к нам, не могу я это сказать по телефону. Вы такой нетерпеливый. Но вы приходите, придете?

Приду ли!

Я с силой нажал звонок у подъезда Телфэров. Нечто в человеческом образе открыло дверь и загнало меня в гостиную.

«Ну и ладно, — подумал я, глядя в потолок. — Каждый может чему-нибудь научиться от каждого. Философская система у Мака, во всяком случае, вполне разумная. Сам он не сумел применить ее в жизни, а я ей воспользуюсь. Если хочешь попасть в класс профессионалов, нужно...»

И тут я перестал думать. Кто-то спускался по лестнице. У меня задрожали колени. Я понял, что испытывал Мак, когда на ринг выходил профессиональный боксер. Я беспомощно огляделся в поисках окна или двери, через которые можно было бы улизнуть. Если бы ко мне приближалась любая другая девушка, я еще мог бы...

Но тут дверь отворилась, и вошла Бесс, младшая сестра Милдред. Никогда еще я не замечал, какой это ангел красоты. Она подошла прямо ко мне... и...

Никогда еще я не замечал, какие у Элизабет Телфэр удивительные глаза и волосы.

— Фил, — сказала она низким, волнующим голосом всех Телфэров, — почему вы до сих пор молчали? А я все думала, что вам нравится моя сестра — до той минуты, когда вы позвонили мне по телефону.

Похоже, что мы с Маком навсегда останемся безнадежными любителями. Но если судить по тому, как дело обернулось в моем случае, так лучшего я и не желаю.

## Чтиво

### I

Как-то прошлым летом поехал я в Питтсбург — ладно, кроме шуток, надо было — и поехал.

В моем пульмане народу вполне хватало — такого самого, какой ездит в пульманах. Большею частью дамы, в кружавчатых платьях бурого шелка на квадратных кокетках, вуалетки с мушками. Они не давали открывать окна. Мужчин тоже не меньше обычного, и по виду их сразу было ясно, что все они куда-нибудь едут и чем-нибудь занимаются. Есть такие

знатоки людей: только глянут на соседа в поезде и тут же скажут вам, откуда он, кто таков, почему его покупают и почему, наоборот, продают; я так не умею. Я понимаю про спутника, только если поезд перехватят налетчики — или если мы с ним разом схватимся за последнее чистое полотенце в туалете спального вагона.

Вошел проводник и смахнул кучку сажи с подоконника на мое левое колено. Я застенчиво стряхнул кучку на пол. Стояла жуткая духота. Дама в вуалетке потребовала выключить еще два вентилятора и громко заметила, что мы здесь не в Швейцарии. Я вяло откинулся в кресле номер 7 и почти без любопытства поглядел на узкую, темную, лысоватую макушку, выглядывавшую из-за спинки кресла номер 9.

Вдруг номер 9 швырнул какую-то книжку, и она шлепнулась на пол между креслом и окном: это оказался роман «Дева-роза и Тревельян», боевик сезона. Придира — а может, и ханжа — повернулся с креслом к окну, и я сразу признал в нем Джона А. Пискада из Питтсбурга, коммивояжера по сбыту зеркальных стекол, старого знакомого, с которым не виделся два года.

За две минуты мы успели повернуться друг к другу, обменяться рукопожатием и покончить с погодой, конъюнктурой, здоровьем и местожительством. Надо было начинать о политике, но от этого бог уберег.

Жаль, что вы не знаете Джона А. Пискада. Он из того теста, которого на героев обычно не хватает. С собой невелик, ухмылка во весь рот, а глазом так и клеится к красному пятнышку на кончике вашего носа. Галстук он какой носил, такой всегда и носил; манжеты на запонках, башмаки на пуговицах. Он тверже и надежнее любого изделия Камбрийского сталепроката; и твердо верит, что как только в Питтсбурге всем велют поставить дымопоглотители, так святой Петр снидет с небес и усядется у начала Смитфилд-стрит, а филиал наверху препоручит младшему персоналу. Верит он еще, что «нашим» зеркальным стеклом только и торговать и что если ты дома, то веди себя прилично и соблюдай что положено. Я сошелся с ним в Городе Ежедневной Ночи и остался в неведении, что он думает про жизнь, любовь, литературу и прочую этику. Мы говорили о том о сем и расходились после бутылки Шато-Марго, тушеной баранины, оладьев, пудинга по-домашнему и кофе («Погоди-ка, эй! молоко отдельно»). Теперь настала пора разобраться с ним толком. А дела — что ж дела! — боссы посовещались, и дела пошли в гору, а сходит он в Коктауне.

## II

— Да, кстати, — сказал Пискад, ткнув брошенную книгу правым носком, — вам попадалось какое-нибудь такое чтиво в этом роде? Ну, где герой такой американистый — иногда даже из Чикаго — и без ума от принцессы европейских кровей, а она странствует под чужим именем — и вот он за ней, как пришитый, аж до самого ее королевства-княжества? Наверняка попадалась, все они как две капли воды. То у них орудует ловкач — вашингтонский репортер, то — Ван Какойтотам из Нью-Йорка, то чикагский хлеботорговец с пятьюдесятью миллионами в кармане. И все они всегда готовы породниться с любыми иностранными монархами, от которых королевы и принцессы ездят к нам попрыгать на плюшевых сиденьях Трансконтинентального экспресса. Зачем бы еще им сюда ехать?

И вот, я говорю, этот хват ударяет за такой сидячей королевой и узнает, кто она есть. Так это вечером прогуляется с ней по корсо или там штрассе — и шпарит на десять страниц. Она ему — что они, мол, неровня, а он в ответ давай звонить, что в Америке все кругом некоронованные принцы. Бери его тары-бары, положи на музыку, потом попробуй без музыки — и выйдет как раз песенка Джорджа Козна.

Да чего там, хоть одну-то книженцию читали, вот и всюду так же: королевские швейцары-телохранители под руку ему не попадайся, как котят валяет. И фехтовать тоже мастак. Ладно, я вообще-то видел одного из Чикаго: силен был пароходы фрахтовать, но фехтовать, не дай бог, не пробовал. А этот, значит, скок на приступочку королевской там



аркады замка Шутценфриценшвайн: рапира в руке так и блещет, а из шести взводов предателей и убийц того самого законного короля сам собой ромштекс получается. Ну там, дуэль-другая с канцлерами, эрцгерцоги опять же австрийские вчетвером норвят королевство под бензоколонку разделать, но куда им против него.

Это ладно, а главное — когда принцессы жених граф Феодор зажал его между мостом и заброшенной часовней и наставил на него пицаль, замахнулся ятаганом и науськал кровожадных сибирских овчарок. Вот где жизнь-то, вот почему роман идет двадцать девятым изданием, прежде чем издатель раскачался выплатить автору аванс.

Ну, американцу пальто не жалко, он его на овчарок, по пицали трах кулаком, на ятаган как ятагаркнет — а графу перепадает прямой короткий в левый глаз, с приветом от Малыша Мак-Коя. Конечно, не всегда так сразу, читателю за свои деньги полагается и настоящая драка. Граф на этот случай, оказывается, тоже не дурак подраться, может за себя постоять: но тот его разделяет, как Корбетт Салливана на первенство мира, такой бокс идет, читай — не хочу. А под конец книги маклер с принцессой уединяются под липами в исторической аллейке имени сыра Рокфора. Всё, на этом про любовь кончается, куда ж дальше. Правда, я заметил, что по-настоящему-то до конца ни один автор не доходит. Даже у них, у писателей, не хватает совести посадить этого чикагского ловкача на трон Лангустопотсдама или угощать чистокровную принцессу жареной рыбой с картофельным салатом где-нибудь в итальянской забегаловке на Мичиган-авеню. Ну и как вы на все на это смотрите?

— Да как сказать, Джон, — ответил я. — Есть ведь пословица: перед любовью все равны.

— Э, нет, — сказал Пискад, — одни равны, другие — не очень, а романы все дрянь. Я, может, и торгую зеркальным стеклом, а в литературе все ж таки слегка понимаю. Это не книжки, а сплошное вранье — и вот всякий раз, что я в поезде, на меня прямо кидаются с ними. Незачем, я говорю, нашему брату американцу разводить международную путаницу и якшаться с отжившей заокеанской аристократией. Когда люди на самом деле женятся, они, будьте уверены, подыскивают себе подходящую пару. Простой парень ухаживает за одноклассницей, с которой вместе пел в школьном хоре. Молодые миллионеры обязательно влюбляются в балерин, с которыми сошлись во вкусах на омаров под соусом. Вашингтонские газетчики всегда женятся на вдовах старше их лет на десять, квартирохозяйках с жильцами. А когда красавчик с обложки «Лайфа» едет за границу и долбаёт там королевства только потому, что он американец не хуже Тафта и слегка обучен гимнастике, то спасибо, сэр, видали мы такие романы. А как они разговаривают, вы только послушайте!

Пискад поднял и листнул книжонку.

— Нет, вы послушайте, — сказал он. — Тревельян крутит мозги принцессе в дальнем конце тюльпановых зарослей. Вот нашел:

«Не говори так, о самый чудный и сладостный, о прелестнейший из цветов земных. Дерзну ли я? Ты — недоступная звезда, осиянная царственным величием, а я — всего-навсего я. Но все же я мужчина, и у меня хватит духу на все. Я не ношу титула, я если и монарх, то некоронованный, но вот моя рука, а вот мой верный меч, которому, может статься, еще суждено избавить Шутценфриценшвайн от предательских пут!»

— Представьте парня из Чикаго с мечом, и он еще вдобавок хочет избавиться от пут что-то такое на слух явно вроде свиной тушенки! Да он, наоборот, потребует, чтобы ее как следует обложили пошლიной на ввоз!

— Я, кажется, понял вас, Джон, — сказал я. — Вы хотите, чтобы авторы не мешали все и всех в одну кучу. Чтобы турецкие паши держались подальше от вермонтских фермеров, английские герцоги от лонг-айлендских рыбаков, итальянские графини от ковбоев из Монтаны, а цинциннатские пивовары от индийских раджей.

— А простой деловой народ — от аристократок из высшего света, — дополнил Пискад. — Чушь получается. Спорь не спорь, а люди делятся на разные классы, и всякий ищет не отбиться от своих. И не отбивается. Надо же — ведь тратятся, покупают такие книжонки — сотнями тысяч! Да зачем тебе эти чудеса в решетке, каких в жизни не видано и не слыхано!

### III

— Да ладно вам, Джон, — сказал я, — я этих боевиков давно в руки не брал. Почитал бы — может, примерно и согласился бы с вами. Вы лучше о себе расскажите. Как у вас дела идут, что ваша компания?

— Дай бог всякому, — сказал Пискад, сразу просветлев. — Жалованье два раза прибавили, да еще комиссионные. Купил хорошенький участок по Восточной дороге, домик там построил. На будущий год, глядишь, стану пайщиком. Пусть в президенты выбирают кого хотят, мое дело верное.

— Подругой жизни пока не обзавелись, Джон? — спросил я.

— Как, я вам разве не рассказывал? — с широкой улыбкой изумился Пискад.

— О-го! — сказал я. — Стекло, стало быть, стеклом, а романы крутить тоже время находится?

— Нет, нет, — сказал Джон. — Какие там романы! Да я вам расскажу все как было. Года полтора назад сижу я в поезде, еду на юг в Цинциннати, и вдруг вижу напротив девушку, какая до сих пор не попадалась. Ничего такого особенного, знаете, просто то, что доктор прописал. Я вообще-то ухаживать никогда не умел — платочки там, автомобили, марки со значением, штучки на ступенечках — да это все и не по ней. Она сидит читает книгу — вообще тихо занимается своим делом, и как-то мир от этого становится лучше и чище. Я поглядываю на нее запасным краем глаза и вдруг переношусь из пульмана в коттедж с лужайкой и с крылечком в плуще. Заговаривать с ней толку не было, но зеркальное стекло я пока решил побоку.

Она пересела в Цинциннати и отправилась спальным вагоном в Луисвилль напрямик по косой с петельками. Там она перекомпостировала билет, и дальше — Шелбивилль, Фрэнкфорд, Лексингтон. Вот где началось! Едва за ней угнался. Поезда когда хотели, тогда и приходили и никуда особенно не отправлялись — так, болтались на путях, место занимали. Потом стали останавливаться на разъездах, а в городах — нет, а потом вообще стали и стоят. Словом, не торговать бы мне зеркальным стеклом, а служить в агентстве Пинкертон, если б там проведали, как я уследил за этой девицей. На глаза ей старался не попадаться, но из виду не терял.

Ну, и сошла она, наконец, в виргинском захолустье, часов так в шесть вечера. Кругом полсотни домов и четыре сотни негров. Красная слякоть, мулы и пятнистые псы.

Встречал ее высокий старик, лицо гладкое, сам седой, глядит, как сенаторы Юлий Цезарь и Роско Конклин с одной открытки. Костюм на нем никуда, но это я потом заметил. Взял он у нее саквояжик, и зашагали они в гору по дощатым настилам. А я за ними — с таким видом, будто ишу в песке кольцо с камушком, которое моя сестра посеяла на пикнике в прошлую субботу.

Взошли они на холм, а там ворота. Поднял я глаза — дух захватило. Там, оказывается, небывалой величины роща, а в ней домище с белыми круглыми колоннами высотой в тыщу футов, а вокруг такие розы, беседки и сирени, что и дома бы не видать, будь он хоть чуть пониже вашингтонского Капитолия.

— Приехали, нечего сказать, — говорю я себе. — Я-то думал, что она хотя бы девушка не особенно слишком богатая. А это либо губернаторский дворец, либо сельскохозяйственный павильон к новой всемирной выставке, одно другого не легче. Пойду-ка я обратно в деревню: почтаря, что ли, почтить визитом или провизора проведать — авось порасскажут.

В деревне я набрел на захудалую гостиницу под названием «Дом с ивой». Трудно сказать, почему ее так называли: правда, у крыльца паслась сивая кобыла. Я поставил чемодан с образцами на пол и подал голос. Я сказал хозяину, что беру заказы на зеркальное стекло.

— Зеркальное — это мне не надо, — сказал он, — а вот стеклянный кувшин у меня разбился, как бы склеить.

Скоро он у меня начал болтать языком и даже отвечать на вопросы.

— Да как же, — говорит, — это всем известно, кто живет в белом доме на холме. Это полковник Аллен, самый главный и самый родовитый в Виргинии и вообще. Знатней не бывает. Дочка его нынче приехала на поезде: она в Иллинойсе была, у хворой тетки.

Я там и устроился, а на третий день гляжу — она гуляет перед домом, у самого, можно сказать, забора. Я остановился и приподнял шляпу — будь, думаю, что будет.

— Простите, — говорю, — вы не знаете, где здесь проживает мистер Хинкл?

Она на меня так спокойно посмотрела, словно я пришел сад им полоть, только в глазах что-то такое мелькнуло.

— В Берчтоне таких нету, — говорит. — Насколько я, — говорит, — знаю. А вы, простите, ищите белого джентльмена?

Поддела-таки меня.

— Легче, легче, — говорю. — Я хотя сам из Питтсбурга, но копченых мне не надо.

— Далеко вы, однако, заехали, — говорит она.

— Пустяки, — говорю, — что мне лишняя тысяча миль.

— Давно уж были бы дома, если б тогда не проснулись в Шелбивилле, — говорит она и красная становится, как роза на ихнем садовом кусту. А я вспомнил, что на вокзале в Шелбивилле задремал, пока она своего поезда дожидалась, и только-только успел проснуться.

Ну, я ей объясняю, зачем приехал, с полным уважением и со всей серьезностью. И кто я такой, чем занимаюсь, и как мне необходимо надо с ней познакомиться, чтоб она ко мне пригляделась.

Она и улыбается и краснеет, а глаза ясные. Говорит и смотрит.

— Со мной еще никто так не разговаривал, мистер Пискад, — говорит она. — Как вы сказали вас зовут — Джон?

— Джон А, — говорю.

— А вы, кстати, опять чуть-чуть не упустили поезд — на разъезде в Паухэтене, — говорит она и смеется, словно возмещает мне дорожные расходы.

— Почему вы знаете? — говорю.

— Ой, мужчины такие неуклюжие, — говорит она. — Я вас в каждом поезде видела. Я все боялась, что вы со мной заговорите — очень рада, что не заговорили.

Мы еще потолковали; а потом она стала такая гордая, серьезная — поворачивается и показывает на большой дом.

— Аллены, — говорит, — живут в Элмкрофте сто с лишним лет. Мы аристократы. Смотрите, какая усадьба. Пятьдесят комнат. Портики, балконы, колонны — смотрите. А потолки в гостиных и зале высотой двадцать восемь футов. Отец мой — прямой потомок препоясанных лордов.

— Я одному в «Дюкенъ-отеле», в Питтсбурге, тоже, помнится, препоясал, — говорю, — и ничего, обошлось. Он, правда, был не лорд, но вроде того: набрался мононгахельского виски и хотел по нахалке жениться на богатой.

— Конечно, — говорит она, — отец мой никогда не позволит коммивояжеру ступить на землю Элмкрофта. Знал бы он, что я с таким через забор разговариваю — запер бы меня в моей комнате.

— А вы-то мне позволите ступить? — спрашиваю. — Я, положим, приду — вы со мной будете разговаривать? Потому что, — говорю, — если вы скажете, чтоб я, пожалуйста, приходил, то что мне лорды, препоясанные, преподтяженные или хоть на английских булавках.

— Я не должна говорить с вами, — говорит она, — потому что мы друг другу не представлены. Это не принято. Так что всего хорошего, мистер...

— Смелее, — говорю. — Небось не забыли, как меня зовут.

— Пискад, — говорит она, закусив губу.

— А сначала как? — говорю, не теряя того же спокойствия.

— Джон, — говорит она.

— Джон — дальше что? — говорю.

— Джон А, — говорит она, вздернув головку. — Еще что-нибудь хотите спросить?  
— Завтра приду повидаться с вашим препоясанным лордом, — говорю.  
— Он вас собакам скормит, — говорит она и смеется.  
— Ну и пусть, наедятся — резвей бегать будут, — говорю. — Я и сам охотник не хуже любого другого.

— Мне пора идти, — говорит она. — Мне совершенно не нужно было вступать с вами в беседу. Надеюсь, вы благополучно доедете обратно в свой Миннеаполис — или, простите, Питтсбург? Всего доброго!

— Доброй ночи, — говорю, — нет, не в Миннеаполис. А как, простите, лично вас зовут, помимо фамилии?

Она не сразу ответила. Потом сорвала листик с куста и сказала:

— Меня, — говорит, — зовут Джесси.

— Доброй ночи, мисс Аллен, — говорю я.

Наутро, ровно в одиннадцать, я звоню в звонок этого главного павильона всемирной ярмарки. Не проходит и часа, как старик негр под восемьдесят спрашивает меня, чего мне угодно. Я ему мою карточку и говорю, что мне угодно полковника. Он меня проводит внутрь.

Бывало с вами, что вы разгрызли грецкий орех, а он гнилой? Вот такой оказался дом. Мебели в нем не хватило бы на восьмидолларовую квартирку. Кресла с конским волосом и портреты предков по стенам — вот и все, и больше ничего. Но когда вошел полковник Аллен, тут словно свечи зажгли. Представляете, будто оркестр заиграл и старинные люди в париках и белых чулках пустились танцевать кадрили. Вот он какой был — хотя и в том же самом поношенном костюме, в каком я его видел на станции.

Девять секунд, не меньше, он меня разглядывал, и я чуть было не струхнул и не стал предлагать ему зеркальное стекло. Но быстро с собой совладал. Он мне предложил сесть, и я ему рассказал все. Я ему рассказал, как ехал за его дочкой от Цинциннати, чего ради ехал, какое у меня жалованье и виды на будущее, и объяснил ему, как понимаю жизнь: дома соблюдать без всяких, а в дороге не больше четырех кружек пива в день и не выше двадцати пяти центов фишка. Вижу, сейчас он меня из окна вышвырнет, но говорить — говорю. Скоро дошло дело до анекдота про соломенную вдову и конгрессмена с Запада, который потерял бумажник, — ну, помните. И он рассмеялся, а смеха, это я ручаюсь, ни кресла, ни предки давным-давно не слыхали.

Часа два у нас шел разговор. Я ему выложил все анекдоты, какие знал; потом он стал задавать вопросы, и я выложил все остальные. Я его только попросил дать мне возможность; не выйдет с дочкой — все: я сматываюсь и меня нет. Наконец, он говорит:

— При дворе Карла Первого был некий сэръ Кортни Пискад, если я не ошибаюсь.

— Может, и был, — говорю, — но он не из наших. Наши как жили, так и живут в Питтсбурге. Есть у меня, правда, дядя на стороне, торгует недвижимостью, и еще один дядя — тот на чем-то попался в Канзасе. А насчет остальных — езжайте к нам в Дымный, поспрошайте — вам все скажут, как есть. А кстати, знаете историю, как капитан-китобой учил матроса молиться?

— К сожалению, у меня не было случая с ней ознакомиться, — говорит полковник.

Ну, я ему рассказал. Смеху было! Я даже пожалел, что он не клиент. Стекла бы ему сбыл — вагон! А он говорит:

— На мой взгляд, мистер Пискад, обмен анекдотами и забавными случаями из жизни — один из лучших способов времяпрепровождения и дружеского общения. Если позволите, я расскажу вам историю из области охоты на лисиц, к которой я лично был причастен и которая, надеюсь, доставит вам некоторое удовольствие.

И рассказывает. По часам — сорок минут. Рассмешил? А как вы думаете! Когда я просмеялся, он позвал того Пита, престарелого негритоса, и послал его в гостиницу за моим чемоданом. И пока я оттуда не уехал, адрес мой был Элмкрофт.

На третий день мне выпало перекинуться словом наедине с мисс Джесси — на веранде, пока полковник припоминал следующий анекдот.

— Отличный выдался вечер, — говорю.

— Вот он идет, — говорит она. — Он вам сейчас расскажет про старого негра и зеленые арбузы. Это по порядку за анекдотом про янки и петуха-задиру. И еще один раз, — говорит, — вы чуть не отстали — в Пуласки-Сити.

— Да, — говорю, — помню. Поезд тронулся, я вскочил на подножку, нога соскользнула, едва не упал.

— Я видела, — говорит она. — И... и я... и я испугалась, что вы упадете, Джон А. Я очень испугалась.

И шасть к себе в дом через стеклянную дверь.

#### IV

— Коктаун, — загудел, проходя, проводник. Поезд замедлил ход.

Пискад надел шляпу и собрал пожитки — с небрежной ловкостью опытного путешественника.

— Мы поженились год назад, — сказал он. — Я же говорю — построил домик по Восточной дороге. И препоясанный — в смысле полковник — тоже с нами. Возвращаюсь, а он караулит у калитки, не привез ли я какого новенького анекдота.

Я поглядел в окно. Коктауном назывался неровный склон горы с двумя десятками мрачных халуп, подпертых грудями ишака и битого кирпича. Дождь так и хлестал, и ручьи в черной пене растекались у железнодорожного полотна.

— Зеркальным стеклом вы здесь не расторгуетесь, Джон, — сказал я. — Чего вам надо в этой богом забытой дыре?

— Понимаете, — сказал Пискад, — я тут на днях возил Джесси слегка проветриться в Филадельфию, и на обратном пути она вроде бы где-то здесь в окошке заметила горшок с петуниями — такими же, как у нее были когда-то в Виргинии. Ну, я и думаю — задержусь-ка здесь на ночь, погляжу, может, раздобуду для нее какие-нибудь там ростки-черенки. О, приехали. Доброй вам ночи. Адрес у вас есть. Как-нибудь выберетесь — повидаемся.

Поезд тронулся. Бурая дама в мушках потребовала открыть окна, благо и дождь хлынул вовсю. Прошел проводник со своим загадочным жезлом и принялся зажигать свет.

Я поглядел под ноги и увидел книгу. Я ее подобрал и снова положил на пол — так, чтобы ее не заливало дождем. И вдруг улыбнулся при мысли, что география жизни не помеха.

— Удачи тебе, Тревелиян, — сказал я. — Петуний тебе для твоей принцессы!

### Лукавый горожанин

Разбивая всех людей по сортам с точки зрения денег, я обнаружил, что не выношу трех сортов, а именно: имеющих больше, чем они могут тратить, имеющих больше, чем они тратят, и тратящих больше, чем они имеют. Из этих же трех разновидностей мне меньше всего нравится первая. Но все же, как человек, мне очень нравился Спенсер Гренвилл Норт, хотя у него и было сколько-то миллионов, не то два, не то десять, не то тридцать — точно не помню.

В этом году я не выезжал на лето из города. Обычно я проводил лето в деревушке на южном берегу Лонг-Айленда. Это замечательное местечко было со всех сторон окружено утиными фермами, и утки, собаки, лесные птицы и неугомонные ветряные мельницы поднимали такой шум, что я мог там спать так же спокойно, как и у себя в Нью-Йорке, на шестом этаже, у самой линии эстакадной дороги. Но в этом году я не выезжал на лето из города. Запомните: не выезжал! Когда один из моих друзей спросил почему, я ответил: «Потому, старина, что Нью-Йорк самый приятный летний курорт в мире». Вы когда-нибудь слышали это раньше? Так, именно так я ему и ответил.

В это время я был агентом по объявлениям фирмы «Бинкли и Бинг — антрепренеры и режиссеры». Вы, конечно, знаете, что такое агент по объявлениям. Так вот он совсем не то. Это — профессиональная тайна. Бинкли путешествовал по Франции в своем новом автомобиле фирмы «С. Н. Уильямсон», а Бинг отправился в Шотландию познакомиться с устройством шотландских катков, которые почему-то в его мозгу ассоциировались не с гладкой ледяной поверхностью, а с сооружением шоссе дорог. Они вручили мне перед отъездом жалованье за июнь и июль, предоставленные мне в виде отпуска, что, впрочем, вполне соответствовало их широкому размаху. А я остался в Нью-Йорке, который считал лучшим летним курортом в...

Но об этом я уже говорил.

Десятого июля в город из своего летнего становища под Адирондаксом приехал Норт. Попробуйте представить себе это становище из шестнадцати комнат, с водопроводом, с одеялами на гагачьем пуху, с мажордомом, с гаражом, с тяжелым столовым серебром и с междугородным телефоном. Конечно, оно было расположено в лесу если мистер Пингот желает сохранить леса, пусть он раздаст каждому гражданину по два, или по десять, или по тридцать миллионов долларов, тогда все деревья придвинутся к таким становищам, подобно тому, как Бирнамский лес придвинулся к Дунсинану и леса будут наверняка сохранены.

Норт застал меня в моей квартире из трех комнат с ванной и особой платой за электричество, в случае если оно расходуется неумеренно или горит всю ночь. Он хлопнул меня по спине (чаще меня хлопают по колену) и приветствовал с необычайной шумливостью и возмутительно хорошим настроением. Он выглядел до наглости здоровым, загорелым и хорошо одетым.

— Только что приехал на несколько дней, — сказал он, — нужно подписать кое-какие бумаги и прочую ерунду. Мой поверенный вызвал меня по телеграфу, а вы-то, старый лентяй, что делаете в городе? Я вам как-то позвонил, и мне сказали, что вы в городе. Что-нибудь стряслось с этой вашей «Утопией» на Лонг-Айленде, куда вы таскали каждое лето пишущую машинку и паршивое настроение? Или что-нибудь случилось с этими... как их... с лебедями, что ли, которые поют на фермах по вечерам?

— Вы хотите сказать: с утками, — ответил я. — Песни лебедей ласкают слух более счастливых. Лебеди обычно плавают в искусственных озерах, во владениях богатых; там они грациозно изгибают свои длинные шеи, чтобы усладить взоры любимцев Фортуны.

— Но они точно так же плавают и в Центральном парке, — заметил Норт, — и услаждают взоры иммигрантов и всяких шалопаев. Я на них там посмотрелся достаточно. Но вы-то почему в городе в такое время?

— Нью-Йорк, — начал я свою тираду, — самый приятный лет...

— Бросьте, бросьте, — горячо перебил Норт. — Меня на это не поймать! Да вы и сами отлично знаете. Но вот что, дружище, вы обязательно должны побывать у нас этим летом. У нас сейчас Престолы, и Том Волни, и все Монроу, и Люлю Стенфорд, и мисс Кэнди со своей тетушкой, которая вам так нравилась.

— Да кто вам сказал, что мне нравилась тетушка мисс Кэнди? — перебил я.

— Да я этого вовсе не говорю, — ответил Норт. — В этом году мы проводим время как никогда. Щуки и форели так клюют, что готовы, кажется, лезть на крючок, если на него нацепить даже проспекты Монтанских медных копеек. У нас там пара моторных лодок. Постоите-ка, я расскажу, как мы проводим почти все вечера: к моторной лодке прицепляем на буксир весельную, а в нее ставим граммофон и сажаем мальчика, чтобы менял пластинки, — и на воде, да еще ярдов за двенадцать, это выходит совсем не так плохо. Кроме того, через лес проходят довольно приличные дороги, и мы гоняем на автомобиле. Я захватил с собой парочку. А от нас до отеля «Пайнклифф» всего каких-нибудь три мили. А что там за люди в этом сезоне! Два раза в неделю мы там танцуем. Ну как, старина, могли бы вы катнуть со мной на недельку?

Я рассмеялся.

— Норти, — ответил я, — простите, что я так фамильярничая с миллионером, но, по

правде говоря, я не люблю имен Спенсер и Гренвилл. Ваше приглашение очень мило, но летом город для меня приятнее. Когда вся буржуазия выезжает, а город пылает девяноста градусами в тени<sup>38</sup>, я могу жить здесь совсем как Нерон, — только, благодарение небу, могу не играть на лире. Тропики и умеренные зоны, как горничные, являются на мой вызов. Я сижу под флоридскими пальмами и ем гранаты, а стоит мне только нажать кнопку, как сам Борей навевает на меня арктическую прохладу. Что же касается форелей, так вы же сами прекрасно знаете, что приготовить их так, как Жан у Мориса, не может никто в целом мире.

— Нет, послушайте, — сказал Норт. — Мой повар всем даст двадцать очков вперед. Он шпигует форель свиным салом, заворачивает в кукурузные листья, засыпает горячей золой, а поверх кладет горячие уголья. Мы разводим на берегу костры и ужинаем необыкновенной рыбой.

— Ну, знаю, знаю, — заметил я, — лакеи привозят вам столы, стулья, вышитые скатерти, и вы едите серебряными вилками. Знаю я эти становища миллионеров. Ведерки с шампанским обезображиваются полевыми цветами, и уж, конечно, после форелей мадам Гетрацини поет вам в лодке под балдахином.

— Нет, нет, — обиженно возразил Норт, — и совсем не так уж скверно. Правда, мы приглашали раза три-четыре артистов, но никаких звезд не было, — все в разъезде. По правде говоря, я люблю некоторый комфорт, даже когда отказываюсь от обычных удобств. Вы-то не рассказывайте, будто вам нравится сидеть в городе все лето! Все равно, не поверю. Ну а если и нравится, то почему же вы четыре года подряд ускользали из города ночным поездом и скрывали даже от близких друзей, где находится ваша аркадская деревня?

— Потому, — ответил я, — что друзья могли бы устремиться за мной и открыть ее местоположение. Недавно я узнал, что в городе появились Амариллис. Самое приятное, самое свежее, самое яркое, самое редкое можно найти только в городе. Если вы свободны вечером, я вам это докажу.

— Я свободен, — ответил Норт, — к тому же у меня автомобиль. Вероятно, с тех пор как вы перешли на городскую жизнь, ваше представление о деревенских развлечениях заключается в том, чтобы покрутиться в Центральном парке между полисменами на велосипедах, а потом тянуть липкое пиво в каком-нибудь душном подвальчике под вентилятором, у которого столько оборотов в неделю, сколько переворотов в Никарагуа каждый день.

— Но начнем все-таки с парка, — сказал я.

Тяжелый спертый воздух моей маленькой квартиры душил меня, и чтобы доказать моему другу, что Нью-Йорк самый приятный и т. д., мне было совершенно необходимо глотнуть хоть немного свежего воздуха.

— Ну, может ли где-нибудь воздух быть чище и свежее, чем здесь? — спросил я, как только мы углубились в парк.

— Воздух?! — презрительно сказал Норт. — И это, по-вашему, воздух? Этот удушливый туман, воняющий отбросами и бензиновым перегаром! Хотелось бы мне, дружище, чтобы вы сейчас вдохнули хоть один глоток настоящего адирондакского смолистого лесного воздуха.

— Да знаю я его! — ответил я. — Но за легкий морской бриз, дующий с залива, подгоняющий мою легкую лодочку вдоль Лонг-Айленда и щекочущий ноздри соленым ароматом моря, я не возьму и десяти шквалов вашего скипидарного воздуха.

— Так почему же, — с любопытством спросил Норт, — вы не поехали туда, а закупились в этом пекле?

— Потому, — упрямо ответил я, — что Нью-Йорк самый приятный летний...

— Довольно, довольно! — перебил Норт. — Вы ведь еще не генеральный агент по рекламе нью-йоркского метрополитена, да вы и сами не верите тому, что говорите.

Доказать ему справедливость моей теории было довольно трудно. Бюро погоды и время

---

<sup>38</sup> По Фаренгейту, равняется + 32 °С.

года как будто составили заговор, и развиваемая аргументация требовала большого красноречия.

Казалось, город висит над самой доменной печью. Повсюду в изможденных жарой фигурах мужчин, прогуливающих в соломенных шляпах и вечерних костюмах, и в уныло тянущихся наемных экипажах,двигающихся, как в процессии Четвертого июля<sup>39</sup>, — повсюду чувствуется какое-то подогретое оживление. Отели сохраняли свой блестящий и гостеприимный вид, но стоило заглянуть в эти грандиозные пустые пещеры, как ярко начищенный вид ступенек бара явно говорил, что на них давно уже не ступала нога посетителя. В узких переулках ступеньки крылец старых, темных домов были усеяны пестрыми роями жителей подвалов и чердаков, вытащивших свои соломенные коврики, восседающих на них и оглашающих воздух громкими спорами.

Мы с Норттом пообедали в ресторане на крыше; и в течение нескольких минут я думал, что мне, наконец, повезло. Восточный, почти холодный ветер обвевал эту бескрышную крышу. Скрытый цветами, очень приличный оркестр играл так, что делал музыку терпимой, а разговор возможным.

За другими столиками несколько дам в безукоризненных летних туалетах оживляли и окрашивали общую картину. А прекрасный обед, доставляемый главным образом из холодильника, казалось, с успехом поддерживал мое мнение о летнем отдыхе. Но в течение всего обеда Нортт беспрестанно ворчал, проклиная своего поверенного, и так часто вспоминал о своем лесном становище, что мне, наконец, захотелось, чтобы он туда поскорее отправился и оставил меня наслаждаться моим мирным городским отдыхом.

После обеда мы отправились в кафешантан на крыше, о котором я много слышал. Там мы нашли высокие цены, искусственно охлажденный воздух, холодные напитки, расторопных официантов и веселую, отлично одетую публику. Нортт скучал.

— Если вам все же не нравится здесь, несмотря на то что этот август самый жаркий за последние пять лет, — сказал я несколько саркастически, — то вы могли бы вспомнить о том, что на Деланси и Нестор-стрит детишки целыми часами сидят, высунув языки, на пожарных лестницах, тщетно пытаясь вдохнуть хотя бы один глоток не поджаренного с обеих сторон воздуха. Быть может, контраст усилит испытываемое вами удовольствие.

— Бросьте проповедовать! — сказал Нортт. — Первого мая я пожертвовал пятьсот долларов на фонд бесплатного льда. А сейчас я сравниваю эти затхлые, искусственные, пустые и скучные развлечения с удовольствием, которое человек испытывает в лесу. Если бы вы видели, как пляшут деревья во время бури; а что может быть приятнее, как после целого дня охоты на оленя броситься плашмя на землю и пить прямо из горного источника. Нет, именно так и нужно проводить лето. Слушайте, бросьте все, разве не прекрасно на лоне природы!

— Вполне с вами согласен, — с живостью ответил я.

На один момент я ослабил свое внимание и сразу высказал свои настоящие чувства. Нортт посмотрел на меня долгим испытующим взглядом.

— Так почему же, скажите, во имя Пана и Аполлона, — спросил он, — вы поете фальшивые пеаны летнему отдыху в городе?

Кажется, я себя выдал.

— А-а-а, — протянул Нортт, — по-ни-ма-ю. Могу ли спросить, как ее зовут?

— Энни Эштон, — просто ответил я. — Она играла Нанетту в «Серебряной струне» у Бинкли и Бинг. В следующем сезоне ей дадут более ответственные роли.

— Покажите мне ее, — попросил Нортт.

Мисс Эштон жила вместе с матерью в небольшом отеле. Они приехали с Запада, и у них были небольшие деньги, на которые они и жили в перерыве между сезонами. Как агент фирмы Бинкли и Бинг, я стремился показать ее публике. Как Роберт Джемс Вандивер, я надеялся, что она покинет сцену, потому что если и был на свете человек, с которым указанный Вандивер

---

<sup>39</sup> Американский национальный праздник — день объявления американской независимости.



желал вести жизнь вместе и вместе вдыхать соленый морской воздух на южном берегу Лонг-Айленда и слушать в ночные часы криканье уток, то этим человеком была только мисс Эштон, о которой я только что упомянул.

Но ее я ценил выше уток, выше соловьев и даже выше райских птиц. Она была прекрасна, проста и казалась искренней. В своих сценических выступлениях она показала вкус и талант, но также любила сидеть дома, читать и делать шляпки для своей матери. Она неизменно дружески и тепло относилась к агенту фирмы Бинкли и Бинг. А когда сезон окончился, она позволила мистеру Вандиверу заходить к ней с неофициальными визитами. Я часто рассказывал ей о своем друге Спенсере Гринвилле Норте; и так как сейчас было довольно рано, — первое отделение концерта еще не кончилось, — мы отправились искать телефон.

Мисс Эштон была бы очень рада увидеть у себя мистера Вандивера и мистера Норта.

Когда мы пришли, она шила новую шляпку для своей мамы. Никогда еще она не была так очаровательна.

Норт стал до неприятности занимателен. Он был интересным собеседником и умел использовать свои таланты. Кроме того, у него было не то два, не то десять, не то тридцать миллионов — точно не помню. Я неосторожно выразил восхищение шляпкой мамы, а она, воспользовавшись этим, притащила дюжину или две этих шляпок, и мне пришлось выслушать целую лекцию о строчках и оборочках; и несмотря даже на то, что все это было скроено, сшито, подрублено и отделано собственными пальчиками самой Энни, мне все-таки все это скоро надоело. Кроме того, я слышал, как Норт распространялся, рассказывая Энни о своем гнусном становище у Адирондакса.

Два дня спустя я увидел Норта с мисс Эштон и мамашей в его автомобиле. На следующий день он зашел ко мне.

— Знаете, Бобби, — сказал он, — этот старый город летом, в конце концов, не так уж плох. Я немного поболтался здесь, и он показался мне намного привлекательней. Здесь на крышах небоскребов и в летних садах идут первоклассные оперетты и всякие комические оперы. А если забрести в подходящее местечко да глотнуть чего-нибудь прохладительного, то можно чувствовать себя не хуже, чем за городом. Черт возьми! Если хорошенько подумать, то в деревне, пожалуй, ничем не лучше. Там слоняешься по солнцепеку, устаешь, чувствуешь полное одиночество и ешь всякую заваль, которую тебе подсунет повар.

— Значит, есть разница? — спросил я.

— Конечно, есть! Кстати: я вчера ел у Мориса уклею под таким соусом, что перед ней все форели ничего не стоят.

— Значит, есть разница? — спросил я.

— Громадная! Самое главное, когда ешь уклею, это — соус.

— Значит, есть разница? — спросил я, глядя ему прямо в глаза.

Он понял.

— Послушайте, Боб, — сказал он, — давайте говорить прямо. Здесь уже ничего не поделаешь. Я веду с вами честную игру, но при этом хочу выиграть. Она именно та, которую я искал.

— Ну что ж, — сказал я, — игра чистая. У меня нет никаких прав мешать вам.

В четверг мисс Эштон пригласила нас с Нортом на чашку чаю. Он был окончательно влюблен, а она выглядела еще очаровательнее, чем всегда. Тщательно избегая разговора о шляпах, мне удалось вставить несколько слов в их беседу. Мисс Эштон очень любезно что-то спросила об устройстве турне на будущий сезон.

— Не могу вам сказать, — ответил я, — в будущем сезоне я не собираюсь служить у Бинкли и Бинг.

— Вот как? — сказала она. — А мне казалось, что они собираются поручить вам первое турне. Кажется, вы же сами говорили.

— Да они-то собирались, — ответил я, — но из этого ничего не выйдет. Хотите, расскажу, что я собираюсь делать? Я поеду на южный берег Лонг-Айленда и куплю себе небольшой коттедж я уже присмотрел там один на самом берегу залива. Потом я куплю себе

парусник и весельную лодку, охотничье ружье и желтую собаку. У меня хватит на это денег. Целый день я буду вдыхать морской соленый воздух, если ветер потянет с моря, и смолистый аромат леса, если потянет с суши. И уж, конечно, я буду писать пьесы, пока не набью ими целый чемодан.

А потом самое главное, что я сделаю, это куплю себе соседнюю утиную ферму. Мало кто разбирается в утках, а я с удовольствием наблюдаю за ними целыми часами. Они маршируют не хуже любой роты национальной гвардии, а игра «Пошел за вожаком» выходит у них куда лучше, чем у членов демократической партии.

Их кряканье не особенно приятно, и все-таки оно мне нравится. Правда, оно разбудит вас десятки раз за ночь, но в этих звуках есть что-то домашнее, уютное, и для меня они звучат куда музыкальнее, чем крики «Све-е-жие я-я-годы-ы», что раздаются под вашим окном, когда вам так хочется спать.

А кроме того, — продолжал я с воодушевлением, — знайте, что, кроме красоты и сообразительности, они имеют крупную ценность. Их перья приносят постоянный верный доход. На одной ферме, — это я хорошо знаю, — перья приносят четыреста долларов в год. Подумать только! А если изучить рынок, так можно получить еще больше. Да, да, утки и соленый ветерок с залива, — вот мое настоящее призвание. Думаю, мне придется взять с собой повара-китайца, и в компании с ним, со своей собакой и солнечным закатом я отлично заживу. Довольно с меня этого гнусного, душного, бесчувственного, шумного города.

Мисс Эштон с изумлением смотрела на меня. Норт захохотал.

— Я начну одну из пьес сегодня же вечером, — сказал я, — поэтому мне нужно идти.

С этими словами я простился.

Через несколько дней мисс Эштон позвонила мне и попросила зайти к ней в четыре часа. Я зашел.

— Вы всегда были очень добры ко мне, — нерешительно сказала она, — и мне кажется, я могу поделиться с вами. Я собираюсь бросить сцену.

— Ну да, — ответил я, — я так и думал. Обычно все бросают сцену, если появляются большие деньги.

— Какие деньги? — ответила она. — Их почти уже нет, или, во всяком случае, осталось очень немного.

— Но я ведь вам говорил, — сказал я, — что у него не то два, не то десять, не то тридцать миллионов — точно не помню.

— Ах, вот о чем вы думаете! — сказала она. — Но я не собираюсь замуж за мистера Норта.

— Так зачем же вы бросаете сцену? — злобно спросил я. — Чем еще вы можете жить?

Она подошла совсем близко ко мне, и я заметил, как блестели ее глаза, когда она сказала:

— Я могу щипать уток.

В первый год мы выручили за утиные перья триста пятьдесят долларов.

## Негодное правило

Я всегда был убежден, и время от времени заявлял вслух, что женщина — вовсе не загадка, что мужчина способен понять, истолковать, перевести, предсказать и подчинить ее. Представление о женщине как о некоем загадочном существе внушили доверчивому человечеству сами женщины. Прав я или нет — увидим. Как писал в былые времена журнал «Харперс», «ниже следует интересный рассказ про мисс \*\*, мистера \*\*, мистера \*\* и мистера \*\*». «Епископа Х» и «его преподобие Y» придется опустить, потому что они к делу не относятся.

В те дни Палома была новым городом на Южной Тихоокеанской железной дороге. Репортер сказал бы, что она «выросла, как гриб», но это было бы неточно: Палому,

несомненно, следует отнести к разновидности поганок.

Поезд останавливался здесь в полдень, ровно на столько времени, чтобы паровоз успел напиться, а пассажиры — и напиться и пообедать. В городе была новенькая бревенчатая гостиница, склад шерсти и десятка три жилых домов; а еще — палатки, лошади, черная липкая грязь и мескиговые деревья. Городскую стену заменял горизонт. Паломе, в сущности, еще только предстояло стать городом. Дома ее были верой, палатки — надеждой, а поезд, два раза в день предоставлявший вам возможность уехать отсюда, с успехом выполнял функции милосердия.

Ресторан «Париж» был расположен в самом грязном месте города, когда шел дождь, и в самом жарком, когда светило солнце. Владельцем, заведующим и главным виновником его был некий гражданин, известный под именем «старика Хинкла», который прибыл из Индианы, чтобы нажить себе богатство в этом краю сгущенного молока и сорго.

Семья Хинкл занимала некрашенный тесовый дом в четыре комнаты. К кухне был пристроен навес на столбах, крытый ветками чапаррала. Под навесом помещался стол и две скамьи, каждая в двадцать футов длиной, изготовленные местными плотниками. Здесь вам подавали жареную баранину, печеные яблоки, вареные бобы, бисквиты на соде, пудинг-или-пирог и горячий кофе, составлявшие все парижское меню.

У плиты орудовали мама Хинкл и ее помощница, которую все знали на слух как Бетти, но никто никогда не видел. Папа Хинкл, наделенный огнеупорными пальцами, сам подавал дымящиеся яства. В часы пик ему помогал обслуживать посетителей молодой мексиканец, успевавший между двумя блюдами свернуть и выкурить папиросу. Следуя порядку, установленному на парижских банкетах, я ставлю сладкое в самом конце моего словесного меню.

Айлин Хинкл!

Орфография верна, я сам видел, как она писала свое имя. Без всякого сомнения, оно было выбрано из фонетических соображений; но и нелепое написание его она сносила с таким великолепным мужеством, что и самому строгому грамматисту не к чему было бы придираться.

Айлин была дочерью старика Хинкла и первой красавицей, проникнувшей на территорию к югу от линии, проведенной с востока на запад через Галвестон и Дель-Рио. Она восседала на высоком табурете, на трибуне из сосновых досок — не в храме ли, впрочем? — под навесом, у самой двери на кухню. Перед Айлин была загородка из колючей проволоки, с небольшим полукруглым отверстием, куда посетители просовывали деньги. Одному богу известно, зачем понадобилась эта колючая проволока; ведь каждый, кто питался парижскими обедами, готов был умереть ради Айлин. Обязанности ее не отличались сложностью: обед стоил доллар, этот доллар клался под дужку, а она брала его.

Я начал свой рассказ с намерением описать вам Айлин Хинкл. Но вместо этого мне придется отослать вас к философскому трактату Эдмунда Бэрка под заглавием «Происхождение наших идей о возвышенном и прекрасном». Этот трактат вполне исчерпывает вопрос; сначала Бэрк касается древнейших представлений о красоте; если не ошибаюсь, он связывает их с впечатлениями, получаемыми от всего круглого и гладкого. Это хорошо сказано. Закругленность форм — бесспорно, привлекательное качество; что же касается гладкости, то чем больше морщин приобретает женщина, тем больше сглаживаются неровности ее характера.

Айлин была чисто растительным продуктом, запатентованным в год грехопадения Адама, согласно закону против фальсификации бальзама и амброзии. Она напоминала целый фруктовый ларек: клубнику, персики, вишни и т. д. Блондинка с широко посаженными глазами, она обладала спокойствием, предшествующим буре, которая так и не разражается. Но мне кажется, что не стоит тратить слов (сколько бы ни платили за слово) в тщетной попытке изобразить прекрасное. Красота, как известно, рождается в глазах. Есть три рода красоты... мне, видно, было на роду написано стать проповедником: никак не могу держаться в рамках рассказа.

Первый — это веснушчатая, курносая девица, к которой вы равнодушны, второй —

это Мод Адамс<sup>40</sup>, третий — это женщины на картинах Бугеро<sup>41</sup>. Айлин принадлежала к четвертому. Она была безусловно красива. Не одно, а тысячу золотых яблок присудил бы ей Парис.

Ресторан «Париж» имел свой радиус. Но даже из-за пределов описанной им окружности приезжали в Палому мужчины в надежде получить улыбку от Айлин. И они получали ее. Один обед — одна улыбка — один доллар. Впрочем, несмотря на все внешнее беспристрастие, Айлин как будто отличала среди всех своих поклонников трех джентльменов. Подчиняясь правилам вежливости, я упомяну о себе под конец.

Первым ее обожателем был чисто искусственный продукт, известный под именем Брайана Джекса, явно присвоенным. Джекса породили вымощенные камнем города. Это был маленький человечек, сфабрикованный из какой-то субстанции, напоминающей мягкий песчаник. Волосы у него были цвета того кирпича, из которого строятся молитвенные дома квакеров; глаза его напоминали две клюквы; рот был похож на щель почтового ящика.

Он изучил все города от Бангора до Сан-Франциско, а оттуда к северу до Портленда, а оттуда на юго-восток, вплоть до данного пункта во Флориде. Он знал все искусства, все промыслы, все игры, все коммерческие дела, все профессии и виды спорта, какие только есть на земле; он присутствовал лично на всех сенсационных, печатаемых под большими заголовками, событиях, которые произошли между двумя океанами с тех пор, как ему минуло пять лет; а если не присутствовал на них, так, значит, спешил к месту происшествия. Можно было открыть атлас, ткнуть пальцем наугад в любой город, и, до того как вы успевали захлопнуть атлас, Джекс уже называл вам уменьшительные имена трех известных граждан этого города. Он свысока, и даже довольно непочтительно, отзывался о Бродвее, Бикон-Хилле, Мичигане, Эвклиде, Пятой авеню и здании суда в Сент-Луисе. По сравнению с ним даже такой космополит, как Вечный Жид, показался бы отшельником. Он научился всему, что только мог преподать ему свет, и всегда готов был поделиться своими познаниями.

Я не люблю, когда мне напоминают про поэму Поллока «Течение времени»; но при виде Джекса мне всякий раз приходит на память то, что этот поэт сказал про другого поэта по имени Дж. Г. Байрон: «Он рано начал пить, он много пил, миллионы жажду утолить могли бы тем, что выпил он; а выпив все, от жажды бедный умер»<sup>42</sup>.

То же можно сказать про Джекса, только он не умер, а приехал в Палому, что, впрочем, почти одно и то же. Он служил телеграфистом и начальником станции за семьдесят пять долларов в месяц. Каким образом молодой человек, знавший все и умевший все делать, довольствовался такой скромной должностью — этого я никогда не мог понять, хотя он как-то раз намекнул, что делает это в виде личного одолжения президенту и акционерам железнодорожной компании.

Прибавлю к моему описанию еще одну строчку, а затем передам Джекса в ваше распоряжение. Он носил ярко-синий костюм, желтые башмаки и галстук бантом из одинаковой материи с рубашкой.

Вторым моим соперником был Бэд Кэннингам; одно ранчо близ Паломы пользовалось его услугами, чтобы удерживать непокорный скот в границах порядка и приличий. Из всех ковбоев, которых я когда-либо видел в натуре, один только Бэд был похож на театрального ковбоя. Он носил классическое сомбреро, кожаные гетры выше колен и платок на шее, завязанный сзади.

Два раза в неделю Бэд покидал ранчо Валь Верде и приезжал поужинать в ресторане

---

<sup>40</sup> Американская актриса.

<sup>41</sup> Французский художник.

<sup>42</sup> Шотландский поэт Роберт Поллок (1789–1827) посвятил Байрону восторженные строки, ничего общего не имеющие с виршами, которые цитирует Генри.

«Париж». Он ездил на тугоуздой кентуккийской лошадке, которая мчалась необычайно скорым аллюром; Бэд любил останавливать ее под большим мескиновым деревом у навеса с такой внезапностью, что копыта ее оставляли в жирной глине глубокие борозды в несколько ярдов длиной.

Мы с Джексом были, разумеется, постоянными посетителями ресторана.

Во всей стране вязкой черной грязи вы не нашли бы более уютной гостиной, чем в домике у Хинклов. Она была полна плетеных качалок, вязаных салфеточек собственной работы, альбомов и расположенных в ряд раковин. А в углу стояло маленькое пианино.

В этой комнате Джекс, Бэд и я, — а порой один или двое из нас, смотря по удаче, — сживали по вечерам. Когда деловая жизнь замирала, мы приходили сюда «с визитом» к мисс Хинкл.

Айлин была девушкой со взглядами. Судьба предназначала ее для чего-то высшего, если вообще может быть призвание более высокое, чем целый день принимать доллары через отверстие в загородке из колючей проволоки. Она читала, прислушивалась ко всему и размышляла. С ее красотой менее честлюбивая девушка на одной наружности сделала бы карьеру; но Айлин метила выше: ей хотелось устроить у себя нечто вроде салона — единственного во всей Паломе.

— Не правда ли, Шекспир был великий писатель? — спрашивала она, и ее хорошенькие бровки так мило поднимались, что если бы их увидел сам покойный Донелли, ему едва ли удалось бы спасти своего Бэкона<sup>43</sup>.

Айлин была также того мнения, что Бостон — более культурный город, чем Чикаго; что Роза Бонер была одной из величайших художниц в мире; что на Западе люди отличаются большей откровенностью и сердечностью, чем на Востоке; что в Лондоне, по-видимому, часто бывают туманы и что в Калифорнии, должно быть, очень хорошо весной. У нее было и еще множество взглядов, доказывавших, что она следит за всеми выдающимися течениями современной мысли.

Впрочем, все эти мнения она приобрела понаслышке и с чужих слов. Но у Айлин были и собственные теории. Одну из них в особенности она постоянно нам внушала. Она ненавидела лесть. Искренность и прямота в речах и поступках, уверяла она, вот лучшие украшения как для женщины, так и для мужчины. Если она когда-нибудь полюбит, то лишь человека, обладающего этими качествами.

— Мне ужасно надоело, — сказала она как-то вечером, когда мы, три мушкетера мескинового дерева, сидели в маленькой гостиной, — мне ужасно надоело выслушивать комплименты насчет моей наружности. Я знаю, что я вовсе не красива.

(Бэд Кэннингам мне впоследствии говорил, что он едва удержался, чтобы не крикнуть ей: «Врете!»)

— Я просто обыкновенная девушка с Среднего Запада, — продолжала Айлин, — мне хочется одного: всегда быть просто, но аккуратно одетой и помогать отцу зарабатывать себе на хлеб.

(Старик Хинкл каждый месяц откладывал в банк в Сан-Антонио по тысяче долларов чистого барыша.)

Бэд заерзал на своем стуле и пригнул поля своей шляпы, с которой его никак нельзя было уговорить расстаться. Он не знал, чего она хочет: того, что говорит, будто хочет, или же того, что, как ей было отлично известно, она заслуживает. Немало умных людей становилось в тупик перед таким вопросом. Бэд, наконец, решил:

— Видите ли, мисс Айлин, э-э... красота, можно сказать, еще не все. Я не хочу этим сказать, что у вас ее нет, но меня лично всегда особенно восхищало в вас ваше отношение к папаше и мамаше. А когда девушка так внимательна к своим родителям и любит семейную

---

<sup>43</sup> Игнатий Донелли (1831–1901) — американский писатель, один из сторонников «Бэкониианской теории», согласно которой пьесы Шекспира были написаны Фрэнсисом Бэконом.

жизнь, то она и не нуждается в какой-нибудь особенной красоте.

Айлин подарила ему одну из своих нежнейших улыбок.

— Благодарю вас, мистер Кэннингам, — сказала она. — Давно уж я не слышала лучшего комплимента. Это мне куда приятнее, чем выслушивать, как восхищаются моими глазами или волосами. Я рада, что вы мне верите, когда я говорю, что не люблю лести.

Теперь мы поняли, как надо было действовать. Бэд ловко угадал. Джекс вступил следующим.

— Это что и говорить, мисс Айлин, — сказал он. — Не всегда побеждают красавицы. Вот вы — разумеется, вас никто не назовет некрасивой, но это несущественно. А я знал в Дюбуке одну девушку: лицо у нее было что твой кокосовый орех; но она умела два раза подряд сделать на турнике «солнце», не перехватывая рук. А другая, глядишь, ни за что этого не сделает, хотя бы у нее на цвет лица пошел весь урожай персиков в Калифорнии. Я видел девушек, которые... э-э... хуже выглядели, чем вы, мисс Айлин; но что мне нравится в вас, так это ваша деловитость. Вы всегда поступаете умно, никогда не теряетесь: далеко пойдете. Мистер Хинкл на днях говорил мне, что вы ни разу не приняли фальшивого доллара, с тех пор как сидите в кассе. По-моему, вот такой и следует быть девушке; вот что мне по вкусу.

Джекс тоже получил улыбку.

— Благодарю вас, мистер Джекс, — сказала Айлин. — Если бы вы только знали, как я ценю, когда со мной искренни и когда мне не льстят. Мне так надоело, что меня называют хорошенькой. Так приятно, по-моему, иметь друзей, которые говорят тебе правду.

Тут Айлин посмотрела на меня, и мне показалось по ее взгляду, что она и от меня чего-то ждет. Мною овладело страстное желание бросить вызов судьбе и сказать ей, что из всех прекрасных творений великого мастера самое прекрасное — она; что она — бесценная жемчужина, сверкающая в оправе из черной грязи и изумрудных прерий; что... что она девушка первый сорт. Мне захотелось уверить ее, что мне все равно, будь она безжалостна к своим родителям, как жало змеи, или не умеет она отличить фальшивого доллара от седельной пряжки; что мне хочется лишь одного: петь, воспевать, восхвалять, прославлять и обожать ее за ее несравненную, необычайную красоту.

Но я воздержался. Я убоился той участи, что грозила льстецам. Ведь я видел, как ее обрадовали хитрые и ловкие речи Бэда и Джекса. Нет. Мисс Хинкл не из тех, кого могут покорить медовые речи льстеца. И потому я решил примкнуть к прямым и откровенным. Я сразу впал в лживый дидактический тон.

— Во все века, мисс Хинкл, — сказал я, — несмотря на то что у каждого из них была своя поэзия, своя романтика, люди всегда преклонялись перед умом женщины больше, чем перед ее красотой. Даже если взять Клеопатру, то мы увидим, что мужчины находили больше очарования в ее государственном уме, чем в ее наружности.

— Еще бы, — сказала Айлин. — Я видела ее изображение, ну и ничего особенного. У нее был ужасно длинный нос.

— Разрешите мне сказать вам, мисс Айлин, — продолжал я, — что вы напоминаете мне Клеопатру.

— Ну, что вы, у меня нос вовсе не такой длинный, — сказала она, широко раскрыв глаза, и изящно коснулась своего точеного носика пухленьким пальчиком.

— То есть, я... я имел в виду, — сказал я, — ее умственное превосходство.

— Ах, вот что! — сказала она, и затем я тоже получил свою улыбку, как Бэд и Джекс.

— Благодарю вас всех, — сказала она очень, очень нежным тоном, — благодарю вас за то, что вы со мной говорите так искренно и честно. И пусть так будет всегда. Говорите мне просто и откровенно, что вы думаете, и мы все будем наилучшими друзьями. А теперь, за то, что вы так хорошо со мной поступаете, за то, что вы поняли, как я ненавижу людей, от которых слышу одни комплименты, — за все это я вам спою и поиграю.

Разумеется, мы выразили ей нашу радость и признательность; но все же мы предпочли бы, чтобы Айлин осталась сидеть в своей низкой качалке и позволила нам любоваться собой. Ибо она далеко не была Аделиной Патти, — даже во время самого прощального из

прощальных турне этой прославленной певицы. У Айлин был маленький воркующий голосок вроде голубиного; он почти заполнял гостиную, когда окна и двери были закрыты и Бетти не очень сильно гремела конфорками на кухне. Диапазон ее равнялся, по моему подсчету, дюймам восьми клавиатуры; а когда вы слушали ее рулады и трели, вам казалось, что это булькает белье, которое кипит в чугунном котле у вашей бабушки. Подумайте, как красива она была, если эти звуки казались нам музыкой!

Музыкальные вкусы Айлин отличались ортодоксальностью. Она норовила пропеть насквозь всю кипу нот, лежавшую на левом углу пианино: зарезав какой-нибудь романс, она перекладывала его направо. На следующий день она пела справа налево. Ее любимыми композиторами были Мендельсон, а также Муди и Сэнки<sup>44</sup>. По особому желанию публики она заканчивала программу песенками «Душистые фиалки» и «Когда листья желтеют».

Когда мы уходили от Хинклов — часов в десять вечера, — мы обыкновенно отправлялись к Джексу на маленькую, всю из дерева выстроенную станцию. Там мы усаживались на платформе и болтали ногами, а сами старались выведать друг у друга, в какую сторону больше склоняется сердце мисс Айлин. Таков уж обычай соперников: они вовсе не избегают друг друга и не обмениваются злобными взглядами; нет, они сходятся, сближаются и сговариваются; они пускают в ход дипломатическое искусство, чтобы оценить силы неприятеля.

Как-то раз в Паломе появилась темная лошадка — некий молодой адвокат; он сразу же завел себе огромную вывеску и начал чваниться. Звали его Винсент С. Вэзи. Стоило только взглянуть на него — и становилось ясно, что он недавно окончил юридический факультет где-нибудь на Юго-Востоке. Его длинный сюртук, светлые полосатые брюки, черная мягкая шляпа и узкий белый галстук кричали об этом громче всякого аттестата. Вэзи был смесью из Дэниэля Вебстера, лорда Честерфилда, Бо Брюммеля и Джека Хорнера — того мальчика из детской песенки, который ловко доставал лакомые кусочки. Появление его вызвало в Паломе бум. На другой день после его приезда большая площадь земли, прилегающая к городу, была обмерена и разделена на участки.

Разумеется, Вэзи нужно было, ради карьеры, сойтись с паломскими гражданами и с окрестными жителями. Ему нужно было снискать популярность не только среди зажиточных людей, но и среди местной золотой молодежи. Благодаря этому имели честь с ним познакомиться и мы с Джексом и Бэдом.

Учение о предопределении оказалось бы совершенно дискредитированным, если бы Вэзи не встретился с Айлин Хинкл и не стал четвертым участником турнира. Он важно столовался в отеле из сосновых бревен, а не в ресторане «Париж»; но он стал угрожающе часто посещать хинклскую гостиную. Конкуренция эта вдохновила Бэда на потоки изысканной ругани, а Джекса — на жаргон самого фантастического свойства, который звучал ужаснее самых отборных проклятий Бэда и вогнал меня в мрачную, немую тоску.

Ибо Вэзи обладал красноречием. Слова били у него из уст, как нефть из фонтана. Гиперболы, комплименты, восхваления, одобрения, вкрадчивые любезности, лестные намеки, явные панегирики — всем этим так и кишели его речи. Надежды на то, чтобы Айлин устояла против его ораторского искусства и длинного сюртука, у нас было весьма немного.

Но настал день, который придал нам мужества.

Как-то раз в сумерки я сидел на маленькой террасе перед гостиной Хинклов и ждал Айлин. Вдруг я услышал голоса в комнате. Айлин вошла туда вместе с отцом, и у них начался разговор. Я уже раньше замечал, что старик Хинкл был человек неглупый и не лишенный известного философского взгляда на вещи.

— Айлин, — сказал он, — я заметил, что за последнее время тебя постоянно навещают три-четыре молодых человека. Кто из них тебе больше нравится?

— Да знаешь, папа, — ответила она, — они мне все очень нравятся. По-моему, мистер

---

<sup>44</sup> Американские проповедники и сочинители популярных песен на религиозные темы.

Кэннингам и мистер Джекс и мистер Гаррис очень симпатичные. Они всегда так прямо и искренно говорят со мной. Мистера Вэзи я знаю недавно, но, по-моему, он очень симпатичный; он всегда так прямо и искренно говорит со мной.

— Вот я как раз насчет этого и хочу с тобой потолковать, — сказал старик Хинкл. — Ты всегда уверяла, что тебе нравятся люди, которые говорят правду и не стараются тебя одурачить всякими комплиментами да враньем. Так вот — попробуй-ка, устрой испытание; увидишь, кто из них окажется искреннее всех.

— А как это сделать, папа?

— Это я тебе сейчас объясню. Ты ведь немножко поешь: почти два года училась музыке в Логанспорте. Это не так уж много, но больше мы тогда не могли себе позволить. И притом твоя учительница говорила, что голоса у тебя нет и что не стоит больше тратить деньги на уроки. Так вот ты и спроси каждого из твоих кавалеров, какого они мнения о твоём голосе; увидишь, что они тебе ответят. Тот, который решится сказать тебе правду в глаза, тот — я скажу — молодец, и с ним не страшно связать жизнь. Как тебе нравится моя выдумка?

— Прекрасно, папа, — сказала Айлин. — Это, по-моему, хорошая мысль; я попробую.

Айлин и мистер Хинкл ушли в другую комнату. Я ускользнул незамеченный и поспешил на станцию. Джекс сидел в телеграфной конторе и ждал, чтобы пробило восемь. В этот вечер и Бэд должен был приехать в город; когда он явился, я передал обоим слышанный мной разговор. Я честно поступил с моими соперниками; так всегда следует действовать всем истинным обожателям всех Айлин.

Всех нас одновременно посетила радостная мысль. Без сомнения, Вэзи после этой проверки должен выбыть из состязания. Мы хорошо помнили, как Айлин любит искренность и прямоту, как высоко ценит она правдивость и откровенность — выше всяких пустых комплиментов и ухищрений.

Мы схватились за руки и исполнили на платформе комический танец, распевая во всю глотку: «Мельдун был умный человек».

В этот вечер оказались занятыми четыре плетеные качалки, не считая той, которой выпало счастье служить опорой для изящной фигурки мисс Хинкл. Трое из нас с затаенным трепетом ждали начала испытания. Первым на очереди оказался Бэд.

— Мистер Кэннингам, — сказала Айлин со своей ослепительной улыбкой, закончив «Когда листья желтеют», — мистер Кэннингам, скажите искренно, что вы думаете о моем голосе? Честно и откровенно, — вы ведь знаете, что я всегда этого хочу.

Бэд заерзал на стуле от радости, что может выказать всю искренность, которая, как он знал, от него требовалась.

— Правду говоря, мисс Айлин, голосу-то у вас не больше, чем у зайца, — писк один. Понятно, мы все с удовольствием слушаем вас: все-таки оно как-то приятно и успокоительно действует; да к тому же и вид у вас, когда вы сидите за роялем, такой же приятный, как и с лица. Но насчет того, чтобы петь, — нет, это не пение.

Я внимательно смотрел на Айлин, опасаясь, не хватил ли Бэд через край; но ее довольная улыбка и мило высказанная благодарность убедили меня, что мы на верном пути.

— А вы что думаете, мистер Джекс? — спросила она затем.

— Мое мнение, — сказал Джеке, — что вы — не первоклассная примадонна. Я слушал их во всех городах Соединенных Штатов и знаю, как они щебечут; и я вам скажу, что голос у вас не того. В остальном вы можете сто очков вперед дать всем певицам столичной оперы, вместе взятым, — в смысле наружности, конечно. Эти колоратурные пискуньи обыкновенно похожи на расфранченных кухарок. Но в рассуждении того, чтобы полоскать горло фиоритурами, — это у вас не выходит. Голос-то у вас прихрамывает.

Выслушав критику Джекса, Айлин весело рассмеялась и перевела взгляд на меня.

Признаюсь, я слегка струхнул. Ведь искренность тоже хороша до известного предела. Быть может, я даже немного слукавил, произнося свой приговор; но все-таки я остался в лагере критиков.

— Я не большой знаток научной музыки, — сказал я, — но, откровенно говоря, не могу



особенно похвалить голос, который вам дала природа. Про хорошую певицу обыкновенно говорят, что она поет, как птица. Но птицы бывают разные. Я сказал бы, что ваш голос напоминает мне голос дрозда: он горловой и не сильный, не отличается ни разнообразием, ни большим диапазоном; но все-таки он у вас... э-э... в своем роде очень... э-э... приятный и...

— Благодарю вас, мистер Гаррис, — перебила меня мисс Хинкл, — я знала, что могу положиться на вашу искренность и прямоту.

И тут Винсент С. Вэзи поправил одну из своих белоснежных манжет и разразился не потоком, а целым водопадом красноречия.

Память изменяет мне, поэтому я не могу подробно воспроизвести мастерской панегирик, который он посвятил этому бесценному сокровищу, дарованному небесами, — голосу мисс Хинкл. Вэзи восхвалял его в таких выражениях, что, будь они обращены к утренним звездам, когда те вместе затягивают свою песнь, этот звездный хор, вспыхнув от гордости, разразился бы дождем метеоров.

Вэзи сосчитал по своим белым пальцам всех выдающихся оперных певиц обоих континентов, начиная с Дженни Линд и кончая Эммой Эббот, и доказал как дважды два, что все они бездарны. Он говорил о голосовых связках, о грудном звуке, о фразировке, арпеджиях и прочих необычайных принадлежностях вокального искусства. Он согласился, точно нехотя, что у Дженни Линд есть нотки две-три в ее верхнем регистре, которых еще не успела приобрести мисс Хинкл, но... ведь это достигается учением и практикой!

А в заключение он торжественно предсказал блестящую артистическую карьеру для «будущей звезды Юго-Запада — звезды, которой еще будет гордиться наш родной Техас», ибо ей не найти равной во всех анналах истории музыки.

Когда мы в десять часов стали прощаться, Айлин, как обычно, тепло и сердечно пожала всем нам руку, обольстительно улыбнулась и пригласила заходить. Незаметно было, чтобы она отдавала кому-нибудь предпочтение, но трое из нас знали кое-что, знали и помалкивали.

Мы знали, что искренность и прямота одержали верх и что соперников уже не четверо, а трое.

Когда мы добрались до станции, Джек вытащил бутылку живительной влаги, и мы отпраздновали падение наглого пришельца.

Прошло четыре дня, за которые не случилось ничего, о чем стоило бы упомянуть.

На пятый день мы с Джексом вошли под навес, собираясь поужинать. Вместо божества в белоснежной блузке и синей юбке за колючей проволокой сидел, принимая доллары, молодой мексиканец.

Мы ринулись в кухню и чуть не сбили с ног папашу Хинкла, выходившего оттуда с двумя чашками горячего кофе.

— Где Айлин? — спросили мы речитативом.

Папаша Хинкл был человеком добрым.

— Видите ли, джентльмены, — сказал он, — эта фантазия пришла ей в голову неожиданно; но деньги у меня есть — и я отпустил ее. Она уехала в Бостон, в консерваторию, на четыре года, учиться пению. А теперь разрешите мне пройти — кофе-то горячий, а пальцы у меня нежные.

В этот вечер мы уже не втроем, а вчетвером сидели на платформе, болтая ногами. Одним из четырех был Винсент С. Вэзи. Мы беседовали, а собаки лаяли на луну, которая всходила над чапарралем, напоминая размерами не то пятицентовую монету, не то бочонок с мукой.

А беседовали мы о том, что лучше — говорить женщине правду или лгать ей?

Но мы все тогда были еще молоды, и потому не пришли ни к какому заключению.

## Примечания

«Роза Южных штатов» («The Rose of Dixie»), 1908. На русском языке публикуется

впервые.

**Третий ингредиент** (The Third Ingredient), 1908. На русском языке в книге: О. Генри. О старом негре, больших карманных часах и вопросе, который остался открытым. Л., 1924, пер. под ред. В. Азова.

**Как скрывался Черный Билл** (The Hiding of Black Bill), 1908. На русском языке под названием «Как скрывался Черный Билль» в книге: О. Генри. Рассказы. Пг.-М., 1923, пер. О. Поддячей.

**Разные школы** (Schools and Schools), 1908. На русском языке под названием «Письмо» в книге: О. Генри. Рассказы. Пг.-М., 1923, пер. О. Поддячей.

**О старом негре, больших карманных часах и вопросе, который остался открытым** (Thimble, Thimble), 1908. На русском языке в книге: О. Генри. О старом негре, больших карманных часах и вопросе, который остался открытым. Л., 1924, пер. под ред. В. Азова.

**Спрос и предложение** (Supply and Demand), 1908. На русском языке в книге: О. Генри. О старом негре, больших карманных часах и вопросе, который остался открытым. Л., 1924, пер. под ред. В. Азова.

**Клад** (Buried Treasure), 1908. На русском языке под названием «Забывтый клад» в книге: О. Генри. О старом негре, больших карманных часах и вопросе, который остался открытым. Л., 1924, пер. под ред. В. Азова.

**Он долго ждал** (To Him Who Waits), 1909. На русском языке под названием «Тот кто ждал» в книге: О. Генри. Черный Билль. Л., 1924, пер. З. Львовского.

**Пригодился** (He Also Serves), 1908. На русском языке в книге: О. Генри. Рассказы. Пг.-М., 1923, пер. О. Поддячей.

**Момент победы** (The Moment of Victory), 1908. На русском языке под названием «Героизм» в книге: О. Генри. Рассказы о Западе и Юге. Л.-М., 1924, пер. под ред. В. Азова.

**Охотники за головами** (The Head-hunter), 1908. На русском языке в книге: О. Генри. О старом негре, больших карманных часах и вопросе, который остался открытым. Л., 1924, пер. под ред. В. Азова.

**Без вымысла** (No Story), 1909. На русском языке под названием «Не повесть» в книге: О. Генри. Таинственный маскарад. Л.-М., 1924, пер. З. Львовского. Рассказ написан в тюремные годы и публиковался в двух вариантах (первый — в 1903 г.). Здесь дается в позднейшей редакции.

**Прагматизм чистейшей воды** (The Higher Pragmatism), 1909. На русском языке под названием «Смелее» в книге: О. Генри. Рассказы. Пг.-М., 1923, пер. О. Поддячей.

**Чтиво** (Best-Seller), 1909. На русском языке под названием «Ходкая книга» в книге: О. Генри. Рассказы. Пг.-М., 1923, пер. О. Поддячей.

**Лукавый горожанин** (Rus in Urbe), 1909. На русском языке под названием «Летний отдых» в книге: О. Генри. Черный Билль. Л., 1924, пер. З. Львовского.

**Негодное правило** (A Poor Rule), 1909. На русском языке под названием «Неверный путь» в книге: О. Генри. О старом негре, больших карманных часах и вопросе, который остался открытым. Л., 1924, пер. под ред. В. Азова.

*А. Старцев*